ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

9
1963

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЮРИЙ БРЕЗАН — История одной любви (Повесть) 3

САЛАХ ДЖАХИН — Стихи 62

НГУЕН НГОК — Героиня (Рассказ) 64

НГУЕН МАНЬ ХАО — Последний диагноз (Рассказ) 71

МУНДЕЛЕ ДИА КВАНЗА — Путь Домингуша Шавиера (Повесть) 77

РОБЕР ДЕСНОС — Избранные строки (Вступительная статья Самария Великовского) 122

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — Презрение (Роман) 133

КРИТИКА

МИХАЙ НОВИКОВ Непреложный эстетический принцип нашей эпохи 189

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Писатель и общественная мораль (Заметки о творчестве А Силлитоу, Ф. Саган, Дж. Д. Сэлинджера) 194

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МАРТТИ ЛАРНИ — Три финских писателя младшего поколения (Письмо из Хельсинки) 218

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ГАБОР ТОЛНАИ — О судьбах романа (Заметки участника сессии Европейского сообщества писателей) 221

9

СЕНТЯБРЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 228

ДОКУМЕНТЫ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ — По следам «Репортажа с петлей на шее» 233

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

БОРИС ПОЛЕВОЙ — Памяти славного друга (К 80-летию со дня рождения Альберта Рис Вильямса) 240

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

«Шведская тетрадь» Александра Житомирского 241

НА КИНОЭКРАНАХ

Третий международный кинофестиваль в Москве

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ — Когда утихли споры... 249

ЯН ПРОХАЗКА — Чехословацкое кино обретает зрелость 254

ЙОРИС ИВЕНС — Наша студия — планета Земля 256

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

А. Турков — Признание в любви ◇ Марк Соболь — Испания борется. ◇ Геннадий Фиш — Заметки на полях антологии. ◇ Н. Вильмонт — Непотухший вулкан 260

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Б. Гиленсон — Сатирик и его критики. ◇ Л. Степанов — Голоса из Сахары . . . 266

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 270

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 287

На обложке фото скульптуры ЯНА КУЛИХА (Чехословакия) «После боя».

ЮРИЙ БРЕЗАН

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого
Л. ЛЕЖНЕВОЙ

Глава первая

Серый унылый день повис над городом. Порывистый ветер пригнал с юго-востока волны едкого запаха, смешал его с бензинным перегаром, помчался дальше и, пролетая над рекой, садами и парками, прихватил щепотку весны и добрую пригоршню застоявшейся зимы.

На узких улицах в центре города теснился народ. Люди, казалось, никуда не спешили, многие слонялись просто так, без цели. Студенты и студентки с портфелями в руках обсуждали животрепещущие проблемы — футбольные матчи, бесшовные чулки и тому подобное; плотные мужчины с округлыми животами толкались у витрин; женщины покупали необходимое и не теряли надежды найти что-нибудь необыкновенное; возница грузил пустые ящики на телегу, а двое африканцев кормили белым хлебом впряженных в нее лошадей; полицейский прохаживался вдоль тротуара; над улицей протянулось зеленое полотнище — реклама нового сорта томатного сока.

Какой-то человек ходил из магазина в магазин в поисках консервированных ананасов. Он мог купить и ананасный джем, и свежие ананасы, но ему нужны были только консервированные.

Сунув руки в карманы пальто, человек вернулся к своей машине, стоявшей у старой ратуши. «Жаль,— подумал он,— что я не позаботился заранее. Впрочем, мама и так будет рада. А все же досадно!»

Четыре года назад — матери исполнилось тогда шестьдесят пять лет — он впервые привез ей ананас. И она рассказала, что когда-то ей, пятнадцатилетней девочке, жившей в прислугах у зерноторговца, ананас со взбитыми сливками казался воплощением богатой и красивой жизни.

Оба посмеялись, но с тех пор среди подарков сына ко дню ее рождения и к рождеству она всегда находила банки консервированного ананаса, и это было ей приятно.

Может быть, ему посчастливится завтра или послезавтра Впереди еще целая неделя. Он осторожно направил свою красную «шкоду» в поток автомобилей, пересекая широкую площадь у здания оперы, вспомнил, что в этом месяце ни разу не был в театре, и свернул вправо — к университетским клиникам.

Оставив машину на улице, он вошел в вестибюль. Швейцар поклонился ему. Два санитара вкатывали больного в кабину лифта, сестра-

практикантка Инга проходила по коридору с судном в руках и, завидев его, покраснела. Стрелка электрических часов перескочила на одно деление. Было без пяти минут три.

Старший врач, доцент Роберт Хартунг, вошел в свой кабинет, вымыл руки и, надев халат, спустился на первый этаж в поликлинику, где с трех пятнадцати вел двухчасовой прием.

Приемную уже заполнили пациенты. Хартунг услышал, как ассистент, доктор Фридрихс, сказал, обращаясь к сестре:

— Сегодня по две минуты на человека, не больше. Иначе мы и за два часа с этой лавочкой не разделаемся.

Доктор Хартунг попросил молодого коллегу зайти к нему в кабинет.

— Доктор Фридрихс, вы не страховой врач. Ваш рабочий день закончится через два часа, а пока будьте любезны уделить каждому больному столько времени, сколько потребуется. Я просил бы вас выполнять свои обязанности так, как это полагается *врачу*.

— Прошу прощения!

Молодой врач покраснел, слегка поклонился и вышел из кабинета. Хартунг не льстил себя надеждой, что Фридрихс покраснел от стыда.

Больных в самом деле было очень много. Дурная погода нарушала кровообращение, плохо влияла на сердце, обостряла хронические язвы желудка, а пронизывающий юго-восточный ветер раздражал дыхательные пути. Доктор Хартунг опрашивал, ощупывал, выслушивал, выписывал рецепты, назначал диету, посылал на рентген, выдал два направления на курорт и выгнал какого-то симулянта, которому позарез нужны были две недели гастрита, чтобы окрасить свой садовый домик и заложить новый парник.

Одной из последних вошла больная, долгое время пролежавшая в отделении доктора Хартунга. Это была женщина лет пятидесяти, совсем седая, с глубоко запавшими глазами и узкой полоской синеватых губ.

— Как дела, фрау Мартен, все еще не лучше?

Хартунг протянул ей руку. Женщина тяжело опустилась на стул.

— Не хочу я больше, господин доктор...

Хартунг выслушал ее. Сердце работало плохо, впрочем, не хуже, чем у многих других. Но каплями здесь не поможешь.

Женщина была незамужней. В сорок лет она решила иметь ребенка. То, что она не умерла от родов, противоречило всем медицинским прогнозам. Месяца три назад ребенок на ее глазах попал под автомобиль.

— Дали бы мне белладонны, господин доктор...

— Не дам я вам белладонны,— сказал Хартунг.— Послушайте лучше, что я расскажу. Хотите?

Фрау Мартен кивнула. И он рассказал ей об одной матери, родившей четырех сыновей. Двоих из них и мужа она потеряла на войне. Третьего сына, мальчонку девяти лет, на ее глазах раздавил «тигр». «И на моих тоже,— подумал Хартунг.— Братишку Дитера, последыша в нашей семье».

— Но один-то у нее все-таки остался, а у меня...— вздохнула фрау Мартен.

— Там, в клинике напротив, фрау Мартен,— Хартунг подвел женщину к окну,— ежедневно рождаются дети, которым нужна мать. Хотите, мы как-нибудь пойдем вместе и посмотрим на ребятишек, появляющихся на свет божий вопреки желанию своих матерей?

Женщина молчала.

— Завтра или послезавтра, фрау Мартен. Хорошо?

Она по-прежнему молчала. Доктор Хартунг не настаивал.

— У меня есть одно место в санаторий, в Бад Либенштейн,— как бы вскользь заметил он, садясь за письменный стол.— Думаю, вам было бы полезно...

Она взяла со стула свою сумку. Губы ее, казалось, еще больше посинели.

— А белладонна, господин доктор?

— Я рассказал вам историю моей матери.

Женщина стояла в нерешительности, серая и понурая.

— Если вы согласны... После обеда я обычно у себя в отделении.

Она все раздумывала.

— И в четверг?

— И в четверг,— кивнул он.— Но после четверга я на несколько дней уеду.

— Хорошо,— тихо сказала женщина, и голос ее звучал уже не так безнадежно. Она протянула руку.— До свидания, господин доктор.

■

Около шести вечера последний больной затворил за собой дверь. Ассистент давно ушел: ровно через два часа после начала приема он снял с себя белый халат.

«Зато свое звание он с себя и во сне не снимает»,— подумал доктор Хартунг, поднимаясь в отделение.

По дороге он встретил сестру, она искала его. Профессор просит, если господин доктор располагает временем, зайти к нему.

Профессор Биркхеймер, известный специалист по болезням сердца, приспособил для себя на четвертом этаже комнатушку и работал в ней чаще и охотней, чем внизу, в своем внушительном кабинете. Профессор вообще отличался скромностью. Он даже гордился ею. Однако никто из окружающих не воспринимал это его качество столь серьезно, как он сам. Профессор знал, что в клинике и в аудиториях его почтительно и чуть иронически называют «Диогеном», и, случалось, говорил: «Пойдемте в мою бочку, мне надо с вами побеседовать». В «бочку» на четвертый этаж все поднимались без сердцебиения. Но если кого-нибудь вежливо приглашали в пышный кабинет, сердцебиение начиналось незамедлительно.

Доктор Хартунг увидел профессора Биркхеймера окруженного грудами папок с историями болезни. Профессор — он уже много лет страдал бронхиальной астмой и каждый год ездил лечиться в Бад Гаштейн,— откашлялся и попросил Хартунга освободить от папок какой-нибудь стул.

Хартунг ответил, что, если конференция не затянется, он вполне может постоять.

— Хорошо,— улыбнулся профессор.— Речь действительно идет о конференции, и вы должны будете на нее поехать. В начале мая, в Софию. Вот тематический план.— Он протянул ему листок.— Согласны?

Доктор Хартунг бегло просмотрел план.

— Меня это очень интересует, господин профессор.

Биркхеймер кивнул.

— Нам предлагают содоклад по третьей теме. Я уже распорядился подобрать для вас необходимый материал.— Он указал рукой на груду папок, лежавших на стуле у окна.— Более подробно мне хотелось бы поговорить с вами в начале будущей недели.

— Я ведь в пятницу уезжаю, господин профессор.

— Да, да, совсем забыл. В таком случае — через две недели. Прихватите, пожалуйста, ваши папки. На тот случай, если придет посетитель, который не умеет так хорошо стоять, как вы.

Биркхеймер еще раз энергично откашлялся. К своему кашлю он привык не менее, чем к своей скромности. Но не успел Хартунг прикрыть

за собой дверь, как профессор забыл и об астме, и о скромности, и о старшем враче. Он думал только о параличе сердца, от которого с каждым годом умирает во цвете лет все больше и больше мужчин.

■

На рождество Хартунг стал обладателем двухкомнатной квартиры в новом доме на восточной окраине города. Ему нравился этот дом, где кроме него жили только электрики — инженеры и рабочие. Сейчас он поставил машину на обычное место под фонарем и принялся выгребать из нее папки.

— Добрый вечер, господин доктор,— послышался голос его соседа по площадке, монтера Герберта Цауника.— Дайте-ка мне часть...

— Прекрасно,— обрадовался Хартунг.— Не то я, пожалуй, полбольницы растеряю на лестнице.

Он положил на руки Цаунику груду папок, а оставшиеся взял сам.

— В ударники метите? — спросил Цауник.

— Вы, дорогой сосед, как всегда, мыслите слишком ортодоксально. Кстати, сегодня у меня есть время для двух партий.

— А у меня сегодня партийное собрание,— возразил Цауник,— и для шахмат, к сожалению, нет времени.

Собеседники усмехнулись. Они прекрасно ладили, хотя вели иной раз бурные споры: каждый считал другого «хорошим парнем», только Цауник, по мнению врача, уж очень часто рассуждал догматически, а врач, по мнению Цауника, явно страдал интеллигентскими заскоками.

Пока Хартунг искал в кармане ключ от дверей, в квартире задребезжал телефон.

Звонила Дорис Шефер, библиотекарь Государственного книгохранилища. Хартунг извинился, он совсем забыл о назначенном свидании. Если она с мотороллером, пусть едет прямо к нему. Дорис сказала, что возьмет такси. Ей не хочется, чтобы роллер стоял у его подъезда до самого утра.

Хартунг, едва успев поблагодарить Цауника, ответил в телефонную трубку, что очень рад. Потом взял почту и уселся читать письмо от матери.

«Дорогой мальчик!

Пишу тебе, чтобы ты не беспокоился. А то прошла уже целая неделя. Сегодня мне писать не о чем; кое-что я, пожалуй, могла бы тебе рассказать, но лучше приберегу к твоему приезду. Ведь ты обязательно приедешь?

Не помню, писала ли я тебе, что большая азалия, которую ты подарил мне пять лет назад, зацвела вовсю. Старушка, что живет внизу, приходит ко мне каждый день и просто не может налюбоваться азалией. такая это красавица. Больше, право, никаких новостей. Я здорова, Войнары тоже здоровы, все до одного; в деревне никто не умер, и на Запад за это время никто не сбежал. Помнишь ли ты Кёнигов? После войны фрау Кёниг с дочкой была здесь, она сестра Войнара, припоминаешь? Она — ее дочь, значит,— скоро приедет к Войнарам в гости, они лет десять ничего друг о друге не знали. Всем любопытно, что стало с этими людьми. Малышка в то время была худущая-прехудущая, с каштановой косой. Ее звали Сабина. Рада, что ты приедешь.

Кланяюсь тебе, твоя мама».

С краю она приписала:

«Если тебе попадутся грецкие орехи, привези немного. Я испеку ореховый торт».

Хартунг улыбнулся. Каждый раз, когда он приезжал домой, мать пекла ореховый торт. Он мужественно ел и похваливал, хотя ореховый

торт любил не больше, чем рыбий жир. Хартунг записал в блокноте «орехи» и для памяти сунул письмо матери в портфель.

Внизу у подъезда остановилась машина. Хартунг выглянул в окно. Из такси вышла Дорис Шефер, посмотрела наверх и, улыбнувшись, помахала рукой.

Глава вторая

Земля была холмистая, нетронутая. Мирная, благоденствующая земля.

Ее правильно, с толком использовали: деревни и города, хорошенькие, как игрушки, разместили и в узких и в широких долинах, хутора разбросали по склонам холмов, а высокие горы словно отодвинули к далекому горизонту.

В одной из долин стоял завод. Не мрачные закоптелые корпуса цехов, а легкие, веселые, яркие здания — зеленые, желтые и коричневые; дикие гуси, летевшие на север, принимали их за луга и поляны; даже обширные заводские дворы и дороги участвовали в этой веселой игре и старались ввести гусей в заблуждение.

Узкая бетонированная дорога, описывая большую дугу, вела от завода вверх, туда, где в тихой лощине архитектор поместил красно-желтый поселок, вкрапив его в середину старого вишневого сада.

Десятка два домиков, не похожих один на другой, дышали достатком и благополучием и едва ли нуждались в названии, присвоенном этому поселку,— Горный покой.

Деревья вокруг домиков стояли еще голые, без листвы, такие же новенькие, как все остальное: штакетник, телевизионные антенны, медные дощечки на калитках. Число блестящих дощечек с фамилиями владельцев соответствовало числу необходимых заводу людей — тех, кто обслуживал станки-автоматы, и тех, кто сидел на пластмассовых табуретах у пультов управления.

За поселком, слегка поднимаясь к лесу, зеленела веселая солнечная лужайка. Здесь можно было отдохнуть, поваляться на траве, погонять мяч, а возле самой опушки в бассейне дремала прозрачно-зеленая вода. Даже в саду у миллионера вряд ли найдется бассейн бо́льших размеров.

Трава на лужайке еще не была примята, кругом властвовали маргаритки, прозрачно-зеленая вода еще ни разу не смывала пот и грязь с человеческого тела. Водой пользовался пока только старший инженер Бритце, который мастерил игрушечный военный флот — с подводными лодками и авианосцами — и не брал на вооружение ни одного корабля, не проверив его плавучести в бассейне. Старший инженер Бритце говаривал — то ли в шутку, то ли всерьез,— что он соревнуется с господином военным министром, и ему трудно сказать, чей флот раньше достигнет мощности военного времени. Все дело в том, утверждал старший инженер, что для своей причуды он, Бритце, не располагает теми миллионами марок, которые отпущены на причуды господина военного министра.

Позади игрушечного океана старшего инженера поднимался лес. Местами он круто шел вверх, как бы делая прыжок сразу на полствола, и чем выше прыгал, тем реже попадались в нем красноватые плешины лиственных деревьев, а на самой вершине сине-зеленые ели сливались с синим шелком мартовского неба.

Сабина Кёниг стояла в своей комнате у открытого окна и смотрела на благоухающий лес и шелковое небо.

«До чего красиво, — думала она,— как на курорте. А отец с матерью опять не поедут к морю, хотя он обещает ей это уже столько лет подряд.

«Зачем? — скажет он.— Неужели на каком-то Северном море красивее, чем здесь?» Мать будет настаивать. Обещал ведь. А он покажет ей свою сберегательную книжку или купит еще одну акцию. Потом притащит из подвала домашнюю наливку, усадит мать перед телевизором — и киношное море начнет вздымать свои волны. И тогда он опять скажет, как вчера, что его дочь, несомненно, сделает выгодную партию — еще бы, такая красавица, к тому же с университетским дипломом. Что и говорить, партия неплохая.

Мать кивнет. На Северное море они не поедут. По-прежнему мать целые дни будет простаивать на кухне, консервировать ягоды и фрукты, а отец — работать в саду. И когда он выполет последний сорнячок, прогонит последнего муравья, снимет последнюю тлю с листка, вышвырнет заблудившегося крота и с точностью до миллиметра — хоть проверяй по ватерпасу — выровняет дорожки, тогда он, конечно, займется помидорами или... О господи, для него всегда отыщется дело, ему постоянно надо что-то подстричь, окопать, подтянуть, привести в порядок... А из меня он сделает «хорошую партию».

Девушка, наморщив лоб, пристально смотрела на небо, которое казалось ей вовсе не шелковым, а линялым и скучным, как на почтовой открытке. И лес походил на выстроившуюся лесенкой хоровую капеллу: кто вырастил тебя так красиво на горе? Разумеется, можно провести отпуск и в поселке Горный покой, можно провести здесь всю жизнь — между домом и садом, между небом с почтовой открытки и лесом, похожим на хоровую капеллу. Но провести так жизнь — значит прожить ее впустую.

Сабина отошла от окна. Из подвала вернулся заводской мастер Макс Кёниг с лопатой и граблями на плече и с ведерком из-под джема, которое он приспособил для бурьяна и личинок майского жука. Прежде всего он обстоятельно осмотрел свои вишневые деревья. Из них он оставит только два лучших. Он уже вывел известью большую цифру на каждом стволе, эта же цифра будет запечатлена на консервной банке. И в одно прекрасное воскресенье, когда они отведают вишневого компота, отец решит, какому дереву цвести будущей весной.

А сейчас он принялся за работу и стал разбивать новую грядку между деревом III и деревом IV. Здесь будет посажен итальянский салат.

«Даже салат,— подумала Сабина,— он сажает для того, чтобы я считалась хорошей партией».

За спиной девушки открылась дверь.

— Ты готова?

— Знаешь, мама, укладывать вещи я за эти годы все-таки научилась,— ответила Сабина с улыбкой.

Мать пропустила ее слова мимо ушей, но, положив на стол какие-то предметы, завернутые в папиросную бумагу, сказала:

— Что с тобой, дочка? Ты и в дом не успела войти, как я заметила в тебе перемену. Какая-то ты недовольная... Уж не влюблена ли?

— Нисколько, мама! — Сабина сама не понимала, что с ней происходит, и это огорчало ее.

— Может быть, ты нездорова? Даже отец заметил...

«Стоит мне только кивнуть,— подумала Сабина,— и мать уйдет в сад помогать отцу сажать овощи, чтобы у меня все было. Ах, мама, что-то в твоей жизни неправильно, а может, и в моей или в жизни вообще. Но если я скажу тебе об этом, ты расстроишься».

— Пустяки, мама! — Сабина подошла к столу и откинула крышку чемодана.— Просто немного устала. Вот и все.

Она начала перекладывать книги и белье, пытаясь освободить место для вещей, принесенных матерью.

— Надеюсь, я выбрала именно то, что им нужно,— сказала фрау Кёниг, следя за тем, как дочь укладывает в чемодан всевозможные кульки и мешочки.— Мы плохо представляем себе, как они там живут. Думаю, что продукты у них все же есть. А впрочем... Скажи им: если они голодают, мы поможем. Уж это я обязана сделать для брата и его семьи! И объясни ему, почему мы не пишем.

Взглянув на мать, Сабина захлопнула чемодан. У нее чуть не сорвался с языка вопрос, но она промолчала. Сколько ни спрашивай, ответ будет один: отец не хочет. Почему? Этого мать не знает, а противиться его воле давно разучилась. Достаточно того, что тайком от отца она посылает подарки, и знает, что дочь едет на Восток, а отец — тот не разрешает даже поздравить родственников с Новым годом.

Сабина тоже, не раздумывая, подчинялась запрету отца. Но ведь до этого года весеннее небо ни разу не казалось ей небом с открытки.

— Хорошо,— сказала она.

— И пусть они не пишут мне. Не забудь их предупредить.

— Не забуду.

— И еще, дочка,— мать метнула быстрый взгляд в окно, чтоб удостовериться, работает ли отец на грядке между вишнями III и IV,— скажи моему брату, скоро у католиков большой праздник, может, он приедет, и мы встретимся. Как бы я была рада!..

— И я, мамочка, рада, что еду к ним.— Сабина обняла мать.— Ведь я это делаю отчасти для тебя. Не так ли?

Агнеса Кёниг кивнула. Сабина пообещала ей сфотографировать всех родственников. Надо полагать, этого у них не запрещают.

До отъезда оставался час. Она помогла матери накрыть на стол.

Макс Кёниг кончил работать. Он спустился в подвал, переобулся, надел другие брюки и, довольный, в хорошем настроении, уселся перед телевизором. Когда Сабина принесла сковороду картофеля — непременное блюдо на ужин у Кёнигов, какой-то широколицый человек с жестоким ртом и прядью волос на лбу объяснял с экрана, почему для Германии жизненно необходимы военные базы в Испании.

Сабина слушала, не сводя глаз с этого человека. «Каждый раз то же самое,— подумала она.— Я смотрю на него, как кролик на удава».

Макс Кёниг тоже слушал и одобрительно кивал.

— Нигде не найдешь таких людей, как у нас! — сказал он и перешел к столу.

Пожелав всем приятного аппетита, глава семьи положил себе на тарелку четыре ложки жареного картофеля, как делал это каждый вечер.

Глава третья

Смеркалось, когда доктор Хартунг в четверг вышел из клиники. Он покидал ее на целую неделю.

Вот уже пять лет он ежегодно берет отпуск ко дню рождения матери.

После обеда заходила фрау Мартен. Ему удалось получить для нее санаторную путевку с начала будущей недели. Эта женщина, дважды премированная ткачиха, была умной и доброй матерью. Хартунг не сомневался в том, что она совершенно выздоровеет, снова будет работать и воспитывать ребенка, не ею рожденного.

О своих больных он тоже позаботился. Теперь можно подумать и о матери. Орехи он купил, а консервированных ананасов все еще не достал. Но завтра мать обязательно их получит. Нельзя лишать ее этой маленькой радости.

Он подрулил к стоянке между магазином и отелем «Националь». Хромой швейцар распахнул перед ним двери. В холле было тихо и пусто. Белокурая буфетчица с высоко взбитыми волосами вязала за стойкой,

вуалехвостые рыбы в аквариуме под электрическими часами таращили глаза сквозь толстое стекло.

В ресторане сидела одинокая пара. Они пили шампанское и закусывали рыбой. У женщины на руках сверкали браслеты и кольца.

Появился обер-кельнер. Он был сдержан, вежлив и исполнен достоинства, хотя международная ярмарка уже кончилась, а международного конгресса пока не предвиделось.

Посетитель хотел повидать господина Гофмана и, кстати, выпить чашечку кофе.

Кофе подали сразу, и, прежде чем в чашке растаял сахар, появился маленький сереброволосый метрдотель.

— Разумеется, ананасы есть, я тотчас распоряжусь. Что касается самочувствия, благодарю вас, господин доктор, не жалуюсь. Если господину доктору угодно поужинать, могу предложить паштет из гусиной печенки с трюфелями, настоящий деликатес.

Хартунг, улыбнувшись, признался, что никогда не пробовал гусиной печенки с трюфелями. Ему не очень хотелось есть, но он понимал, как жестоко разочарует маленького господина Гофмана, если не отведает этого замечательного блюда.

Метрдотель слегка наклонил голову, он радовался возможности доставить гостю удовольствие... На прощанье они улыбнулись друг другу — сереброволосый человечек и доктор Хартунг, ужинавший здесь два раза в месяц с тех пор, как несколько лет назад он выехал из комнаты, которую снимал у господина Гофмана.

В холле застучали металлические каблучки. Вошла молодая женщина и нерешительно осмотрелась. Свободных мест было много. Наконец она выбрала столик и села спиною к парочке, попивавшей шампанское.

Хартунг разглядывал вошедшую, как до того разглядывал оживленную парочку — с бессознательным и ленивым любопытством,— и вдруг ему показалось, что где-то он уже ее видел. В его памяти смутно и неопределенно запечатлелись очертания этого ясного приветливого лица.

Парочка расплатилась и с сознанием собственного достоинства покинула ресторан. Хартунг посмотрел вслед уходящим и, повернув голову, встретился взглядом с молодой женщиной. Она понимающе улыбнулась ему мимолетной, ни к чему не обязывающей улыбкой.

И тут его словно осенило. Да, он, конечно, видел это лицо с крупным красивым ртом и светлыми спокойными глазами. Он знал это лицо, когда черты его еще не были так твердо очерчены.

Хартунг упорно рылся в своей памяти, силясь вспомнить время, место, имя — все, что могло быть связано с этим лицом. Безуспешно. Но каждый раз, подымая глаза, он встречал внимательный, пытливый взгляд.

Вдруг Хартунгу показалось, будто женщина доверчиво кивнула ему. И тут она поднялась с места и подошла к его столику.

Хартунг привстал, готовый извиниться за то, что так назойливо рассматривал ее.

— Простите, возможно, я ошибаюсь,— сказала девушка,— но мне кажется, я вас знаю.

Она покраснела, однако глаза ее по-прежнему были ясные и спокойные. Хартунг видел, что она красива, хотя не мог понять, в чем заключалась ее красота.

— То же самое я хотел сказать вам. Но только,— Хартунг пожал плечами,— не могу вспомнить, где вас видел.— Смутившись, он стал похож на мальчишку.

— Когда я вас знала,— сказала она,— вы были шорником...

— Учеником шорника,— поправил он ее и сразу вспомнил — Сабина! Сабина Кёниг! Та самая девушка, о которой писала мать.

В последние месяцы войны Роберт Хартунг и его мать поселились на усадьбе крестьянина Войнара в маленькой верхнелужицкой деревушке. Сюда весной 1948 года приехала и Сабина Кёниг со своей матерью. Они прожили несколько месяцев на той же усадьбе — Войнар приходился братом ее матери,— пока за ними не приехал и не увез их с собой заводской мастер Макс Кёниг, точно так же, как за несколько недель до этого акционерное общество «Алюминий» увезло его самого. Все это произошло, когда общество приступило к строительству завода в Южной Германии, ибо старый, расположенный в Средней Лужице, стал народным предприятием. Роберт Хартунг и Сабина Кёниг почти не обращали внимания друг на друга. Ему, закончившему школу и изучавшему шорное ремесло, было девятнадцать, а ей, гадкому утенку, худущему-прехудущему, с каштановой косой через левое плечо,— одиннадцать.

Этого было, конечно, маловато, чтобы зажечь гирлянды воспоминаний, но и слишком много, чтобы после сегодняшнего вечера просто кивнуть и разойтись. Полные живого интереса и доверия друг к другу, они обменялись векселем, номинальная ценность которого значительно превышала реальную наличность.

— С тех пор я там не была,— сказала Сабина.— Завтра утром поеду к дяде.

— Моя мать живет у ваших родных и поныне. Завтра утром,— он улыбнулся, повторяя ее слова,— поеду к ней. У меня в машине есть место...— Последняя фраза как бы повисла в воздухе. Он не знал, как называть свою новую знакомую.

Она тоже почувствовала неловкость. В сущности, он ей совсем чужой, даже имени его она не могла вспомнить.

— С удовольствием поеду с вами. Но сейчас я должна извиниться, у меня важное деловое свидание.

Хартунг заметил, что она говорит с легким, едва уловимым швабским акцентом. «Ей было одиннадцать, когда она туда приехала,— подумал он.— В этом возрасте на новой родине усваивают даже акцент».

Он сказал, что будет ждать ее в шесть утра здесь, в отеле. Они позавтракают и сразу поедут.

Сабина согласилась. Он пожелал ей приятно провести вечер. Она возразила — к сожалению, ей надо еще поработать — и, взглянув на часы, попрощалась коротко и торопливо.

Хартунг смотрел ей вслед. Вот она прыгнула на ходу в трамвай и заговорила с кем-то из пассажиров. Должно быть, спрашивает, в том ли направлении едет.

Включая зажигание, Хартунг вспомнил, что оставил банки с ананасами в ресторане и не рассчитался ни за них, ни за паштет с трюфелями. Он вернулся и уплатил по счету к полному удовольствию корректного обер-кельнера.

Заправив машину горючим, Хартунг поехал домой. На лестнице он встретил супругов Цауник. Они шли в театр смотреть «Разбитый кувшин». Хартунг торопливо взбежал к себе и позвонил в театральную кассу. Ему повезло, билеты еще были. Он отворил окно, сбросил ключ вниз — пусть Цауник с женой, не теряя времени, усаживаются в машину.

Поспешно переодеваясь, Хартунг думал о сегодняшней встрече и о том, как приятно будет ехать завтра рядом с Сабиной Кёниг.

Глава четвертая

Солнце поднималось в предрассветном тумане, и они ехали ему навстречу. Из невидимого источника струился нестерпимо яркий утренний свет. Все, что попадалось им в пути, было очерчено резкими, словно

стальными, контурами, а промелькнув, таяло в нежном розово-зеленом мареве, окаймленное золотистым ободком.

Вокруг все ожило: норовисто мотают головами лошади, трещат тракторы, соседки судачат через заборы, со двора доносится чей-то сердитый окрик, между фруктовыми деревьями колышется на ветру белье, где-то смеются, где-то переругиваются.

Дети ждут школьного автобуса, двое мальчишек затеяли драку, а девчонки сидят у плотины и глазеют на них. Парикмахер надраивает свою вывеску, пекарь, весь в мучной пыли, стоит, широко расставив ноги, в дверях булочной. В поле вертятся крылья мельницы, справа надвинулся горизонт, синий лес ползет на пригорок, на его макушке строят телевизионную мачту.

Маленький городок остался позади, узкоколейка пересекла дорогу, а вдоль шоссе вытянулась деревня; два крутых поворота — чья-то машина за забором, справа от дороги кабель. Хартунг сбавил газ и рассмеялся: за последним двором притаился контрольный пункт дорожной полиции с печатью, денежным ящиком и телефоном.

Сабина Кёниг искоса посмотрела на Хартунга.

— Вы, кажется, гордитесь, что избежали ловушки?

— Даже министр полиции и тот рад, когда ему удается провести полицейского.

Хартунг из озорства посигналил.

— Еду я однажды,— начал он, словно поясняя сказанное,— и вижу, мне машет рукой полицейский. Останавливаюсь, он влезает в машину. Парень, оказывается, под мухой, свою белую фуражку он стыдливо прячет в портфель. Совсем еще юнец, такой славный малый. Едем. Нет, не могу отказать себе в удовольствии — подъехав к первой же деревне, выжимаю километров пятьдесят пять в час. Пассажир мой поглядывает на спидометр, ерзает, но молчит. Я никуда не торопился, но как только приближался к какому-нибудь селу, давал газ и мчался, точно скорая помощь,— шестьдесят километров в час, не меньше. Полицейский сидит рядом, хмурится и смотрит в сторону. Не желает око закона глядеть на спидометр. Наконец мне стало жалко парня, и в город я въехал по всем правилам уличного движения. Мой пассажир с облегчением вздохнул и напялил свою белую фуражку. А потом ухмыльнулся и сказал: «Я сам страшно тороплюсь, у меня сегодня «мальчишник».

Сабина рассмеялась и, взглянув на Хартунга, неожиданно сказала:

— Знаете что, мне хотелось бы...

— К вашим услугам.

— Мы с вами в песочек не играли и гусей вместе не пасли. Но мы были соседскими детьми, правда только три месяца, так не перейти ли нам на «ты»?

— С удовольствием! И мне странно называть «фрейлейн» того тощего утенка.

— Может быть, потому, что теперь я не такая тощая?

— Нет. Потому, что вчера нам какое-то время казалось, будто мы были знакомы гораздо дольше...

— Жаль, что это не так. Я бы хоть запомнила твое имя...

— Роберт,— тотчас отозвался он.

— ...Хартунг. Так?

— Так.

— Но теперь ты уже не шорник. Может быть — министр полиции?

— Сабина Кёниг, я должен признать, что ты умная девочка! Правда, умная девочка раньше справляется, тот ли это трамвай, который ей нужен, а уж потом садится в него.

— А-а, вчера... Кондуктор прочитал мне по этому поводу целую лек-

цию. Он сказал, что был бы счастлив изменить маршрут, лишь бы я доехала до института.

— Да, да,— подхватил Хартунг.— Еще Гёте хвалил учтивость лейпцигских трамвайных кондукторов...

— А я-то считала тебя туповатым.

— Вот видишь, наговорили кучу комплиментов — я тебе, ты мне. Теперь мы квиты и впредь давай говорить друг другу только правду. Я действительно туп и частенько бываю скучным... Что это за институт?

— Ах да, институт! — сказала она, сообразив, о чем он спрашивает.— Славяноведения. Я изучаю славистику и сейчас пишу дипломную работу, посвященную языкам определенной группы, особенно языку лужицких сербов. С этой работой и связана моя поездка.

— Никогда бы не подумал, что у вас в ФРГ занимаются подобными проблемами,— заметил Хартунг.

— У нас публикуется больше работ по славистике, чем у вас в Зоне,— сказала она с гордостью.

— Неужели?

— Да. И главное, более фундаментальных.

Хартунг бросил на нее иронический взгляд. Горячность спутницы забавляла его.

— Вы так полагаете? — спросил он.

— Да, полагаю, даже рискуя тем, что ты сейчас отогнешь лацкан пиджака, покажешь свой партийный значок и...

— Кстати...— прервал он ее,— тебя не предупреждали, что за пределами Лейпцига и, разумеется, Берлина ты не сможешь носить свою настоящую фамилию?

Сабина недоуменно посмотрела на него.

— Нет...

— Тебе следует пойти в полицию и получить на время пребывания у нас другую фамилию.— Он посигналил гусям на дороге.— Западным немцам здесь обычно присваивают номер.

— То есть как номер?

— Очень просто. Ты будешь, например, две недели...

— Десять дней,— поправила она.

— ...называться фрейлейн Сабина Тринадцать.

Она засмеялась, но Хартунг и глазом не моргнул.

— А ты разве не знала? Фамилии Кёниг, Кайзер, Герцог и тому подобные у нас демократизированы.

Сабина опять растерялась. Все возможно. Прочла же она вчера в газете, что по вине *гражданки* такой-то, нарушившей правила уличного движения, произошел несчастный случай.

— С Кёнигами было просто,— продолжал Хартунг.— Их переименовали в Людвигов, по примеру французов, которые превратили короля в гражданина Людовика.

Это звучало убедительно.

— А с Кайзерами? — спросила она.

Хартунг сделал вид, будто все его внимание поглощено дорогой, и не сразу ответил, силясь придумать какую-нибудь правдоподобную бессмыслицу.

— Видишь ли, с Кайзерами возникли большие трудности,— сказал он, растягивая слова.— Во всей немецкой истории не было ни одного кайзера, поведение которого отвечало бы минимальным требованиям прогресса и кто был бы достоин стать родоначальником последующих кайзеров. Пришлось перебрать всех вплоть до Юлия Цезаря, но возможности, которые здесь представились, отдавали латынью, и безоговорочно использовать их в Мейсене...— они как раз въезжали в этот город — было нельзя.

Сабина, искоса взглянув на него, подавила смешок.

— Тогда,— продолжал Хартунг,— решили присмотреться к предку Юлия Цезаря — Энею. Но у Энея были темные страницы в личном деле, например, история с Дидоной. Наконец, перескочив через несколько сотен родоначальников, остановились на праотце Адаме. Доказано, что он первый восстал против бога, и поэтому у нас всех Кайзеров переименовали в Адамов.

— Господи,— вздохнула Сабина,— представляю, как это было трудно! И у нас изменили некоторые фамилии на более подходящие. Но нам было легче. Мы исходили не из идеологических, а из моральных критериев. Например, всех Хартунгов у нас переименовали в Мюнхаузенов!

Хартунг одобрительно кивнул.

— А теперь пусть кто-нибудь попытается разыскать в Германии своих родственников! — Оба рассмеялись.

— Да, ты, конечно, не министр полиции. Те не умеют так ловко врать.

— Кто же я, по-твоему?

— Может быть, сочинитель.

— Я дружу с одним сочинителем, но не думаю, чтобы я от него заразился.

— Значит,— она на мгновенье запнулась,— ты зубной врач! Все зубные врачи обманывают. «Не волнуйтесь, больно не будет», а потом болит так, что и лошадь не вытерпит.

— Правильно,— сказал он, чуть помедлив.

— Как я рада, что у меня не болят зубы.

— Зубных врачей я тоже боюсь,— сознался Хартунг.— Дрезден! — воскликнул он, показывая рукой вперед.

Сабина Кёниг всматривалась в туманные очертания города, вставшего в утренней дымке. Нет, не развалины возникли перед ее глазами. Вдали, за Эльбой, блестели ряды новых крыш.

— У вас трудно разобраться,— сказала Сабина.— Все не так, как себе представляешь. Например, Дрезден.

— Да,— сказал он,— если *так* представлять себе...

Прямо перед ними и справа на горизонте плавно поднимались горы, а вместе с ними автострада. Город остался позади в долине.

— Ты шутишь,— сказала Сабина,— а для меня здесь все — открытие.— Впереди медленно пересекала автостраду телега с запряженными в нее коровами.— Это тоже открытие,— добавила она,— но веселое и мимолетное. Боюсь, тебе этого не понять.

Они нагнали упряжку. Коровами правил паренек лет двенадцати. В телеге сидели трое ребятишек поменьше и горланили что есть силы.

Сабина быстро опустила стекло — дети пели модную песенку.

— Совсем как у нас,— рассмеялась она.

Ребятишки, продолжая петь — это видно было по их губам,— помахали вслед машине.

— Ты хотела бы иметь детей? — неожиданно спросил Хартунг.

Сабина взглянула на него с недоумением.

— Никогда об этом не думала.

Он готов был сказать, что удивлен таким ответом, но в этот момент — они как раз свернули с автострады на узкую дорогу — откуда-то выскочил мотоцикл и понесся им навстречу. Хартунгу понадобилось мобилизовать все свое внимание, чтобы не столкнуться с лихачом. Позади парня в красном шлеме сидела его подруга с развевающейся на ветру гривой. Мотоцикл стрелой промчался мимо. Хартунг проворчал:

— Никогда не знаешь, что выкинут эти потенциальные самоубийцы, когда осознают опасность, возникшую по их же вине. А вот,— он показал на геодезическую вышку,— мы почти и дома.

— Я немного волнуюсь, как меня примут,— сказала Сабина.

Хартунг удивился.

— Почему бы им принять тебя плохо? Твои дядя и тетка лучшие из людей, каких я знаю.

— Дядя прекратил с отцом всякие отношения тогда, в сорок восьмом,— ответила Сабина, и Хартунг не заметил, как она покраснела.— Потом отец запретил матери писать ему.— Сабина пожала плечами.— А ведь он единственный ее брат.

— Мы с тобой только что шутили над тем, как трудно сейчас разыскать в Германии родственников. Но если говорить всерьез, ненавидеть через границу позволено, а вот дружить, сохранить семью или — упаси бог! — любить через эту проклятую границу с каждым днем становится труднее. Мы разобщаемся все больше и больше, хочется нам в этом признаться или нет. И даже когда говорим «Германия», все равно каждый подразумевает Восток или Запад.

«Да, мы говорим «Германия» и «Зона»,— подумала Сабина,— и считаем, что скоро вернем Германии Восточную зону».

— А вообще я врач,— добавил Хартунг,— и, слава богу, могу обойтись без этой разнесчастной проблемы Восток—Запад.

Он свернул с шоссе на проселочную дорогу, которую перерезал ручеек. Минуя деревню, эта дорога, огороженная ивовыми плетнями, вела прямо к усадьбе крестьянина Петера Войнара.

Еще издали они увидели в открытом окне второго этажа седую женщину. Она ждала сына. И знала, что ждет не напрасно. Потому что любовь этого сына стоила любви четырех сыновей.

Глава пятая

Марта Хартунг не вышла сыну навстречу. Она поджидала его наверху в своей маленькой квартире.

Хлопнули дверцы машины, послышались неясные голоса, затем шаги на лестнице, медленные и осторожные. «Наверно, опять тащит огромный горшок с цветами».

Дверь распахнулась, и Хартунг остановился на пороге с большим букетом темно-красных гвоздик в одной руке и чемоданом — в другой.

— Цветы, мама, это только украшение. У меня здесь ворох подарков.— Он потряс чемоданом и, поставив его на пол, протянул матери цветы.— Живи столько лет, сколько здесь лепестков. Долгих лет тебе, спокойных и бодрых, мама!

— Уж я стараюсь,— ответила она.— А цветы очень хороши!

Только сейчас Хартунг заметил, что она держит в руках кофейную чашку, хотя стол был уже накрыт к завтраку.

— Разве кто-нибудь еще придет? — спросил он с удивлением.

— А твоя невеста?..— в свою очередь удивилась мать.

Он объяснил ей, что она ошиблась, и Марта, разочарованная, поставила чашку обратно в буфет. Хартунг знал, как ее огорчает то, что он все еще не женат. Ему захотелось утешить ее и рассказать о Дорис Шефер. Открывая чемодан, он как бы вскользь заметил:

— Это потому, что я никак не найду второе издание тебя.

И он говорил правду. Мать не могла жить без его любви, и он отдал ей эту любовь. Всю без остатка.

Хартунг протянул подарки — пушистую вязаную кофточку и двухъярусную коробку конфет.

— А это,— он спрятал руки за спину,— это, чтобы ты денек жила богато и красиво.

— Ананасы! — обрадовалась она.— В воскресенье я сварю кофе и угощу всех ананасом со сливками. Сливки принесут Войнары.

Он закрыл чемодан.

— Пусто?

Доктор Хартунг улыбнулся.

— Там осталась еще неделя отпуска.

Она радостно кивнула, вынула кофе из духовки и разлила по чашкам. На столе стоял ореховый торт.

— Я достала орехи,— сказала она.

— Чудесно, а мои в машине.— Он покосился на торт — непременное приложение к воскресному кофе еще с того времени, когда шорник Хартунг, его жена и их четверо сыновей жили в маленьком домике, в деревушке неподалеку от Глогау. Теперь в спальне матери на комоде стоят четыре фотографии всех покойных — мужа и трех сыновей, и там же фотография четвертого сына — того, кто остался в живых. Худое, серьезное, усталое и очень счастливое лицо: он выдержал государственные экзамены summa cum laude *.

В столовой висел только портрет Роберта, нарисованный цветным мелком. Какой-то художник, один из его пациентов, подарил ему этот рисунок. Марта Хартунг не хотела, чтобы каждый, кто входил к ней, видел ее горе. Горе утихло, и отчаяние, жгучее, беспросветное отчаяние, стало воспоминанием, сотканным из белых и серых, из красных, черных и синих нитей. И случалось, что воспоминания, которые связывали ее с Руди, с ее старшим, она относила к Роберту, к тому, кто остался в живых, но ей уже не хотелось вести счет годам, проверять, не ошиблась ли она. Прошлое принадлежало ей, ей одной. И она ни перед кем не была обязана отчитываться в том, как она обращается со своим прошлым.

Настоящее — это сын, хороший сын и хороший врач. Всякий, кто входил к ней в дом, мог увидеть его портрет, мог спросить о нем. И она охотно отвечала. «Это мой мальчик. Он учился, а я работала, нам было очень трудно прокормиться и одеться. Частенько нам не хватало самого необходимого. А теперь он закончил учение, теперь он работает, а я сижу сложа руки и получаю бонбоньерки величиной с мой ящик для шитья, и ананасы, и теплую кофточку ручной работы. И теперь мы, я и он, у себя дома в этой деревне, на этом клочке земли. Здесь мы начали жить, он и я. Моя жизнь прошла. Это я умерла, когда танк врезался в колонну беженцев; и Дитер... Три сына убиты, а четвертый — врач, и моя любовь ко всем перешла на него одного. Но разве нужно сравнивать прошлую жизнь и теперешнюю?»

Она взглянула на сына.

— Как тебе живется, Берт?

— Хорошо, мама! — Он кивнул ей и поднес чашку ко рту. «Кофе куда более жидкий, чем был на рождество,— подумал Хартунг.— Она всегда пила только черный, а сейчас чуть ли не на четверть разбавляет его молоком. Ее сердце работает все хуже, и она это знает».

Он положил ладонь на испещренную синими венами руку матери.

— Я очень рад, мама, что ты чувствуешь себя хорошо,— сказал он.

— Да, слава богу. После троицы собираюсь навестить тебя, но ты должен за мной приехать.

Они смотрели друг на друга и радовались тому, что они вместе. Все было как всегда. На столе ореховый торт; перед окнами дикий виноград, где чирикали воробьи; на окне цветущая азалия и карликовая пихта, которая не чахнет и не растет; и седые волосы матери и ее твердый, звучный голос.

---

* С отличием *(лат.)*.

Только щеки ее и лоб казались чуть краснее обычного.

Со двора донесся голос крестьянина, вернувшегося с поля, вслед за ним незнакомый девичий голос. Марте Хартунг показалось, что сын старается уловить слова девушки.

Глава шестая

Тревога Сабины, не знавшей, как ее примут родственники, оказалась напрасной. И вовсе не благодаря маленьким подаркам, посланным Агнесой Кёниг. Правда, Петер Войнар радовался электрической бритве, которая с тихим жужжаньем снимала щетину, ничуть не меньше, чем его теща — коробке шоколадных конфет. Но еще больше его радовала весть, что сестра жива и здорова. Он немедленно испробовал бритву и расхвастался — отныне он будет бриться каждый божий день. А теща торжественно заявила, что теперь она каждое воскресенье будет съедать по «западной» конфете. Всех рассмешило хвастливое обязательство крестьянина и необыкновенно важное решение старушки.

Войнары сердечно приняли Сабину, она была здесь желанной гостьей. Отчужденность и смущение исчезли в первый же час, Сабина опять стала для них племянницей, простой и разумной девушкой, и никто не считал себя обязанным менять ради нее обычный распорядок. Днем нужно работать, Сабине тоже,— она сама писала об этом. Для болтовни хватит времени по вечерам, все еще долгим и прохладным.

Сабине очень нравилось, что ее принимают именно так. Она убедилась, что эти десять дней сможет заниматься без помех и значительно продвинуть свою работу.

Сразу же после обеда она вытащила заранее приготовленный опросник и подсела к теще Войнара. Старуха отвечала на ее вопросы пространно и невразумительно, без конца вспоминая о кофе, который прежде выписывала из Бремена. Вот это был кофе, и какой дешевый!

Незадолго до закрытия лавки Анна Войнар попросила племянницу сбегать за хлебом.

Деревянный барак, где кроме продуктов можно было приобрести и другие товары первой необходимости, ломился от покупателей. Сабине пришлось долго ждать, пока ей отпустили хлеб. Зато она, привыкшая делать свои записи украдкой, вернулась домой с богатой научной добычей. Она извлекла ее из услышанных разговоров.

Выходя из лавки, Сабина увидела на противоположной стороне улицы Роберта Хартунга. Он стоял, прислонившись к садовой ограде, и беседовал с каким-то человеком, вскапывавшим грядки.

Роберт сразу заметил девушку.

— Подожди меня, Сабина,— крикнул он и обратился к человеку за оградой: — Будь здоров, Георг. Мы еще поговорим, ведь я здесь пробуду целую неделю.

— По вечерам я дома,— ответил тот.— Заходи, если сможешь.

Хартунг кивнул ему и подошел к Сабине.

— Родные не дооценили моего аппетита,— улыбнулась она.

— Не будь у тебя хлеба в руках, ты бы пошла со мной. Мне нужно заказать песочный торт.

— Не обязательно держать хлеб на виду,— возразила Сабина.— Что ж, пойдем!

Булочная, вновь отстроенная после войны, находилась на полпути между деревней и соседним селом. Она была уже заперта. Хозяин, единственный пекарь на полторы тысячи жителей, показался в дверях, усталый и неприветливый. У него были машина, телевизор, в гостиной лежал

китайский ковер. Но этому всегда утомленному человеку богатство не доставляло решительно никакой радости.

Он узнал доктора Хартунга. Тень вежливости промелькнула на его одутловатом лице, и он ворча принял заказ.

Смеркалось. Перед ярко освещенной лавкой пролегли широкие полосы света. Человек, которого звали Георг, уже не копался в своем саду. Сабине, по природе не любопытной и не любившей вмешиваться в чужие дела, страстно хотелось знать, о чем говорили доктор и рабочий Георг.

— Твой пациент кончил сеять редис,— сказала Сабина, заглянув через ограду и делая вид, будто она что-то там заметила.

— Пациент? — Хартунг покачал головой.— Нет, у Георга есть сын, который кончает школу и хочет стать морским офицером. А отец вбил себе в голову, что сын будет врачом.

Сабина посмотрела на Хартунга чуть ли не с обидой. Ведь Георг, без сомнения, рабочий. Как же так?.. Это уж слишком!

И вдруг она улыбнулась. «Опять потешается надо мной. Идет рядом с невиннейшим видом и выдумывает всякую ерунду, как тогда с фамилиями».

— А не хочет ли его сынок сразу стать адмиралом? — насмешливо спросила она, думая, что вывела Хартунга на чистую воду.

Но он не понял насмешки. Когда это желания родителей совпадали с намерениями детей? И чему тут удивляться? Важно, по его мнению, другое: Георг, с которым Хартунг вовсе не так уж дружен, захотел поделиться своими огорчениями именно с ним.

— Раньше,— стал пояснять Хартунг,— со всякими сомнениями шли к учителю или к священнику. Теперь большинство, даже те, кто ходит в церковь, считают, что священник во многом некомпетентен и не способен дать толковый совет. Люди полагают, что он во власти предубеждений и слишком привержен к другой стороне.

Хартунг почувствовал двусмысленность своих слов, но не стал ничего уточнять.

— А с учителем,— продолжал он,— местные слишком накоротке. Они выслушивают его мнение, однако оно значит для них не больше, чем мнение доброго соседа. Особенно если учитель — что тоже случается — лишь повторяет слова из газет. Тогда ему отводят такую же роль, как священнику. Здешние люди говорят, что голова у него набита цитатами и в ней нет места для собственных мыслей. Вот тут-то и приходит очередь врача. Во-первых, он учится дольше и, следовательно, должен быть мудрее других. Во-вторых, врач — фигура здесь непривычная, мы редко живем в родных местах, редко приезжаем домой. А кроме того,— добавил Хартунг уже серьезно,— к врачу обращаются только в том случае, если уверены — правильно или нет,— что сам он всегда честно защищает то, что кажется ему справедливым.

Они подошли к усадьбе Войнара.

Сабина остановилась.

— А ты честно защищаешь?

Свет из окон нижнего этажа падал на собеседников, и тень их ложилась на еще голый куст сирени у ворот.

Сабина вдруг заметила, что лицо Хартунга с квадратным лбом и круглым подбородком кажется грубоватым, если не видеть его глаз и не слышать голоса.

— Изучение моего характера не имеет ничего общего со славистикой,— заметил он как бы вскользь.— А вообще, Сабина, я не крестоносец. Но бежать от правоверного мусульманина, если тот захочет вырвать кубок вина из моих рук или из рук ближнего моего, не стану.

Поздно ночью, лежа в постели, Сабина думала обо всем, с чем ей сегодня пришлось столкнуться. От усталости она не могла уснуть. Слишком длинным и насыщенным был этот день, образы и слова беспорядочно теснились в возбужденном мозгу.

Потом мысли ее задержались на Георге, на рабочем, которого беспокоило, кем будет его сын — морским офицером или врачом, и на старухе, теще Войнара, которая словно пробовала сегодняшний день на вкус и на запах, недовольная тем, что он уже не пахнет так, как когда-то пахнул ее кофе из Бремена.

Глава седьмая

Воскресенье выдалось солнечное. С трудом верилось, что на дворе еще март. Воздух казался жемчужным. Тяжелые глинистые поля тянулись мягкими складками, постепенно понижаясь к югу. Они быстро просыхали, и пахотный слой, который под солнцем за несколько дней успеет превратиться в камень, сейчас, рыхлый и мягкий, распадался под бороной.

Вверх по широкому склону холма бежал заяц, оставляя за собой тонкую золотистую пыль. Крестьянин Петер Войнар глядел на эту пыль и понимал, что пора засевать пашню на крутых косогорах. Лучше всего сегодня, немедленно.

Но сегодня воскресенье, а работать в воскресный день великий грех — труд твой все равно пропадет даром. Пашня пылила... Крестьянин направлялся в церковь. В деревню вчера понаехало много чужих. Они уедут после того, как будет основан производственный сельскохозяйственный кооператив «Ивовая роща».

Крестьянин шел медленным шагом: ему трудно было сказать «да» и трудно сказать «нет». «Нет» противоречит рассудку, «да» — чувству. Вся прожитая жизнь — против, а опыт последних лет — за. На крестьянине было черное суконное пальто с бархатным воротничком; точно такое пальто носил его отец и его дед, и шел он той же дорогой, по которой ходили его предки со времен Тридцатилетней войны, а может, и еще раньше.

Он не думал о предках. Они давно уже умерли, и вместе с ними умерли их горести. Он не думал о боге. Бог далеко. Он обитает где-то там, в вышине, и по его воле мартовская пыль вихрится над пашнями: над маленькими наделами крестьян и обширными владениями кооператива. Крестьянин Войнар обдумывал все «за» и «против». Он нес с собой и опыт и пережитое, и шел молча, тяжело ступая.

Две старые женщины, шагавшие позади, тоже молчали. Марта Хартунг по привычке, а у тещи Войнара не было сил одновременно работать и языком и ногами. Они шли в церковь. Марта Хартунг думала о кофе, который она сегодня приготовит гостям, о сыне и о том, что пора ему наконец жениться, не то ей не понянчить внуков.

Старую крестьянку снедали тоска и страх: вот отберут у них не только пашню и скотину, но и дом, и весь инвентарь. Часто вздыхая, она быстро шептала молитвы, губы ее беспрерывно шевелились, повторяя: «Господи, прости и помилуй нас, грешных! Я бывала иной раз заносчива и высокомерна с Мартой, потому что у нас было всего вдоволь, а у нее не было ничего».

■

С тропинки, спускавшейся с холма к каменоломне, Сабина и Хартунг видели людей, идущих в церковь.

— Они христиане, а мы с тобой язычники,— сказала Сабина.

Она выросла в среде, где христианство, словно выходное платье, надевали по воскресеньям, в будни в нем было неудобно. Она давно освободилась от религиозных предрассудков, но иногда ей казалось, что теперь у нее нет воскресного наряда.

— Я не язычник,— возразил Хартунг,— впрочем, язычники тоже верят — в иного бога или во множество богов, в чурбак, по которому они стучат, в кошку, перебежавшую дорогу, и...— он нагнулся и сорвал стебелек,— в четырехлистный клевер.

Хартунг протянул ей стебелек — может быть, с четырьмя, а может, с тремя листочками. Он был еще слишком молод, этот стебелек, и еще нельзя было определить, обыкновенный он или приносящий счастье.

Сабина взяла стебелек, серьезно и внимательно оглядела его и пошла дальше. Хартунг остановился, провожая ее взглядом, потом залюбовался ивовым кустарником. Где-то пел жаворонок, Хартунг поискал его в холодной прозрачной синеве. Все было прекрасно — и жаворонок, и кустарник, и девушка впереди.

Они поравнялись с геодезической вышкой. Словно нарисованные нежной пастелью, простирались перед ними деревни, поля и луга, холмы и рощи, дороги. Воздух был напоен запахом березы, прошлогодней листвы, гнилого дерева, а если копнуть ногой листву, как это делает сейчас Сабина, чувствуешь свежее дыхание земли.

— Ты атеист? — спросила она.

— Это так важно? — Хартунг, улыбаясь, взглянул на нее. Она все еще бережно держала меж пальцев стебелек клевера.

— Нет.— Сабина покачала головой. В самом деле, какое она имеет право вторгаться в его внутренний мир?

— Атеисты — это новообращенные и обращающие, что-то вроде миссионеров наизнанку.

— Не все,— возразила она, поразмыслив.

— Не все,— согласился он,— но многие.

Позади, на восточном склоне холма, засвистел паровоз.

«Когда я впервые попал сюда,— подумал Хартунг,— здешние люди еще не слыхали паровозного свистка. Теперь они построили новый кирпичный завод, провели к нему железнодорожную ветку, и крестьянам уже не найти батраков. Анне Войнар сорок, но, если она еще лет десять поработает одна с мужем на усадьбе, ей можно будет дать все семьдесят».

Зазвонили церковные колокола. Красиво звонят! Их повесили всего три года назад. Затих последний колокол, и в небе снова полилась песня жаворонка.

— Кроме тебя, я здесь никого не знаю,— сказала Сабина.— Но если тебе не хочется разговаривать...

— О чем?

— Обо всем.

— Хочется,— сказал он, повернувшись к ней.

— Кто ты? — спросила она.

Он удивился, но потом понял, что ее «обо всем» не имеет отношения ни к жалованью, ни к квартирной плате, ни к ценам на хлеб и автомашины, ни к тому, чего «хватает» или «не хватает»,— все это ее нисколько не волновало.

— А ты кто? — спросил он, оттягивая ответ.

— Я,— она устремила взгляд куда-то вдаль. Лицо ее стало похоже на лицо пытливого ребенка.— Я — сомневающаяся.

Она уселась на нижней перекладине вышки. Ее стройные ноги в изящной обуви твердо уперлись в землю. Он видит ее колени в нейлоновых чулках, выглядывающие из-под желтого пальто. Обтягивая бедра, оно свободными мягкими складками ложится вокруг плеч. В коротких

незавитых волосах золотятся искорки, впрочем, их рассыпало не солнце, а парикмахер. У нее большой, как бы вопрошающий рот, красиво очерченные губы, чуть тронутые помадой. В общем, молодая женщина, как миллионы ей подобных.

Только в отличие от других она во всем сомневается. И это выделяет ее. Может быть, многие молодые женщины думают точно так же, как она. Может быть. Но задает ему вопросы только она.

Сабина смотрела на него. Он молчал.

— Я знаю, что мой вопрос наивен,— нарушила молчание Сабина,— но раньше я никогда не думала о том, как важно уметь разбираться в людях. И еще никогда так не хотела научиться этому.

— А мне никто еще не задавал таких вопросов,— сказал Хартунг.

Она улыбнулась. Глаза ее посветлели, с лица исчезло вопрошающее выражение.

— Значит, сам не знаешь?

— Не знаю.— «А кто знает? — спросил себя Хартунг.— Живешь, делаешь одно, другое и сам не ведаешь, кто ты и что ты делаешь — хорошее или плохое».— Я...— он запнулся.

Сабина, приложив указательный палец к губам, показала ему на полевую мышь, которая сидела на пеньке и умывалась. Вдруг синее небо прорезал черный камень. Сабина вскрикнула, пикирующий коршун взмыл, и мышь была спасена.

— Вероятно, он еще не завтракал,— предположил Хартунг.

— Вероятно,— согласилась Сабина.— Бедная мышка! Сперва она перегрелась на солнце и схватила насморк, а сейчас ее чуть не сожрали. Коршуны мне нравятся больше, чем мыши, но в данном случае...

— В данном случае,— прервал ее Хартунг,— мы тоже схватим насморк, если будем сидеть здесь.

— Я не боюсь,— ответила Сабина,— а тебе, как врачу, вроде не полагается. И еще я хочу спросить...

— Спрашивай.— Он расстелил носовой платок на пеньке и сел.— На допросе сидят лицом к лицу, а не рядом.

— Ты сбиваешь меня с толку. Скажи, ты коммунист?

— Нет.

— Так... И не верующий.— Она явно была в недоумении.

— Клянусь! — сказал Хартунг.— И вдобавок не оптимист, не пессимист, не экстремист, не органист, не садист и вообще никакой не «ист».

— Жаль.— Сабина грустно покачала головой.— Что ж, пойдем! А я-то ждала, что ты мудр, как Будда, и точен, как математик.

— Увы.— Хартунг вздохнул с видом кающегося грешника.

Оба рассмеялись, очень довольные тем, что они не мудры, как Будда, и что у них нет готовых формул, как у математиков.

Они прошли дальше, до каменоломни. Когда тропинка позволяла, держались рядом, когда сужалась — он шел позади; они болтали о серьезном и о пустяках, потом, упомянув о Сабинином дипломе, затеяли спор о «чистой науке». Хартунг говорил Сабине малоприятные вещи, но и она не оставалась в долгу.

Было уже обеденное время, когда они перелезли через забор обширного войнаровского сада. Подсаживая Сабину, Хартунг пошутил:

— Береги свои «нейлоны», не то придется тебе натянуть на «западные» ноги «восточные» чулки.

Сабина спрыгнула в сад вполне благополучно и, обернувшись, сказала:

— Надеюсь, когда-нибудь ты приедешь к нам.

— С великим удовольствием.

— Да? — Она посмотрела на него сияющими глазами.— А я тем временем наточу язык и подвешу его так же хорошо, как у тебя.

— Согласен. Может быть, сразу уточнишь день и час?

— Приглашаю тебя на защиту.

Он крепко взял ее за локоть и заботливо обвел вокруг лужи, из которой даже курица не могла бы напиться.

— Кстати,— сказал Хартунг,— мать поручила мне пригласить тебя сегодня к нам, будет ананасный торт со сливками.

«Вру и даже не краснею,— подумал он.— Но мать подтвердит, что я сказал правду».

Из конюшни послышался громкий голос крестьянина, задававшего корм лошадям. Крестьянка шла через двор в свинарник с полным ведром. В дверях дома стоял хозяйский сынок, четырехлетний Петер. Он тоже был голоден. Но он был человек и, следовательно, мог подождать.

Глава восьмая

В воскресенье Сабина отказалась поначалу от утренней прогулки. Ее обуревало научное рвение. Но в последующие четыре дня, которые еще оставались у Хартунга до конца отпуска, она и думать забыла о науке. Они были почти неразлучны, встречались и дома, и на улице, ходили вместе и по ее, и по его делам,— в лавку, к Георгу, к мяснику в соседнюю деревню, к старой сказительнице, ютившейся где-то за каменоломней.

Обычно Хартунг искал Сабину, но не было случая, чтобы она не позволила себя найти.

— Я живу здесь, словно на курорте,— однажды заметил он, надеясь, что она спросит почему.

Сабина доставила ему это удовольствие.

— В каком смысле? — поинтересовалась она.

— Да вот ни о чем другом не думаю, как только встретить свою курортную знакомую. А по вечерам,— помедлив, добавил он,— перелистываю календарь и считаю, сколько еще дней осталось до твоей защиты.

Она не поддерживала такого рода разговоры. Но, оставаясь наедине, ругала себя за трусость, глупость и холодность. Только один-единственный раз она собралась с духом и сказала:

— К сожалению, твой отпуск прошел недостаточно интересно. За флирт я всегда получала «двойку».

Они сидели в сарае — она на куче соломы, он на кухонном табурете. За окном лил дождь. Роберт Хартунг чинил лошадиную сбрую и в своей синей спецовке напоминал прежнего шорника.

На Сабине были черные джинсы, красный джемпер и рабочий фартук из грубой серой ткани. Склонившись над кучей кормового картофеля, она чистила его липкими, грязными руками. Ее небрежная и в то же время напряженная поза, скупые движения, весь ее вид как-то удивительно гармонировал с этой работой.

Хартунг смотрел на Сабину. Она была такая же, как всегда, и вместе с тем другая. Да, она красива. Ему казалось, что теперь он уловил, в чем ее красота, но передать словами не сумел бы. Впрочем, глупо, мелочно и даже пошло пытаться разложить на части то, что составляет единое целое.

Он вспомнил ее одиннадцатилетней девочкой. Вот она стоит перед дверью на одной ноге. Другую ногу держит на весу, из пятки хлещет кровь — наступила на осколок стекла. Мать льет ей на рану уксус, но девочка не плачет.

— Однажды ты порезала ногу стеклом,— сказал он.— Ты тогда не умела плакать.

Она сразу же вспомнила.

— Умела, да еще как! Я не ревела только потому, что ты смотрел на меня.

Хартунг с трудом втыкал шило в жесткую неподатливую кожу. Учеником он был ловчее.

Ему хотелось сказать ей что-нибудь остроумно-дерзкое, но, сколько он ни старался, ничего придумать не мог, голова была точно пустой орех.

«Сперва распускаю хвост, как петух, а в следующую минуту становлюсь нем, как рыба»,— подумал он, неожиданно рассердившись на себя.

— Была бы ты здесь батрачкой, а я шорником...— начал он и осекся.

Сабина пришла ему на помощь.

— Что бы тогда?

Он хотел сказать, что тогда им был бы не нужен этот проклятый флирт. Их отношения созрели бы просто и естественно.

— Тогда-а-а...— протянул он,— еще три дня, и я уеду.

Она поняла. Все действительно будет так, как он сказал. Он уедет, потом уедет она, и они так и не узнают, могло ли бы вырасти и созреть то, что сейчас еще только зацветает. А зацветает ли? Нельзя увидеть росток, пока он не пробьется наружу.

Оба молчали, но молчание не тяготило их. Сабина подняла два ведра очищенного картофеля и унесла в запарник. Она была сильной, хотя казалась хрупкой.

— В начале мая я полечу на конгресс в Софию,— сказал Хартунг когда она вернулась с пустыми ведрами.— Если бы ты изучала медицину, а не славистику, мы могли бы опять случайно встретиться в каком-нибудь отеле.

— На это я мало надеюсь. Случайностям не должно быть места, как вчера говорили по радио. Какой-то теоретик добрых двадцать минут громил роль случая в литературе. Писатель, утверждал он, должен быть умнее, чем жизнь, которая позволяет себе нелепые случайности.

«Вероятно во всех областях одно и то же,— подумал Хартунг.— Куры, что много кудахчут, плохо несутся».

«Может быть, он так скупо говорит о себе, чтобы не походить на этого теоретика?» — подумала Сабина.

Ночью она долго лежала с открытыми глазами, прислушиваясь к мерному однообразному шуму дождя за окном, и ей казалось, что она знает Роберта вплоть до сокровенных уголков его сердца. Роберт сильный, добрый, справедливый и не боится жизни. Жизнь для него не густой темный лес, а широкая прямая дорога, и ведет она не в глухие дебри, а к цели простой и понятной — к определенному месту, к горе, к цветку. По сторонам этой дороги не мерцают блуждающие огоньки. Привидения не заманят его в трясину — не верит он ни в какие привидения. Не обманут его черти, не пристанут к нему лешие — нет им места в его душе.

Шумел дождь, старый деревянный дом спал, в хлевах позвякивали цепи, под крышей сонно попискивал воробей. Сабина подумала: разве выжила бы его мать, если бы ей не для кого было жить? Значит, найти надо то, что дает смысл жизни.

И впервые она с радостью почувствовала, что тоже может управлять своей жизнью. Надо только знать, куда ее направить.

■

В последний день Сабина помогла Роберту вымыть маленькую красную машину. Поздно вечером он зашел за девушкой и пригласил ее покататься.

На поля уже спустилась ночь. Повсюду будто слышалось ее дыхание. В высоких хлебах шелестел ветер, где-то мычали коровы, за косогором свистел паровоз, в карьере скрипела землечерпалка.

Деревни спали и казались темными ликами ночи. Но в лесу у ночи не было ни лика, ни дыхания.

Хартунг ехал быстро, не обращая внимания на дорожные знаки и на лужи. Изредка он называл Сабине деревни, местечки, мимо которых они проезжали. Потом умолкал, будто ища заветное слово, чтобы опять заговорить.

Но он так и не нашел этого слова, и Сабина поняла, что для него тоже существуют и блуждающие огни и глухие дебри.

На одном из перекрестков Хартунг остановился, не зная, куда направить машину.

— По какой дороге поедем? — спросил он, улыбаясь, но при тусклом свете фар Сабина увидела, как беспомощна его улыбка.

— По этой...— она показала направо. Ей думалось, что выбранная ею дорога шире.

— По этой...— он показал вперед. Дорога карабкалась на холм. Наверху ее поглощал лес.— Бросим жребий?

Сабина покачала головой. Он так резко дал газ, что машина подпрыгнула. Они поехали прямо. Дорога становилась все уже, все ухабистей, пока и вовсе не оборвалась под колесами.

— Повернем назад,— предложила Сабина.

Он молчал, медленно и осторожно спускаясь по склону, на котором виднелись следы волокуш. Сабина заметила, как его руки, судорожно сжимавшие руль, побелели.

Наконец они достигли опушки леса. Машина остановилась перед бревном, преградившим им путь. Дальше начиналась разбитая, но ясно различимая проселочная дорога.

— Все! — воскликнул Хартунг.— Тут ни развернуться, ни дать задний ход. Придется заночевать или добираться пешком до ближайшей деревни.

— А может быть, все-таки попытаемся? — Сабина уперлась ногой в бревно.

Хартунг попытался столкнуть его, но могучий сосновый ствол прочно лежал на земле. Его и на сантиметр не сдвинешь.

— А нет ли поблизости камней или кругляка? — Сабина перешагнула через бревно.— Включи, пожалуйста, фары.

— Правильно. Прежде чем отказаться от больного, надо испробовать все средства,— сказал он.

Они не нашли ни камней, ни кругляка, но в стороне от дороги Сабина обнаружила кучу прогнившего рапса. Через десять минут они одолели препятствие. Хартунг сразу повеселел.

Они медленно тряслись по разбитой проселочной дороге. Заяц, ослепленный светом фар, ошалело метался, пока наконец не присел посреди дороги перед остановившейся машиной.

— Возьму-ка я этого упрямого самоубийцу за уши,— сказал Хартунг и вылез из машины. Заяц удрал. Хартунг огляделся и снова сел за руль.— Метров через пятьсот речушка, и мы выберемся на такую же дорогу, только с ивовыми плетнями. Там уж не вздумай громко чихнуть, а то крестьянин Войнар упадет с кровати!

Через пять минут они добрались до усадьбы. Дверь не была заперта.

В темных сенях он прошептал:

— Видишь, как можно заблудиться, если потерять голову. Но стоит только взять себя в руки, спокойно осмотреться, и ты уже дома.

«Вот видишь,— хотел он сказать,— я поехал, чтобы поговорить с тобой, а когда мы очутились вдвоем, я онемел, словно страж гарема», но вслух произнес:

— Ты чем-то похожа на мою мать.— И, прежде чем Сабина успела

ответить, быстро добавил:— Только не забудь пригласить меня на свою защиту. Спокойной ночи!

Он вернулся к машине.

Медленно поднимаясь по лестнице, Сабина мучительно раздумывала, что же ей делать. Может быть, вернуться и сказать ему, что встретиться можно не только в Софии, но и в Германии. Она так и не решила, следует ли это говорить, и, войдя в комнату, тихонько закрыла за собой дверь.

■

Ранним утром доктор Хартунг простился с крестьянином, который наконец поставил свою подпись на учредительном акте сельскохозяйственного кооператива «Ивовая роща»; простился с Анной Войнар, которой отныне уже никто не даст семидесяти лет, когда ей стукнет пятьдесят; со старой крестьянкой, которая по-прежнему молится в тоске и страхе и уже съела всю коробку шоколадных конфет; простился со своей матерью, которой очень хотелось, чтобы сын наконец женился — так он и не успел рассказать ей о Дорис Шефер; Сабина Кёниг была последней, с кем он простился, пожелав ей поскорее выйти замуж.

Оставшиеся четыре дня Сабина, чтобы наверстать упущенное, занималась с утра до вечера. Укладывая чемодан — в три часа ночи такси должно было отвезти ее на вокзал,— она убедилась, что не зря потратила время, ибо собрала ценный материал.

В эту короткую ночь она неожиданно очнулась от сна. Сознание пронзила до боли ясная мысль: Сабина поняла, что любит Хартунга. «Завтра в два часа дня приеду к нему и, где бы его ни встретила — в коридоре клиники, в его кабинете или просто на улице,— скажу ему об этом».

Глава девятая

Едва доктор Хартунг вернулся домой, ему предложили занять должность в университете соседнего города, потому что один из доцентов внезапно оставил работу.

Как всегда в подобных случаях, поползли всякие слухи о причинах бегства коллеги. Однако никто не придал особого значения этому происшествию. Просто отметили, что еще один врач бросил своих больных на произвол судьбы, и приняли это как свершившийся факт. На профсоюзном собрании и на заседании студенческой группы Союза свободной немецкой молодежи такой поступок был осужден как нарушение врачебной присяги. Все обрадовались, узнав, что доктор Хартунг дал согласие читать лекции вместо сбежавшего, пока не удастся найти человека, который займет вакантную должность. Прошло всего несколько дней, но Хартунг уже чувствовал крайнее переутомление. Он почти не сократил объема своей основной работы, а ежедневные поездки на машине в другой город, несмотря на незначительное расстояние, поглощали много времени и сил.

В четверг Хартунг решил пойти с Дорис Шефер в концерт. Знаменитый квартет исполнял Брамса, Бетховена и Чайковского. Ему очень хотелось послушать музыку.

Он опоздал почти на полчаса. На пути из соседнего города его задержал несчастный случай. Какой-то старик упал с велосипеда и сильно разбился.

Хартунг нашел Дорис Шефер в фойе. Она сидела на красном плюшевом диване, покачивая туфелькой из змеиной кожи на очень высоком каблуке, и влюбленно разглядывала себя в огромном зеркале. Весело, без тени неудовольствия она поздоровалась с Хартунгом.

— Садись, Роберт. Концерт божественный. Весь университет в сборе.

Для Дорис концерты были прежде всего выходом в свет. Она, как говорится, хотела и людей посмотреть и себя показать. Ее восхищали плавные и точные движения солистов, игравших на струнных инструментах, изящество и энергия знаменитых пианистов-виртуозов. Дорис полагала, что и она заслуживает всеобщего восхищения — своей новой прической, точеными плечами, холеными руками, грациозной походкой, улыбкой, которая всегда казалась искренней и естественной, даже когда Дорис смеялась только для того, чтобы все слышали ее смех.

Хартунг просматривал программу концерта.

— Обидно,— сказал он.— Хоть бы ты послушала.

— Но ведь билеты у тебя! — И в ту же секунду Дорис вспомнила — ну конечно же билеты у нее: они остались в черной сумочке. Сперва она хотела надеть белое платье, но потом передумала и надела красное и, разумеется, взяла серебристую сумку.— Pater, peccavi!* — воскликнула она.— Все из-за спешки. Знаешь что, дождемся антракта и уйдем.

Хартунг огорчился. Неожиданно его стал раздражать уличный шум, и то, что не запрещают автомобильные гудки, и то, что мотоцикл промчался с громким треском. «Движение как в деревне,— со злостью подумал он,— а шуму больше, чем в столице».

— Пойдем! — Хартунг поднялся. Концерт ему вдруг опротивел.

— Жаль,— вздохнула Дорис.— Весь университет здесь, Роберт, право же!..— Но она не сделала ни малейшей попытки убедить его остаться.

Хартунг взял в гардеробе ее пальто и помог ей одеться. «У нее изумительная шея,— отметил он.— Да и не только шея, все красиво, наперечет.— Нечаянно он коснулся кончиками пальцев ее матово-бледной кожи.— В тот первый вечер меня это свело с ума».

— Помнишь,— сказал Хартунг,— когда мы познакомились, на тебе было красное пальто.

Дорис в то время была еще студенткой. Пальто она купила на распродаже, воротничок у него был слегка потерт. Она сразу поняла, о чем он думает, и легонько пожала его руку.

— Да, прошло два года,— сказала Дорис,— а я помню все, как сейчас. Пианист был толстый, уродливый, но, когда играл, преображался. Ты сидел позади меня и не сводил глаз с моей шеи. Я просто не знала, куда деваться. А потом,— Дорис тихо засмеялась,— ты так старался «случайно» очутиться рядом, когда я буду надевать пальто.— «Ему все еще кажется, что это он подстроил»,— снисходительно и насмешливо подумала она.— Идем ужинать, Роберт. Я не успела поесть.

Переехав мост, Хартунг поставил машину на стоянке возле универмага. Ресторан в отеле был переполнен. Только столик в правом углу, сервированный на два прибора, никто пока не занял. Но в серебряной подставке торчала карточка «Réservée» **.

Они сели за этот столик. Доктор Хартунг вынул из серебряной подставки отпечатанную на веленевой бумаге карточку, положил ее на скатерть, а сверху — три монеты. Подошел кельнер, на сей раз незнакомый, оценивающим взглядом окинул посетителей и сказал с мягким упреком, что столик действительно занят — правда, лишь с десяти часов. Потом предложил меню и незаметно убрал карточку вместе с монетами.

К концу ужина сереброволосый господин Гофман обошел все столики, любезно приветствуя гостей, и задержался возле Хартунга.

— Все прекрасно, господин доктор, благодарю за внимание. Надеюсь, вас хорошо обслуживают?

---

* Грешна, отец! *(лат.)*.

** «Занят» *(франц.)*.

— Превосходно.— Они кивнули друг другу дружелюбно и с уважением.

Прошло еще несколько минут. Хартунг случайно взглянул на высокого бледного человека, поднявшегося из-за столика неподалеку от них. «Да, именно там сидела Сабина в тот вечер. Как я сразу не узнал тогда это незабываемое лицо? И этот голос? Ведь слышу я его *сейчас,* сквозь звон посуды, сквозь разговоры и смех, сквозь шум и гам в переполненном ресторане. Сегодня четверг. Сегодня она должна вернуться...»

Сердце Хартунга бешено забилось, и тотчас же он почувствовал страшную усталость.

Дорис, как бывало прежде, поехала к нему домой. А он был слишком утомлен и не мог ей объяснить, что от прежнего уже ничего не осталось.

Иной раз встретишь человека, и все меняется. На всю жизнь или только на время. Что-то происходит с тобой, словно через тебя пропустили электрический ток в миллион вольт; и ты несешь в себе новый заряд и передаешь его всем вокруг: больным в клинике, матери в войнаровской усадьбе, картине, что висит на стене, маршрутной карте на столе, духам Дорис, которая напевает сейчас в ванной...

Дорис дышала тихо и спокойно. Он смотрел на нее, но кровь его молчала.

«Два года. Порой мне казалось, что я люблю тебя. Один-единственный раз — это было дней десять назад — я подумал: женюсь на тебе, ты будешь матерью моих детей. А сейчас я даже не представляю себе, что мог об этом думать. Два года. А до тебя? Да, что было до тебя?»

Хартунг осторожно взял свое одеяло и перешел на кушетку. Лежа на спине, он всматривался в полоску ночи, черневшую между неплотно задернутыми шторами. Тяжелые и темные, как вода ручья в Шпреевальде, текли его мысли. Он снова видел дороги, по которым ходил с Сабиной, вспоминал каждую секунду, проведенную вместе. Но в темной воде воспоминаний, заполнившей его мысли, не отражалось ни одного огонька. Хартунг все больше мрачнел, он понял, что любить — еще не значит быть любимым.

Вдруг вода забурлила, и поток яркого света пронизал ее до самого дна: «Сяду в машину и поеду к ней».

Он уснул. Полоска ночи между неплотно затянутыми шторами становилась светлее и светлее.

Утром, придя в клинику, Хартунг знал, что он никуда не поедет.

Надо просить отпуск, хоть ты отлучаешься всего лишь на два дня. Надо идти в полицию, раздобывать деньги... А ведь он сам высмеял бы всякого, кто пришел бы к нему с подобными делами и свою просьбу объяснил любовью.

Кто в наше время разрешит отпуск по любви? Кто даст межзональный паспорт и валюту, на которую можно купить сталь, разные новинки, медикаменты? Нельзя обмануть всех — профессора, который работает так, как не позволил бы работать никому другому, студентов, которых учат, что профессия врача неотделима от этики и морали. А работников Полицейпрезидиума тоже нельзя обманывать — хотя бы из чувства собственного достоинства.

Роберт Хартунг и не предполагал, как трудно выбраться к Сабине Кёниг, а приехав, быть может, убедиться в том, что наивно было думать, будто она живет одна, никого не любя и никем не любимая.

На третий вечер Хартунг сел писать письмо. Но лист почтовой бумаги так и остался чистым. Слишком плотен был фильтр рассудка, и чувства, вложенные в слова, не могли сквозь него просочиться.

Образ Сабины не меркнул и не таял, подобно призраку, хотя порой отступал — в часы, отведенные для больных и лекций; а порой Хартунг

стеснялся своего слишком уж серьезного отношения к тому, к чему даже поэты перестали относиться всерьез.

И все же, когда он работал над своим докладом к конгрессу, Сабина незримо присутствовала в его комнате. Она была всюду: и среди папок с историями болезни, и между строк доклада, который он писал.

Хартунгу казалось, что он купил лотерейный билет, и было бы глупо и малодушно заранее не верить в то, что на этот билет выпадет главный выигрыш.

Глава десятая

Поезд мчался, вздрагивая на стыках. Тихо тикали часы на запястье, земля летела навстречу и исчезала во тьме. Супружеская чета — единственные попутчики Сабины — уже беспокойно возилась с чемоданами. Муж что-то вынимал и опять укладывал, его седая голова, с гинденбурговским ежиком тряслась от старости. Жена просматривала мужнин бумажник и свою сумочку, поминутно хватаясь за живот — уж не разболелась ли печень? Еще десять тысяч толчков, еще тысячу тридцать три раза передвинется минутная стрелка, и войдет пограничный контроль — сначала с этой, потом с той стороны границы. Возможно, таможенники не обнаружат денег, зашитых в пояс суетливой старушки, и уж конечно не заметят, что возвращающаяся на Запад Сабина Кёниг совсем не та женщина, которая две недели назад ехала на Восток. Она стала и богаче и беднее.

Сабина звонила в клинику, ей сказали, что доктора Хартунга нет, вообще нет в городе. Но вечером, возможно, он будет на месте.

Возможно! А на бумажке стояло число, точно определяющее, сколько дней Сабине Кёниг, проживающей на Неккаре, разрешается пробыть на Плейсе.

Домашнего адреса Хартунга она не знала, и по телефону его не сообщили.

На откидном столике лежала раскрытая сербская грамматика. Сабина сопоставляла результаты своих наблюдений, сделанных во время поездки. Если чем-нибудь не заняться, сойдешь с ума от этих толчков, от тиканья часов на руке, которое сверлит мозг. Осталось семнадцать минут, шестнадцать... Хочу ли я иметь детей? Что за странный вопрос. Для чего же тогда жить и любить?

Таможенники ничего не обнаружили — ни эти, ни те,— поезд пошел быстрее, толчки стали чаще. В Касселе старая чета тихо похрапывала, а Сабина пристально вглядывалась в бегущую мимо ночь, в неоновые огни заправочных станций и автобаров, внезапно появлявшихся и исчезавших, и не замечала, что улыбается и плачет. Упаси бог любить через эту проклятую границу, сказал тогда Хартунг, и они оба посмеялись над его словами.

■

Меблированная комната, в которой жила Сабина, была длинная, узкая и неуютная; летом в ней жарко, а зимой — не протопить. Зато дешевая и спокойная. Из окна открывался чудесный вид на город, реку в долине, на холмы и окутанные голубой дымкой горы.

Сабина стояла у окна. За ее спиной слышался голос Благова.

Через садовые ограды свисали желтые звезды китайской оливы, а альпийский уголок в саду декана теологического факультета сверкал золотом, пурпуром и белизной. Сабина подумала: «Может быть, я действительно не настоящая женщина?»

— Иногда мне кажется, что ты не настоящая женщина,— сказал Благов.

Сабина обернулась. В неверном свете ее улыбка показалась ему загадочной и мрачной.

— Нет, я женщина,— сказала Сабина, а про себя подумала: «Только очень глупая. Я верю, что все будет хорошо, хотя не могу решиться написать ему и жду от этой поездки какого-то чуда. Будто от Праги и Братиславы до Софии рукой подать».

— Сводишь меня с ума, а потом бросаешь,— сказал Благов. Осторожно отодвинув столик, он поднялся с кушетки, надел пальто и вытащил из кармана берет. Его черные глаза с гневом и грустью смотрели на Сабину.

— Не я свожу тебя с ума,— сказала она,— ты сам себя сводишь.

— Тебе место в музее,— обозлился он.— Железная Девственница! Ты — доисторическое...

— ...ископаемое,— кивнула она.— Знаю. И несмотря на это, ты все-таки берешь меня с собой?

— Во-первых,— ответил он,— эта поездка очень полезна для твоего диплома. Во-вторых, клин клином вышибают. Ну, берегись, как бы я не выбросил тебя из самолета на обратном пути.

«На обратном пути,— подумала она,— меня уже не будет рядом с тобой. Я поеду к Роберту, усядусь у него в приемной и буду ждать до тех пор, пока он не появится. Когда-нибудь же он придет».

— Не можешь ли ты повременить со своим преступлением хотя бы до моей защиты? — спросила она.

— Черта с два! — взорвался Благов.— И не пей столько кофе. Закончишь свой диплом в срок и без кофе, если будешь работать, как прежде.

Благов ушел. Сабина смотрела ему вслед; вот он спускается по ступенчатому тротуару, и ей казалось, будто по его напряженно неподвижному затылку она видит, как он сдерживает себя, чтобы не оглянуться.

Старший ассистент Института славяноведения болгарин Вылко Благов родился и вырос в Штутгарте. Родители его, в молодости певцы, давно стали почтенными бюргерами. После денежной реформы они открыли в Штутгарте болгарский ресторан. Сыну они не передали своей музыкальности, зато щедро наградили его беспокойным характером. Вылко хотелось кочевать в науке, как кочевали его родители по оперным сценам чуть ли не половины Европы. Единственное, что удерживало его в Штутгарте, была Сабина. А теперь она ускользает от него.

Сейчас он быстро шагал по улицам, кипя от злости. Два-три раза она позволила ему поцеловать себя — шут ее знает, что ее к этому побудило. Рот ее пахнул не то анисом, не то молоком, не то еще чем-то детским. Да она и была ребенком. Что-то с ней не ладно, то ли в ней еще не проснулась женщина, то ли она вообще холодна и невозмутима?

«Зря я устроил ей эту поездку; убеждал профессора так долго, что тот чуть не оглох. А старикан на нее посматривает, хоть он, клянусь, не знал бы, что с ней делать».

Проходя по коридору института, Благов заглянул в канцелярию. Морщинистая, густо напудренная секретарша радостно сообщила ему, что пришло извещение — визы в Чехословакию получены. «Если мы случайно разобъемся, она и об этом сообщит так же весело»,— подумал Благов.

— И для фрейлейн Кёниг? — спросил он порядка ради.

— И для фрейлейн Кёниг, господин доктор. Восьмого мая делегаты должны,— она заглянула в бумагу,— прибыть в Братиславу.

«Ладно,— подумал Благов.— Но почему я, осел этакий, вообразил, что это будет нашим, так сказать, свадебным путешествием?»

Глава одиннадцатая

Вечером, накануне отлета с аэродрома Рейн-Майн Благов повел Сабину Кёниг в знаменитейший во Франкфурте ночной бар «Chez Michèle»*.

Зал ресторана еще был почти пуст. Они танцевали, пили густое далматинское вино. Сабина пила мало, Благов — много. Хозяин бара, старый знакомый его родителей, подсел к ним за столик и с удовольствием принялся «перемывать косточки» некоторым из посетителей.

Лицо его оставалось неподвижным, когда, обнажая в улыбке золотые зубы, он шептал:

— Видите справа двух толстяков с акульей пастью? Час назад они чуть не надавали друг другу по морде, защищая интересы своих фракций, я сам видел по телевизору. Но готов побиться об заклад, что через час они отправятся в постель со своей блондинкой, преемницей знаменитой Нитрибит.** Да, куда же она запропастилась, эта стерва? — И, вперив в Сабину холодные бесцветные глаза, добавил: — Она умудряется проделывать очень древний трюк — одновременно обслуживать двоих.

Сабине казалось, что по ее обнаженным рукам ползет гусеница. Она торопливо отпила вина и позвала Благова танцевать. Через некоторое время хозяин бара опять подошел к их столику.

— Специально для вас, прекрасная дама,— сказал он.— Взгляните на господина, который снимает трубку телефона на своем столике.

Сабина увидела человека с лошадиным лицом, жестоким ртом и печальными глазами. Она знала его. Кто ж его не знал? Говорили, что он делает министров и сделал Нитрибит.

Телефон на их столике тихо звякнул. Хозяин поспешил снять трубку.

— Слушаю! — пробормотал он и торопливо, но с достоинством направился к столику могущественного человека.

Сабина еще ни разу не была в таком баре. Ее смущение постепенно прошло и уступило место полубрезгливому, полувеселому любопытству, с каким разглядывают балаганные чудища на ярмарке.

На эстраде шла обычная программа. Выходили ясновидящий, шансонетки, танцовщицы. Соперники-депутаты дружно прошествовали вслед за «талантливой» блондинкой. Высокий человек с лошадиным лицом упорно раздевал Сабину взглядом, а Благов пил рюмку за рюмкой и болтал всякий вздор. Хозяин бара вышел на эстраду и объявил, что сейчас будет исполнен гвоздь программы: невиданное зрелище — поединок между добродетелью и пороком.

В сине-красной полутьме закудахтали саксофоны. Труба одиноко запела хорал. Саксофоны богохульственно расхохотались, справа загорелся холодный синий свет, и хозяин, обращаясь к публике, объявил:

— Мадмуазель Мишель! — а затем, когда слева вспыхнул теплый красный: — Вильям Самун, любимый ученик Билла Грэхэма, пулемета господа бога.

Снова закудахтали саксофоны, снова запела труба, и в холодном синем свете появилась затянутая в серебряную парчу безмолвная Мишель.

— Она по-немецки не говорит,— зашептал на ухо Сабине хозяин бара,— только на саксонском диалекте.

А в теплом красном свете вырисовалось чеканное строгое лицо человека в черной сутане и распятье из слоновой кости. Вильям Самун начал проповедь:

---

* «У Мишель» *(франц.)*.

** Известная дама полусвета, жившая в ФРГ. В ее квартире встречались министры и политические деятели. Убита в автомашине при загадочных обстоятельствах.

— Мир это бог, и бог это мир, и мир это смерть, и смерть это бог, и человек это плоть, и человек это дух, и плоть это грех, и дух — избавленье, и грех это жизнь, а избавленье — смерть, готовьтесь не ко греху, а к избавлению.— Тут Мишель грациозным движением отстегнула первый потайной крючок своего парчового платья, затем второй, третий и последний. Яркий луч света скользнул по белой нейлоновой дымке на ее груди. И никто уже не хотел слушать человека, который продолжал говорить: — Только жажда избавления привела к всеуничтожающему ядерному оружию; не о мире молитесь, а молитесь о возвращении в лоно господне.

Все повернулись направо, туда, где прожектор тщетно силился обнаружить хоть малейший пупырышек на груди и на плоском животе Мишель.

Лучи скрестились. Свет добродетели озарил порок, а свет порока — добродетель. И саксофоны опять захохотали, резко и насмешливо.

Снова зазвонил телефон на столике, хозяин бара протянул трубку Сабине.

Она услышала голос человека, который подарил Нитрибит черный «мерседес».

— Я делаю вам предложение...

Все покупается — порок и добродетель, жизнь и смерть, рубашка Мишель и распятье Вильяма Самуна. Так кто ж имеет право сомневаться в том, что можно купить Сабину Кёниг?

По дороге в отель Благов вдруг остановился.

— Хочу напиться!

Сабина взглянула на него. Он истерически захохотал.

— Не из-за тебя, агнец божий! И если бы ты дважды пришла сейчас ко мне в постель, ты не заставила бы меня поверить, что наш распроклятый шарик давным-давно не осточертел господу богу.

Неожиданно он словно отрезвел.

— Ладно, пойдем домой.

Он молча шел рядом с ней, пока его внимание не привлекло освещенное окно, забранное решеткой. Там стоял перлоновый пудель в ошейнике, украшенном драгоценными камнями, и возле него табличка: «И у вашей собаки, мадам, бывает день рождения!»

— Подумай,— пробормотал Благов,— что́ бы только этот тип на тебя не навесил! Повезло тебе...— Он покачал головой при мысли о счастье Сабины Кёниг и о том, что она от него отказалась.

«Счастье,— подумала Сабина.— Я его добуду. Завтра же напишу Хартунгу. А через неделю поеду».

Горячая волна захлестнула ее и смыла только что пережитый кошмар — и тот, что возник в теплом красном свете, и тот, что возник в холодном синем свете, и человека с лошадиным лицом в глубине затемненного зала.

И было неважно, что она не успела прочесть телеграмму, лежавшую на столе в ее студенческой комнате. В ней сообщалось, что Роберт Хартунг вылетает в Софию восьмого и пробудет там до пятнадцатого мая.

Глава двенадцатая

Она летела впервые, в ее честь заказали самую лучшую летную погоду. Воздух был чист и прозрачен, под крыльями самолета проносились поля, реки, города, Богемский лес, который то подымался, то падал. И вот уже земля двинулась навстречу самолету, отступила назад и помчалась вперед бетонированной дорожкой Пражского аэропорта.

У трапа западногерманских гостей приветствовал представитель Пражского университета. Он вручил Сабине букет желтых с красной прожилкой тюльпанов и после всех таможенных формальностей повел гостей к ожидавшему их автомобилю.

— Машина и я,— объяснил он на безупречном немецком языке с певучим акцентом,— в вашем распоряжении. Самолет на Братиславу будет во второй половине дня. Не желают ли гости осмотреть город?

Благов терпеть не мог осматривать города, его тянуло в знаменитый музей чешской литературы в Страховском монастыре.

Сабина решила присоединиться к Благову. По Карлову мосту она все же прошла пешком, а Благов остался в машине. Он недаром называл Сабину неисправимым романтиком. Вытянув шею, она разглядывала замок и башни святого Вита на горе.

В одном из отелей, который с равным успехом мог бы украсить Берлин, Париж или Лондон, они пообедали в обществе их спутника и еще двух человек с факультета. Несмотря на все старания хозяев, разговор так и не вышел за рамки любезной беседы, ибо Благов нисколько не скрывал, что его интересует только старочешский язык.

Сабине поведение Благова было крайне неприятно. Почему дома он всегда держится просто, а здесь так оскорбительно и надменно? Она с облегчением вздохнула, когда они наконец поехали на аэродром.

В разгар делового дня улицы были полны автомашин, ехать пришлось очень медленно. В аэропорт они попали буквально в последнюю минуту и бегом бросились к самолету. Неожиданно Сабина вскрикнула, уронила чемодан и кинулась к человеку, который только что сошел с самолета и тоже спешил ей навстречу. Не веря своим глазам, они как вкопанные остановились друг против друга. Сабина, всхлипнув, сказала:

— Подожди, я возьму свой чемодан.

Рядом с ее чемоданом стоял магистр Карлова университета.

— Ради бога, скорее,— торопил он.

— Я не полечу,— сказала Сабина. Она не слыхала ответа растерявшегося магистра — то ли ее оглушил шум моторов, то ли потрясла неожиданность встречи. Перед ней был Роберт Хартунг, ее любимый.

Они шли, ничего не замечая вокруг себя. У Хартунга была транзитная виза, и он должен был ждать самолета на Софию до следующего утра. Для него приготовили номер в отеле для транзитных пассажиров, но выходить в город ему запрещалось. В паспорте Сабины стояла пометка о том, что ей разрешено передвижение по всей стране. Она не должна лишь останавливаться в отеле для транзитников.

Чиновника, ответственного за эти два совершенно противоположных разрешения, захлестнуло счастье молодых людей, словно половодье плотину, и, прежде чем он успел осознать, что́ происходит, Сабина уже сидела в автобусе и ехала с Хартунгом в его келью. Смешно было бы предполагать, что какой-то штемпель имеет над ними власть.

Чиновник позвонил куда-то и выяснил, что для любви нет специальных законов и что как юридическое понятие она вообще не существует.

Сабине Кёниг не разрешалось долго оставаться в отеле, а Роберту Хартунгу запрещалось покидать его; но у входа рос старый каштан, раскидистый и могучий, который еще только зацветал, и чиновник вытащил маленький столик, поставил его под каштаном, принес два кресла, заказал им ужин и доброго смиховского пива. А сам сел на табурет, прислонившись спиной к нагретой солнцем стене.

Он смотрел на них и думал: если прав закон и те двое — преступники, значит, он не годится для своей должности, ибо как же можно, занимая эту должность, не разбираться, что за люди перед тобой.

О чем они говорили, он не слышал, а если бы и слышал, все равно бы не понял.

Они сидели за столиком до тех пор, пока свет вечерней звезды не слился с пестрыми огнями аэропорта и им вдруг почудилось, что каштан уже зацвел и благоухает.

Нет, право, не страшно попрощаться и пожелать друг другу спокойной ночи. Ровно через неделю в два часа дня самолет прибудет из Софии, и Роберт Хартунг выйдет из него с нужной ему визой в руках. Сабина Кёниг будет ждать его в аэропорту, на террасе ресторана. Вот и все, о чем им надо было договориться. Остальные слова можно было сказать, а можно было и не говорить. Слова эти возникали, порожденные огромным простым счастьем, и в нем же тонули.

Глава тринадцатая

Он первым вышел из самолета и увидел ее наверху, на террасе. На Сабине была бледно-зеленая юбка и ярко-желтая блуза. Она стояла на ветру и, широко раскрыв глаза, считала шаги: одиннадцать вниз по трапу и двести до контроля. Она ждала его за барьером терпеливо и спокойно. Когда они пошли рядом, Сабина потерлась головой о рукав его пальто.

— Отель «Алькрон»,— отрывисто сказала она, садясь в такси. Голос ее казался чужим.

Она жила в этом отеле с сегодняшнего утра в номере 323. Они поднялись наверх, и коридорный внес чемодан Хартунга в номер 324. Щелкнул дверной замок. Сабина глубоко вздохнула, и они обнялись.

Ее холодноватые губы пахли анисом и медовым соком молодого клевера, но вдруг они стали горячими и горькими, как миндаль. Она зашаталась и, чувствуя, что куда-то проваливается, подумала: «Все-таки я настоящая женщина».

Издалека донесся его голос:

— ...итак, я спрашиваю тебя, Сабина,— господи, какие же еще у тебя имена? — Аманда Мета Августина Кёниг, согласна ли ты сочетаться браком с присутствующим здесь Робертом Фрицем Хартунгом?

Она уже вернулась из неведомых глубин, посмотрела на него и ответила:

— Да.

— В таком случае,— просто сказал он,— пусть все будет празднично и торжественно, а для этого мне надо...— он поднял ее, пронес через всю комнату и положил на кровать,— мне надо помыться и переодеться...

Он тотчас открыл кран в ванной.

— И пойти поесть,— добавила она.

— Ничего подобного! — крикнул он.— Мы устроим пир. Наш свадебный пир!

Он вернулся и бросил ей на голову полотенце. Было слышно, как он раздевается.

Он принял душ быстро и почти бесшумно. А еще говорят, что мужчина, когда купается, шумит больше, чем целая ватага ребятишек в бассейне!

— Любишь? — спросил он через открытую дверь ванной.

— Нет,— ответила она.

— Ну и пусть! Моей любви хватит на двоих!

Она глянула на родимое пятно у локтя и подумала: «Господи, сделай так, чтобы я казалась ему красивой!»

Повязывая галстук, Хартунг сказал, что он у него новенький и самый красивый из всех и ему хочется, чтобы Сабина тоже надела свое лучшее платье.

Из ее немногих платьев он выбрал действительно лучшее — бархатное, табачного цвета, с глубоким овальным вырезом и темно-зеленым замшевым поясом. А потом стал рядом с ней перед зеркалом.

— Да, ты красивее меня! Но зато я,— он потер виски,— мудрее.

Она улыбнулась ему в зеркале.

— Только в твои седые виски я и влюбилась.

Он хмыкнул и подергал соединявшую их комнаты дверь.

— Заперта! Жаль!

— Мы будем ходить друг к другу в гости по очереди.

Оба знали, что притворяются, делая вид, будто все, что с ними происходит, просто и буднично. Они не боялись больших чувств, но им было очень неловко нести эти чувства, как знамя.

Они спустились в почти пустой ресторан. Темные дубовые стены были украшены резьбой, гербами земель и городов. Кельнер во фраке положил перед ними меню, другой подкатил столик-тележку с закусками, третий принес миску с супом, и наконец четвертый налил вино, горьковато-терпкое золотистое бордо.

Роберт Хартунг рассказывал о конгрессе, о том, что он повидал в чужой стране, раскинувшейся между пещеристыми Балканскими и лесистыми Родопскими горами. А Сабина описывала свою поездку по Словакии и вспоминала об удивительной сердечности словаков, которые очень баловали ее — среди семнадцати иностранных гостей она была единственной женщиной. Это были прекрасные дни.

Часы текли, а они все сидели и говорили о самых незначительных вещах. Теперь уже незначительных. Во время чая играл оркестр.

Они пошли танцевать, и, пока танцевали, исчезло все наносное — и притворство, и смущение. Молча застыли они под гулким сводом музыки — это длилось, может быть, секунду, может быть, вечность — и покинули зал. Лестница была белой и красной — белым был мрамор, красной — дорожка. И уже не надо было ни о чем говорить и ничего выяснять.

Глава четырнадцатая

Счастье их было полным. Все слилось воедино — и минувшие, и будущие тысячелетия, Карлов мост и выставка современной мексиканской живописи, проповедь Яна Гуса и полет на Венеру. Мир казался понятным и понятым. Все прошлое и будущее сомкнулось над ними стеклянным куполом, в нем сияли и альфа Центавра и нейтрон кислородного ядра.

«Ты сказал, что будешь моей горничной. До чего же ты неумелая и неловкая горничная! Твои руки так нежно гладят меня, что я ощущаю их прикосновение сильнее, чем самый грубый удар, но пока они расстегнут крючок или пуговицу... нет, ничего они не умеют, просто ничего! Твои губы горячи, я все время чувствую их, никогда я не думала, что безмолвствующий рот может быть таким соблазнителем. Но лучше бы ты говорил! Мне страшно. Я знаю, что нет причин бояться, и все-таки боюсь. Вечер стоит за окном, но я закрыла глаза. Ты спускаешь сорочку с моей груди и видишь, как я тебя жажду. Твоя ладонь жжет меня, ты не сводишь с меня глаз, и мне страшно. Ты это чувствуешь и спрашиваешь, что со мной? Но мне стыдно сказать тебе об этом, и я только краснею. Ты хочешь поцелуями сорвать слова с моих губ, но слов уже нет. И вдруг я говорю тебе, что я «доисторическое ископаемое». Я так боюсь, что ты при-

пишешь это моей добродетели, а все дело в том, что я еще никого не встретила, кто пробудил бы меня. Но ты только смеешься беззвучно и угрюмо, ты похож на волка, который поймал заблудшую овечку. Тут мысли мои прерываются, и я уже ни о чем не думаю, я — поляна, поросшая одуванчиками, я — земля, пронзенная солнцем.

Мы лежим рядом, ты говоришь мне все, что хотел сказать в ту ночь, когда мы искали дорогу. Ты рассказываешь мне разные истории о любви. Суданскую сказку о том, как на свете родилась любовь, ты не успеваешь досказать...

Светлое утро вливается в открытое окно, воздух прохладен и, по твоим словам, нежен, как моя кожа. Ты студент-медик и готовишься к экзаменам, я состою из сплошной латыни. Твоя рука касается всего, что произносят твои губы. Ты напускаешь на себя сугубо «медицинский» вид. Но то, что вибрирует на кончиках твоих пальцев, не имеет никакого отношения к медицине, а твои глаза — по твоим глазам я вижу, что нравлюсь тебе. И почему день не должен видеть того, что видела ночь?

Ты говоришь, что любовь самое прекрасное изобретение господа бога. Ты пробудил меня, и я не скрываю этого даже при свете дня. Ты хороший учитель, и, когда мы чувствуем усталость, мы принимаемся философствовать о любви и о счастье, ибо счастье — это любить друг друга всем существом, а любовь — это всем существом ощущать счастье. Мы кажемся себе очень умными, но вдруг усталость твоя исчезает, и наши рассуждения о любви и о счастье остаются незавершенными...»

■

«Мы бродим по городу. Иногда твое плечо касается моего плеча, иногда ты уходишь вперед на несколько шагов.

Я стою на Вацлавской площади и разглядываю витрины: тут есть чем наполнить корзинку для пикника! Мысленно покупаю ее, и мы уходим из Праги вверх по берегу Влтавы, отдыхаем на лугах, съедаем почти все, что лежит в корзинке. И снова любим друг друга и доедаем то, что еще осталось. И бредем дальше, и покупаем новую корзинку, и снова едим, любим, спим и опять бродим, а в реке отражаются майские облака, и течение уносит плоты.

Я рассказываю тебе о моем друге — поэте. Тихие воды и майские облака напомнили мне о нем. Ты исполнена почтительного удивления. Неужели я на «ты» с живым поэтом? А вот тебе не приходилось даже видеть поэта.

Кто-то толкает меня. И вдруг я замечаю, что стою один перед витриной, и корзинка, которую мы опустошили, лежит за стеклом, а девушка, которую я только что ласкал, убежала вперед. Там на витрине у ювелира сверкают за стеклом богемские гранаты, и ты говоришь: «Хочу этот браслет и это ожерелье»,— и мы входим в магазин, и я покупаю тебе маленькое скромное колечко. Я плачу за него твоими деньгами, ибо слишком сложные для моего понимания законы запрещают расплачиваться моими деньгами, но твои деньги, в сущности, тоже не твои, их послала тебе тайком от отца твоя мать. И я покупаю колечко, надеваю его тебе на палец, теперь мы с тобой муж и жена, и ты целуешь меня. Как прелестны твои губы, моя девочка! На углу Вацлавской площади ты, в свою очередь, делаешь мне подарок — овечий сыр в расписной оболочке из коричневого воска. Крестьянка-словачка называет тебя «duška». «Да благословит тебя святой Николай»,— говорит она. Почему именно Николай, она не знает, впрочем, он нисколько не хуже других, пусть все святые благословят тебя. Да и кто, увидев твои счастливые глаза, не дал бы тебе своего благословения?

Мы плутаем по Старому городу и, когда часы начинают отбивать двенадцать, мчимся со всех ног, чтобы поспеть к выходу апостолов. Вот

они медленно движутся над старинными часами ратуши, и смерть с косой — лишь обыкновенная игрушка.

Под сводами Унгельтовского рынка и у Тынского храма залегли прохладные тени. Здесь камни хранят дыхание столетий. Здесь священное знамя Яна Гуса, здесь звучало его страстное слово против власти господ, за власть народа. Король Сигизмунд сжег в Констанце сердце магистра, и облаченные в пурпур кардиналы развеяли пепел над водами Рейна. Но мы чувствуем его вкус на своих губах, он жжет нам сердце.

Мы попадаем в лабиринт кривых улочек и переулков; церкви теснятся одна к другой, одна на другую наступают; шея онемела от непрерывного разглядывания островерхих крыш, ноги устали от неровной мостовой; лестницы во дворах открытыми галереями вьются от этажа к этажу; слепой разговаривает с собакой; девочки стирают кукольные платья и вешают пестрые и веселые лоскутки на чугунную ограду фонтана эпохи Возрождения.

Строг и торжествен узкий неф церкви святого Якова; к тебе подходит молодая цыганка: «Подай копеечку, благородная дама, копеечку ребенку на молоко». У малыша большие черные глаза, нежные, хрупкие ручки и ножки. Ты даешь цыганке на десять литров молока; вы улыбаетесь друг другу, она знает, что ты не веришь, будто ее ребенок голоден, и уверяет тебя, что ты проживешь девяносто девять лет, во всяком случае, до самой смерти. А потом скороговоркой — и это уже всерьез — желает тебе здоровых детей, на каждый ее загнутый палец по одному. День угасает, солнце плетет золотые венки вокруг чела святых на Карловом мосту и рассыпает блики под его арками. Мы берем лодку на Кампа, и я рассказываю тебе о «Пастушке» Эгона Эрвина Киша.

Мимо нас проплывает паром, и мы мечтаем о море, о лесах; паромщики торопятся пройти шлюз, там, за городом, усталых людей ждут ужин и сон. Разноцветные огни отражаются в реке, я гребу назад, и у последнего пролета моста мы видим кабачок. Над сводчатой дверью вывеска: «U tři pštrosů». Пытаемся произнести это вслух, но нам не удается. Ты заглядываешь в свой маленький путеводитель, и мы узнаем, что забрели в кабачок «У трех страусов». Мы едим за некрашеным столом какое-то богемское блюдо, пьем из полулитровых кружек пиво и вовсе не чувствуем себя чужими среди других посетителей: вот лодочники — муж и жена, вот рыбак с Кампы; а этот седой человек, должно быть, художник или журналист, уж очень большое любопытство написано на его лице; девушка с солдатом держатся за руки и молча ждут, когда наступит время уходить; три трамвайных кондуктора затеяли спор то ли о женщинах, то ли о деньгах, то ли о политике.

Я заказываю еще пива, и ты улыбаешься, потому что я правильно произношу «dêkuji» *.

Мы довольны собой, и этим днем, и вычурным великолепием барокко, и благородством классических линий; седой человек — художник или журналист — видит, как мы счастливы, ему хотелось бы немного счастья и для себя, но он доброжелателен и не завистлив.

Ты улыбаешься ему через два столика. «Как приятно доставлять радость другим, когда сам счастлив!» — говоришь ты мне».

■

Они осматривали музеи и памятники, хранилища и коллекции. Как гордый владелец, водила его Сабина по книжным залам Страховского монастыря, а Хартунг был ее проводником по залам Национальной галереи. Они обнаружили дорогу вверх к «Золотому колодцу», прыгали

---

* Спасибо *(чешск.)*.

по каменным ступенькам в саду, поднимались по деревянной лестнице, брели по пологой дорожке и карабкались по отвесной узкой тропе. Словно ласточкино гнездо, прилепился ресторан с террасой к стенам Градчан.

Они проходили мимо Вальдштейнского парка как раз в ту минуту, когда он открылся, и — о счастье! — получили два билета на концерт. Напоенная ароматом сирени, спускалась на землю ночь. Язычки зажженных свечей под стеклянными колпачками плясали вокруг сдвоенных коринфских колонн в Salla terrena, отбрасывая тени на мускулистый торс кентавра и мраморную девочку на его спине.

Хартунг и Сабина сидели на краю фонтана, рука в руке, слившись воедино с окружавшей их красотой.

Их потрясла песнь Бетховена о человеке, борющемся со своей судьбой. Сердце Хартунга глухо стучало, губы Сабины приоткрылись, словно так ей было легче дышать, и она прижалась к нему, не сознавая этого.

Впервые они почувствовали какую-то чуждую, враждебную стихию, и вместе с тем музыка, казалось, придала им силы, перед которыми не устоять ни одному препятствию.

Они сидели на краю уснувшего фонтана, огоньки свечей в стеклянных колпачках прыгали по сдвоенным колоннам Salla terrena, ночь благоухала сиренью Вальдштейнского парка.

И они чувствовали, что связаны крепкими, неразрывными узами.

■

За многие века собор святого Вита не потерял ни одной частицы своей красоты. Но только святые в соборе ничего, кроме собора, не видели. А рыбак с Кампы, трамвайный кондуктор на мосту Сметаны, студенты на ступенях Рудольфинума видели еще и обелиск рядом с собором.

На пять дней и пять ночей Сабина Кёниг и Роберт Хартунг уединились в соборе жизни, как святые в соборе святого Вита.

Глава пятнадцатая

Наступила пятая ночь. Они стояли у окна, правой рукой он обнимал ее за плечи. В оконном стекле и высоком зеркале в раме из красного дерева отражались две матово-серебристые тени.

За окном розоватой дымкой светилось небо, неоновые огни города тонули во влажной кисее воздуха. И все — они сами, их серебристые тени, радужная дымка, эта секунда и вечность — казалось, плывет в огромном стеклянном шаре.

— А что с нами будет? — спросил Хартунг.

Стеклянный шар разбился вдребезги.

Сабина смотрела на свою узкую тень, на низко стелившийся туман и ежилась от холода. Она сняла с плеча руку Хартунга и, взяв с вешалки пальто, закуталась. Потом забралась в глубокое кресло и охватила руками колени.

— Разве мы не муж и жена?.. Куда ты пойдешь, туда пойду и я с тобой.

Он сел возле нее на ковер и прислонил голову к ее коленям.

— Да, мы муж и жена.— Помедлив, он добавил: — Но с завтрашнего дня мы разведены.

Сабина перебирала рукой его волосы.

— Мы должны развестись? — спросила она.

— Мы должны решить.

— Разве еще не решено? — Она подняла голову. — Пока ты меня любишь...

— Я буду любить тебя сто лет,— сказал он.— Но *где* мы будем любить друг друга сто лет?..

— Разве это так важно? — удивилась она.

— Это неважно. — Потянув книзу ее руку, он зарылся лицом в душистую ладонь.— Но сможешь ли ты обойтись без «шанеля»?

«Зачем столько слов? — спросила себя Сабина. — Сказал бы прямо, что я должна переехать в Зону. То ли ему не нравится их жизнь, то ли он невысокого мнения обо мне?»

— Я могу мыться стиральным мылом и эфиром протирать кожу, — пошутила она.

Роберт забыл вдруг, что это не игра, его губы жадно тянулись к ее губам.

«У мужчин мозг устроен по-особому,— подумала Сабина,— он включается и выключается без всякой системы. Сам спрашивает, а ответа не ждет». Она прикрыла ему рот ладонью.

— Где мы будем жить?

— «Моя судьба — судьба твоя...» — прогудел он.

«Ария из оперетты. Нет, от него не добьешься ничего разумного»,— решила Сабина.

— ...А если хочешь, бросим жребий...

Она тихо засмеялась:

— Дурачок!

Ничто так не подзадоривает мужчину на глупые выходки, как смех женщины, которая не верит в его способность делать глупости. Роберт встал, порылся в ее сумочке. Вчера, когда они были на ярмарке, он надеялся выиграть в лотерею большого пушистого медвежонка, но после пяти «пустышек» утешился игральной костью из светло-зеленого стекла.

— Роберт, поговорим серьезно! Для моих родителей это не просто, в особенности при той дикой, необъяснимой ненависти, которую питает ко всем вам мой отец. А как будет с моей работой, найду ли я ее там у вас? Об этом тоже надо подумать.

Он обернулся, взвешивая на ладони светло-зеленый кубик.

— До сих пор никто не поступал с нами разумнее, чем случай.

Она взглянула на него широко открытыми потемневшими глазами.

Вот сейчас он опять такой же, как тогда в машине — мчится сквозь ночь, не обращая внимания на дорожные знаки и указатели, останавливается на незнакомой развилке и, чтобы решить, куда ехать, предлагает бросить кубик. И все-таки она полюбила его именно за то, что жизнь для него не игра.

— Не хочу, — сказала Сабина.

Роберт не обратил внимания на ее слова. «Я люблю тебя,— думал он.— А что на свете есть более простое, чем любовь? Только голод».

— Ты беспокоишься о хлебе насущном?

Она покачала головой.

Роберт подошел к столу рядом с ее креслом.

— У кого больше очков, тот и выиграл, — сказал он и бросил кубик.

— Ты на что ставишь? На Восток или Запад? — быстро спросила Сабина.

Он накрыл рукой кубик.

И они окончательно спустились с небес на землю.

Роберт положил кубик в ее сумку. Их взгляды встретились. Она сидела, съежившись, и молчала.

— Конечно, все это вздор, — сказал он. — Зачем нам бросать жребий? У меня там работа, и ты приедешь ко мне. Это не проблема.

«Это не было проблемой прежде, но сейчас... — подумала Сабина.— Сперва я тебе просто верила, но ты захотел бросить жребий, и я опять стала сомневаться. И мне не легче оттого, что ты однажды сказал: «Сомневаться — это еще только вспахивать землю. Чтобы вырастить хлеб и цветы, надо посеять». Но ведь ты и сам не знаешь, как сеят».

— Право же, это не проблема,— повторил он.

«Пожалуй, сегодня еще нет»,— подумала Сабина.

— Поцелуй меня! — сказала она.

Сабина встала, и пальто соскользнуло с ее плеч.

Небо было серое, и зеркало уже ничего не отражало. Прозвенел ранний трамвай. Где-то в ванной зашумела вода... Карлов мост построили столетия назад, а на Марс полетят через какой-нибудь десяток лет...

■

Он стоял на террасе, а она шла к самолету. И он все-таки не преминул отметить про себя: «Вон идет молодая красивая женщина». Поднявшись по трапу, Сабина обернулась, подставив лицо ветру. Роберт Хартунг не мог больше ни о чем думать. Как все нелепо! Дверь захлопнулась, самолет покатил к взлетной дорожке, сигнальщик махнул флажком, из-под колес фонтаном разлетелись брызги, и вот уже самолет повис в небе среди разорванных облаков.

Хартунг вернулся в отель. Люди вокруг чужие, говорят на чужом языке. Он чувствовал себя выключенным, вернее, вытолкнутым из жизни, и с неприязнью смотрел на старый оживленный город.

Портье подал ему ключ от номера, по привычке обнажив зубы, а еще совсем недавно он улыбался так приветливо! Ждать лифта пришлось целую вечность, и, когда он наконец спустился, в кабине оказалась молодая индианка с тремя детьми и кучей багажа; старый коридорный долго возился, перетаскивая чемоданы в стоявшую у подъезда автомашину, а маленькая девочка-индианка стукалась лбом о вертящуюся дверь, то и дело оборачиваясь в ожидании, что чужой саиб скажет ей, как он это делал ежедневно, какое-нибудь веселое непонятное словечко. Но Хартунг неотрывно смотрел на лестницу, ту самую, белую и красную лестницу, пока не появился старик коридорный, которого некоторые приезжающие называли *«boy»*.

Номер 324, как все гостиничные номера в мире, был скучный, неуютный и удобный. Хартунг вымыл руки и бессознательно осмотрел полотенце: не осталось ли на нем следов ее губной помады?

Он начал собирать вещи — его поезд уходил в полдень. Складывая пижаму, Хартунг услышал шуршание бумаги. Из кармана торчало письмо. Его неискушенное сердце сильно забилось, в ушах зазвенело, и чужая неуютная комната наполнилась запахом Сабининых духов. Он прочел письмо:

«Ты говорил, дорогой, что не заснешь ни на минуту в эту нашу последнюю ночь, и все-таки уснул. Вспомни апостолов на Масличной горе. Быть может, мы всегда спим, когда нам меньше всего следовало бы спать. Я могу разбудить тебя, чтобы ты бодрствовал вместе со мной. Но поможет ли это? Надо же мне хоть раз выплакаться, и пусть уж лучше я сделаю это теперь, когда ты рядом.

Все у нас с тобой остается неопределенным, пока не состоится моя защита в октябре или ноябре.

А потом, разве потом что-нибудь изменится? Приедешь ли ты ко мне или я приеду к тебе? Ты говорил — помнишь, это было в воскресенье? — что сам себя не знаешь, но ты обязан знать себя, иначе нам действительно пришлось бы кидать жребий. А что может быть ужаснее,

чем разыгрывать свою жизнь в кости?! Ты говоришь, у тебя есть там работа, но ты получил бы ее и у нас. Это все равно если бы я решала, ехать к тебе или не ехать (я понимаю, что такое сравнение не очень подходяще), в зависимости от того, какая у тебя машина — «опель» или «шкода». Да я приехала бы к тебе и в том случае, если бы у тебя был только велосипед, которым мы пользовались бы по очереди, а по воскресеньям ездили вдвоем, и я сидела бы на раме.

Сейчас, читая эти строки, ты, наверно, смеешься, а я реву, потому что воскресная прогулка напоминала бы мне наш пражский роман: мы не могли бы далеко ездить, а уж с детьми тем более.

Дело не в машине, а в том, куда ехать. Боюсь, что наши компасы, твой и мой, показывают разное направление, вот почему я плачу.

Над нами или где-то рядом звонит телефон: кого-то будят. Времени осталось мало, скоро мне придется и тебя разбудить.

Мне было так хорошо с тобой, любимый, точно в сказке. Благодарю тебя за бетховенский концерт в Вальдштейнском парке, за любовь — нежную и страстную, за ароматное пиво в кабачке и за то, что ты вместе со словацкой крестьянкой попросил святого Николая благословить меня. Вдруг это мне поможет, ведь святой Николай всегда был милостив к плачущим девушкам.

Сабина».

Роберт Хартунг побросал вещи в чемодан, а письмо спрятал во внутренний карман пиджака. Он не тосковал, покидая Прагу. Их Прагу — его и Сабины — он увозил с собой.

Глава шестнадцатая

«Мне хотелось кричать. Почему я не кричала? Почему я не сбежала вниз по трапу, не кинулась к нему? Я нашла его и теперь никому не отдам, ни на один миг. Я думала, что просто уеду в другой город; но ведь еду я не в другой город, а в другую жизнь! Разве мы этого не знали? Как мог он допустить, чтобы я улетела одна?

Сейчас он читает мое письмо. Боже милосердный, сделай, чтобы он прочел его так, как надо, даже если я его не так написала!

Сделай, чтобы он прочел: я люблю тебя и буду с тобой всюду, где бы ты ни захотел!

Ведь не о том речь, называется ли этот город Ульм или Галле, а страна — Германией или Занзибаром. Но, любимый, пойми, если жизнь ограничить домом и садом, лучше тебе приехать к нам. Нет никакого сомнения в том, что жизнь в пределах собственного дома и сада здесь куда легче, удобнее, комфортабельнее.

Я уподоблюсь жене главного инженера в поселке: стану читать «Констанцу», наши пять кустов роз назову «розарием», заведу друга дома или пуделя, начну устраивать приемы и наш крытый балкон переименую в зимний сад. У калитки, провожая в полночь гостей, я буду громко говорить, отчеканивая каждое слово, чтобы, упаси бог, никто не подумал, будто мы должны с кем-то считаться или перед кем-то ходить на задних лапках. Ты больше не будешь врачом, ты станешь выколачивать деньги.

Но я не хочу, чтоб моя жизнь ограничилась этим. Даже если ты, Роберт, будешь рядом, я и тогда этого не захочу.

Но если ты мне скажешь: «Поедем в Конго, где свирепствует «сонная болезнь», я ни на секунду не захнычу оттого, что там нет «шанеля».

«Шанель» — это приятно, есть много вещей, которые делают нашу жизнь веселей, красивей. Суть не в них. Это как папиросная бумага, которой прокладывают вещи в чемодане, чтобы они лежали плотнее. Можно, конечно, уложить их и без папиросной бумаги, но есть люди, в чьих чемоданах, кроме этой бумаги, нет ничего.

А у нас с тобой, Роберт?

Пусть «сонная болезнь» называется иначе, пусть наша страна Конго находится не на экваторе — пойми, я согласна жить с тобою где угодно, лишь бы это была настоящая жизнь.

Если и ты желаешь такой жизни — я буду твоей женой. Это мое единственное условие.

Но, даже если ты его примешь, нам будет нелегко. Мой отец ни за что не согласится, чтобы я уехала в Зону. Он ненавидит и боится там всех.

Глубоко, глубоко подо мной Богемский лес. Но, Роберт, если бы пропасть, разделяющая нас, была вдвое глубже, мы все равно не перестанем любить друг друга. Мы будем, мы должны быть вместе! Ах, почему я не осталась с тобой! Почему ты не сказал: «Едем со мной!»? У нас, любимый, не хватило решимости. А может быть, нам и не следовало еще принимать решения? Слишком мало мы знали друг друга, чтобы поверить в себя».

Глава семнадцатая

Возвратившись домой, доктор Хартунг по дороге в клинику упрекал себя за непростительно долгое отсутствие. Он с такой ясностью ощущал недовольство собой, что вспомнил, как однажды испытал такое же чувство. Это было за несколько дней до государственных экзаменов, и его товарищи решили напоследок — кстати говоря, впервые — кутнуть по-настоящему, пошататься по кабачкам. Хартунг отказался — видит бог, не из скромности, а потому, что хотел свой выходной костюм заработать собственными руками. Друзья встретили его, когда возвращались в город, они что-то кричали ему из окна вагона, а он в то время грузил ящики на стоявшую рядом платформу.

У Хартунга не было оснований обвинять себя в чем-либо, но на него тогда угнетающе подействовало присуждение ему диплома с отличием, и он никак не мог освободиться от чувства, что удостоился этой высшей оценки потому, что не принял участия в кутеже.

И хотя задержаться на пять дней в Праге ему разрешили телеграммой, он счел своим долгом, представляя краткий отчет о конгрессе, объяснить профессору причину задержки.

Профессор Биркхеймер торопился.

— Это было необходимо?

— Да,— ответил Хартунг.

— В таком случае,— сказал профессор,— будем считать вопрос исчерпанным. У вас в отделении сейчас лежит интересный больной. Посмотрите его, а завтра побеседуем.

Хартунг отнесся к больному особенно внимательно, однако чувство недовольства собой и какая-то непривычная скованность не покидали его.

Первый же свободный вечер он провел с Дорис Шефер. Они встретились в кафе на площади, и он сказал ей то, что считал себя обязанным сказать.

Дорис слушала его, не прерывая, она не упрекала и не плакала. Некоторое время она еще посидела в кресле, очень подтянутая и спокойная. Она понимала, что он ее больше не любит, но ей было трудно с этим примириться.

Хартунг и представить себе не мог, каких усилий стоило ей улыбнуться и сказать:

— Значит, ты ждешь моего благословения? — Она встала.— Ну что ж, благословляю,— и, протянув ему руку, добавила: — А если когда-нибудь мне понадобится твое благословение, я тебе сообщу.

Видел ли он, что она плачет? Он понимал только одно — они расходятся по обоюдному согласию.

С удивлением и даже испугом он почувствовал, что сам этому не рад, что далеко не спокоен, а уж говорить о том, что счастлив, и вовсе не приходится.

Он получил письмецо от Сабины, она коротко писала о полете, о возвращении домой: «Во Франкфурте я чувствовала себя чужой, как за границей. И только в своей студенческой конуре постепенно начала осваиваться. Мне надо много, очень много работать. Но я буду писать тебе как можно чаще. Нам необходимо писать друг другу. Не для воспоминаний о Праге, а чтобы помнить те дни, которые мы провели с тобой в деревне».

Хартунг раздумывал над этими фразами и не находил объяснения. Отвечая Сабине, он с трудом выжимал из себя слова. Наконец, сделав над собой усилие, написал все, что подсказывали ему тоска и тревога.

«...Вчера мой сосед Цауник, человек вообще вполне разумный, приходил ко мне с резолюцией по поводу этого сорвавшегося Парижского совещания. Слов нет, было бы замечательно, если бы они там протянули друг другу руки, мол, все мы братья и отныне никогда не будем больше драться в враждовать. Трудно себе представить, какое ликование охватило бы весь земной шар. Мы с тобой немедленно поженились бы и плевали тогда на все границы. Но кончилось иначе, и теперь на нашей планете дышится труднее; однако я не верю, чтобы резолюции могли помочь. Я сказал Цаунику: я врач, и мой долг охранять здоровье людей. Вы член партии, и ваш долг — делать политику. Одно другого, правда, не исключает...

Резолюции я не читал и не подписал ее. Впервые *не прочитал*. Потому что пришел к убеждению, что быть настоящим врачом и заниматься политикой — несовместимо: больной есть больной и врач есть врач. Да и при чем тут политика? И нам с тобой она, собственно, ни к чему. Ты защитишь свой диплом, приедешь сюда, найдешь подходящую работу — дело обычное, житейское, и никакой помощи философов и идеологов тут не требуется.

Цауника я просил присматривать за квартирой. Самое позднее, мы поженимся в ноябре».

Письмо заняло шесть страниц. Оно было тем клапаном, через который прорвалась вся накопившаяся в Хартунге горечь, и он после спора с Цауником и после этого письма к Сабине почувствовал себя прежним: очень молодым, очень сильным, довольным собой и жизнью.

Однако такое настроение быстро прошло. Отчетливое чувство вины вернулось и было не менее тягостным, чем раньше.

Хартунг позвонил своему другу-поэту, у которого на окраине города был домик с большим садом. Поэт сказал ему, что в данную минуту занимается китайским языком, так как вскоре поедет в Азию. Но, разумеется, беседа со знаменитым врачом, и к тому же участником конгресса, гораздо полезнее для его будущей поездки, чем сто китайских слов, которые китайцам все равно покажутся разновидностью саксонского диалекта.

— Пожалей телефон,— взмолился Хартунг,— я выезжаю.

Как всегда, Хартунгу полагалось, проходя садом, выражать восторг и удивление по поводу того, что дельфиниум — еще несколько лет назад каких-то три жалких стебля — разросся в целый лес и что наконец уда-

лось избавить куст калины от муравьев. Пришлось порадоваться еще и полянке, сплошь усеянной львиным зевом, после чего обход прервался — поэту необходимо было выпить рюмку коньяку.

— За твое здоровье! — сказал гостеприимный хозяин.— Судя по твоему виду, ты в этом нуждаешься.

Хартунг выпил черносмородинной наливки и согласился с тем, что его здоровье действительно пошатнулось. Он уверял поэта, что чувствует себя, как тот осел, который сожрал ежа, приняв его за чертополох.

Поэт тут же вытащил картотеку синонимов и в раздел «особо оригинальные образы» внес только что услышанное сравнение. Хартунгу все это было не в новинку, он молча разглядывал своего друга, который ничем не походил на поэта, если не принимать во внимание его огромные оттопыренные уши. Всем своим видом он напоминал не то бродягу, не то главного бухгалтера, и нельзя было понять, кто же из них — бродяга или бухгалтер — писал стихи, которые не только получали премии, но даже заслуживали их.

— Значит, у тебя болит живот,— изрек поэт.— Но ты ведь знаешь, что я в этом ни черта не смыслю.

— Речь идет о любви,— ответил Хартунг,— а в этом ты кое-что смыслишь.

— Чисто профессионально,— возразил поэт.— А понимать что-либо только благодаря профессии вовсе не значит понимать правильно.

— В сущности,— сказал Хартунг,— мне совершенно безразлично, смыслишь ты что-нибудь в любви или нет, но ты должен выслушать мою историю.

И он поведал обо всем, что произошло между ним и Сабиной. Начав с конца, он к концу и вернулся.

— Помимо того, что ты не умеешь рассказывать и пропускаешь самые интересные места, твоя история плохо построена. Нужно, чтобы девушка была вполне довольна своей жизнью, а ты... тебе следовало быть председателем профсоюза шорников и...

— Чепуха! — прервал его Хартунг.

Поэт покачал головой.

— Я склонен думать, что если бы ты хоть в последнюю ночь не повел себя как председатель, то сейчас, убежден в этом, не сидел бы здесь и не чувствовал себя — кстати, с полным основанием — ослом.

— Почему?

— Не знаю. Но мне кажется, что Сабину ты чем-то разочаровал. Уж не игральным ли кубиком?

«Возможно»,— подумал Хартунг, и сказал:

— Но ведь я это не всерьез, у меня и в мыслях не было переезжать на Запад. Для этого нет никаких оснований.

Помолчав, поэт спросил:

— А почему ты не сказал ей, что имеешь все основания жить здесь?

— Я не хотел,— с трудом выдавил из себя Хартунг,— примешивать к этому проклятую политику.

Он тут же понял, что пытается выйти сухим из воды.

— Ты прощен! — сказал поэт.— Ибо рассуждал как член своей касты. Между тем, насколько мне известно, ты всегда стремился рассуждать нормально.

Хартунг чуть было всерьез не обиделся. Он относил себя к тем врачам, которые осуждали и высмеивали узколобый кастовый дух, присущий некоторым из коллег.

Поэт попросил Хартунга не сердиться, так как послезавтра уезжает в далекое путешествие, и не исключена возможность, что в горах он встретит снежного человека, а тот его сожрет. И ему, пожираемому, будет очень тяжело при мысли, что они расстались в обиде друг на друга.

Хартунг согласился с этим доводом, но побранил поэта за несерьезный разговор.

— Я говорю с тобой совершенно серьезно,— возразил поэт,— как и подобает говорить с ослом, сожравшим ежа вместо чертополоха.— Хозяин дома оглушительно расхохотался.

Хартунг не остался в долгу.

— Хотел бы я знать,— сказал он,— как это ты со своим юмором стал немецким поэтом?

Поэт пожал плечами:

— Ошибка природы.

Они отправились в город и закусили в ресторане «Тюрингия». Поэт выпил много пива, «чтобы,— как сказал он,— не умереть от жажды в пустыне Гоби».

Поэт был значительно старше врача. Они подружились, когда вечерами, а иной раз воскресным утром разбирали развалины и вывозили тачки мусора и щебня. Оба переехали в новое студенческое общежитие — студент-медик Хартунг и студент-филолог, он же кровельщик и активист молодежной организации. Теперь кровельщик стал поэтом. Подвыпив, он признался, что у него свои «печали». Никогда его сад не цвел красивее, чем в нынешнем году, но, вместо того чтобы любоваться им, надо уезжать.

— А зачем? — спросил поэт, глядя на Хартунга.— Чтобы писать новые стихи, которых вы даже не читаете?

Трудно было понять, чем он больше огорчен: тем ли, что мало читают его стихи, или тем, что на целое лето расстается со своим садом.

А сад и вправду вызывал восхищение, хоть и не мог сравниться с каким-нибудь старым парком, окружавшим роскошную виллу конца прошлого столетия. Таких вилл и парков было много по соседству с домиком поэта.

Может быть, этот сад постороннему и не показался бы столь красивым, но для поэта прелесть его составляли тысячи сорняков, которые он выполол собственными руками, тысячи капель пота и тысячи минут радости, которые он пережил при виде острых, как ланцет, травинок, вылезавших из земли, и розовых бутонов, распустившихся нежным облаком аромата и красок.

— Знаешь,— сказал Хартунг,— я иногда езжу за город и буду вместо тебя наслаждаться твоим садом.

— Научись раньше наслаждаться своей Сабиной! — сказал поэт строго.

«Он прав,— подумал Хартунг.— Ведь я даже не радуюсь тому, что существует Сабина и что я нашел ее. Может быть, во мне нет радости оттого, что я полон недовольства собой?» Недовольство же было вызвано тем, что Сабина нарушила привычный ход его жизни.

«Для нее жизнь не игра,— думал Хартунг.— Для меня тоже. Но я не хочу, чтобы ко мне предъявляли чрезмерные требования».

Глава восемнадцатая

Самолет вторгся в чужое небо, и Конференция большой четверки не состоялась. В готическом соборе на Рейне дряхлый человек перед телевизионной камерой возблагодарил *своего* бога.

В одном из замков Франции генштабисты переставили на карте флажки, а электронные мозги, исходя из новой ситуации, подсчитали жертвы первых часов атомной войны. Газеты сообщали о хорошем самочувствии иранской шахини Фара Дибы, о кризисе в Конго, о могуществе

людей, способных превратить в атомную пыль земной шар и все живое. Человек с лошадиным лицом, сделавший Сабине Кёниг предложение, с каждым биржевым днем приобретал все большую власть и все чаще обсуждал со своими министрами необходимость крепить оборону. Проповедники, светские и духовные, еще громче кричали о том, что лучше потерять жизнь, нежели душу, а веселый пестрый завод, который дикие гуси принимали за лужайку и где Макс Кёниг был мастером, начал работать на полную мощность.

Рождались и росли дети, где-то в Северной Америке стоял на столе красный телефон, в небесах повисла смерть, а в Риме вот-вот должен был зажечься Олимпийский огонь.

Сабина Кёниг, закончив работу, передала ее старому профессору с острой бородкой. Она оставила свою комнатку с чудесным видом на долину Неккара и, выслушав последнее пылкое признание Вылко Благова, уехала домой.

Ласковая игра ветра, мирная красота долины, леса и гор доставили ей тихую и спокойную радость.

— Красиво! — сказала она.

Сегодня и вправду все ей казалось красивым, а завтра, может быть, покажется тесным, скучным, затхлым. «Я стала капризной, как старый мопс из детской песенки»,— подумала она.

— Погоди,— говорил Макс Кёниг, сидевший рядом с ней за рулем ярко-зеленого автомобиля,— погоди, вот приедем домой...

Открывая калитку, Сабина сразу заметила, что отец провел не одну бессонную ночь с тех пор, как она в последний раз была дома.

Под вишневым деревом, помеченным цифрой III, стояла на лестнице Агнеса Кёниг и обрывала золотисто-желтую с красной щечкой черешню. Увидев дочь, она соскочила с лестницы, опрокинув при этом полкорзины ягод. Они обнялись.

Макс Кёниг видел в эту минуту не рассыпанные ягоды, а свою здоровую, крепкую жену, свою дочь, которая скоро получит диплом, видел свой дом и свой сад — свое счастье, выкованное собственными руками. Он понимал, что есть люди, завидующие ему, но их зависть и недоброжелательство все меньше трогали его, завод недаром работал на полную мощность. «Все закономерно,— думал мастер Кёниг,— завод дает мне дом и сад, я отдаю заводу свои силы, опыт, добросовестный труд. А он, в свою очередь, выдает продукцию, которая оберегает мой дом и сад».

Старый мастер был в хорошем настроении.

— Пойдемте выпьем по стаканчику в честь того, что ты вернулась от этих нечестивцев живая и невредимая. Если бы ты, дочка, как это полагается, спросила меня, я запретил бы тебе поездку в Зону.

Сам он был тверд в своих взглядах, но можно ли поручиться за других? Зачем подвергать себя опасности заразиться идеями, которые угрожают акциям заводского мастера не меньше, чем пакету акций хозяина Макса Кёнига — человека, возымевшего желание купить Сабину?

И еще... но Максу Кёнигу сейчас не хотелось об этом думать. Да и вряд ли, считал он, такая короткая поездка с научной целью и с ведома властей может кому-либо показаться предосудительной.

До поздней ночи Сабина рассказывала матери о докторе Хартунге, о сказочных днях в Праге, о своей любви, которая не сон и не сказка, а простая ясная любовь между мужчиной и женщиной, и не надо ни испытывать ее прочность, ни измерять глубину. Ведь так оно и бывает: из миллионов людей выбирают одного, становятся рядом и остаются навеки вместе, что ж тут сомневаться.

Но можно не сомневаться — отец никогда не даст согласия на то, чтобы его дочь жила по другую сторону Эльбы.

И наконец, можно не сомневаться в том, что Сабина Кёниг скоро родит ребенка от Роберта Хартунга.

Мать испугалась.

— Но зачем же тогда жить и любить, если не хотеть ребенка?— сказала Сабина с улыбкой.

Они решили рассказать отцу обо всем, только не о ребенке. Но пусть Сабина напишет Хартунгу, это заставит его приехать.

Сабина молча кивнула. К чему говорить матери, что именно об этом она ничего не напишет Хартунгу?

Глава девятнадцатая

Солнцу тяжело было бороться с облаками, которые ветер изо дня в день гнал с Атлантики, и все же лето выдалось на редкость хорошее.

Сабина быстро превозмогла усталость последних, очень трудных недель и зажила иной, почти растительной жизнью. Ее дни текли, как глубокая спокойная река — без водоворотов, без запруд и шлюзов. И вода в этой реке была прозрачной до самого дна.

Сабина жила в тихом уединении, забыв обо всем, что видела и слышала сама и к чему ее приучили — видеть блеклое фальшивое небо, каким оно бывает на открытке, и лес, напоминающий хоровую капеллу. И все это для того, чтобы никто не видел другого, настоящего.

Она повидала нечто другое, настоящее.

Бывало в праздник люди маршировали с флагами, и хоть флаги выглядели новенькими, а люди громко выражали свой гнев и произносили клятвы, и флаги их и клятвы были старые. Эти люди гордились войной, но не проявили себя ни в чем, что давало бы им право гордиться своей жизнью. На их совести была целая страна, но они относились ко всему с удивительной легкостью, ибо давно упрятали свою совесть в сейф или выбросили в сточную канаву. К ним, к этим людям, и обращался тот новый человек с прядью волос на лбу, и то была старая песенка, то были старые слова.

Все это Сабина видела, и обо всем сейчас забыла.

Однажды они с Благовым поехали на мотороллере в Кёльн. По дороге сделали привал в одном из автобаров. Внизу протекал Рейн, а наверху, у парапета, какой-то преподаватель произносил речь. Школьницы слушали его затаив дыхание. В автобаре за соседним столиком сидел семнадцатилетний юнец со своей подружкой, у обоих были одинаково стриженные головы. Пламенно-красный «роудстер» принадлежал парню. Он не хвастал, он только описывал девушке, вероятно еще школьнице, как удивился его отец, когда он потребовал, чтобы старик купил ему «эту штуковину» ко дню рождения.

Все это Сабина видела, но сейчас забыла.

И еще она забыла о фильме про смерть в Хиросиме, ибо знала, что нет ничего страшнее той смерти. Она забыла обо всем и так бережно ограждала себя, что ничто ее не касалось: ни предстоящая защита диплома, ни опасения матери, как бы отец не проведал о том, что от него скрывалось, ни угрюмый вид отца и прорывающаяся у него ненависть к незнакомому человеку по имени Хартунг. Все это было не более чем пылинкой, случайно занесенной ветром,— она не могла замутить воду в реке.

■

Вставала Сабина рано и работала в саду: разрыхляла грядки, чтобы цветам и луку, розам и помидорам легко дышалось, выпалывала сорняки. Она нашла новую муравьиную кучу, окопала ее и посыпала

ядовитым порошком. Она видела, как насекомые силятся спасти свой приплод, и чувство глубокой жалости охватило ее.

Послеобеденные часы Сабина отдыхала: плавала в бассейне, лежала на траве, боясь упустить малейший луч солнца, малейшее дуновение лета, словно собирала и накапливала все к тому времени, когда родит на свет ребенка.

Она мало думала о ребенке, а если погружалась в мысли о нем, ей казалось, что она вслед за жуком взбирается по высокому стеблю. Временами ее охватывала щемящая тоска по Роберту.

В прохладные дни Сабина бродила по лесу, добираясь до самой вершины горы, где стояли покалеченные грозой сосны.

Но слишком коротким был день, и у нее не хватало времени спуститься по западному склону и побродить в темном, густом бору.

Дома она уходила к себе наверх, едва начинало темнеть. Никогда она не сидела с родителями перед телевизором, словно не хотела вспоминать о том, что было забыто.

В ее комнатку с окнами в покатой стене по вечерам доносился из сада аромат гвоздики, а по утрам — сосны из ближнего леса или приторно-сладкий запах огромной липы, зацветавшей посреди лужайки.

Сабина почти ежедневно писала Хартунгу, но никогда не заканчивала письма в один вечер. Чтобы рассказать о своей скромной, ничем не примечательной жизни, хватило бы нескольких фраз, а того, что было в Праге, она не хотела касаться. Писать же о том, что ей предстояло, она стеснялась. Слишком многих красок лишается день, если начать пространно описывать его с раннего утра.

Ни звука не обронила Сабина о ребенке, которого ждала, ни словом не обмолвилась о том, что они живут в отечестве, которое превратилось в два отечества. Своего приглашения приехать на защиту она не повторяла. По письмам Хартунга чувствовалось, как удивляет его эта новая, незнакомая ему Сабина. Иногда ей казалось, что ему легко, а чаще — что он озабочен и даже разочарован.

Однажды после его письма она была готова проломить воздвигнутую ею же самой стену и написать ему: «Не бойся, Роберт, я вовсе не собираюсь бежать от жизни и превратиться в фею, которая живет ароматами цветов и порхает в наряде, сотканном из солнечной пыли, нет, Роберт, этого ты не бойся. Я только чувствую, что мне надо беречь все свои силы, ибо на меня надвигается нечто темное и грозное, чего я страшусь и от чего не должна и не хочу бежать». Однако этого она ему не написала.

Сабина не раз замечала, как нервничал отец, который с бессильным негодованием видел, что разорванность Германии угрожает его маленькому тихому счастью.

То, чего не должна была знать Сабина, знал он, Макс Кёниг: при новом заводе в долине в новых домиках у подножия холмов жили самые надежные люди, проверенные и просвеченные вплоть до сокровенных уголков сердца и мозга, и не могло даже сомнений быть в том, что кто-то, имеющий связь с Востоком — теперь ли, в будущем ли,— поселится на участке среди старых вишен.

Заводскому мастеру Кёнигу иной раз казалось, что директор завода с ним реже заговаривает, что смешок его не так приветлив, как прежде, что кивнул он сдержаннее обычного, что к нему, Кёнигу, стали относиться с недоверием. Старый мастер не мог с этим примириться, радость, которую приносили ему дом, сад, омрачалась. В подавленном настроении поднялся он в тот вечер к дочери.

— Когда приедет Хартунг?

— К моей защите.

— Он останется?

— Не думаю.

— Но ведь я тебя...

— Я ему написала, как ты того хотел.— Она действительно писала Хартунгу: «...Мои родители очень хотят, чтобы ты переехал сюда...» Но собственного мнения при этом не высказала.— Я хотела поехать к нему, а ты...

— Сам знаю, что запретил...

Кёниг встал и подошел к окну. Он решил постоять. Так, казалось ему, слова его прозвучат более веско. Но, глянув в сад, он сказал:

— Знаешь ли ты, что это все для меня значит? — Последовал скупой жест, которым старый мастер как бы охватил и себя, и дом, и сад, а может быть, и завод в долине.

— Понимаю,— усмехнулась Сабина, как усмехнулся бы взрослый восторгу ребенка.

Макс Кёниг угрюмо посмотрел на дочь.

— Когда мы с твоей матерью поженились,— сказал он,— у нас была одна комната, тесная, закопченная, с клопами, а сад умещался в трех цветочных горшках — больше на подоконнике не хватало места. А потом...— он замолк. Впервые ему самому стало ясно, что он всегда имел перед собой одну-единственную цель: дом, сад, должность мастера. Только это и ничто другое за всю свою жизнь. И вот он достиг этого, и теперь весь смысл его жизни — сохранить достигнутое. Он оглянулся на дочь.— Порви с ним!

Секунду Сабина боролась с собой, чтобы не ответить: «Я жду от него ребенка»,— но сказала только:

— Он мой муж.

— Мужем и женой становятся после регистрации брака.

Она снова усмехнулась.

— Значит, ты нашел мать в Отделе записи актов гражданского состояния?

— Не воображай, что если ты училась...

— Ну что ты, папа!..

Помолчав, он продолжал:

— Я был рабочим, а твоя мать прислугой,— и как бы нехотя добавил: — При этом не страдали ничьи интересы.

«Как телевизор формирует мировоззрение людей,— подумала Сабина.— Интересы!..»

— А чьи интересы пострадают сейчас?

Она не шутила, но отец воспринял ее слова как насмешку. Он ненавидел этого Хартунга, из-за которого родная дочь позволяет себе так разговаривать. Он готов был возненавидеть ее, она вынуждала его выдать доверенную ему тайну.

Макс Кёниг пошел к двери, бросив на ходу:

— Если Хартунг не переедет сюда или ты с ним не порвешь, я лишусь всего...

Снова скупой жест, охватывающий дом, сад, завод. Сабина еще ничего не знала. Эти слова, этот жест несколько поколебали ее уверенность.

«...или же потеряю свою дочь»,— мысленно добавил Макс Кёниг, выходя из комнаты.

Среди ночи он разбудил Сабину.

— Никому ни слова о нашем разговоре, даже матери.

Сабина кивнула.

— Слышишь?

— Да, отец!

С этой минуты Сабина перестала быть самкой, которая вынашивает детеныша и занята только собой. Она снова вспомнила все, что ви-

дела, слышала, знала. Снова увидела за фасадом сытости и довольства все затхлое и гнилое, чем был полон окружавший ее мир. За внешней бравадой притаился страх перед жизнью, а жизнь была по-людоедски жестокой, и страна добровольно распростерла руки на черном распятии.

Теперь Сабина реже сидела в саду, реже полеживала на траве. Прихватив с собой яблоко и кусок хлеба, она уходила с раннего утра в лес и спускалась в лощину на западном склоне горы.

С того памятного ночного разговора завод в долине внушал ей страх и недоверие, Сабина и не предполагала, что в одном из его помещений хранятся копии писем, которые она получала и писала сама.

Однажды вечером, рассказал отец, министр — тот самый, перед которым Сабина чувствовала себя, как кролик перед удавом,— посетил их завод. Он вел себя запросто с окружающими, шутил, пил пиво прямо из бутылки и даже рассмешил инженера Каппертса грубоватым анекдотом про своего коллегу, министра Эрхарда.

Но Сабина не знала о том, что заводской мастер Кёниг, собрав все свое мужество, вручил министру личную просьбу. Ее только удивило, что отец даже не вознегодовал на мусорщиков, которые в тот день оцарапали и запачкали так заботливо покрашенную им садовую калитку.

После ужина по телевизору объявили передачу новой комедии.

— Посиди с нами, дочка,— сказал отец Сабине,— вещь смешная. А смеяться полезно!

Министр пообещал Максу Кёнигу, что доцент Роберт Хартунг получит соответствующее и — тут министр рассмеялся и постучал себя по груди — вполне авторитетное приглашение на работу. Затем он сердечно пожал старику руку и поблагодарил его за доверие.

Глава двадцатая

Сам того не замечая, Хартунг стал проявлять живой интерес ко всему окружающему. Все для него стало важно: сказанное и сделанное. бессмысленное и разумное, досадное и радостное, привычная повседневность и те ростки будущего, которые взойдут только через пять, десять или пятьдесят лет, запечатленные в книгах и ощутимые в отношениях между людьми. Он пытался оценивать, но у него не было точного мерила. Случалось, что Хартунг принимал глупое за плохое, а иной раз то, что было необходимостью, казалось ему глупым. Он часто ошибался, но не ставил себе целью копить ошибки — свои и чужие.

Все чаще и все более страстно спорил он с Цауником, как бы проверяя на нем свои новые взгляды и понятия. Споры сближали их. Однако в одном вопросе, казалось, им никогда не найти общего языка.

— Нас все еще опекают где надо и не надо,— утверждал Хартунг.— Еще живуч неискоренимый предрассудок, будто каждому чиновничьему креслу соответствует, так сказать, предопределенный природой разум.— И это, полагал он, идет во вред социализму.

Впервые его рассуждения по-настоящему разозлили Герберта Цауника.

— Вздор! — возмутился Цауник.— Так бывает с теми, кто все плохое, глупое и некрасивое приписывает нам, а все хорошее, умное и красивое — доброму боженьке или самому себе! Разве интеллигенция не имеет более высоких обязательств перед истиной?

Последнее время Хартунг стал веселее и уравновешеннее, чем когда-либо. Его оптимизм особенно чувствовали больные. Он был молод и здоров, высказывал простые и ясные суждения. Студентки обожали его.

Однажды Хартунга попросили провести прием в поликлинике большой ткацкой фабрики в восточной части города, так как штатный врач, доктор Фридрихс, не явился на работу. По телефону сказали, что утром он заходил в свой кабинет, привел в порядок письменный стол и уехал. Хартунг отправился туда. Пациентов оказалось мало, самой тяжелой больной была уборщица, страдавшая бронхитом и нарушением речи.

В проходной Хартунг столкнулся с фрау Мартен. Она все еще жаловалась на сердце, беспокоилась, что уже никогда не будет здорова. Но от ее прежнего беспросветного отчаяния ничего не осталось, глаза у нее были ясные, голос бодрый. Она больше не стояла у станка, а, закончив курсы, работала в фабричных яслях.

По ее просьбе они вместе прошли в тенистый парк между детским садом и яслями посмотреть на «ее» ребенка — девочку, которую фрау Мартен удочерила по его совету, краснощекую, крепкую, с черной кудрявой головкой. Все было хорошо, и, глядя на них, Хартунг от души радовался.

По пути домой он проехал мимо нового здания, где по соседству с другими врачами жил доктор Фридрихс. Внизу у подъезда стоял «трабант» Фридрихса, и в него усаживался какой-то незнакомый коренастый человек.

Хартунг резко затормозил, решив немедленно зайти к Фридрихсу.

Ему самому было еще не совсем ясно, чего он, собственно, хочет от коллеги. Поднимаясь на пятый этаж и читая на каждой двери таблички с фамилиями жильцов, он подумал: «Да это же настоящая резервация врачей! Не удивительно, что некоторые из них предполагают абсолютную пустоту за своим порогом».

Он позвонил, и доктор Фридрихс открыл дверь. Хартунгу с первого взгляда стало все понятно.

— Я только что провел за вас прием, — сказал он,— может быть, у вас найдется теперь пять минут для меня?

Фридрихс попросил его пройти в одну из двух комнат. Хартунг увидел упакованные кресла и увязанный ковер.

— Вы считаете это правильным, доктор Фридрихс?

— Я не склонен обсуждать с вами вопросы морали,— возразил молодой врач. — А вообще я еду в Дюссельдорф навестить своих родственников. Совершенно официально. — Он показал разрешение на выезд.

— Вы полагаете, что я вам поверю? — спросил Хартунг. — После того, что я здесь увидел? Машину вы продали! Ни один человек в клинике не знает о вашем «отпуске»!

— В торговой организации лежит заявка на новую машину «вартбург», а у профессора в клинике — мое заявление об отпуске с сегодняшнего дня,— ответил Фридрихс, даже не пытаясь скрыть ироническую усмешку.

Хартунг понял, что разговаривать бесполезно. Его интересовало одно: какие причины заставили этого человека, сына путевого сторожа, бежать из государства, без помощи которого он разве что окончил бы двухклассную сельскую школу.

— Что ж, могу объяснить: из-за грязной политики! — вскипел Фридрихс. Что это должно было означать, он не пояснил. Остатки стыда подсказывали ему, что чечевичная похлебка, за которую он себя продал, не лучше той, за которую Исав продал право первородства.

Хартунг медленно спускался по лестнице. Вдруг ему вспомнилось, как он сказал Сабине в первый же день их встречи: «А вообще я врач и могу обойтись без этой разнесчастной проблемы Восток — Запад».

Он поехал домой, так и не зная, что предпринять. «Во всяком случае, надо сообщить об этом профессору Биркхеймеру»,— решил он и только собрался позвонить профессору по телефону, как в дверь постучали.

— Вот и хорошо, — сказал Хартунг, увидев соседа. — Есть с кем посоветоваться...

Герберт Цауник покачал головой.

— Может быть, посмотрите сперва нашу Гудрун? Со вчерашнего дня у нее болит горло, а сейчас...

— Не вызвать ли лучше детского врача? — предложил Хартунг. — Вы знаете, я ведь не...

— Уже звонил, его нет.

— Как это нет? — удивился Хартунг.

— Сбежал. — Цауник пожал плечами. — А я его всегда считал порядочным человеком.

Хартунг вымыл руки.

— Значит, теперь вы больше не считаете его порядочным? — Вопрос прозвучал резко.

— Не считаю, — ответил Цауник.

— А почему он сбежал?

— Сколько детей осталось бы в живых, — сказал Цауник, — если б наши врачи так не поступали. К сожалению, такой статистики мы не ведем. Причины для бегства всегда можно найти — у одного они кажутся уважительными, у другого — нет. Но не может быть причины, которая освобождала бы от врачебной присяги.

Они прошли к девочке. Она лежала на диване и дышала хрипло и тяжело. Испуганная мать стояла рядом.

Поставить диагноз было нетрудно: дифтерит.

— Ребенка надо немедленно отправить в больницу!

Хартунг вызвал скорую помощь и после небольшого колебания набрал номер домашнего телефона профессора Лоозе. Если кто-нибудь еще мог спасти Гудрун Цауник, то только этот превосходный хирург.

Лоозе не было дома. Профессорский квартет, высоко ценимый даже в музыкальных кругах, собрался сегодня у профессора Мельхорна, причем Лоозе вел партию виолончели. В середине второй части сонаты Равеля господа за пюпитрами отложили смычки, а профессор Мельхорн закрыл рояль. Профессор Лоозе в смокинге поехал в больницу и оперировал девочку. Он был не совсем уверен, что сделал это своевременно.

Три дня спустя Герберт Цауник сказал Хартунгу, что Гудрун спасена.

— Теперь неплохо бы сыграть в шахматы, — добавил он.

За игрой Хартунг рассказал Цаунику о полученном им сегодня письме, в котором Фридрихс дерзко и с издевкой благодарил его за то, что он доказал свою коллегиальность и не помчался в полицию. «Если вы на субботу и воскресенье поедете в Эрфурт или Радебейль, советую вспомнить обо мне. Я уезжаю в Париж! Не прислать ли вам открытку с Монмартра?» Так заканчивалось письмо.

— Кстати, — сказал Цауник, — детский врач сбежал потому, что при постройке детской клиники с ним в чем-то не посчитались...

«Это уже второй, — подумал Хартунг. — Оба сбежали потому, что не получили желаемого: один — парижского борделя, другой — дезинфекционной камеры. И оба разрешили свой конфликт с государством одним и тем же способом. А я искал совета у зеленого кубика!»

Некоторое время они играли молча. У Хартунга дела обстояли плохо, тогда как у Цауника оставалось время думать и о других вещах.

— Может ли стать врачом каждый? — рассуждал вслух Цауник.— Этот вопрос следовало бы решать в зависимости от характера человека.

Хартунг смешал фигуры.

— Сдаюсь,— сказал он. — Партия проиграна. А вопрос, может ли врач быть еще и просто человеком... пожалуй, вопрос философский.

Цауник понял, что, по мнению Хартунга, такой вопрос в состоянии

обсуждать лишь философы или по меньшей мере врачи. Мнимый заколдованный круг мучил его. Все что он, Цауник, мог бы сказать по этому поводу, казалось ему настолько элементарным, что он стал сомневаться в правильности своих выводов. Один из них, очень простой, он высказал вслух:

— Как всякий человек, профессор Лоозе имел право в тот вечер заниматься музыкой, но, как врач, он поехал в больницу и сделал операцию моему ребенку.

Доктор Хартунг кивнул:

— Мне кажется, я поступил бы точно так же. — Он гордился профессором. Но, видимо, и Цауник гордился им не меньше.

Они снова расставили фигуры. Некоторое время Цауник смотрел на партнера.

— Лоозе спас *моего* ребенка,— сказал он, сделав первый ход,— но независимо от этого я глубоко уважаю такого врача.

Они сыграли еще две партии, и обе выиграл Хартунг. Его мысль работала легко и точно, ему каждый раз было приятно делать ход, логически вытекавший из предыдущего.

В тот вечер Хартунг написал Сабине большое хорошее письмо и впервые объяснил ей, что у него есть веские причины оставаться здесь. Он напомнил, как бросил зеленый кубик тогда, в последнюю ночь перед ее отъездом из Праги.

«В этом-то и состоит одна из странностей человека, что для оправдания своих дурных поступков он часто придумывает довольно замысловатые и в высшей степени субъективные причины, а свои хорошие дела неохотно, словно сопротивляясь, обосновывает этическими принципами,— писал он. — Особенно если, как в моем случае, моральное решение легко переходит в политическое. А кто же откажется от нейтралитета, если из-за него пока не приходится ни голодать, ни умирать? Помнишь ли ты, моя девочка, то воскресное утро на Гальгенберге, когда ты спросила меня, кто я такой, а я глупо сострил, сказав, что я вообще никакой не «ист». Я и сегодня не «ист», но я хочу быть врачом. А врач — это, кроме чисто медицинской, еще и этическая категория».

В постскриптуме он просил извинения за столь высокие слова — не потому, что они не верны, а потому, что они звучали как самооценка.

Позже, стоя под душем, он решил написать еще одно письмо. Завернувшись в купальную простыню и присев на корточки, он отстукал двумя пальцами на пишущей машинке несколько строк в Бюро путешествий. Он считал, что лучшим свадебным подарком для Сабины была бы совместная поездка на две осенние недели в город их весеннего романа.

■

Еще до того, как Хартунгу была разрешена поездка в Прагу, ему представилась возможность отправиться с Сабиной в Париж или Венецию: он получил предложение занять с первого октября место главного врача в одной известной рурской поликлинике. Кроме того ему, правда в несколько расплывчатой форме, пообещали на следующий год временную доцентуру. При этом авторы письма ссылались на некоторые его научные статьи. Ни словом не обмолвились они о разделенной на две части Германии, самый тон письма игнорировал этот факт, как некую фикцию.

Хартунг долго размышлял об этом письме и, чем дальше, тем больше приходил к выводу, что этические принципы, о которых он распространялся в своем письме к Сабине, негодны для решения дилеммы, перед которой поставлен он. Одно дело сбежать от трудностей, другое — принять приглашение на работу.

В глубине души Хартунг сомневался в правильности своих рассуждений и по возможности избегал разговоров с Цауником. Это легко удавалось, тем более что его сосед проводил свой отпуск на полях одной из окрестных деревень. Там, под непрерывным дождем, только ценою огромных усилий можно было спасти обильный урожай.

Глава двадцать первая

Сабина Кёниг находилась в странном состоянии: теперь она понимала, где живет, и отказывалась с этим мириться. Она чувствовала, что стоит ей только спросить о заводе в долине, и она узнает, какой ценой покупаются сытость и благополучие. Со дня на день откладывала она ту минуту, когда должна будет спросить об этом, и уходила, словно хотела сбежать от завода, в лес, вобравший в себя солнце и все ароматы лета.

Сабина по-иному и более глубоко привязалась к матери. А мать не переставала беспокоиться: вдруг отец увидит то, чего ему не следует видеть и что для внимательного глаза становилось с каждым днем все заметнее. Однако Сабина чувствовала, что опасность таится в другом месте — еще невидимая и неведомая.

Однажды утром, гуляя по лужайке, она проходила мимо плавательного бассейна, того самого, какой вряд ли найдется в саду у миллионера. Серое небо тяжело нависло над горой. Поднявшийся ветер прочесывал деревья, и они тихо напевали свою утреннюю песнь. Когда Сабина достигла вершины, сквозь треснувший лед облаков проглянуло синее небо и на противоположном склоне горы длинный желтый луч, осколок солнца, упал в бархатисто-зеленую лощину.

Сабина шла просекой, которой не раз ходила до того места, где начиналась развилка: одна тропа плавной дугой поднималась до гребня, другая, западная, — Сабина выбрала эту дорогу — вела вниз, в незнакомую долину.

Зеленые нетронутые кусты ежевики сплетали свои колючие ветки над тропкой, которая большими петлями спускалась в лощину. В одном месте посреди пути тропа пересекала почти круглую поляну.

Трава здесь была до пояса, перезрелая и потемневшая, то тут, то там примятая ветром или лесным зверем. Забытая печальная поляна! На самом краю ее чернел разрушенный загон для скота.

Начиная отсюда, дорогу окаймляли сливовые деревья, некоторые сгибались под тяжестью зеленых плодов, другие были обвиты грязной паутиной — заброшенная, забытая аллея, скоро лес поглотит и ее.

Справа лес прорезали квадраты запущенных участков пахотной земли, пестревшие синими, фиолетовыми, желтыми и красными пятнами. Густые заросли чертополоха вымахали в человеческий рост, чопорно и важно стоял тысячелистник, всюду синели васильки и хвастливо выглядывал из травы голубовато-красный мак; одинокие ржаные колосья чуть покачивались под тихим ветерком, султаны овса и колоски ячменя склонялись перед дикой горчицей, а высокий цветущий пырей, березняк и побеги клена пробивались вверх. Рядом со ржавой бороной тлела куча удобрений.

Лес расступился, и тут же показалась усадьба. Нижний этаж жилого дома, хлев и ограда были сложены из грубо отесанного камня, все остальное достроено из дерева; в добротной старой крестьянской усадьбе чувствовался достаток и незыблемые традиции. Деревья, стволы которых пошли на постройку массивных ворот, выросли не в этом столетии.

Жухлыми красками отсвечивали печальные луга, за ними шел пустырь, в чертополохе поблескивал плуг, из канавы торчала сенокосилка.

Перед воротами — каменная колода. Здесь поили скот, когда он

шел на выгон и с выгона. Вода с журчаньем льется в колоду, неиссякаемый источник бьет с прежней силой, не заботясь о том, пьют или не пьют его чистую воду. Поодаль лежит жернов, а на жернове отдыхает старый человек. Он видит молодую женщину, направляющуюся к нему. В руках у нее сумка. И еще он замечает, что она носит под сердцем ребенка.

Женщина здоровается, останавливается. У нее длинные крепкие ноги, она легко носит своего ребенка, ему в ней просторно, и он получит вдоволь молока из ее груди.

— Садись, если хочешь,— говорит старик.

Она садится рядом с ним на жернов, вынимает из сумки хлеб и яблоко. У дома, в десяти шагах от них, растет плодоносная яблоня, вокруг на земле гниют плоды...Яблоко, которое держит в руках Сабина, родом из Африки, старику знаком этот сорт с жесткой, гладкой, как воск, кожурой! Но сгниют и яблони.

«Может быть,— думает Сабина,— старику любопытно узнать, откуда я пришла и куда иду?» Нет, он не любопытен, он знает, что́ всем уготовано. Он ждет.

Сабина надкусывает яблоко, у нее крепкие белые зубы. Но не все ли равно, беззубый рот или полный крепких зубов,— когда-то не будет ни зубов, ни яблок.

Она оглядывается и видит, что пшеничное поле превратилось в поле чертополоха, но и это неважно — когда-то человек не будет есть пирогов, а осел щипать чертополох.

Она раздумывает, она не может себе представить, никто не может себе представить, что история сотворения мира идет вспять... Были птицы в небе, рыбы в воде, люди по образу и подобию божию, и росла пшеница, чтобы их пропитать, была шерсть, чтобы их одеть, были цветы, чтобы их радовать. Но было сказано: да будет так! И стало так. Земля обезлюдела и опустела... Сабина что-то предчувствует, но не спрашивает.

— Я тебе кое-что покажу,— говорит старик.— Пойдем! — Тяжело поднявшись, он ведет ее сперва в дом, а затем на чердак. Двор и дом одичали как и пшеничное поле.— Этого ниоткуда не увидишь,— сказал старик,— даже с горы. А в долину вход запрещен, только мне одному все видно.

Сильным коротким пальцем он показал куда-то вниз, и Сабина увидела смерть на взлетной дорожке. Вот они, смертоносные машины... одна, две...

Старик покачал головой.

— Их не перечесть. Нутро горы полным-полно ими.

■

Они сидят на жернове. В колоде тихо журчит вода, родник поит чертополох и пырей, и человек, проложивший на пашне трубы, чтобы напоить пшеницу и капусту, рассказывает. Может быть, путано, но разве правда не кажется иной раз путаной и бестолковой?

— Мой сын большой человек. Он венчался во фраке, и офицеры держали шпаги над ним и его невестой. Сам епископ венчал его, а когда мать год назад умерла, сын прислал большую машину и двух господ — один из них был граф — с венками для покойницы.

Сын всегда хотел стать кем-то, и мы помогли ему стать кем-то, а потом это показалось ему ошибкой, он захотел крестьянствовать и есть хлеб в поте лица своего. Он нашел на чердаке свое игрушечное ружье, сломал и сжег его.

Потом ошибка перестала быть ошибкой, и он захотел стать кем-то бóльшим, и опять мы должны были помочь ему стать кем-то бóльшим. И он стал известным человеком, газеты писали, что многие боятся его.

Но теперь он хочет стать всем, и я видел, как он перед зеркалом укладывал на лбу прядь волос, такую, какая уже была у одного из тех...

Он прислал ко мне людей купить двор, лес и пашни, он уже купил на сто миллионов кораблей, и газет, и самолетов, и честь, и пушки, и совесть. Он хороший сын, он выкупил у своего отца двор за большие деньги. Я этого не хотел, и мать от этого умерла, но он купил пашни, посеял мины, вырастил чертополох и колючую проволоку.

Он хороший сын, он пришел и сказал, что мне надо отсюда уходить, что здесь опасно. Они будут стрелять из моего леса, может быть в Москву, а когда *это* попадет в Москву, то из Москвы немедленно ответят тем же.

Он хотел отправить меня далеко, куда из России стрелять не будут. Но я видел, как мой сын перед зеркалом укладывал на лбу прядь волос. Я знаю, он до всего доберется, все зарастет чертополохом, и все мы будем как муравьи, когда их посыплешь белым порошком.

— Нет! — Сабина вспомнила, как метались муравьи, спасая свой приплод, и ничто им не помогало, а она сидела над ними на корточках — огромное чудовище — и сыпала белый порошок. И не было спасенья, и некуда было бежать, даже ее угрюмое сострадание не могло помочь муравьям. Смерть, однажды выпущенную, остановить невозможно.

— Я сижу на своем жернове и жду,— говорил старик.— Когда *это* взлетит из моего леса, я начну читать «Отче наш иже еси на небесех», а когда скажу «аминь», то буду уже на небесах.

Сабина пристально смотрела на него. «Он такой же, как все,— подумала она.— Мы все ждем, когда *это* взлетит из наших лесов, и знаем, что тогда нам останется жить еще четыре, три, две, одну минуту...»

— И дерево было, и чертополох был, и паутина в доме, и трава на лугу. Родник по-прежнему будет течь, но некому будет утолить из него свою жажду,— сказал старик.

Сабина торопливо ушла. Вон цветет чертополох, вон ржавеет борона, вон над тропкой переплетаются ветки ежевики, вон высится гора, западнее от нее — долина с ракетами, восточнее — долина с заводом.

На вершине громоздились скалы. В них были выбиты ступени. Сабина поднялась на самый верх и села, прислонившись спиной к выступу скалы.

Отсюда ей были хорошо видны холмы и поля, деревни, города, реки и дальше, на горизонте — в синей дымке горы. А внизу, под нею, завод. Красивая земля. Но чего стоила эта красота, если в самой сердцевине ее стоял завод?

Сабине теперь незачем было спрашивать, что он производит. Ракетная долина и завод были одно целое: только смерть могла принести столько прибыли, чтобы построить поселок Горный покой. Знают ли об этом родители, знает ли мать? А если знают, то понимают ли, что это значит?

Она застала отца перед телевизором. В этот самый день, двадцать один год назад, война захлестнула мир. С экрана неслись угрозы и клятвы: «...Мы еще раз попытаемся! Еще раз двинемся в поход!» И мастер Кёниг одобрительно кивал головой, а большой палец его ноги шевелился в войлочной туфле, отбивая такт.

— Я хотела бы поговорить с тобой, отец. Скажи, почему я не могу выйти замуж за Хартунга, если он останется по ту сторону?

— Потому что,— мастер убавил звук в телевизоре,— потому что я...— он резко повернулся.— Ведь не игрушки же мы изготовляем!

Сабина не ошиблась: отец знал и гордился тем, что в числе немногих посвящен в тайну.

— Готовим всеобщее самоубийство,— сказала Сабина.

— Чепуха! — воскликнул он.— Еще успеют ли русские, когда мы...—

Он увидел на экране широкое лицо с прядью волос и ощеренным ртом. Макс Кёниг не сомневался в том, что русские успеют. Это приводило его в ярость. Он повернулся к дочери.— Ты хочешь иметь все: дом, сад, машину, образование, поездки в Италию, холодильник, телевизор — и при этом ничем не рисковать? Даром тебе никто ничего не даст! Хочешь иметь все и... и... Наше государство — не благотворительное общество.

«Мы — государство вознесения господня,— вдруг подумал он.— Мы возносим на небо или низвергаем в ад.— И снова уставился на экран; там несли знамена, некоторых не хватало.— Ну и что ж? Мы всегда побеждали. Подумаешь, если иной раз и теряли несколько знамен. Мы достаточно богаты, чтобы обзавестись новыми знаменами старого образца».

Сабина попросила его, хотя и знала, что это бессмысленно:

— Уволься, отец, брось все, и давай уедем. Брось дом, сад, машину. По крайней мере не помогай им делать оружие!..

На экране появилось солдатское кладбище, мастер Кёниг распалился еще больше.

— Если начнется,— сурово сказал он,— то уж начнется. Тогда между Эльбой и Рейном мышиной норы не сыщешь, всем будет обеспечено вознесение на небо.

Про себя он подумал: «Впрочем, на небо вознесутся не только другие. А все-таки сперва другие!» — И тем не менее разозлился.

— Оставь меня в покое с твоими глупостями! — зарычал он и снова усилил звук в телевизоре. На экране мерцали свечи, сверкали ризы, и епископ благостно молился: «...и ниспошли нам мир твой — он же не от мира сего...»

Яркие осенние астры окаймляли садовую дорожку от дома до вишневого дерева III, краснели и поблескивали помидоры, вдоль забора цвела золотая рута. Сабина стояла у окна, смотрела в сад и не видела ни астр, ни помидоров, ни золотой руты.

Тяжело было думать о том, о чем ей следовало подумать, и еще тяжелее сделать то, что следовало сделать.

Уже давно Сабина поняла, что она все больше и больше отдаляется от родителей. Она любила их, но это была любовь из чувства долга, благодарности и снисходительности, любовь, обращенная в прошлое.

Еще она любила человека по имени Хартунг. Эта любовь была связана с ее будущим, с ее ребенком.

То, что считалось бы обычным и не составило бы проблемы, живи Хартунг в Ульме или Кёльне, сегодня требовало *окончательного* решения, ибо он жил по ту сторону Эльбы.

Пусть Хартунг приедет сюда, и она решит, разбить ли ей то, для чего отец работал всю свою жизнь — это комнатное счастье, откупленное у дьявола.

Через семь или дважды семь лет дьявол явится и потребует плату: твою жизнь.

Нынешний дьявол не походит на чертей из старых сказок. У нынешнего — лошадиное лицо, жестокий рот и печальные глаза. Говорят, что он делает министров и сделал Нитрибит.

Глава двадцать вторая

У доктора Хартунга было ночное дежурство. Он стоял в своем кабинете у открытого окна и смотрел, ничего не видя, на матово-желтые окна гинекологической клиники. Он думал о письме, лежавшем во внутреннем кармане пиджака. Это письмо мешало ему сесть за стол и занять-

ся историей болезни закройщика Мунгера, у которого была восстановлена функция поджелудочной железы — случай с точки зрения науки чрезвычайно интересный.

Хартунгу все еще казалось, что ему предстоит сделать выбор: остаться здесь или последовать приглашению, хотя он уже давно решил этот вопрос, когда не помчался сломя голову на Запад, а стал размышлять. Ему захотелось скрупулезно взвесить все «за» и «против». Но так у него не получалось, на ум приходили разные дела и разные люди: Георг с сыном, пожелавшим стать морским офицером, крестьянин Войнар, считавший себя отныне сельскохозяйственным рабочим и учившийся крестьянствовать на новый лад; детская больница с современными дезинфекционными камерами, из-за которых сбежал детский врач. Знакомые дела, знакомые люди — не обязательно друзья, но все они отвечают друг за друга.

Хартунг стоял у окна, играя зеленым кубиком в правом кармане, он гнал от себя мысли, которые по-прежнему назойливо лезли ему в голову. Закрыв окно, он сел за письменный стол и начал перелистывать историю болезни закройщика Мунгера. Он читал ее, и она показалась ему скучной и сухой, как солома. Хартунг положил папку на стопку других папок, увидел, что оранжевая лежит на светло-красной. Это ему мешало, и он тщательно перебрал всю стопку. Потом выдвинул средний ящик стола и отыскал итальянский разговорник. Этот язык он начал изучать два года назад. Вызубрил несколько фраз и полсотни слов — способностью к языкам он не отличался. Между страницами была вложена фотография, сделанная в прошлом году во время путешествия по Средиземному морю. Рассматривая снимок, он вспомнил ребятишек, нанимавшихся на работу,— их было семнадцать,— в небольшом поселке под Таранто. Их вожаком был Анжело, одиннадцатилетний мальчуган, смышленый и хитрый, еще ни разу не сидевший за партой. В семье он единственный имел работу. Самую маленькую среди семнадцати звали Джулия, ей было только четыре года, но она нагибалась за маслинами быстрее своей матери и поэтому кормила ее. За это мадонна, в чье могущество и величие верила мать Джулии, иногда посылала утешения, вложенные в ее уста Марксом или Тольятти.

«Из-за детей я поссорился с соседом по каюте, моим коллегой,— вспомнил Хартунг.— Он причислил меня к коммунистам за то, что я вступился за Джулию».

Он встал и снова открыл окно. Воздух на улице был теплым и пыльным.

Он посмотрел на небо. На западе над самым горизонтом висело созвездие Весов, а с севера на юг огромным веретеном протянулся Млечный Путь.

«В детстве, когда я еще считал по пальцам, я любил пересчитывать звезды, сначала самые яркие, а затем остальные. И насчитывал полные пригоршни звезд...

Больше всего я люблю ту спокойно мерцающую звезду, вот она... На пути к ней находится посланная на Венеру ракета. Достигнет ли она ее когда-нибудь? Пифагор, Коперник, Эйнштейн — их уже нет... а ракета все летит. Скоро мы добьемся того, что люди будут жить сто лет. Уж тогда я наверняка одолею итальянский. А у Анжело и Джулии будет время все наверстать».

Хартунг услышал какой-то стук. Он вышел в коридор. Все было погружено в сон. Здесь стука не было слышно. Электрические часы ворковали, отсчитывая минуты.

Он осторожно приоткрыл дверь в комнату сестер. В той же позе, в какой недавно сидел у письменного стола Хартунг, сидела дежурная сестра. Из портативного приемника, стоявшего перед ней, лились тихие зву-

ки симфонии, которую Сабина и Хартунг слышали в Вальдштейновском парке. «Вот тогда,— подумал он,— мы начали все понимать».

Сестра прикрутила ручку приемника и вопросительно посмотрела на врача.

— Где-то стучат,— сказал он.

— В подвале чинят газ,— ответила она.

Хартунг кивнул. Музыка возобновилась. Исполняли последнюю часть симфонии Бетховена. Человек подымается. Что сильнее человека? У приемника был низкий, чуть дребезжащий звук. Хартунг посмотрел на молоденькую сестру. Она слушала музыку с широко открытыми глазами, ее бледные полные губы слегка приоткрылись, пальцы разжались. Руки были красные, отмороженные. Восьмилетней девочкой ее увезли из родного города. Была суровая зима. А потом она училась на автослесаря.

Музыка стихла. Они молчали, Хартунг видел, что сестра улыбается. Она прочла вопрос на его лице и сказала:

— Когда я это слышу, вернее, когда бы я это ни слышала, я перестаю злиться.— Она положила приемник плашмя и, как бы играя, накрыла его рукой.— И начинаю верить, что поставлю больного на ноги.— Увидев, что Хартунг ее не понял, она добавила: — Так я называю свою маленькую, незадачливую жизнь...

— Вы правы, сестра Урсула,— ответил Хартунг.— Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, господин старший врач!— Она вышла вместе с ним, но задержалась у двери процедурной.— У меня еще много дел.

Он кивнул ей и спустился по лестнице. «Я никогда не видел ее угрюмой»,— отметил он про себя и вспомнил, что однажды спросил, почему она стала сестрой после того, как выучилась на автослесаря.

А она ответила: «Мне всегда хотелось стать медсестрой. Мой отец был истопником в большой школе. В войну там помещался госпиталь. Ничего другого я в школе не видела...»

Простой, правильный вывод из прошлого.

На лестнице Хартунг остановился, в тишине ему послышались сверху короткие торопливые шаги профессора — их ни с чьими не спутаешь. Хартунг поднялся на четвертый этаж, сказал сестре, где его искать в случае надобности, и, нащупав в кармане письмо, постучал в дверь маленького кабинета.

Профессор Биркхеймер удивленно взглянул на него. Никто не входил в «бочку» без приглашения, это был непреложный закон.

Хартунг извинился и протянул профессору конверт.

— Я получил это письмо две недели назад и еще не ответил.

Профессор Биркхеймер прочел письмо и молча вернул его Хартунгу. Потом вынул из кармана ключ, открыл маленький сейф и достал оттуда папку.

— Вот эти письма,— сказал он, положив правую руку на папку,— я получил за прошедшие восемь лет и ответил на каждое. Взгляните!

Взяв протянутую ему папку, Хартунг открыл ее и стал читать, страницу за страницей.

Это были письма из Западной Германии, похожие по форме и содержанию на письмо, полученное Хартунгом. Тут же лежали стереотипные ответы профессора Биркхеймера: «...не нахожу возможным принять Ваше лестное предложение».

— Не уверен, поможет ли вам этот пример,— сказал профессор.— Хотите знать, почему я всегда отказывался и буду отказываться впредь? Итак...— продолжал он, не дожидаясь ответа Хартунга,— я с самого начала не пытался сопоставлять тысячи вопросов, возникавших по ту и по эту сторону. В большинстве своем эти вопросы весьма относительны, степень их важности слишком зависит от характера того или иного человека. И я спросил себя: к чему это ведет? По ту сторону это ведет прямо-

хонько к достославной Германии, Германии четырнадцатого и тридцать девятого. Да, да, именно так. Говорю вам *sine* grano salis*! Я достаточно стар, чтобы видеть это отчетливо. Кстати, и вы достаточно взрослы для этого. Какой бы я был глупец или преступник, если бы лечил больных и в то же время снова помогал вскармливать этот проклятый рейх, который в следующий раз уничтожит все дотла — и на сей раз в буквальном смысле слова.— Он взял у Хартунга папку, положил ее обратно в сейф и обошел вокруг стола: — Разве не так? — спросил он.

— Мой сосед,— ответил Хартунг,— секретарь парторганизации, сказал бы приблизительно то же самое.

Профессор протер очки и как бы вскользь заметил:

— Я не разделяю мнения некоторых наших коллег, будто следует стыдиться, если ты в чем-либо согласен с членом партии.— Он надел очки и жестко добавил: — Врач обязан быть фанатиком истины, и ему должно быть все равно, откуда она исходит. Разве не так?

Доктор Хартунг воспринял последнее «так» как намек, что пора уходить, но профессор задержал его.

— Я сегодня болтлив,— сказал он,— но все-таки хочу закончить. Три года назад я был в Болгарии и в сопровождении молоденькой переводчицы поехал в Рильские горы. В каком-то глухом селении мы сделали привал и разговорились со столетним крестьянином. Моей спутнице и мне, как мы ни сопротивлялись, пришлось распить с ним по стаканчику сливовицы. Потом мне три дня было плохо, но это неважно. Старик болгарин произнес тост: «Пусть твои годы будут на пользу тебе, а мои годы на пользу мне, и пусть твои годы будут на пользу мне, а мои — тебе, а наши годы,— это он сказал девушке,— будут на пользу вам». Неужели я должен выбросить эту истину в корзинку только потому, что ее сформулировал неграмотный крестьянин? Пусть твои годы будут на пользу тебе, доктор Хартунг, лучшего я не могу пожелать.

— Благодарю вас, господин профессор! — Хартунг поклонился и вышел из кабинета.

Была полночь, когда он сел за письменный стол своей секретарши и медленно, двумя пальцами, напечатал: «...не нахожу возможным принять Ваше лестное предложение».

Сквозь открытое окно светила луна. Плоская и желтая, она повисла над крышей гинекологической клиники.

Глава двадцать третья

В понедельник Хартунг получил от Сабины письмо с настоятельной просьбой приехать, а на рассвете в субботу выехал на своей машине из города в западном направлении.

Когда он очутился на Нюрнбергском шоссе, солнце выглянуло из молочной дымки, проснулся ветер и повеял над жнивьем.

Кое-где еще стояли снопы, грязно-серые и неприглядные. Чайки с пронзительным криком носились над свежими бороздами вслед торопящимся тракторам, на немногочисленных межах и по обочинам дорог паслись коровы, они смотрели круглыми глазами, как большие плуги перепахивают маленькие участки, погребая межи под пластами земли.

У Хермсдорфской развилки Хартунг еще раз заправил машину; дальше шоссе перерезал шлагбаум, отделявший одну Германию от другой. На той стороне так же постукивали тракторы, на бороздах сидели вороны и чайки, паслись коровы, и на дорожных указателях можно было прочесть немецкие слова.

---

* Без тени иронии *(лат.)*.

Шоссе убегало назад, шурша под колесами «шкоды». Хартунг следил за непривычно оживленным движением, думал о Сабине и невнимательно слушал по автомобильному приемнику утреннюю передачу «Для водителя в пути».

«Остановись, выпей кока-колы со льда,— произнес в заключение чарующий голос дикторши.— Сделай это за рулем, а я сделаю это после передачи. До свиданья!»

Хартунг остановился, выпил кока-колы, и опять сел за руль.

Снова шоссе гудело и пело под колесами, и страна проносилась мимо. Это была богатая, красивая и сильная страна; небрежным движением крепкой руки в белой перчатке она пропустила вперед моторизованного нарушителя с Востока, а светловолосая пышногрудая девица за рулем, которой Хартунг загородил дорогу, сочувственно улыбнулась ему.

Страна украшала свои старые города, у нее были лишние деньги, чтобы сохранять уголки, где она побуждала своих бюргеров снова и снова петь о «королевских детях» * или о липе, что цветет за воротами у колодца. Страна была достаточно богата, чтобы позволить своим будущим чиновникам, судьям и адвокатам повеселиться. Вереницей в сотню машин студенты корпорации «Боруссия» в парадной форме катили по узким улицам старинного города, полицейские улыбались и прикладывали руку к козырьку, а девушки со смехом ловили мелькавшие в воздухе шоколадки.

В поисках объезда Хартунг сбился с пути. Когда он попал в поселок Горный покой, первые тени уже вползали в сады на косогоре.

Перед выездом он послал телеграмму, и Сабина поджидала его, сидя на высокой обочине. Она поднялась ему навстречу, и Хартунг увидел, что она ждет ребенка.

Он так заботливо перевел ее через сухую канаву, что она улыбнулась. И тут же заплакала.

— Я реву только из-за нашего сына,— сказала она.— Ты, наверно, будешь держать его в вате.

Ему хотелось обнять ее и поцеловать, ему хотелось поднять и понести ее на руках, хотелось сказать ей много слов, добрых, значительных, прекрасных. Он вынул из кармана платок, вытер слезы на ее лице и сказал:

— Не реви, Зузе, а то он будет ревой.

Она всхлипнула. Он посмотрел на нее и пробормотал:

— Хорошая ты моя!..

У нее потемнели глаза, и он поцеловал ее. Губы ее не напоминали сладкие уста — они горели, от них пахло мускусом, они были на вкус как горький миндаль.

Так стояли они, пошатываясь, у обочины, а потом сидели в машине, и Сабина говорила каким-то чужим ломающимся голосом.

— Поворот!

Он ехал быстро, оба молчали. Сабина лишь указывала ему путь. Она ничего не обдумала заранее, но твердо знала, что ей делать. Солнце только начало опускаться за горы, когда они подъехали к дому на Неккаре, который прежде был мельницей, а теперь стал гостиницей и назывался «В долине».

Они поднялись в номер все еще молча, а потом им не нужны были слова.

Тысячи звезд падали в открытое окно, и все тысячи звезд целовал Роберт на теле Сабины.

Криворотый месяц висел на ветвях каштана, потом перебрался на

---

* Народная немецкая песня.

крышу и исчез. Роберт еще раз повторил Сабине то, о чем думал в ночь, когда послал отказ рурской клинике.

Сабина следила за каждым его словом. Она вновь осознала все: себя, свою жизнь и то, что в жизни ценно. Это ценное она сумела найти.

«Но все же,— думала она,— сколько горечи в моем счастье. Родители ни о чем не догадываются, завтра я вернусь домой, упакую свои вещи, и мы уедем. Мать будет плакать, она захочет все сделать лучше, чем отец, но не сумеет. А я, несмотря ни на что, поеду в чужую жизнь».

Приподнявшись, Сабина склонилась над мужем и смотрела на него долго-долго.

— Я люблю тебя,— сказала она.

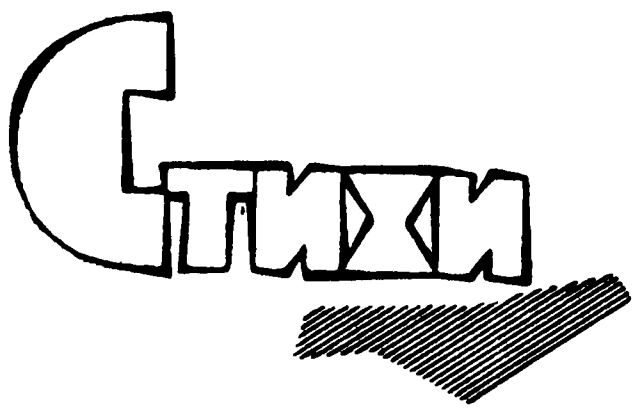
Он услышал. Это были совсем обычные слова, простые, как месяц, что накинул серебряную паутину на каштан перед окном, как река за домом, что громко разговаривает с лунной тенью, как простыня из старого полотна, на которой они лежали,— слова эти были как они сами, мужчина и женщина, не больше и не меньше.

Сабина увидела тень усталости на его лбу и под глазами. Она провела рукой по его векам и тихо легла рядом. Когда ребенок шевельнулся в ее чреве, Роберт уже спал.

Потом серебро сошло с окна, и паутина спала с голых веток каштана. Месяц споткнулся о кучу облаков. А может, и ему пришла пора отдохнуть.

Сабина посмотрела на светящийся циферблат: был тот час, когда и ночь спит.

САЛАХ ДЖАХИН



Перевод с арабского
ЯКОВА СЕРПИНА

Мир

Мир — это рек полноводных разливы,
Синие волны бессонных морей;
Мир — это тонкая ветка оливы
В теплой и доброй ладони моей.
Мир — это птицы и снежные горы,
Летних закатов багряная медь;
Мир — это женщина, без которой
Я бы не мог ни смеяться, ни петь.
Мир — это первый желанный ребенок;
Солнечный луч увидав на стене,
Ясному дню улыбаясь спросонок,
Пухлые ручки он тянет ко мне.
Все это вместе — до боли родное,
Все это вечно во мне и со мною;
Разве могу я войне разрешить
Жизнь оборвать годовалому сыну,
Плачущей матери выстрелить в спину,
Ветку оливы в дыму задушить...

Алжирскому брату

Взволнованным сердцем,
Алжирский мой брат,
Сегодня тебя я приветствовать рад —
Ты слышишь, как, ширясь над нами, звенят
Крылатые песни победы?

Здесь прежде восход загорался, багрян,
Как трепетный отсвет дымящихся ран.
Но вновь — перед тем, как в атаку подняться
Навстречу свистящему ливню свинца,—
Ты видел, как мирно хлеба колосятся,
Как дремлет ребенок в объятьях отца...
Ты верил в суровую пору невзгод,
Что будет спокоен и чист небосвод,
И алая кровь на зеленом посеве
Цветами лучистыми к солнцу взойдет,
И, утро встречая, подхватит народ
Счастливую песню победы!

Я знаю — беда не вернется назад;
Я вижу тебя, победивший мой брат:
Крутыми дорогами отчего края,
Усталый и гордый,
Врагов сокрушив,
Идешь ты к родимому дому, вдыхая
Струящийся запах вечерних олив.
О брат мой, не дрогнувший в трудном бою!
Я рядом с тобою сегодня стою;
Еще не остывшую от сражений,
Я славлю свободную землю твою
И вместе с тобой, улыбаясь, пою
Желанную песню победы!

Хлопок

Твой нежный цвет в долинах узнаю,
Твой щедрый цвет восторженно пою;
Не ты ль убрал фатою белоснежной,
Фатой нарядной
Родину мою?

Склоняясь на ветру, в рассветный час
Прибоем легким ты встречаешь нас;
В тебе, о хлопок,— свежесть наших песен
И вечное тепло влюбленных глаз.

То пенистой подобен ты реке,
То чутко замираешь вдалеке,
И женщина смеется молодая
С раскрывшейся коробочкой в руке.

Под радужной зарей на небосклоне
На радость нам красуйся и цвети!
...Беру тебя в широкие ладони
И прижимаю бережно к груди.

Приди

Если ты вдалеке — не беда:
Я птицей к тебе долечу всегда —
Разве птица захочет жить
Без своего гнезда?

Приди же, как ласковый ветер с вершин,
Смеющийся, молодой!
Видишь — глиняный мой кувшин
Свежей наполнен водой.

Хочешь — тебе на ладони полью,
В дом позову отдохнуть;
Хочешь — ресницами устелю
Выжженный солнцем путь.

Хочешь — пойду с тобой,
Не тая
От встречных людей ничего:
Сердце свое научила я
Любить тебя одного.

Вот и томится оно, любя,
Вот и тоскует оно, любя...
Еще не встретила я тебя —
Просто стою и жду.

В глазах твоих столько любви и тепла...

О нет, не напрасно тебя я ждала!
Мир, прежде казавшийся серым и сонным,
Наполнил ты солнцем, и ветром, и звоном.
И полдень прекрасен, и полночь светла;
Мечта моя веточкой гибкой была,
Теперь она деревом стала зеленым...
В глазах твоих столько любви и тепла!

Пусть к радости шел ты нелегким путем,
Пусть трудно порою — не думай о том:
Ты в сердце моем, словно в доме своем.
На каждый твой взгляд и на каждое слово
Мгновенно оно отозваться готово,
Его целиком я тебе отдала —
В глазах твоих столько любви и тепла!

Никто разлучить нас отныне не властен;
Ты с ясной улыбкой глядишь на меня —
И в окна надежды, раскрытые настежь,
Врывается ветер весеннего дня.
Ты грудь мне наполнил тревогой и счастьем,
О нет, не напрасно тебя я ждала —
В глазах твоих столько любви и тепла!

2 сентября — день провозглашения Демократической Республики Вьетнам

НГУЕН НГОК

ГЕРОИНЯ

РАССКАЗ

Перевод с вьетнамского М. ТКАЧЕВА

Утро. Тует, как обычно, собирается в школу.

Собственно, все уже готово. Блокнот со списком учеников, сегодняшний диктант с заранее отмеченными «трудными» словами, задачи на умножение, география родного края и — то, чего она никогда не забывает,— письмо от Хюи, бережно вложенное в христоматию на тридцать пятой странице, как раз там, где нарисованы два больших плода на *. Тует сама раскрасила картинку, и плоды, вопреки природе, стали красные, потому что карандаш у нее с двумя грифелями — красным и синим, других нет.

Она вышла из дому, осторожно притворив за собой дверь, и тут только обратила внимание на то, что день сегодня ясный и солнечный. Яркие блики играли на склонах гор, высвечивая высоко на другом берегу реки деревню белых мео **. Словно сказочный замок, деревня то появлялась, то вновь исчезала. Двое ребятишек оттуда каждый день приходили в школу к Тует. В ясные дни видно было даже, как малыши — два крохотных белых пятнышка — спускались по склону горы. В классе Тует усадила маленьких мео поближе к себе, на вторую парту, и ежедневно после уроков спрашивала их:

— Вы завтра придете в школу?

— Да, уважаемая учительница, завтра мы придем.

— Не забудьте передать от меня привет папе и маме,— говорила Тует.

Девочка — она была постарше — отвечала:

— Хорошо,— и добавляла всегда: — Я вас так люблю, учительница!

Откровенно говоря, вечерами, когда, накинув синий ватник с меховым воротником, подарок Хюи, Тует сидела одна и проверяла тетради, ей нередко казалось, что все кругом сон или сказка. А двое большеглазых малышей, спускающихся в школу из горной деревни, которая то исчезает, то вновь возникает на старом месте,— уж не из старинной ли легенды являются они к ней на уроки... Она всерьез опасалась, что в один прекрасный день они куда-нибудь скроются и не придут больше в школу.

---

* Дерево со съедобными плодами.

** Одна из ветвей народности мео, живущей в горных районах Северного Вьетнама.

Хюи, наверное, посмеялся бы над ней. Он человек практический и не любит всяких фантазий. Когда Тует уезжала из Ханоя, он сказал ей: «Ты у нас настоящая героиня...»

Она легонько погладила мягкие податливые ворсинки воротника и подумала: «Хюи заботливый — вот прислал ватник...» Рука вывела большую красную пятерку в тетрадке по арифметике. Это была тетрадь девочки мео...

Уже неделю малыши из горной деревни не ходят в школу. Неделю на зеленом склоне горы не мелькают веселые белые пятнышки, и в классе пустует вторая парта. Каждый день сердце Тует сжимает тревога.

■

...Ясное утро наполнило ее каким-то непонятным ощущением радости и надежды. В Ханое мать, простодушная, разговорчивая женщина, работавшая в игрушечной артели, говорила ей:

«Горный воздух полезен для женщин. В горах женщины всегда здоровее и толще мужчин. Только смотри, доченька, одевайся теплее. Правда, ты вся в отца, вечно все делаешь по-своему. Твой отец когда-то...»

«Ну вот, мама,— перебивала ее Тует,— теперь ты опять начнешь плакать...»

А она действительно здесь поправилась и чувствовала себя лучше, чем в городе...

— Дети, заходите же в школу! — крикнула Тует. — Хватит шалить: посмотрите, на кого вы похожи — все перемазались в грязи.

Малыши вошли в класс. Тует, невольно помедлив в дверях, перешагнула порог вслед за ними.

Ребята — все разом — встали:

— Здравствуйте!

— Садитесь, дети. Начнем урок.

Яркие солнечные зайчики прыгали на столе Тует. Но в классе все-таки было довольно холодно. Секретарь партийного комитета обещал дать новые соломенные маты. Во время каникул, когда кончится первая четверть, ребята сами отремонтируют школу. Тогда здесь будет потеплее.

Множество блестящих веселых глаз уставилось на Тует.

— Дети, вы все тепло одеты? — спросила она.

— Да... да...

— Садитесь-ка лучше впятером за одну парту, теплее будет.

Класс сразу зашумел. Малыши переговаривались на языках таи, нунг, ло-ло, красных мео *. Тует, довольная, прислушивалась к их голосам: теперь она уже всех понимала. Немного подождав, она тихонько постучала линейкой по столу. Класс умолк.

— Диктант! — громко сказала она.

Зашуршали листки бумаги, перья звякнули о донышки чернильниц, и, как всегда,— несчастный случай: у кого-то разлились чернила. Но тишина воцарилась очень быстро.

— Диктант! — повторила Тует.

Ребячьи глазенки глянули на нее, будто отвечая: «Мы уже готовы». А она стояла молча, сжимая в руке книгу. Обводя глазами ребят, она встретилась взглядом с девочкой народности куи-тяу, самой сообразительной в классе. Наверное, она одна только поняла, почему молчит учительница. И зеленые глаза ее, казалось, говорили: «Не ждите, учительница, маленьких мео, они не придут».

---

* Народности, живущие в горных районах Северного Вьетнама.

В дальнем конце класса послышался какой-то шум. Тует произнесла четко, по слогам:

— Дик-тант!

Снова тишина. Перья окунулись в чернильницы и застыли в ожидании.

— Вы-со-ко-гор-ная-я шко-ла...

Маленькие головы склонились к партам, перья медленно заскрипели по бумаге. Лбы наморщились — было над чем задуматься!

— Высокогорная школа... Точка, с новой строки.

Перепуганный голосок торопливо произнес:

— Я еще не кончил, учительница.

Тует улыбнулась и слегка повысила голос:

— Высокогорная школа... Точка, с новой строки.

Должно быть, небо над школой постепенно затягивали облака. Зайчики на столе поблекли, потом совсем исчезли. Здесь, в горах, всегда так: редко бывает, чтобы погода не менялась по нескольку раз в день.

Закончив диктант, Тует сказала:

— Сегодня, дети, вы можете уйти домой пораньше, я устала и плохо себя чувствую.

Не успела она договорить, как большой пестрый ком с шумом вывалился из дверей. Малыши выбежали из класса. Она собрала со стола книжки и тоже вышла. Высоко на горе, по ту сторону реки, деревня мео медленно тонула в белесых тучах.

■

Кто-то тихонько постучал в дверь.

— Кто там?

Ответа не было, но дверь медленно отворилась. На пороге стояла девочка куи-тяу.

— Ну что же ты, заходи,— сказала Тует.

Девочка вошла и тихо прикрыла за собой дверь. «Дети, когда вы входите в дом,— говорила всегда Тует,— закрывайте за собой дверь, это правило вежливости...» Девочка подошла к столу. Ей совсем недавно исполнилось двенадцать лет. Жила она в Бан-ванге, примерно в километре отсюда, и часто приходила к Тует, когда та бывала дома одна. Никогда не заговаривала она с Тует о школе и об уроках, хотя ей с трудом давалась арифметика. Она приходила к учительнице просто так, без всякого дела. Девочка могла часами молча стоять около нее. Иногда только она легонько опускала свои маленькие ручонки на ладони Тует и говорила:

«Милая учительница, я теперь мою руки чисто-чисто, правда?»

Тует обнимала девочку, крепко прижимала ее к груди и всегда почему-то вспоминала мать и Хюи, вспоминала Ханой. Может быть, потому, что именно в эти минуты она понимала особенно ясно, что никогда не сможет оставить свою маленькую школу, затерянную среди гор и дремучих лесов, уехать от своих ребятишек. Она останется здесь. Конечно, Хюи ни за что не согласится с этим. Он и так в каждом письме напоминает: «Скоро уже кончается срок твоей командировки в горную школу — я встречу тебя на вокзале... Ведь я жду тебя три года. Должны же мы наконец пожениться, как ты полагаешь?.. Хотя вообще ты у нас героиня...» А что он теперь скажет?..

Она еще сильнее прижала к груди черноволосую головку девочки куи-тяу и, точно со взрослой подругой, стала делиться с нею своими горестями. Девочка слушала внимательно и очень серьезно, совсем как большая.

— Не бойтесь, милая учительница,— сказала она.— Я расскажу про это своему папе, он обязательно что-нибудь придумает. Он очень умный. Он председатель, самый главный в волости!

...И так девочка каждый раз старалась по-своему утешить Тует.

«Вы не огорчайтесь, учительница, пойдемте лучше гулять. Сегодня в речке полно рыбы. Хотите, я поймаю вам рыбу, большую-пребольшую? Жаль только, что я не умею ее варить...»

Или:

«Вы не сердитесь, учительница, я больше не буду делать ошибок по арифметике, честное слово. Я буду учиться только на хорошо и отлично, как вы...»

Тует всегда смеялась в ответ, но эти наивные утешения все же как-то успокаивали ее...

Сегодня, когда девочка куи-тяу вошла в комнату, Тует подумала: «А ведь я ждала ее...» Она спросила:

— Ты уже сделала уроки?

— Да.

— Может быть, пойдешь погулять со мной?

— Ну конечно. Мы пойдем к речке?

— Нет, сегодня мы поднимемся в деревню мео. Ты знаешь дорогу туда?

Девочка взглянула на нее и не спеша ответила:

— Знаю.

Они перешли речку по мосту, связанному из бревен. Вода внизу была совсем прозрачная. Тует любила пить воду из этой речки, всегда холодную и вкусную.

■

За рекой сразу же начинается лес. Для Тует река служила границей. Здесь была ее школа, знакомые деревушки, люди, с которыми она успела подружиться. Одним словом, этот берег она «покорила». А на другом берегу стеной стояли джунгли, таинственные и загадочные. Лес зелеными волнами убегал вдаль по склонам гор. Это был какой-то особый мир — полусказочный, полуреальный. Иногда оттуда приходили люди, но они казались выходцами из далекой чудесной страны. Они приходили и вновь уходили в зеленое царство, лежащее у подножия туч.

Девочка вела учительницу по узкой лесной тропинке. На ногах у Тует были сандалии на резиновой подошве. Девочка шла босиком. Она быстро шагала впереди, маленькие ступни ее оставляли на шелковистом мхе тусклые овальные следы. Примятый мох постепенно расправлялся, и следы таяли в бархатном зеленом покрывале. Засохшие листья шелестели и шептались между собой. Смолистый запах каких-то неведомых деревьев, сладковатый и острый, незримой пеленой обволакивал лес.

Тует уже несколько раз хотела окликнуть девочку, сказать, чтобы она шла помедленнее, но что-то ее останавливало, может быть, ей хотелось проверить свои силы. Девочка шагала молча. Ведь в крови ее с первого дня появления на свет струились могучие токи леса. И каждый раз, входя в джунгли, она словно возвращалась к себе домой. Лес говорил с ней сложными и таинственными своими запахами, и она постигала его язык, как опытный музыкант улавливает любую ноту в многоголосом громе оркестра. Неясные шорохи джунглей звучали для нее словно биение материнского сердца — вот так явственно слышишь его четкий глуховатый ритм, прижав голову к груди матери. Глаза ее как будто стали еще ярче, вобрав в себя серебристо-зеленое сияние лесного воздуха... Тует шла следом за ней — здесь уже она была маленькой несмышленой ученицей.

Вдруг девочка остановилась. Тует застыла, сердце ее забилось тревожно и гулко. Наверное, случилось что-нибудь...

— Здесь антилопа, учительница,— сказала девочка.

— Антилопа?

— Она прошла незадолго до нас, следы совсем свежие.

Тует не думала, что антилопа движется по лесу так бесшумно — под ее копытами даже не хрустнули сухие ветки, устилавшие дорогу.

Девочка снова зашагала вперед. Тует стало не по себе, когда она заметила, что проторенная тропинка давно уже исчезла у них из-под ног. Время от времени им приходилось перелезать через преграждавшие путь стволы огромных деревьев. Иногда же, согнувшись, они пробирались под склонившимися к самой земле лесными колоннами или десятки метров шли прямо по длинным замшелым бревнам. Тует очень хотелось спросить: «А где же дорога?» Но она робела, точь-в-точь как девочка куи-тяу на уроках арифметики. В глубине души она упрекала себя: «Чего ты боишься, спрашивается? Ну и дурочка же ты, Тует...»

Чем дальше они углублялись в лес, тем непонятнее и чудеснее становилось все вокруг. Это и вправду был совсем особый мир. Журча извивались маленькие речки. Муравьи рядами шествовали друг за другом, как солдаты, идущие в поход. Один здоровенный муравей, черный и блестящий, вылитый генерал, стоял посреди своего войска, словно направляя все движение. Вид у него был очень свирепый и воинственный. Богомол, раскрыв крылья, перелетел с узловатого корневища на ствол соседнего дерева и тут же вернулся обратно. Тует с изумлением вслушивалась в объяснения своей маленькой проводницы:

— Знаете, учительница, это богомолиха, она ищет себе мужа.

— Ну, а муравьи?

— Они спасаются от наводнения. Сегодня тепло, значит, завтра будет дождь.

Тует подумала о двух маленьких мео. Ведь они каждый день ходили по этой дороге, слышали, как шелестят крылья этой «богомолихи», вдыхали запах влажной земли и переплетающихся растений. По утрам, когда малыши приходили в класс, перед глазами у них, наверное, трепетали звенящие тишиной зеленые чащи. Какими далекими и отвлеченными должны были казаться им плюсы, минусы и знаки умножения или деления, которые выводила на доске Тует. Может быть, поэтому они и не приходят больше в школу? Маленькие мео вернулись к своему лесу...

Они шли уже, по-видимому, больше часа. Тует обрадовалась, заметив, что под ножками ее проворной проводницы снова появилась торная тропа. А вскоре с удивлением увидела, что они подходят к перекрестку. Там встречалось более десятка разбегавшихся в разные стороны тропинок — больших и маленьких. Сухие листья и ветки, валявшиеся на земле, были искромсаны и вдавлены во влажную почву. Внезапно прямо посреди леса возникла широкая, убегающая вдаль дорога. Все говорило о том, что совсем еще недавно здесь прошли люди — много людей. Жизнь, шумная и суетливая, вторглась зачем-то в безмолвные лесные дебри. И впервые среди пряных ароматов деревьев и трав Тует различила особый, едкий и теплый, запах, который ни с чем не спутаешь,— запах человека. Девочка куи-тяу остановилась у огромного дерева лим *. Рядом виднелся грубый очаг — три больших обломка скалы, прислоненные друг к другу. Дожди унесли из очага золу, только несколько крупных углей, отмытых до блеска, чернели под камнями. Около дерева валялись брошенные кем-то палочки для еды. Толстый громадный корень, вздымавшийся над землей словно напряженный мус-

---

* Железное дерево.

кул, судя по всему, заменял неизвестным пришельцам стул. Кто-то сидел на нем у огня долгими холодными ночами, и шероховатая поверхность корня до сих пор еще тускло лоснилась. Метрах в десяти Тует увидела колодец с отверстием замысловатой формы, очень глубокий — внутри него было темно, как ночью. Слева, метрах в двадцати, виднелся еще один колодец — точно такой же формы, но меньший по размеру; должно быть, люди, копавшие его, бросили работу на середине. Следы кирки глубоко врезались в камни, словно письмена, рассказывающие о том, как сильные человеческие руки рвались к сердцу земли.

— Это дяди геологи копали тут,— объяснила девочка.

Геологи пришли сюда и отправились дальше. В недрах здешних лесов не оказалось руды.

Краска стыда залила щеки Тует: ведь когда она по ночам писала Хюи, матери или друзьям в Ханой о своих делах, о своей жизни в этих краях, письма всегда получались у нее какими-то загадочными и таинственными... Можно было подумать, что это она, Тует, первая из людей кинь * принесла сюда в горы свет просвещения...

А девочка куи-тяу все шагала дальше. Дорога поднималась вверх по крутому склону. Но Тует раздумала просить девочку замедлить шаг. Правда, она устала, но подбадривала себя: «Грош тебе цена, Тует. Не можешь угнаться за малым ребенком».

Лес уже казался ей более привычным и знакомым. Она остановилась ополоснуть лицо у холодного прозрачного ключа, бившего прямо из расселины в скале, и сердце ее вдруг заколотилось при виде следов от подкованных гвоздями ботинок «дядей геологов» прямо на берегу ручья...

■

Уже вечерело, когда они добрались до деревни мео. Председатель общины с винтовкой на плече и патронташем с поблескивающими желтыми патронами на боку, обеими руками пожимая руку Тует, радостно закивал гостье:

— Здравствуйте, уважаемая учительница... Здравствуйте, уважаемая учительница. Высоко вы забрались... Высоко. Устали, конечно. Вы отдохните, учительница, испейте воды, потом поговорим. Ай-ай, какая жалость, вся деревня ушла на пашню. Какая жалость, люди мео так ждали, когда вы придете к нам в гости, учительница. Вы ведь устали, правда? Отдохните как следует, испейте, пожалуйста, воды.

Председатель протянул ей чашку горячей воды:

— Это двое наших детишек, что ходят в школу, научили меня,— пояснил он.

— Они научили вас грамоте, дядюшка? — удивилась Тует.

Председатель тяжело вздохнул.

— Я уже старый, где мне учиться грамоте. Голова совсем никудышная. Нет, они приучили меня пить кипяченую воду. Оказывается, в сырой воде водятся такие червяки, и они могут прогрызать кишки.

Девочка куи-тяу, стоявшая рядом с учительницей, громко рассмеялась.

— Что вы, дядя, это никакие не червяки, а просто микробы!

— Ну да, ну да, голова у меня никудышная, совсем никудышная!

Тует отпила из чашки, вода приятно пахла камфарным листом.

— Я хотела проведать двух учеников, что живут в вашей деревне,— сказала Тует.

Председатель, выпрямившись, сидел напротив нее.

---

* Название основной национальности Вьетнама, собственно вьетнамцев.

— А-а, да ведь это мои дети, оба — девочка и мальчик,— обрадовался он.

— Они уже неделю не ходят в школу.

— Я дал им одну работу,— улыбнулся председатель и, не дожидаясь вопроса Тует, продолжал:— Они ушли вместе с товарищами геологами, так-то. В нашей земле ничего нет. Теперь будут искать в других горах, и мои оба у них проводниками. А то долго ли у нас заблудиться, найти дорогу — дело мудреное!

Председатель повел учительницу Тует к краю деревни и показал куда-то вдаль:

— Они пошли в ту сторону, во-он где гора, покрытая тучами, видите?

Горы вдали, громоздясь друг на друга, простирались до самого края земли. Так всегда бывает: человек подходит к крутой громаде, уходящей в небо, и говорит себе: «Я должен взобраться на эту гору, потому что выше ее нет в здешнем краю». Но когда он наконец достигает вершины, горизонт вдруг расступается перед его изумленным взором, и он видит десятки, сотни вершин еще более высоких и неприступных. Ветер горных вершин раздувает в его сердце жаркое пламя мечты, и он идет и идет вперед: «Я должен достигнуть самой высокой вершины!..»

Тует, боясь не поспеть до темноты, заторопилась домой. Она написала записку двум маленьким мео, чтобы они сразу приходили в школу, когда закончат работу, что она их ждет. Она сложила листок, потом снова развернула его и на обратной стороне приписала:

«Уважаемые товарищи из геологической экспедиции, когда вы найдете руду и вернетесь, очень прошу вас прийти в гости к нам в школу, что у подножия гор на другом берегу реки. Я много рассказывала о вас ребятам. Они мечтают увидеть вас.

Учительница низинной школы».

■

Вечерний лес выглядел уже совсем иначе: еще более загадочно и необычно. Тует не узнавала дороги, по которой недавно шла. Казалось, все в чаще леса молча и скрыто готовилось к начинавшейся ночной жизни. Девочка куи-тяу, как и раньше, войдя в лес, сразу умолкла. Только ноги ее весело мелькали на темной тропинке. Тует устала, но старалась поспевать за нею. Ей захотелось этой ночью написать письмо Хюи, поделиться с ним своими заботами. И вдруг в памяти всплыла фраза из его письма: «...Срок твоей работы в горном районе скоро кончается. Я высчитал, осталось три месяца. Не забудь напомнить об этом в Отделе просвещения провинции. Или, хочешь, я сам напишу им...» Тует воскликнула про себя: «Вот если бы и Хюи...» Нет, Хюи — человек практический, он не любит всевозможных фантазий, не рвется увидеть далекие горизонты и высокие горы.

Она сказала девочке куи-тяу:

— Приходи сегодня ко мне ночевать, ладно?..

И, помолчав, добавила:

— ...Вместе веселее.

■

На другом берегу реки показалась крыша ее маленькой школы. Кто это зажег свет у нее в комнате? Наверное, старая Май, мать ученика из народности нунг,— они жили около школы...

НГУЕН МАНЬ ХАО

Последний диагноз

РАССКАЗ

Перевод с вьетнамского
М. ТКАЧЕВА

Доктор Ханг молча хмурил брови, осторожно покачивая в руке чашечку с черным кофе. Жена, едва взглянув на него, поняла, что он недоволен разговорами гостей: они громко спорили о политике. Доктор не желал иметь с политикой ничего общего. Стоило кому-нибудь начать обсуждение «последних новостей», как его охватывала тревога. «Ввяжись только в политику,— думал он,— и накличешь беду на свою же голову. Если ты врач — занимайся медициной, а досуг посвящай семье». Особенно осторожен он стал с тех пор, как по личному приказу президента Нго Динь Дьема были уволены со своих постов и арестованы многие видные чиновники из канцелярии губернатора провинции и префектуры.

«Но ведь все они — люди его сиятельства Нго, зачем же им смещать друг друга?» — спросила тогда у него жена.

Он пожал плечами.

«Не знаю, право! Сейчас вообще трудно что-нибудь понять».

А теперь вот друзья, которых он пригласил к себе в гости, не нашли ничего лучшего, как затеять в его доме спор о политике.

«Черт возьми! Они болтают даже про ноты об объединении *».

Сердце его забилось. Кто-то, резко рассмеявшись, сказал:

— Table rase **! Нужны реформы, коренные перемены, устранение от власти тех, кто продался иностранцам и слепо противится осуществлению справедливой революции. Тогда еще можно будет что-нибудь спасти...

Доктор Ханг невольно покосился на дверь, словно боясь, как бы их не подслушали.

По натуре мягкий, неразговорчивый, очень деликатный в обращении с друзьями, он уже несколько раз порывался прервать этот разговор, но не решался и сидел молча, только все больше и больше хмурясь.

Жена поднялась и достала колоду карт.

— Прошу вас,— обратилась она к гостям,— хватит дискуссий, давайте-ка лучше развлечемся, сыграем несколько партий...

---

* Имеются в виду многочисленные ноты правительства ДРВ о проведении всеобщих демократических выборов и других мероприятий, направленных на мирное объединение страны.

** Французское выражение, соответствует латинскому «Tabula rasa», в данном случае означает «Начать сызнова».

По тону ее гости сразу догадались, что она имела в виду, и расхохотались:

— Сыграем, сыграем! Садись же, Ханг...

Лицо его просветлело, и он с благодарностью посмотрел на жену.

Но едва игроки успели сдать карты, как раздался телефонный звонок. Жена подняла трубку.

— Это тебя, Ханг, какой-то незнакомый голос.

Доктор встал.

— Займи пока мое место,— сказал он жене.— Вот карты, я уже сделал ход.

Он подошел к телефону:

— Алло! Из больницы?

Доктор вдруг склонился над аппаратом и плотно прижал трубку к уху. Улыбка сползла с его лица, ее сменили растерянность и беспокойство:

— Да!.. Да! Я сейчас же иду.

Опуская трубку, он свободной рукой нервно одернул полы пиджака.

— Что случилось, Ханг?

— Ничего особенного. Вы не расходитесь. Я только поставлю диагноз и сразу вернусь.

Жена, научившаяся по едва заметным черточкам угадывать его настроение, поняла, что он говорит неправду.

■

Начальник канцелярии губернатора вызывал его по срочному делу. Доктор Ханг был встревожен. Давно уже — он и сам не помнил, когда это началось,— при упоминании о каких бы то ни было высоких учреждениях сердце его сжимало неясное чувство страха... Канцелярия губернатора... служба безопасности... трибунал...

Смутные опасения превратились в щемящую душу тревогу, когда он свернул к резиденции губернатора. Во дворе и на улице перед домом толпились люди. Это были крестьяне. Они молчали, но лица их выражали недовольство и гнев. Слышался чей-то плач. Кругом стояли солдаты и жандармы. «...Да тут народная демонстрация! Но для чего они вызвали меня? Быть может, какой-нибудь негодяй оклеветал меня и пытается замешать в эти дела?..»

Он поднялся на крыльцо. И тотчас к нему подошел дряхлый старик, одетый во все черное:

— Просим вас, уважаемый доктор, исполните свой долг во имя правды и справедливости.

Каждое сказанное им слово звучало как отчеканенное. «Боже мой, что же случилось?» Ноги у Ханга стали словно ватные. Навстречу ему вышел майор, начальник канцелярии губернатора, и пригласил в свой кабинет. Заперев дверь на ключ, чиновник сразу заговорил, даже не предложив доктору сесть:

— Несчастный случай. Человек упал, тяжело поранил себя и умер. Точное время неизвестно. Люди притащили труп сюда. Они утверждают, что это убийство. Мне сообщили, что сюда идут толпы. Если их станет больше, нам труднее будет с ними справиться... Я прошу вас осмотреть труп и объяснить им, что этот человек умер от увечий, полученных в результате падения, что он вовсе не был убит... Это даст нам возможность успокоить и разогнать их. Как наказать зачинщиков, решим после...

Доктор Ханг почувствовал, что стоит у неведомого перекрестка и должен выбрать какой-то путь. По голосу чиновника он догадывался, что произошло нечто темное и грязное и теперь это хотят скрыть... «Если

оставаться с ним здесь, он заставит дать какие-то обязательства... трудно будет отказаться! Надо выбраться любыми средствами...» Он выпрямился:

— Где труп?

— Труп там. Они требуют, чтобы доктор осмотрел его у них на глазах и у них на глазах подписал протокол...

Чиновник помолчал, затем продолжал таким тоном, словно Ханг был его сообщником:

— Народ здесь за последнее время очень ожесточился, да и Вьетконг * подстрекает людей. Все обозлены до предела. Если не уступить им в какой-нибудь мелочи, трудно будет справиться... Лучше потом постепенно разделаться с ними...

— Но ведь вы, господин майор, военный,— перебил его доктор,— и должны разбираться в ранах. Действительно ли это несчастный случай, как вы говорите?

— Я осматривал труп, рана — результат падения на острую ветку.

Доктор вздохнул с облегчением, у него отлегло от сердца.

— Ну что ж, пойдемте.

— Вы идите, доктор, с вами пойдет мой секретарь.

Доктор Ханг пристально посмотрел в глаза чиновнику — в мутноватых зрачках отражались и плохо скрытая злоба, и тревога, и страх.

Он спустился по ступенькам, и толпа сразу же обступила его.

— Просим вас, доктор, сделайте все как надо!

— Вон там лежит труп!

— Просим выйти начальника канцелярии! Он тоже должен присутствовать при этом!

Молодой человек в форме младшего лейтенанта торопливо закричал:

— Я здесь вместо него! Майор занят, он выйдет позже.

Сразу откликнулось множество возмущенных голосов:

— Нет! Нет! Так не пойдет! Начальник канцелярии должен присутствовать!

Старик в черном поднял руку:

— Хватит! Дело важнее всего! Дайте доктору осмотреть труп!

Труп лежал на бамбуковых носилках, плотно прикрытый циновкой. Две молодые женщины, стоявшие рядом, приподняли циновку. Словно электрический разряд пробежал по нервам доктора Ханга. Он еле сдержал крик, готовый сорваться с губ. И в ту же секунду в мозгу у него стремительно пронеслось: «Спокойно! Спокойно!.. Ты не должен показывать, что знаешь эту женщину!..»

Он наклонился к самому трупу, чтобы никто не увидел его лица. Да, это старая Там! Никаких сомнений быть не может! Сердце его точно проваливалось в бездонную пропасть. Он вынул из кармана платок и стал тщательно протирать стекла очков, как бы желая подготовиться к осмотру, а сам незаметно вытер слезы...

Мать его умерла спустя несколько дней после его рождения. И с тех пор женщина, лежавшая сейчас на этих носилках, стала для него доброй кормилицей и заботливой няней. Она так и жила в их доме, пока он не вырос и не получил диплом врача... После смерти матери отец — человек образованный, но ничего не добившийся в жизни — беспробудно пил или, взяв под мышку боевого петуха, шатался по уезду, устраивая петушиные бои и заключая пари с такими же, как и он, бездельниками. Ханг рос и учился только благодаря своей бездетной тетке и нянюшке Там. Но тетка часто и надолго уезжала куда-то по делам — она занималась торговлей,— и он оставался вдвоем с няней, которая окружала его материнской нежностью и лаской. Муж ее уехал когда-то из дому на заработки

---

*Южновьетнамские власти и сотрудничающие с ними элементы так называют коммунистов и вообще участников освободительной борьбы.

и пропал без вести, двое детей росли вместе с Хангом, вместе играли и ходили в деревенскую школу. Закончив образование и став врачом, Ханг переехал в другую провинцию. Потом началась война, он долго жил в Хюэ, * а нянюшка Там оставалась в деревне, которая находилась тогда в освобожденной зоне. ** Поэтому они не виделись почти двадцать лет.

После заключения мира он вернулся в центральный город своей провинции, время от времени навещал могилы родителей и помогал нянюшке Там. Она к тому времени совсем состарилась. Жила она все в той же деревушке, километрах в тридцати от города. Иногда он ездил к ней в гости, часто посылал ей подарки, и дети его тоже бывали у «бабушки Там». Они все время приглашали ее к себе, но она так ни разу и не приехала. Он даже немного на нее сердился... Уж он-то лучше других знал, какой она была доброй и незлобивой, он не помнил, чтобы она хоть раз повздорила с кем-нибудь. Вот уже года два он не виделся с нею, боясь, как бы из-за поездок в деревню ему не приписали связей с партизанами или чего-нибудь в этом роде. Но он знал, что творилось в деревне. Они с женой как раз собирались взять нянюшку Там к себе. Правда, все в деревне очень любили старую Там, но дети ее давно уже разъехались кто куда, а одной ей, конечно, приходилось несладко... Он мысленно прикинул: да, в этом году ей должно было исполниться семьдесят!..

Все это с быстротой молнии и в то же время с поразительной яркостью промелькнуло в его памяти, пока он протягивал руки и расстегивал пуговицы на платье старой Там. Седые волосы, словно бесцветные нити, прилипли к изрезанному морщинами лбу. Под ними он ясно разглядел круглое родимое пятнышко, похожее на монетку в одно су. Когда-то, совсем еще маленький, он показывал на эту родинку и спрашивал: «Что это у тебя, нянечка, там такое кругленькое, а?» И она, поглядев на него своими чуть раскосыми глазами с большими черными зрачками, всегда как будто удивленными и настороженными, прижималась носом к его щеке: «Это меня мышка укусила!» Он крепко обнимал ее за шею: «Нянечка, ты покажи мне эту мышку, я побью ее, чтобы она больше не кусала тебя...»

Глаза ее были закрыты. Ресницы торчали, точно тонкие гвоздики, наглухо заколотившие веки. Он осторожно перевернул труп старой Там. Две глубокие ножевые раны в области позвоночника пересекали ее спину... Больше он не подносил платка к очкам, дав волю слезам.

Доктор не ожидал, что рассказы об убийствах и зверствах, к которым он старался не прислушиваться, так глубоко запали в его память! Картины пыток и казней, отрубленные головы, вывороченные внутренности проплывали перед его глазами. Страшные раны рассекали позвоночник старухи... Он зажмурил глаза, чувствуя, что больше не может, не должен отмахиваться от вопросов, сверливших мозг: «За что? За что варварски убивают безобидных и добрых людей — таких, как старая Там? За что людей, терпевших голод и муки, проливавших кровь в войне за независимость, травят и убивают, как диких зверей?..»

Он все стоял, склонившись над ранами старой Там. И вдруг до него донеслись голоса из толпы:

— Послушайте, дядя, что это он так долго копается?

— Откуда мне знать! Стой спокойно и смотри.

— Да что там! Он с ними одного поля ягода, сейчас подпишет фальшивый протокол, будто она напоролась на ветку...

---

* Город в Центральном Вьетнаме, бывшая королевская столица. В настоящее время находится на территории Южного Вьетнама.

** Имеются в виду районы, освобожденные Народной армией и партизанами от французских войск во время войны Сопротивления (1946—1954). Большинство крупных городов, в том числе и Хюэ, оставалось в руках французов.

Он хотел ответить: «Нет... нет, не одного поля...»

Ропот вокруг становился все громче и громче.

— Доктор, не бойтесь! Скажите нам все как есть! Ради справедливости, ради правды!

«Верно! — подумал он.— Надо отбросить страх... ради справедливости... Сказать все как есть!..»

Прислушиваясь к голосам людей, он мысленно отвечал им. А ужасные видения все кружились и кружились около трупа старой Там. Сердце его переполнялось гневом... «Да, надо... во имя справедливости!..»

Он выпрямился и взглянул на толпу. Сотни глаз смотрели на него в упор — решительные, ждущие его приговора. Он не думал больше о том, будут ли его слова иметь политический смысл и какие они возымеют последствия лично для него, доктора Ханга. Громко и отчетливо он произнес:

— Эта женщина убита!

В ту же секунду стоголосый крик разорвал тишину:

— Слышите! Слышите! Доктор сказал, что ее убили!

— Люди! Они убили ее!

— О горе! Такую добрую, уважаемую женщину!..

Младший лейтенант толкнул его локтем в бок. Ханг вспомнил слова начальника канцелярии и понял, что петля готова захлестнуться на его шее.

Какой-то парень в модном клетчатом костюме и темных очках, какие носят, чтобы скрыть лицо, презрительно скривил рот с прилипшей к губе сигаретой:

— Эта старая карга была самой подлой тварью во всей деревне! Вьет-конгская морда!

Доктор поднял на него глаза. Отчего это лицо кажется ему таким мерзким, таким отвратительным? Злоба, бессильная и чреватая опасностью, душила Ханга.

— Откуда вы знаете, что она была вьет-конг?

Парень угрожающе взглянул на него:

— А чего тут знать! Эта ведьма, как голодная пиявка, приставала к волостному управлению и префектуре: то разреши ей переписываться с Севером *, то не нравятся налоги, то не угодно, чтобы внука брали в солдаты...

Толпа грозно зашумела:

— Ее дети на Севере, она просила разрешения переписываться с ними!.. Мы тоже!.. И мы хотим получить письма от наших детей. Налоги всех давят! Мы тоже протестуем!.. Когда наших сыновей забирают в солдаты, мы тоже требуем, чтобы их вернули домой! Что ж, и нас за это надо убить?..

— Она — вьет-конг,— злобно прошипел парень.— Это доказано. Вы врач, и ваше дело осматривать труп, а не приставать ко мне с вопросами. Зарубите лучше себе на носу, что никто ее не убивал. Она упала и напоролась на ветку. Осмотрите ее еще раз, да повнимательней!

Ханг вдруг увидел, что начальник канцелярии стоит рядом с ним. Он и не заметил, когда подошел майор. Тот громко закричал, заглушая все голоса, и каждое его слово было как удар молота:

— Доктор сейчас еще раз обследует труп! Он ошибся! Раны от острых веток легко спутать с ножевыми!

В ушах у Ханга звучали вперемежку грубая брань того типа в очках, обрушенная на мертвую Там, его угрозы... приказ начальника канцелярии. И он внезапно понял, сам не зная почему, что именно этот молодчик в темных очках убил женщину, заменившую ему мать, и что

---

* Имеется в виду Северный Вьетнам.

на его совести еще много невинных людей. Доктор Ханг не думал больше о своей карьере, о своем благополучии, о семье. Давно уже кипевшие в сердце возмущение и ярость бросились ему в голову. Он сказал громко — так, чтобы все его слышали:

— Я врач, и я произвел экспертизу по всем правилам. Эта женщина убита. У нее две глубокие ножевые раны. Их невозможно спутать с ранами, полученными от падения на острые ветки.

Двор канцелярии и прилегающие к нему кварталы дрогнули от крика. Шум нарастал. Люди хлопали в ладоши, размахивали руками, кричали:

— Да здравствует доктор Ханг! Вот что значит честный человек! Приветствуйте его, люди!..

— Они убили ее! Доктор сказал все как есть!..

■

Когда доктор Ханг вышел из канцелярии, уже начинало смеркаться.

Секретарь майора долго продержал его в кабинете. Он ходил из угла в угол по мраморному полу, стуча подкованными армейскими башмаками, и стук этот гулко отдавался в сердце доктора. Лейтенант говорил о чем-то, уговаривал, угрожал. Доктор Ханг ничего не слышал. Былые страхи вновь просыпались в его сознании... Но он ведь не мог поступить иначе... Снова и снова задавал он себе вопрос: а если бы это была не нянюшка Там?.. И отвечал ясно и прямо: все равно, будь на ее месте другой человек, он поступил бы точно так же... Врач должен быть честным... Нельзя поддаваться страху. Ведь врач работает во имя жизни, во имя справедливости... Жаль, конечно, что доктор, занимавшийся обычно экспертизой и осмотром трупов, куда-то запропастился и ему пришлось расхлебывать эту кашу... О господи! Что за мысли приходят в голову!

Он поднял голову и взглянул прямо в лицо секретарю канцелярии. Шум и крики, доносившиеся снаружи, затихли, было, на время, потом возобновились с новой силой. В конце концов секретарь открыл перед ним дверь.

Доктор Ханг вышел во двор. Молча подошел он к многоликой толпе, на глазах у всех написал протокол о том, что, как явствует из осмотра трупа, старая Там была убита двумя ударами ножа, и заверил его своей подписью. Рука его чуть дрожала, но буквы ложились на бумагу четкие и ясные. Повернувшись, чтобы попрощаться с секретарем канцелярии, он заметил, как тот сделал глазами знак молодчику в темных очках. На лице секретаря он прочел вдруг столько нескрываемой ненависти и злобы, что не стал раскланиваться и молча вышел из ворот. Толпа расступалась, давая ему дорогу. Вслед ему раздавались голоса:

— Спасибо, доктор!.. Вы честный человек, доктор Ханг!..

Все так же молча он шагал по улицам, окутанным ночною тьмой. Сотни мыслей теснились в его мозгу: угрозы начальника канцелярии... Его уволят, арестуют... Разве такие люди, как нянюшка Там,— это вьетконг?.. Почему же их убивают? Не может государство держаться на одних убийствах!..

Он почувствовал, что не в состоянии вернуться домой, и медленно пошел к реке. И вдруг что-то со страшной силой обрушилось на его затылок. Перед глазами поплыли огненные круги, и он рухнул на камни мостовой, смутно ощущая все новые и новые удары. Он попытался подняться и снова упал. Последнее, что он еще услышал, был чей-то голос, произнесший с издевкой:

— Ишь ты, сволочь! Вьет-конгский защитник!

И ему показалось, что он узнал голос того парня в темных очках.

МУНДЕЛЕ ДИА КВАНЗА

ПУТЬ ДОМИНГУША ШАВИЕРА

ПОВЕСТЬ

Перевод с португальского
Л. НЕКРАСОВОЙ

Мы существуем,
Друг Муссунда,
Мы существуем!

Агостинью Нету

I

Малыш Зиту вихрем влетел в комнатушку, выскочил во двор и наконец увидел деда. Совсем запыхавшись, Зиту крикнул:

— Дед, иди скорее! Арестованного привезли!

Старый Петелу вопросительно взглянул на внука, щурясь от яркого утреннего солнца, проникавшего сквозь листву деревьев.

— Ты говоришь, арестованного? Ты сам видел, своими глазами?

— Честное слово, дед! Иди скорее!

Волоча больную ногу, старик торопливо прошел через дом и вслед за внуком заковылял по красному песку. Перед хижиной соу * Мигела он увидел толпу женщин с младенцами на руках... Они молча смотрели, как два сипая** выталкивают из машины человека.

Он был высокий и худой, очень худой... Изуродованное побоями лицо распухло... и все же было видно, что он совсем молод. Когда человек упал около машины на песок, матери, покрепче прижав к себе детей, зашептали:

— Айюэ ***...

Малыш Зиту, ухватив деда за руку, протискивался вперед сквозь толпу, а старик внимательно разглядывал арестованного, стараясь не пропустить ни единой подробности того, что происходило около тюрьмы.

Когда человека подняли, лицо его казалось еще более распухшим, к влажному лбу и щекам прилип красный песок. И хотя сипаи постарались поскорее разогнать любопытных, сбежавшихся сюда несмотря на ранний час, люди успели заметить, что у арестованного руки и ноги свя-

---

* Соу — сокращенное «сеньор».

** Сипай — африканец, находящийся на службе у колонизаторов; местные полицейские невысокого чина.

*** Айюэ на языке кимбунду — восклицание глубокого сожаления, сочувствия, горя и т. д.

заны одной веревкой. И она — да-да! — она захлестнута петлей на его шее! Айюэ, как же он ходит?

Арестант маленькими шажками брел к двери тюрьмы, его голова почти касалась колен. А сипаи продолжали бить его, пока не открылась дверь, пока их всех не скрыли высокие стены.

В муссеке * новости распространяются очень быстро, и вскоре это событие уже обсуждали в каждой хижине. Никто, однако, не знал арестованного. Все заметили, что бедняга очень худ и высок, но его лицо никому не было знакомо.

Старый Петелу долго стоял и молча курил трубку, о чем-то раздумывая. Потом схватил Зиту за руку и приплясывающей походкой, волоча больную ногу, заковылял по улице. Вслед ему неслись крики мальчишек:

— Такуимоши! Такуимоши! **

Действительно, у него была лишь одна ягодица. Второй он лишился еще в 1928 году. Старому Петелу, в то время молодому Педру Антунишу, матросу второй статьи с канонерки, сделали однажды прививку против малярии. Напрасно он сопротивлялся и протестовал. Старший помощник у них был строгий. Моряк с малярией никуда не годится, сказал он. Сейчас же вкатить ему хинина! Плохо сделанный укол вызвал заражение, но Педру Антуниш, опасаясь новых уколов, ничего никому не сказал. А когда все обнаружилось — было уже поздно. Резали, скоблили, и в конце концов — вот результат: одна ягодица почти начисто отрезана негодяем фельдшером, который, видно, хорошо знал свое дело. И вот теперь мальчишки из муссеков дразнят отставного матроса:

— Такуимоши! Такуимоши!

В это солнечное утро старый Петелу не погнался за мальчишками и даже не пошел жаловаться их родителям. Держа внука за руку, он ковылял быстрее, чем обычно, не отставая от тех, кто шел на работу в Нижний город. Малыш Зиту растерянно и смущенно поглядывал на мальчишек, таких же, как он. Маленькие подмастерья столяров тащили тяжелые ящики, полные инструментов. Другие подмастерья сопровождали мастеров-каменщиков. Чистильщики ботинок несли ящики со щетками и ваксой. А дети в белых халатиках *** бежали в школу с сумками, в которых лежали книги. Зиту смотрел на них и уже не думал о том, зачем дед Петелу, которому так трудно ходить, отправился сегодня спозаранку в Нижний город. Давно когда-то дед сказал ему:

— Смотри, мальчик, хорошенько, когда вы играете под деревом, около полицейского участка. Если ты увидишь, что привезли арестованного, сейчас же беги сказать мне.

И когда это случалось, Зиту оставлял своих приятелей катать тряпичный мяч, а сам бежал домой. Дед обычно сидел под деревом или возле хижины, подставив солнцу лицо.

И каждый раз, было ли то утром или днем, дед, схватив Зиту за руку, шел вниз, в город, к зданию той компании, где работал брат Шику, один из крестников старого моряка. Зиту очень нравились эти прогулки. Любопытными глазами он смотрел на красивые автомобили, каких не было там, у них наверху, разглядывал большие чистые дома. Потом они завтракали с братом Шику в какой-нибудь закусочной на берегу моря, и он восхищенно прислушивался, как старшие говорят о важных делах.

Вот и сегодня малыш Зиту и старый Петелу шли по асфальтированным улицам, в середине черного потока, лившегося в белый город. На тротуаре около миссии, там, где со старых деревьев на прохожих капал сок, все ускорили шаг, боясь опоздать на работу, прозевать место в по-

---

* Муссек — квартал на окраине города, где живут африканцы.
** Такуимоши — на языке кимбунду: человек с одной ягодицей.
*** Белый халатик — школьная форма в Анголе.

путном грузовике, упустить утренних клиентов и вычистить им ботинки. Но марширующие отряды сипаев и солдат задерживали людей.

В муссеке все женщины, инвалиды и безработные были, как обычно в это время, заняты самыми разнообразными делами. Интерес к неизвестному арестанту уже угас. Нужно было пойти купить муки или пальмового масла, зайта в полицейский участок, навести справки о пропавших родственниках. Будничные заботы заслонили событие, начавшее этот день: арестованного человека, худого и высокого, которого никто не знал в лицо, его прибытие в покрытой пылью синей машине, вместе с двумя сипаями, избивавшими его, беднягу.

Только память старого Петелу хранила этот образ. Глаза старика, хотя уже и ослабевшие от блеска моря и неба, хорошо разглядели неизвестного. И теперь, черту за чертой, вспоминал Петелу незнакомое лицо, взгляд, фигуру, худую и высокую...

— Мальчик, ты уверен, что не знаешь его?

— Кого не знаю, дед?

— Да этого человека, арестованного...

— Нет, я его никогда не видел, дедушка. Ни в одном муссеке.

На перекрестке, где поток людей встречался с потоком машин, с этими хозяевами асфальта, бесшумно мчавшимся куда-то, дед и внук принуждены были остановиться. И старый Петелу проворчал:

— Мальчик, а ты хорошо знаешь дорогу? Мы правильно идем?

— Уже совсем близко, дед. Я хорошо знаю.

Но на самом деле малыш Зиту солгал деду — ему хотелось пройти мимо дома, где в витрине лежали футбольные мячи, о которых он мечтал каждый день. Настоящие футбольные мячи, прекрасные, как у команды «Ботафогу» *. Для того чтобы на них посмотреть, он сделал крюк и привел деда к магазину на углу. Здесь он остановился и не мог уже отвести горящие глаза от витрины.

— Ну что ты, мальчик, стоишь? Идем скорее. Иначе мы не застанем брата Шику. Ведь поздно!

Снова взявшись за руки, они пошли дальше — на этот раз прямо к дому компании. Перед глазами старика стояло распухшее лицо, облепленное красным песком, а малыш Зиту думал о брате Шику. Может быть, он снова угостит их конфетами! И, улыбнувшись при этой мысли, мальчик ускорил шаги.

Дом компании был тут, за углом. Высокий и большой, со множеством окон. Стены были тоже из стекла, и поэтому малыш Зиту всегда робел, входя туда. Он чувствовал себя пленником, когда, толкнув дверь, вдруг попадал в огромную комнату, полную непонятных предметов.

— Здравствуйте. Мне нужен соу Шику. Мой дедушка хочет с ним поговорить.

Сидевший за столом служащий в форменной одежде посмотрел на Зиту — мальчик из муссека, оборванный и грязный, смущенно чешет одной босой ногой другую.

— О ком ты говоришь?

— Мне нужен соу Шику. Соу Шику Кафунданга, который играет в команде «Бота»!

— А! Он ушел.

— Да как же он мог уйти? Сейчас девять часов, а он приходит в восемь с половиной. Как же он мог уйти? Я ведь говорю о соу Шику Кафунданга.

Поправив воротничок, служащий поднял глаза и, взглянув на мальчика, равнодушно произнес:

— Я ведь сказал тебе! Соу Шику я знаю хорошо. Он вышел по

---

* «Ботафогу» — название популярной бразильской футбольной команды. В Луанде существует спортивный клуб, носящий это название.

делам, ему нужно разнести корреспонденцию. Он скоро придет. Часам к двенадцати.

Малыш Зиту с ужасом посмотрел на важного служащего. Среди этих стеклянных стен, возле огромных окон он чувствовал только одно желание — убежать. Вот если бы это было в муссеке!

— А куда он пошел? Вы не знаете?

Ни слова не ответив, служащий встал, повернулся к мальчику спиной, открыл тяжелую деревянную дверь и скрылся за нею. Зиту недовольно нахмурился и направился к выходу.

— Дедушка, брат Шику ушел и вернется не скоро. Только к двенадцати часам... Идем отсюда скорее.

— Нет, мальчик. Ты иди, если хочешь. А я должен дождаться. Только лучше пойди и скажи этому человеку, чтобы он передал брату Шику, что мы будем ждать его у крепостной стены.

— Ой, дедушка, и я буду ловить рыбу? Ладно, дедушка? Я сейчас!

Служащий уже более приветливо обещал Зиту сообщить соу Шику (Франсиску Жоану, как он его назвал) о приходе мальчика. Он написал несколько слов в записной книжке, вырвал листок и положил на стол.

Было почти десять часов, и над разноцветным городом стояло желтое декабрьское солнце. Легкий ветер волновал лазурную гладь залива и колыхал листья пальм. Усадив дедушку Петелу на каменной стене и предоставив ему спокойно созерцать беспредельность океана, малыш Зиту опрометью побежал по длинной улице в Котонью-Тонью. Там, в маленькой лавчонке, за два с половиной анголара*, полученных от дедушки Петелу, он купил рыболовный крючок и леску. Потом на пристани он выпросил у рыбачки две маленькие сардинки и вернулся к крепостной стене. Дед все так же спокойно сидел, устремив взор в море, и даже не отгонял мух, ползавших по его подставленным солнцу ногам.

Малыш Зиту закинул удочку в море. Но рыба не клевала. А если какая-нибудь и клевала, то вытащить ее не удавалось. Ни одной.

— Слушай хорошенько, мальчик, что я тебе скажу. У тебя плохая приманка. Рыбе надо дать хороший завтрак. Хочешь посмотреть? Вытащи у этой рыбки кишки и попробуй. Давай, я тебе покажу.

— Ой, дедушка, зачем кишки?

— Вот, смотри! Сначала проткни крючком вот так. Снизу... так... Теперь поверни и подцепи сверху. А теперь спрячь кончик крючка. Если и сейчас рыба не будет клевать — значит, я не смыслю в этом деле!

Зиту радостно засмеялся и забросил в воду удочку с новой приманкой. Старый Петелу улыбался, устремив взгляд в глубину моря, и шептал:

— Вот когда здесь еще не было порта — хорошо было удить... Окуней на камнях было много и всякой другой рыбы... И-и-и... Люди рыбачили, всем хватало, и еще выбрасывали даже...

Зиту внимательно смотрел то на дедушку, то на леску. Когда вдруг рыба клюнула, он дернул леску, но не очень сильно и не очень слабо, как раз так, как говорил дед, и начал тащить.

— Ну, вот видишь, мальчик, что я тебе сказал! Прекрасная рыба, да, да, сеньор! Скорей вытаскивай крючок! Вынимай у нее изо рта приманку и насаживай снова! Рыба — она дура!

Солнце поднималось по безоблачному небу все выше. Старый Петелу с тоской смотрел на мост, соединявший берег с островом. А ведь раньше тут были дамбы, насыпанные из угля. Теперь он, правда, уже не может как следует разглядеть, но готов поклясться, что именно там, посередине, они множество раз причаливали и грузили уголь в бункера

---

*Анголар — никелевая монета, равная примерно трем копейкам.

канонерки. На острове, так же как и прежде, стоит церковь Божьей матери. Старый Петелу улыбнулся, припоминая веселые пирушки на праздниках ноября *. Теперь африканцы больше не устраивают таких праздников — белые не разрешают.

Мимо с шумом промчалась моторная лодка и застлала морскую гладь дымом старого дизеля. Сколько раз, Педру Антуниш, сколько раз в белой форме, в синей фуражке, стоя у штурвала, ты пересекал эту бухту. Но это было раньше, а теперь...

Старый Петелу все еще сидел на солнышке, предаваясь воспоминаниям и глядя на лежащих около него рыбешек, когда часы собора пробили полдень и появился Шику Жоан.

— Здравствуй, крестный. Эй, малыш Зиту, ты, кажется, еще подрос?

— Здравствуй, брат Шику! Мы заходили к тебе рано утром, но тебя не было. Вот мы и пошли с мальчиком поудить рыбку, дождаться полдня, пока ты придешь.

Франсиску Жоан, как всегда одетый в форму цвета хаки, помог старому Петелу подняться. Малыш Зиту грустно свернул леску и нанизал свой улов на поднятый с земли прутик.

— Дедушка, я теперь хочу удить тут каждый день!

— Помолчи, мальчик. Взрослые говорят о серьезных делах.

— Пойдемте-ка позавтракаем и там побеседуем, ладно?

На такое приглашение дедушка Петелу сначала ответил решительным отказом, но это был лишь долг вежливости, и упорствовал он недолго. Втроем они отправились в закусочную.

Завтрак был очень скромный — суп и фасоль с мясом. Брат Шику заказал два стаканчика вина, а для Зиту старый Петелу попросил газированной воды. Ели не спеша, запивали вином и говорили о разных разностях. Потом Зиту внимательно посмотрел по сторонам, а старый Петелу шепотом сказал крестнику:

— Утром привезли арестованного. Мы его не знаем. Может быть, я плохо рассмотрел, но мальчик все видел.

Брат Шику вдруг стал очень серьезным. Нахмурясь, он вынул бумагу и карандаш и начал записывать все, что тихонько рассказывал малыш Зиту:

— Его привезли в синем «шевроле». Очень пыльном. Наверно, ехали издалека.

— Ты уверен, мальчик?

— Провалиться мне на этом месте.

Брат Шику быстро записывал слова мальчика и вдруг, наклонившись вперед, заглянул в лицо Зиту:

— Ты говоришь, он был высокий и худой? Избитый и с веревкой на шее?

— Да, соу Шику. Он даже не мог идти... Но очень высокий, и голову держал прямо. Он совсем не боялся, нет, брат Шику!

Старый Петелу долго шептался с крестником.

— Высокий... худой... голову держал прямо... Ты уверен, что это был синий «шевроле»?

— Да, соу Шику.

— А скажи, за рулем сидел человек в белом мундире?

— Да, соу Шику, коротышка белый в белом мундире...

Франсиску Жоан сделал еще какую-то пометку, старый Петелу начисто обглодал кость. Малыш Зиту отгонял мух от вазочки с леденцами.

---

* 4 ноября — праздник Святой Девы.

— А ты не слыхал, как называли этого белого?

— Слыхал, соу Шику. Он велел сипаю отогнать человека, который подошел совсем близко. Сипай сказал: «Слушаюсь, соу аспирант!*»

Круглым разборчивым почерком Шику продолжал писать. Наконец он сказал:

— Спасибо, крестный. И тебе спасибо, малыш Зиту. Теперь идите домой в муссек и, если, крестный, увидите опять какого-нибудь арестованного, слушайте все и все замечайте. Сразу присылайте ко мне мальчика. Да, да, Зиту молодец. Ему, конечно, нужно было бы ходить в школу... Не забудьте: если услышите что-нибудь об этом арестованном, немедленно сообщите мне.

Все трое поднялись. Шику Кафунданга расплатился у прилавка и попросил дать ему леденцов на оставшуюся мелочь. Малыш Зиту радостно улыбнулся. Брат Шику погладил его по голове. Нагнувшись, он повторил тихо, так, что слышал один Зиту:

— Молодец, Зиту, молодец!

На залитой солнцем улице брат Шику простился с крестным и с его внуком. Было уже четверть третьего, и он спешил вернуться на работу. Ведь ему сегодня предстояло отпрашиваться, чтобы уйти пораньше.

Держась одной рукой за руку деда, а в другой сжимая прут с пятью рыбами, Зиту шел по улице, сосал леденцы и чувствовал себя очень счастливым. Еще бы! Он получил их от самого соу Шику, знаменитого Шику Кафунданга, лучшего игрока команды «Ботафогу»! И снова, в то время как мысли деда занимал арестованный, малыш Зиту думал о том, как он будет аплодировать команде, в которой играет его друг и брат Шику.

В начале шестого служащий бухгалтерии Франсиску Жоан, получив разрешение, быстрыми шагами вышел из здания компании. Он свернул к Почтовой площади, торопясь на автобус, идущий в Самбу.

II

В половине седьмого вечера, через полчаса после окончания работы, Домингуш шел по зарослям высокой травы, спеша домой к жене и маленькому Себастьяну. Теперь, когда инженер Силвештри отпустил его после дневной смены, приятно было взглянуть на вершины гор, за которыми садилось солнце. Приятно было сознавать, что перед ужином можно немножко поиграть с малышом, а потом отдохнуть на циновке рядом с Марией. Его сменщик, работавший ночью, задержал его — все расспрашивал о состоянии трактора и о разных других мелочах.

Поселок, где жили рабочие-африканцы, находился далеко от строительства плотины. Слева от дороги стояли одинаковые убогие хижины. Через санзалу ** бежал мутный грязный ручей, унося с собой все отбросы и нечистоты, и терялся далеко внизу среди густой зеленой травы. По субботам сюда обычно на автомобиле приезжал врач, кое-как проводил санитарный осмотр и уезжал.

Наверху, на зеленой вершине холма, в общежитии под алюминиевой крышей жили белые рабочие, а в отдельных домах, окруженных садами и газонами,— старшие служащие и инженеры строительства. Домингуш около двадцати минут торопливо шел по тропинке, вьющейся в зарослях высокой травы, спеша к маленькой хижине, где каждый вечер его встречала семья.

Он увидел Марию около дома. Она варила кашу для Себастьяна,

---

* Аспирант — младший чиновник колониальной администрации. Секретарь — средний. Администратор — старший.

** Санзала — африканская деревня или поселок.

участливо слушая соседку, которая все еще горевала о своем сыне. Тяжело было Домингушу выслушивать жалобы Зефы — ведь он тоже немало настрадался, когда его друг, ее сын Соуза однажды исчез и никто не знал куда, никто не знал почему. Он исчез, хотя синяя машина администрации не увозила его в полицейский участок и речные волны не выбросили на берег его тело. Да и не мог отбойщик утонуть в реке! Все дни он проводил в карьере и в каменоломне, и его работа не была опасной. Правда, от дрожания пневматического молотка слабая грудь Соузы всегда болела, но человек он был очень решительный, хотя маленький и тщедушный.

В первые дни после его исчезновения мать его, Зефа, даже ходила в город, но в управлении ничего не знали. Сипаи уверяли ее, что среди арестованных Соузы не было. А потом уже мало кто и вспоминал о нем.

Домингуш, вначале очень встревоженный исчезновением друга, мало-помалу догадался, что разыскивать его не следует. При этой мысли ему взгрустнулось немного — ведь его-то Соузинья мог бы предупредить. Но никому ничего не было известно.

Один только инженер Силвештри, главный механик, ответственный за этот участок работ, казалось, вовсе не был удивлен. Когда Домингуш впервые рассказал ему об исчезновении друга, инженер поднял глаза от плана, который в это время рассматривал, и, улыбнувшись, сказал с притворным равнодушием:

— Тревожиться незачем. С ним не случилось ничего серьезного.

Домингуш давно уже питал к инженеру Силвештри глубокое доверие. Еще когда он был совсем мальчишкой и только учился смазывать и мыть тракторы сахарной компании, Домингуш случайно услыхал разговор, который внушил ему симпатию к инженеру. С тех пор он всегда искал работу там, где работал Силвештри. Дальше-больше, и теперь здесь, на строительстве, тракторист удивленно прислушивался к разговорам своего друга Соузы с инженером Силвештри, которого все называли господином инженером.

Отбойщик никогда не говорил о своей дружбе с ним, а Домингуш, хотя и беседовал с Соузой обо всем, о чем народ всегда говорит потихоньку, не решался расспрашивать.

Но однажды случилось вот что. Он очень хорошо запомнил этот день, потому что накануне ночью Тимотеу, тощего парня, табельщика электрического отдела, застали у него в комнатушке за чтением листовок, которые распространялись в Луанде. Кроме того, в чемодане у него нашли всякие книги — какие именно, Домингуш и Соуза не знали, но из тех, которые не нравятся полиции. Господин Жакоб, добрый старик из конторы, под большим секретом сказал Домингушу, что парень был не один, когда администратор пришел его арестовать. Второй человек успел убежать через окно. Было это на рассвете, и старый Жакоб, мучаясь постоянной бессонницей, привезенной еще из Бразилии, из Сан-Паулу, стоял у окна и ясно видел убегавшего. В ту минуту он подумал, что это просто какое-то ночное приключение. Но имя, которое он назвал Домингушу, ничего не сказало трактористу и ничего не объяснило.

Весь тот день Соуза был мрачен. Вечером он сказал Домингушу:

— Знаешь, друг, я все время думаю о том, что случилось с Тимотеу...

— А ты его хорошо знал?

— Нет. Он держался особняком, и никто с ним не разговаривал. Все считали, что с ним опасно иметь дело, как и со всеми этими студентами... Вот видишь, в конце концов его и поймали.

— Но почему, Соуза, его опасались? Только потому, что он был неразговорчив, ни во что не вмешивался, жил своей жизнью и учился?

Соуза засмеялся, медленно опустился на землю и сказал таинственно:

— Знаешь, дружище, как раз сегодня мне сказали, что он-то и был одним из главарей. Парень умный! Говорят, у него нашли книги и бумаги, полученные из Луанды.

Домингуш открыл рот от удивления. Но решив воспользоваться благоприятным случаем и хоть что-то разузнать, он вопросительно взглянул на друга:

— Не может быть!

— Тем не менее это правда! Тот, кто мне сказал, не врет!

— Кто же тебе сказал?

По выражению лица друга Домингуш понял, что коснулся запретной темы. Он улыбнулся:

— Вот что, друг, я сам тебе кое-что расскажу. Между настоящими друзьями не должно быть секретов! Поклянись только, что будешь молчать.

— Клянусь! Ты можешь говорить спокойно.

Опустившись на камень рядом с Соузой и понизив голос до еле слышного шепота, не различимого среди других звуков и шумов санзалы, Домингуш сказал другу:

— Я знаю, ты дружен с Силвештри. Инженер тебе доверяет, поэтому и я могу тебе все открыть. Ведь куда он идет — и я туда иду. Куда бы он ни поступил работать — туда же он старается устроить и меня. Он говорит, что я хороший тракторист, и поэтому здесь меня скоро поставят в ночную смену, а ты-то знаешь, как выгодно работать в ночной смене! Он уже говорил с десятником, и тот как будто обещал.

Пригнувшись к самому плечу друга, Соузинья внимательно его слушал. Потом одобрительно кивнул. Обрадовавшись, Домингуш продолжал:

— Ты знаешь, брат, на свете нет таких белых, которые делали бы тебе добро только потому, что это им нравится, для собственного удовольствия. Или потому, что так им приказывает доброе сердце. Нет! Это я хорошо знаю, брат Соуза, это я хорошо знаю. Если ты когда-нибудь не снимешь шапку и не поклонишься им, тебя сразу назовут неблагодарным, скажут, что все мы одинаковы, и кончится тем, что отправят тебя в полицейский участок. А этот инженер — нет, друг Соуза, этот не отправит. Его голова иначе устроена.

— Прости меня, друг Домингуш, но у него и сердце другое. Если бы ты видел его сегодня утром, когда ему рассказали о Тимотеу!.. Айюэ! Он стал белый, как стенка! Не говори, что у него только голова иначе устроена...

Протянув вперед руки, тракторист сделал неопределенный жест, словно желая подкрепить сказанные слова, объяснить свою мысль, но сказал только:

— Я это знаю. И не только это, но ты ведь понимаешь, правда? Он совсем не такой, как другие! Если бы он был такой, как все, я до сих пор оставался бы учеником тракториста!

Домингуш был взволнован: он словно видел перед собой инженера Силвештри, маленького и подвижного, в огромных очках, в коротких штанах, и слышал его голос, энергичный и приветливый.

— Понимаешь, он даже не обращает внимания на слова десятника. Сколько раз он уже ссорился с десятником!

Тракторист, старательно вспоминая все подробности, рассказывал виденные им случаи и, чтобы лучше передать речь инженера, говорил на кимбунду с португальским акцентом. Но Соуза нетерпеливо вынул трубку, закурил и, сделав две затяжки, перебил его.

— Ну, дальше, брат, рассказывай дальше! А это я все и сам хорошо знаю.

— Вот я тебе и говорю: однажды он пришел к нам в лагерь в полдень, перевернул одним ударом жестянки с нашей едой и велел всем ходить в соседнюю закусочную, где хорошо готовят. Ну, да тебе это все известно, друг Соуза.

Домингуш встал и выпрямился, глубоко вдыхая свежий вечерний воздух. Затем положил руки на плечи своего тщедушного друга и продолжал:

— Вот и он так же, Соуза, однажды положил руку мне на плечо и сказал: «Домингуш, ты хороший механик, ты хороший тракторист, но ты еще к тому же хороший человек, хороший анголец». Честное слово, друг Соуза, он так и сказал! Мое сердце сжалось от его слов. Никто еще никогда не слыхал, чтобы белый так разговаривал с черным. Потом, уже собираясь уходить, он шепнул мне: «Знаешь, Домингуш, ведь я тоже анголец, мы с тобой одинаковые, ты непременно должен учиться, чтобы стать хорошим инженером». И потом ушел, как всегда, быстрой походкой. Я никогда этого не забуду, друг Соуза, никогда.

Соуза поднялся, почесал подбородок и, глядя куда-то вдаль, некоторое время молча курил.

Наступление ночи чувствовалось уже во всех еле слышных звуках, даже в самой тишине, нарушаемой только вечным однотонным журчанием Кванзы, доносящимся издалека. Потом Соуза снова спокойно сел и, улыбаясь, произнес.

— Я и это знал, дружище. И сделал он это потому, что однажды ты слез с трактора, чтобы послушать, как он доказывает управляющему, что люди не могут жить так, как мы живем! Он говорил управляющему о том, что мы едим, обо всех наших делах и о том, что надо сделать, чтобы нам жилось хорошо. Скажи, разве не так было?

— Так! Но откуда ты это узнал?

Соуза погасил трубку и очень тихо сказал Домингушу:

— Слушай, Домингуш. Не говори больше об этом никому, но никогда не забывай, что инженер Силвештри и вправду наш друг.

Он вошел в темную хижину, чтобы дать наконец отдых своему худому, изможденному телу. Каждый день его сотрясала вибрация пневматического молотка. И вот после этого вечера уже никто не видел Соузу ни в карьере, ни в санзале.

А теперь Домингуш, играя на циновке с Себастьяном, вспоминал друга. Голос Зефы, оплакивающей сына, омрачал тоской и тревогой этот мирный вечер.

Было уже почти девять часов, и над санзалой висела луна, серебрившая быстрые волны Кванзы. Вдруг сердца обитателей поселка сжались: послышался шум автомобиля. Когда бы ни появлялась синяя машина, она всегда была страшным врагом. Она увозила связанного, избитого человека в город — и все. Больше его никогда не видели. А если он и возвращался, то весь в синяках, с распухшими руками и ногами. Когда синяя машина, словно коршун, парящий над цыплятами, разъезжала по поселку, ни один отец не мог быть уверен, что на следующий день увидит своих детей.

В темноте вспыхивали огоньки. Испуганные матери, прижимая к груди закутанных младенцев, бросались к дверям. Но машина уже остановилась. Свет ее фар упирался в хижину Домингуша, и сипаи колотили дубинками в дверь, крича, чтобы им открыли. Господин аспирант, который, очевидно, командовал всем, ожидал в стороне, сжимая в руке револьвер.

В эту ночь люди видели, как сипаи ударами кулаков вытолкнули из хижины Домингуша, уже одетого, ослепленного ярким светом фар. Ему вслед неслись крики Марии и плач проснувшегося Себастьяна. Два сипая держали тракториста за руки, в то время как третий бил его по спине

и по голове. Домингуш, человек высокий и худой, очень худой, инстинктивно пригнулся, чтобы избежать ударов. Он хотел было подойти к жене, чтобы проститься, но аспирант ударил его рукояткой револьвера по затылку. Сипаи схватили Домингуша за руки и за ноги и бросили в кузов. Когда машина помчалась по дороге, к небу сквозь молчание неспящих людей неслись только крики Марии и плач Себастьяна. Женщины окружили плачущую Марию, кто-то взял Себастьяна на руки, стал успокаивать малыша. И до конца ночи тишину нарушали рыдания, плач детей и тихие разговоры, полные боли, унижений и надежд...

■

Луна распростерла волшебный покров над истерзанным телом, брошенным на пол камеры, а в истомленном мозгу избитого сапогами Домингуша, не останавливаясь, словно воды реки, проплывали знакомые образы. Бледные лучи проникали в окошечко, забранное стальной решеткой, и тракторист, не поднимая головы, лишь приоткрыв распухшие веки, мог видеть темно-синее безоблачное небо. Синее небо и луна родной земли заглядывали в камеру.

Его избитое тело, худое и длинное, с трудом умещалось в тесной каморке. Он не помнил, как попал сюда, и все вокруг казалось ему странным и далеким, как этот белесый свет. Болела грудь. Другой боли он сейчас не чувствовал. Кусая губы, не в силах удержаться от стонов, Домингуш старался поудобнее улечься на узкой каменной плите, занимавшей почти всю камеру. Но лежа вот так, на животе, он чувствовал мучительную ломоту в руках и ногах и не мог даже приподняться.

Мысли его текли, как воды любимой Кванзы. Мария сидит у дверей с малышом Себастьяном на руках и стряпает ужин; Мария идет с малышом Себастьяном, привязанным к боку. Мария спускается вместе с другими женщинами к реке, туда, где они обычно стирают белье. А река, широкая Кванза, течет и течет, она рождается на плоскогорье, сначала похожая на ниточку, потом на шумного ребенка, а потом становится такой, какой ее знают все,— широкой и спокойной, могучей, устремленной к океану. А там, где Мария с женщинами стирает белье на камнях, она бешено мчится, разъяренная сопротивлением холмов и гранитных скал. Из века в век она бросалась на них с грозным ревом, разбрызгивая белую пену, а потом, уже успокоившись, поворачивала к Мушиме.

Множество образов, множество видений играли с лунным светом в мрачной камере. Длинная дорога, цветущие баобабы, путешествие на машине в предрассветной дымке, после ночи, проведенной в управлении. Ноги, руки, шея, стянутые одной веревкой, и запах земли, влажной от росы, наполняющий грудь, а он идет, согнувшись, и сипаи бьют его по голове, лицу, спине...

Но утреннее солнце поцеловало его распухшее лицо, и ему показалось, что перед ним открылась широкая дверь в светлое утро. Сипаи с криком оттесняли людей, глубокое сочувствие которых было понятно по их молчанию. И теперь он снова видел их. Они все время стояли перед его глазами, слипшимися и заплывшими. Он уже не чувствовал боли. Он видел только женщин с запеленутыми младенцами и испуганные глаза сопливых ребятишек. Это видение повторялось вновь и вновь: голые и сопливые мальчишки, с глазами, полными страха и любопытства, стояли на городской улице и смотрели на него, когда сипаи выталкивали его из машины...

Когда же это случилось? Когда? Луна делала похожими все воспоминания, спутывала все видения. Тело мучительно ныло, спина, разорванная плетью из гиппопотамовой кожи, прилипла к рубахе. Сухой язык

распух. Руки избиты палматорию *. Тут вновь появилась Мария с плачущим Себастьяном на руках, и ее громкий крик вытеснил все остальные воспоминания.

Он крепко зажмурил глаза: в лунном свете струилась Кванза, то грозно ревущая, то спокойная и тихая, — огромное зеркальное море. Как во сне приходило и уходило все, все... И усталость, и нестерпимое желание очнуться, думать... Но сон был как Кванза, ему нельзя было противиться. И вот так, лежа на животе, он плыл по реке своего детства, там, высоко на плоскогорье, где она рождается.

III

Что бы делала сейчас Мария, если бы у нее не было подруги здесь, в квартале Самбазанга? Одна с малюткой Себастьяном, затерявшаяся в незнакомом городе! Но если бы не помощь друзей, разве могли бы люди вынести все то, что они выносят? Так сказал соу Кардозу, когда Мария с младенцем за спиной постучала ночью в его дом.

Все были удивлены. Уже засыпавшие дети вскочили, чтобы поздороваться с ней. Тэте плакала от неожиданности, припав к ее плечу. Ведь они не виделись почти двенадцать лет! С того самого времени, когда вместе жили в Браге, играли тряпичными куклами и лепили булочки из песка. Мария, совсем еще маленькая, носила воду в жестянках...

Потом Мария стала рассказывать о своей жизни и о муже и долго-долго плакала. Друзья заявили, что не отпустят ее. Нет, она должна остаться! В доме всегда много народу, и еды хватит на всех. Дети будут заботиться о маленьком Себастьяне, пока она будет ходить в полицию, в управление, во все места, где только можно искать мужа. Может быть, придется дойти даже до самого господина губернатора!

Соу Кардозу предложил проводить Марию: два-три дня на работу можно и не ходить. Он скажет, что был болен. Но Мария, грустно улыбнувшись, отговорила друга от этой мысли. Она хорошо знает дорогу к полицейскому участку, это ведь недалеко.

Поздно ночью, когда все в маленькой хижине уже спали и луна заливала белым светом муссек, Мария не могла сомкнуть глаз. А запеленутый Себастьян спокойно спал на циновке. Потом Мария услышала приглушенные голоса соу Кардозу и Тэте. В глубине комнаты ворочались на циновке дети. Наконец все стихло, и Мария осталась одна со своими мыслями, совсем разбитая после путешествия в стареньком автобусе с деревянными сиденьями.

Из поселка она выехала в девять часов утра, но шел дождь, и в город она попала только к вечеру. Там, с малюткой за спиной, она добралась до здания миссии и смешалась с толпой возвращающихся с работы людей. Дом Тэте найти было нетрудно: он находился поблизости от маленькой лавчонки, где хорошо знали соу Кардозу, давнишнего здешнего жителя и частого ее посетителя.

Марии легко дышалось в этой хижине, где ее окружала непритворная дружба. Она с любовью смотрела на Тэте, с грустью замечая, какой старой и толстой стала подруга, родив столько детей. Двое мальчишек уже с нее ростом и еще малыши.

Но даже в тепле этой дружбы тревога о муже не затихала. Они были женаты более четырех лет. Марии хорошо жилось с таким добрым человеком, каким был Домингуш. Правда, им никогда не хватало его жалованья и по временам бывало очень трудно. Многие друзья Домингуша вознаграждали себя в субботу за неделю тяжелого труда, отводя душу в

---

* Палматорию — орудие наказания, изобретенное португальскими колонизаторами.

кабаках. Но ее муж никогда даже не говорил и не думал об этом. По вечерам он играл на циновке с Себастьяном, любовно и заботливо ухаживая за ним.

Однажды, незаметно выйдя из хижины Зефы, Мария услыхала, как Соуза сказал Домингушу:

— О мой брат мбунду *, я вижу, ты хочешь стать инженером? Инженером-машиностроителем, чтобы делать тракторы?

Мария часто вспоминала эти слова и широкую добрую улыбку, озарившую лицо мужа, когда он подбросил малютку Себастьяна мозолистыми и выпачканными в мазуте руками.

Теперь Домингуш арестован, как ей быть? Плохо сделала она, что не пошла к его товарищам по работе, не попросила их поговорить с администратором, узнать, за что его забрали... Ведь Домингуш был человек тихий, никогда не пил и никогда ни с кем не дрался, даже по субботам, когда получал жалованье. Он всегда был хорошим другом, он всегда был хорошим мужем, почему же его арестовали?

Да и некого было даже попросить заступиться за него. Его друг Соуза неизвестно где. Никто не знает, что с ним. Священник, отец Жоан, вообще не любит вмешиваться в дела африканцев. К тому же о нем Домингуш, да и другие говорили, что он агент полиции. Оставался только инженер Силвештри. Но Мария не надеялась на него. А вдруг он скажет, что все это глупости? Жена какого-то чернокожего рабочего надоедает ему из-за ареста... Подумаешь, арестовали! Да ведь это случается каждый день.

И вдруг Мария вспомнила, что, когда синяя машина уехала из санзалы, Зефа, мать Соузы, вошла к ней в хижину и таинственно шепнула:

— Вот что, сестра Мария, мой сын велел тебе сказать, чтобы ты пошла в управление узнать о Домингуше. Кричи и плачь, но не уходи, пока тебе не скажут, где он. Хорошо будет, если ты возьмешь с собой маленького Себастьяна, пусть он там громко плачет.

И Зефа улыбнулась такой улыбкой, какой умела улыбаться только Зефа. От удивления Мария широко раскрыла испуганные глаза:

— Как! Соузинья вернулся?

Зефа покачала головой, ответила загадочно:

— Соузинья всегда с людьми.

В то утро Мария взяла маленький узел с вещами и отправилась в город. Солнце еще не встало, и по мокрой от ночной росы траве было приятно идти. Очертания далеких синих холмов терялись в густом тумане. Сверкала Кванза, ленивая и сонная в этом широком месте, неподалеку от переправы. Поселок скрылся за цветущими акациями, бананами, маисовыми полями. Все вокруг было такое зеленое, свежее, молодое! Даже вода в реке тоже казалась зеленой. Но Мария с маленьким Себастьяном за спиной шла по траве, по краю длинной дороги, не замечая ничего. Ее глаза были неотрывно устремлены на дорогу — не остановится ли машина, чтобы подвезти ее до города.

Сердце ее было вместе с Домингушем, там, в тюрьме администрации. Стайка осторожных птичек с длинными хвостами пролетела над самыми желтыми цветами, по которым ступали ее босые ноги. Все кругом было яркое и веселое, кузнечики скакали в траве, и бабочки всех цветов танцевали в воздухе. Но Мария не замечала красоты родной земли. Ведь ее муж, сын этой земли, был в тюрьме... Связанного, точно зверя, его бросили в кузов машины. С тех пор прошло уже несколько часов ночи и несколько часов дня.

По дороге проезжало много машин, проносились джипы управления строительством, но ни одна машина не остановилась. Уже около семи

---

* Мбунду — народ, населяющий ангольский округ Луанды.

часов утра, со спящим ребенком за спиной, она очутилась у дома управления.

Она хорошо знала сипая Тонету, но в это утро ей не хотелось с ним здороваться.

— Скажи мне, когда будет секретарь?

— Он скоро придет. Подожди здесь.

Сипай медленно и важно скрылся за углом, а Мария осталась сидеть на ступеньках, держа на руках Себастьяна.

Бежало время, а она все думала о Домингуше, о своей санзале и снова о любимом муже. В девять часов Мария увидела на дороге джипы, спускавшиеся с холма. На одном из них приехал секретарь.

Проходя мимо, он улыбнулся Марии и даже пошутил с проснувшимся Себастьяном. Но когда Мария сказала, что она пришла узнать о муже, которого накануне забрали без всякой причины, он раздраженно ответил:

— Твой муж бандит. Он хотел перебить всех белых. Лучше забудь о нем.

— Но, господин секретарь, какой же он бандит? Домингуш был хорошим трактористом, он жил с семьей, никогда не дрался, никогда еще его не забирали. Какой же он бандит?

— Я уже сказал тебе. Нечего спорить. Твой муж — бандит. И лучше поскорее возвращайся к себе в санзалу.

Мария вспомнила слова Соузиньи, которые ей передала его мать Зефа сегодня на рассвете возле двери хижины... Она начала громко кричать и плакать, умоляя сказать, где ее муж. Она хочет узнать, только узнать, и больше ничего.

Проходившие мимо люди стали останавливаться и спрашивать друг у друга, что случилось. Секретарь, рассердившись, вбежал в дом и захлопнул дверь. Мария стала кричать еще громче, а малютка Себастьян заплакал.

Сипай Тонету ласково заговорил с Марией, пытаясь ее успокоить. Стоявшие кругом люди начали ругать сипая. Тогда снова послышался сердитый голос секретаря:

— Заткни ей глотку! Если не замолчит, сделаем с ней то же, что сделали с мужем. Слышишь?

Тонету неуверенно пробурчал: — Да, господин секретарь! — и начал стаскивать Марию со ступенек.

Мария, обеими руками прижимая к груди сына, жалобно кричала. Открывались окна, со всех сторон, оставив игры, с обручами и рогатками бежали дети, чтобы посмотреть, что случилось. Сипай Тонету упрямо продолжал тащить Марию и, наконец приподняв ее, сбросил с крыльца.

— Айюэ, айюэ, мой муж! Его убили, я знаю, его убили! Никогда не пьянствовал, никогда не делал ничего плохого, а его убили! О жизнь моя, айюэ! Никогда не дрался! Никогда никого не обижал! Айюэ, я знаю — его убили! Айюэ!

Сипай снова попробовал ее успокоить, увести подальше и, боязливо оглядываясь на веранду, тихонько уговаривал:

— Послушай, Мария, ну замолчи! Послушай, твой муж жив! Только замолчи, замолчи...

— Не замолчу, проклятый сипай! Ты такой же, как эти белые! Айюэ, мой муж, его убили!

Схватив Марию под мышки, сипай Тонету поволок ее за угол. Люди продолжали стоять, негодуя, сердито перешептываясь, а мальчишки засмеялись, увидев оголившиеся ноги Марии. Сипай несколько раз тряхнул Марию и опустил на землю. Она приподнялась, продолжая плакать, малютка Себастьян вторил ей громким криком.

— Да ты слушай, что я тебе говорю. Ты ведь знаешь, что я твой

друг, Мария, — твердил сипай.

Мария, постепенно успокаиваясь, потихоньку всхлипывала, и, когда малютка Себастьян тоже замолчал, сипай, наклонившись к Марии, сказал тихим шепотом, чтобы она одна могла услышать:

— Сегодня утром твоего мужа увезли в Луанду. Увезли на синей машине. Господин аспирант отправил его в полицию.

Мария вытерла глаза кончиком платка и горестно простонала:

— Айюэ, друг Тонету, айюэ! Домингуш никому не делал зла. Почему его забрали?

— Говорят, Домингуш хотел перебить всех белых. Я этому не верю, сестра! Но господин администратор, и господин секретарь, и наш господин аспирант, и Жоан, и Мандумби, сипаи, которые забрали его из сан-залы, всю ночь здесь после возвращения говорили...

— Но почему, Тонету, скажи? Все люди знают, и ты тоже знаешь, что Домингуш никогда ни с кем не дрался...

Сипай пожал плечами, посмотрел на дверь дома и очень неуверенно продолжал:

— Знаешь, Мария, господин администратор все спрашивал у него имя какого-то белого. Это я сам слышал. «Кто этот белый?» И еще он хотел знать, где Бернарду Соуза, такой худой парень...

— Ох, мой брат, о горе! О мой брат! Домингуш не знает никакого белого, Домингуш не разговаривает с белыми, Тонету! А Соузинья... разве кто-нибудь знает, где он сейчас? Никто!

Тонету отошел от нее и огляделся по сторонам... Потом медленно вернулся и прошептал:

— Его очень сильно били, чтобы он сказал. Господин аспирант велел Мандумби как следует его отделать, а потом сипай Жоан дал ему еще несколько ударов плетью...

— Айюэ, айюэ, мой муж! Его убили, я знаю. Сердце мне говорит!

Сипай опять испуганно и нетерпеливо огляделся по сторонам и, нагнувшись к Марии, посоветовал:

— Говори потише, Мария, говори потише. Если господин администратор узнает, что я тебе рассказал все это, он велит и меня побить палматорию...

— И хорошо сделает! Это ты истязаешь людей, это ты сочиняешь такие истории, чтобы получать взятки! Думаешь, я тебя не знаю? Это тебя, это тебя, внука соу Каюми, должны как следует отделать палматорию!

— Честное слово, клянусь тебе... Это только Мандумби и Жоан истязают людей палматорию, только они это делают. И бьют по ногам, и по рукам, и по затылку! Ай, бедный Домингуш, я хотел заткнуть уши, чтобы не слышать, как он, бедняга, кричал... Но знаешь, Мария, он так ничего и не сказал. Господин аспирант кричал: «Ах, ты не знаешь, не желаешь говорить, бандит!» — и господин аспирант велел побить его плетью. После этого его увезли в Луанду.

Мария внимательно слушала слова сипая, укачивая Себастьяна. Широко раскрытыми, остановившимися глазами она глядела туда, где за полицейским участком подымались вершины манговых деревьев. То, что говорил сейчас сипай, уже не причиняло ей боли. Она больше ничего не чувствовала. В ее ушах снова и снова звучали слова мужа, как эхо, отзываясь в сердце: «Не скажу, не скажу!»

Потом этот же самый сипай Тонету довел ее до автобуса, идущего в Луанду, и объяснил, что сначала надо искать Домингуша в полицейском участке муссеков. Вероятно, его отвезли туда.

Сейчас, на рассвете, который пробуждался в каждом воркovании горлицы, в каждом садике, Мария вспоминала длинную темную бесконечную ленту дороги. Цветущие баобабы, зеленая свежая трава, клоня-

щаяся под ветром. Темноперые птицы, поющие на ветках кустов. Голые мальчишки с огромными пупками на вздутых животах, которые кричат с обочин:

— Майака, майака-а-а... купите сладкие мабоки...*

За Коломболокой пролился на землю сильный дождь. В воздухе стоял удивительный запах мокрой земли. Цветущие баобабы сторожили зеленеющие поля хлопка. На них еще не было плодов... Сквозь тревогу Марии, как далекие отсветы, пробивались и пробивались догадки.

Вот он, огромный город, забытый за прошедшие двенадцать лет. Множество людей куда-то спешит по улицам, и кондуктор автобуса кричит, чтобы все выходили поскорее на остановке около миссии:

— Приехали! Вылезайте скорее! Вылезайте скорее, негры!

И, взглянув на аккуратно запеленутого спящего Себастьяна, на его открытый ротик, Мария снова услыхала голос своего мужа Домингуша. Этот голос звучал у нее в ушах, стучал, как пневматический молот, отзываясь в сердце: «Не скажу! Не скажу!»

И Марии показалось, что она видит перед собой навеки заклейменные позором лица Тонету, Жоана и Мандумби, с палматорию и плетьми в руках, рядом с их начальником, с господином секретарем, рядом со всеми полицейскими. Они истязали ее мужа, простого человека из санзалы, который так любил играть со своим ребенком.

За Лишейрой поднималось солнце. Лучи его проникали в щели хижины. И Марии снова послышался спокойный и таинственный голос Зефы: «Иди искать, кричи и плачь. Возьми с собой малютку Себастьяна!»

Мария медленно встала и подошла к двери хижины посмотреть на рождающийся новый день.

IV

В половине шестого Шику Жоан уже был на улице. Служащие с бумагами в руках входили и выходили из старого здания. Шику Жоан даже не снял, как обычно, форму цвета хаки. Сегодня у него не было времени зайти домой, чтобы переодеться в цветную рубашку и узкие штаны и стать настоящим франтом, как называли его бесчисленные поклонники и поклонницы команды «Ботафогу». Он шел по улицам Нижнего города в тот час, когда везде оканчивалась работа, когда мальчишки-газетчики бежали продавать первый вечерний выпуск.

Стройный и не очень высокий брат Шику ходил легкой танцующей походкой. По этой походке узнавали своего кумира девушки из кабачков и мальчишки-болельщики. Но в то время, как многие франты думали только о танцах, Шику Жоан принимал участие в важных беседах, происходивших в доме портного Муссунды.

Еще в детстве Шику за свою любознательность был прозван Кафунданго **. Именно это свойство и помогло ему оценить Муссунду. Худой и некрасивый, горбатый Муссунда умел разговором очаровывать девушек и в чем угодно убеждать стариков. Он всегда знал, что ответить, когда его спрашивали о самом важном, и никто не умел так хорошо отвечать на эти вопросы, как он.

Во время этих бесед, которые обычно происходили по субботам или по воскресеньям, когда в клубе устраивались танцы, брат Шику понял, что жизнь — это не только узкие брючки, дорогие духи и американские рубашки. Но позже, гораздо позже, в день внезапного апрельского ливня, Муссунда заговорил с Шику откровенно. И этот разговор оконча-

---

* Мабоки — небольшие сладкие плоды, напоминающие яблоки. Майака — на языке кимбунду: купите.

** Кафунданга — на языке кимбунду: умница.

тельно открыл юноше глаза. Оказалось, что на свете существуют не только белые, черные и мулаты, а есть богатые и бедные, и богатые всегда враги бедных и поэтому хотят, чтобы бедные всегда оставались бедными.

Сначала Шику был очень удивлен и стал возражать другу Муссунде: ну как это может быть? Ведь богатые дают бедным работу, платят им деньги, подают милостыню нищим! Да и в конце концов, если бы не было богатых — у бедных не было бы работы!

Портной расхохотался. Потом, назвав юношу ослом, объяснил, как богатые добиваются того, чтобы бедные оставались бедными и работали для обогащения других. А вот если не будет богатых, то не будет и бедных, и все люди в мире станут равными.

И Муссунда с улыбкой заключил:

— Друг Шику, ты ведь такой сообразительный. Ты должен понять, что, если бы не было богатых, все люди ели бы фунжи *. А то, смотри пожалуйста, один ест козленка на завтрак, а у другого нет даже фунжи!

Через некоторое время, когда многие товарищи из клуба «Ботафогу» попали в тюрьму за то, что без разрешения полиции при клубе была открыта начальная школа, Муссунда как-то вечером встретил Шику и сказал ему:

— Наши товарищи Манеку и Зезинью сидят в тюрьме, и ребята хотят, чтобы директором теперь стал ты. Иначе наш клуб погибнет. Брат Шику, теперь мы надеемся на тебя. Ты у нас самый толковый!

Шику Кафунданга просто задохнулся от радости. Давно уже червь зависти точил его сердце. Он видел, что его товарищи заняты общественной работой, а сам всегда был в стороне. Ему предоставляли наносить точные удары по мячу и танцевать массембу и меренги. Но Муссунде он этого не сказал. Он только прищурил глаза и ответил:

— Я согласен.

И с этого дня началась для него новая жизнь. Ему уже двадцать четыре года, черт возьми, сколько времени потеряно даром! Теперь по ночам при свете керосиновой лампы он читал по-французски и по-английски с помощью одного парнишки из промышленного училища. Днем работал в бухгалтерии, учась всему, чему можно было научиться там у компании. Ах, если бы он мог когда-нибудь показать своему начальнику, как он умеет печатать на машинке! Он упражнялся, оставаясь после работы, всегда опасаясь, что его застигнут за этим занятием. Но и вечеринки с танцами не пропускал! Теперь, когда он начинал говорить, к его словам прислушивались, а многие матери наставляли дочерей:

— Будь поосторожней с Шику. Этот парень умеет поговорить!

И вот сейчас он шел в форме хаки и думал о том, что сообщил ему дедушка Петелу, и о неизменной верности старого моряка, свято исполняющего порученное ему дело. Вспомнил и малыша Зиту — он толковый мальчишка, сразу видно! Жаль, что ему негде учиться. Этот вопрос обязательно нужно как-то разрешить. Малыш Зиту непременно должен учиться. Вот у них в школе, при клубе «Бота», было много учеников, но ее закрыли. А в государственную школу как поступишь? Нужно за учение платить, нужны башмаки, нужен белый халатик, нужно то, нужно другое... Придется поговорить с Муссундой. Грех оставлять малыша Зиту расти неучем. Мальчишка такой сообразительный, честное слово!

На площади уже стоял старенький автобус. Шику вошел в него и пробрался вперед, чтобы занять место у окна, как ему нравилось, против ветра. Это путешествие он проделывал уже много раз.

Ветер дул со стороны моря, с островов Муссулу. Наконец ветхий

---

* Фунжи — самая распространенная еда ангольцев: каша, сваренная из маниковой муки, из нее пальцами скатывают маленькие шарики.

«интернэйшнл», почти полный, тронулся с места, выпуская облака сизого дыма.

Взяв билет, Шику снова погрузился в размышления, стараясь припомнить все, что говорил старый Петелу: арестованный — высокий и худой, молодой, машина — синий «шевроле»,— покрытая пылью, прибыла на рассвете, солнце только поднималось над Лишейрой. И номер машины записан на бумажке, которую потом надо будет разорвать. Кто же он?

Старый Петелу и малыш Зиту, целыми днями бегавший по муссекам, утверждали, что никто не знал арестованного в лицо. Полезно было бы встретиться с Зекой, может быть, он знает такого. А если не знает, то спросит у своих земляков. Захваченный этими мыслями, Шику не замечал красоты заката, не видел, как солнце погружается в море, расцвечивая его множеством красок. Между силуэтами пальм виднелся остров Муссулу, точно вырезанный из бумаги, и с острова Собринью к песчаной отмели Коримбы шли лодки, рассекая встречные волны.

Вдруг голос контролера заставил его очнуться. Африканец, судя по всему рабочий, вошел около Балейзана и сел на задней скамье. Кондуктор проворчал что-то насчет его грязных башмаков, но бедняга скромно притулился в своем углу, зажав руки между коленями. И вот теперь внимание Франсиску Жоана было привлечено голосом контролера.

— В другой раз будешь знать! Пошел вон!

— Но я заплатил за билет!

— Заткни глотку. Меня это не интересует. Говорю тебе: такому грязному нечего соваться в автобус!

Рабочий стоял, опустив голову, и отвечал тихо, стараясь не привлекать к себе внимания. Но все пассажиры уже оборачивались, и кто-то даже настаивал, чтобы контролер немедленно выгнал оборванца из автобуса.

— Но я еду на работу, я живу далеко...

— Ладно, замолчи! А то вылетишь прямо на ходу.

Шофер, тоже заметивший происходящее, что-то проворчал себе под нос.

Рабочий — каменщик или маляр — в одежде, покрытой пятнами извести, старался спрятать под скамейку ноги, обутые в старые кеды. Но контролер все-таки выгнал его из автобуса. Две сеньоры были очень довольны. Они сказали даже, что в один прекрасный день приличные люди вообще не смогут войти в автобус из-за этих негров! Только двое пассажиров укоряли контролера: оставили бы вы его в покое, ведь он сидел смирно на задней скамейке...

Шику Жоан часто наблюдал такие сцены. Каждый день, повсюду. Это было в порядке вещей. Но после разговоров с Муссундой он уже не мог спокойно видеть это и слышать — у него возникало желание защитить оскорбленного брата и напасть на обидчика. И сейчас Шику с трудом сдержался — так ему хотелось отплатить за несправедливость, очевидцем которой он стал.

Он повернулся, стараясь не смотреть на двух сеньор, которые многозначительно переглядывались. Шику попытался сосредоточиться на своих мыслях. Он знал, что если заговорит, то дело обязательно кончится дракой, полицейским участком и тяжелой работой на строительстве дороги в продолжении многих дней и недель *. Ведь полицейское правосудие — это правосудие тех, кто приказывает и управляет, и он и его соплеменник наверняка попали бы в тюрьму. А поручение старого Петелу

---

* Автор имеет в виду практикующееся в Анголе наказание: за малейшую провинность, за хождение по улицам без справки об уплате налога африканцев отправляют на принудительные работы на строительство дорог.

должно быть выполнено. Сегодня собственные желания не должны приниматься в расчет. До чего обидно! Как было бы хорошо дать в морду этому контролеру!

Чтобы избежать возможных неприятностей, Шику решил выйти из автобуса на две остановки раньше, чем ему было нужно. Соскакивая с подножки, он услыхал, как сеньоры сказали контролеру:

— А этому кто разрешил сидеть впереди? Негры должны сидеть сзади!

Но Франсиску Жоан даже не взглянул на них.

Волны с шумом набегали на песок, по которому он шел. Возвращаясь из далекого путешествия в Тигровую бухту, в Кикабу, а может быть, даже с севера, они приносили вместе с мутными водами большой реки запахи ангольских берегов. Солнце уже почти утонуло в море, небо на западе превратилось в алое пятно, прорезанное черными силуэтами кокосовых пальм.

На берегу смутно виднелись хижины рыбаков. Оживленно крякали и кудахтали утки и куры, возвращаясь домой с ежедневной прогулки на мусорную кучу. А порою слышалось хрюканье поросенка, бегающего по двору. На пустынном берегу дремали сети, укрытые листьями пальм, и каноэ отдыхали от далеких плаваний, лежа кверху дном под спящими деревьями мафумейры *. Голые ребятишки купали в теплой воде крохотную собачонку и играли с обломками лодки. Женщины раздували огонь в жестяных печурках и жарили рыбу или варили в котелках фасоль. Старые рыбаки, сидя у дверей, курили трубки, переговаривались между собой. Девушки в одеждах, пропахших морем и солнцем, болтали и смеялись. В последние минуты этого спокойного вечера лишь дым от очагов и разноголосый говор поднимались над лежащей на берегу моря санзалой.

Шику пересек асфальтовое шоссе, спустился в овраг, пробрался сквозь заросли травы и, обойдя кругом дворик, тихо подошел к женщине, которая возле двери жарила рыбу. Хотя он принял все меры предосторожности, все-таки песок под его ногами заскрипел. Толстая добродушная женщина повернула голову и, увидев Шику, улыбнулась и обняла его.

— Айюэ, малыш Шику, сколько времени мы не виделись! Сколько времени! А как мать?

— Хорошо, матушка Сесса!

— А ты, Шику?

— Хорошо, как видите! А Мигел здесь?

Матушка Сесса повернулась к двери и позвала:

— Бебиана, Бебиана!

— А, Бебиана тоже здесь? Я думал, что она опять шьет у какой-нибудь сеньоры.

— Нет, милый, на эту неделю она осталась с нами. А Мигел сказал, что идет на рыбную ловлю, но... Этот Мигел, не верю я ему! Похоже, что он отправился в лавку соу Фернанду играть с этим бездельником, сыном старого лодочника.

На пороге появилась Бебиана. Одетая в легкое платье, босая, она стояла, чуть покачивая бедрами. На лукавом лице Шику сверкнула такая улыбка, что матушка Сесса тихонько засмеялась:

— Ах, хитрец!

Бебиана подошла и робко поздоровалась с Шику, который ответил ей с изысканной вежливостью. Но матушка Сесса перебила их:

— Знаешь, Шику, оставайся сегодня поужинать с нами. Мигел, наверно, сейчас у соу Висенти, сходи позови его, Бебиана!

* Мафумейра — дерево с твердой древесиной, из которого африканцы делают лодки.

Но Шику отправился с девушкой. Она шла по песчаному берегу, опустив глаза, и молчала, а Шику по-прежнему улыбался той улыбкой, которая появилась на его лице, когда Бебиана вошла в хижину.

— Теперь ты уже никогда не приходишь, Шику...

— Нет, Бебиана, не говори так. Ты же знаешь...

— Да, знаю. Подруги говорили мне, что теперь ты танцуешь только с Карлотой.

— Неправда! Ты знаешь, что мне нравишься только ты.

— Обманщик!

Шику принял серьезный и даже таинственный вид, чтобы произвести впечатление на девушку, и сказал:

— Ты ведь знаешь, Бебиана, теперь моя жизнь совсем не та, что была раньше. Я больше не бываю на вечеринках. Я занят делом. И если я говорю, что ты мне нравишься, то это действительно так!

— Ай, Шику! Как я могу тебе верить, если все видели тебя с Карлотой и даже с Жоаной?

— Ну, брось! Это старые сплетни! А если ты мне не веришь — спроси брата Мигела! Он знает, Беби, он знает!

Шику с жаром произнес эти слова, а потом схватил девушку за руку, и так они дошли до хижины соу Висенти. У дверей на земле сидел Мигел и разговаривал со слепым стариком.

— Рад видеть тебя, брат Шику! Вот сейчас снова говорил о тебе с дедушкой Висенти. Он ни за что не хочет верить, что ты изменился. Он говорит: нет, хотя эта молва дошла и до Самбы, никто не в силах отучить Шику от вечеринок, не может он не танцевать!

— Но это правда, дедушка Висенти, истинная правда! Теперь я занят делом. Честное слово! И чтобы доказать всем людям, что я образумился, я немедленно женюсь на Бебиане!

Девушка вырвала руку, которую он все еще сжимал в своей, и сказала обиженно:

— Вот как! Ты думаешь, что тебе достаточно захотеть и ты уже женился? А меня ты спросил? А со мной ты говорил? Или я, по-твоему, из тех, кого ты ловишь на танцах, чтобы провести вместе ночку? Нет. До свиданья! — И она с оскорбленным видом ушла по песку, покачивая бедрами.

Шику Кафунданга и Мигел дружно расхохотались, а дедушка Висенти, уставившись слепыми глазами в темноту моря, рассудительно произнес:

— Вот, брат Шику, кто чего заслуживает, тот это и получает. Чтобы заслужить, надо добиться. Вы, мальчики, думаете, что девушка — это тряпка? И вдруг, смотрите пожалуйста!

Продолжая смеяться, оба приятеля попрощались с дедушкой Висенти и направились к дому матушки Сессы.

— Теперь, друг, скажи мне, что произошло?

— Слушай, Мигел, новости такие. Сегодня в полдень мне сказали, что опять привезли арестованного. Как только я смог, сейчас же поехал сообщить тебе.

— Ты знаешь его имя?

— Нет. Никто не знает.

— Каков он с виду?

— Человек, который его видел, указал все приметы. И даже час прибытия машины, и номер, и цвет, и все остальное. Дома я тебе все расскажу.

На берегу моря, между неподвижными лодками, шуршали крабы, убегая из-под ног двух друзей. Запах рыбы, зажаренной с пряностями на печурке матушки Сессы, заставил Шику и Мигела ускорить шаги.

V

Когда в дверь камеры постучали, Домингуш не сразу понял, в чем дело. Он спал глубоким сном, и ему казалось, что человеческий голос доносится откуда-то издалека.

Он продолжал лежать на животе и даже не пошевельнулся. Но настойчивый стук в дверь заставил его повернуться и открыть глаза. Сознание понемногу возвращалось к нему. Он снова почувствовал нестерпимую боль, при малейшем движении пронизывавшую тело.

С большим трудом он встал на колени и лишь потом смог подняться на ноги. Словно тысячи муравьев забегали по онемевшему телу. Повернувшись, он увидел два любопытных глаза на темном морщинистом лице, прижатом к окошечку в двери камеры.

— Завтрак,— повторил разбудивший его голос.

Домингуш снова увидел устремленные на него глаза и руку, протягивавшую алюминиевую кружку. В ней дымилась какая-то жидкость.

Немного оправившись, он сделал движение, чтобы взять эту кружку, но резкая боль ударила в позвоночник, и он покачнулся. Наконец ему все-таки удалось взять из протянутой руки кружку и маленький хлебец. Стукнуло захлопнутое окошечко, лязгнул засов, и Домингуш снова остался один.

Сон принес ему некоторое облегчение. Глаза еще болели, но опухоль спала, а когда он выпрямился, тело заныло не так сильно. Только в руках и ногах оставался отчаянный зуд от застоявшейся крови. И он чесался, раздирая кожу. Спина, разорванная плетью, натертой перцем, меньше горела от прикосновения рубашки...

Домингуш поставил кружку и положил хлебец на каменную плиту. У изголовья стояло ведро. На стенах не было видно нацарапанных имен, в углах не висела паутина, камера была новая. Только от ведра шел омерзительный запах, вызывавший тошноту. Тем не менее Домингуш чувствовал голод. С невероятным трудом он сел, мучительно ощущая боль во всем теле, избитом палматорию. Слезы потекли по его лицу. Только огромным усилием воли он сдержал крик.

Поднеся кружку к губам, он вдруг увидел записку, плававшую в темной жидкости. Сердце его забилось. Там, за стенами тюрьмы, в ветвях растущих поблизости деревьев, пели птицы, и солнце улыбалось в безоблачном небе.

Быстро, как только позволили распухшие пальцы, он развернул маленькую записку, написанную карандашом, и прочел: «Мужайся, товарищ! Не говори ничего. Не знаешь ничего. Мужайся. Тимотеу».

Ах, как прекрасно было узнать, что рядом с ним товарищи! Как прекрасно было почувствовать тепло дружеской руки. Теперь Домингуш знал, что сможет сопротивляться, почувствовал, что сможет выполнить свой долг до конца и не предать товарищей, доверявших ему, не предать родную землю!

Но как попала сюда эта записка? Его привезли только вчера, а сегодня уже записка. Нет, не может быть! «Домингуш, это полиция устроила тебе ловушку. Они ждут, они подсматривают в замочную скважину. Осторожно, Домингуш. Кто разносил еду? Как смог он передать таким образом записку? Полиция знает все, она знает все способы, чтобы заставить тебя говорить, Домингуш. Лучше всего не думать больше о записке. Нужно ее сейчас же уничтожить. Как? Спичек у тебя нет, ведро пустое. Так как же? Если записку действительно, передали тебе в тюрьму друзья и ее найдут у тебя, тогда пытать будут всех...»

Дрожащими пальцами Домингуш разорвал записку на маленькие клочки, засунул их в середину хлебца и быстро стал жевать, запивая еще не остывшим кофе. Тепло пробежало по телу, согрело желудок и грудь.

Голова болела меньше, и все то, что он перенес, казалось уже не таким страшным. Оказывается, умереть легче, чем он думал.

«Но там, за стенами тюрьмы, над зелеными деревьями сияет солнце, и твои братья, Домингуш, с тобой!

Твои друзья знают, что ты в тюрьме, и доверяют тебе. Они послали тебе записку, ободряя тебя. Ты должен выполнить свой долг, Домингуш!

Верьте братья мои, я выполню свой долг! И вчера уже выполнил. Вчера меня мучили в управлении, били ногами, кулаками, палками наши же братья. Вы думаете, это легко вытерпеть? Видеть наших же братьев, которые нас бьют. О, эти сипаи, Жоан и Мандумби... Я много встречал таких. Белые платят им, дают работу, надевают на них свои мундиры, и они становятся важными и начинают верить в свою власть — в то, что могут приказывать, могут получать деньги со своих земляков и не прощать людям, которым нечем заплатить налоги. А многие из них еще хуже, чем этот Мандумби.

Но, братья, мой рот не открылся, мое сердце осталось запертым! Я не выдал тайны моего народа. Очень трудно, братья, выдержать удары плети, натертой перцем. Но я должен был стерпеть все, братья. Я думал, братья, я думал о том, что терпите вы, когда сипаи захватывают вас без документов, думал о том, что терпите вы, работая по контракту, думал обо всем этом, братья...

Тюрьма по сравнению с этим — ничто. Ничто! Вчера, когда меня схватили, никто не пришел меня развязать! Эти люди заставили меня называть мое имя, фамилию, занятие. И потом, такой маленький, который бил меня по лицу, — я не знаю его,— потащил меня в комнату и велел сесть на пол. Там было совсем темно, все мое тело болело, мне казалось, что я умру от этой страшной боли. И что же, братья? После каждого слова — удар по спине. «Где Бернарду Соуза?» — «Не знаю».— «Бей негодяя! Где Соузинья?» — «Не знаю».—«Бей негодяя!» И так все время, братья. Мне отбили почки, кровь моя забрызгала всю комнату. Они хотели узнать, кто был белый друг Соузы. Спрашивали про Тимотеу, говорили, что я должен сказать все, что нечего хитрить. И каждый раз, когда начальник, худой, в очках, что-то говорил, меня били по лицу. Столько раз, что я потерял сознание.

Потом меня привели в чувство ведром воды и ударами. Но я ничего не сказал! Домингуш не предал своих братьев. Наконец я не мог уже понять, день это или ночь. Меня развязали и топтали ногами. Я больше ничего не помню, братья. Они хотели только одного: чтобы я сказал, чего я не знаю, то, чего я не хотел сказать.

Они все время спрашивали меня: кто этот белый? Кто этот белый? Потом яркий свет ударил мне в лицо, ослепил, обжег. Но я ничего не сказал, нет, братья! Брат Тимотеу, поверь, я был мужественным!»

Домингуш снова лег на живот и стал ждать. Солнце поднялось уже высоко, деревья шелестели, издали доносились веселые крики играющих мальчишек. В камере царила тишина. Время текло медленно. В ногах, в руках, во всем избитом теле не прекращалась колющая боль.

Домингуш вздрогнул: засов в двери внезапно отодвинулся, ключ повернулся в замочной скважине, и в широко распахнувшуюся дверь ворвался яркий свет. Несколько секунд у него перед глазами маячило только какое-то темное пятно. Мало-помалу он привык к свету. Перед ним стоял сутулый и большеголовый начальник полиции. Он только что побрился и ласково улыбался. Глаза за стеклами очков в тонкой оправе смотрели приветливо.

— Добрый день. Хорошо ли выспался? Ну, идем, приятель. Идем со мной отсюда.

Домингуш с трудом приподнялся, удивляясь такой перемене. Сегодня ночью начальник был такой свирепый, а теперь он так любезен...

Постарался встать. С трудом вышел в коридор, но сейчас же прислонился к стене. Яркий свет солнца, отраженный белыми стенами тюрьмы, нестерпимо резал глаза. Он заслонил их искалеченными руками, но сипай бережно поддержал его и повел дальше.

В комнате — в той же самой или другой, кто знает? — все было вымыто и прибрано.

— Ах, тебе неприятен свет? — начальник поспешил закрыть ставни и, подойдя к двери, крикнул: — Перейра да Гунья!

Полицейский, высокий и худой, с лицом, изрытым оспой, немедленно явился на зов.

— Послушаем, что он скажет сегодня. Принеси машинку.

Когда полицейский вышел, начальник сел и продолжал ласково беседовать с Домингушем:

— Не бойся, никто тебе не сделает зла. Ты только ответишь на несколько вопросов и подпишешь бумагу. Ведь ты умеешь писать? А потом сразу будешь свободен. Там около тюрьмы тебя ждет жена.

Домингуш сжал кулаки, пытаясь понять, что кроется за ласковыми словами полицейского. Невероятно, чтобы Мария была здесь, в городе. Его привезли только сегодня утром, как же она могла узнать?

Высокий полицейский с лицом, изрытым оспой, вернулся, неся пишущую машинку. Сипай втащил вслед за ним маленький стол. Когда все было приготовлено, полицейский сел за машинку и начал что-то печатать на голубой бумаге.

Начальник поднялся, встал около Домингуша и заговорил спокойно и медленно, стараясь, чтобы его слова звучали искренне:

— Никто тебе не сделает зла. Ты только ответишь на несколько вопросов. Ты думаешь, что мы ничего не знаем? Но полиции известно все, поэтому лучше брось хитрить. Мы знаем, что ты славный парень, рабочий, хороший тракторист. Твои хозяева тебя ждут. Сейчас мы позвоним им по телефону, что отпустили тебя. Все остальное теперь от тебя зависит. Понял?

Домингуш кивнул, и начальник сел, играя ножом для разрезания бумаги.

— Теперь скажи: ты знаешь Бернарду Соузу?

— Не знаю.

— Смотри-ка, плохо начинаешь, парень, плохо. Все говорят, что ты его знаешь. А твой друг Тимотеу, знаешь, кто он такой?

— Не знаю.

— А твой друг Фернанду?

— Я говорю: не знаю!

— Мне это надоело. Мы знаем все, поэтому лучше говори. Ты прекрасно знаешь Бернарду Соузу. И знаешь, кто тот белый, от которого он получает распоряжения.

Домингуш насторожился, стараясь разгадать ход мыслей полицейского, и ничего не ответил.

— Отвечай! — заорал сидевший у него за спиной полицейский.

— Спокойно, Перейра. Он будет говорить. Он просто утомлен и перепуган и сейчас пытается вспомнить все. Эй, слуга! — открыв дверь, крикнул начальник, и сипай вбежал в комнату, скрипя начищенными сапогами.

— Звали, господин начальник?

— Принеси бутылку черного пива и два бутерброда с ветчиной. Возьми денег у сеньора Оливейры.

Сипай бросился исполнять приказание. Начальник подошел к Домингушу и, покачивая головой, сказал:

— Плохо ведешь себя, парень, плохо. Я даю тебе возможность уйти домой к твоей семье. Кто этот белый?

— Я не знаю никакого белого.

— Смотри, Домингуш, ведь Фернанду уже во всем признался.

— Я не знаю никакого Фернанду.

Начальник в ответ только расхохотался и вышел в коридор. Высокий полицейский, сидевший за машинкой, проворчал:

— Начальник сегодня в хорошем настроении, парень. Ты бы воспользовался этим. В другой раз он побил бы тебя, как собаку. Слышишь ты, негр?

Домингуш вздрогнул, услышав, какая ненависть звучит в голосе полицейского. На лбу у него выступил холодный пот: он вспомнил, что именно этот полицейский с лицом, изрытым оспой, бил его прошлой ночью по спине.

Начальник вернулся через несколько минут в сопровождении низкорослого и широкоплечего парня. Домингуш взглянул на него и сразу узнал отбойщика, который, по словам Соузы, работал в полиции. Уже один вид этого здоровяка в хорошо отглаженной рубашке казался издевательством над измученным трактористом.

— Ну, ты не знаешь его?

— Знаю, господин начальник. Это он знаком с белым. Все в санзале так говорят. Он знает и Соузу.

— Ну, вот видишь! А я все хочу тебя выручить, парень... Кто этот белый?

Домингуш ничего не ответил. Он только сурово посмотрел на Фернанду. И отбойщик не выдержал этого взгляда. Он опустил глаза. Домингуш плюнул на пол около самых его ног. Лицо начальника искривилось, а полицейский вскочил...

— Спокойно, Перейра да Гунья.

Отойдя от Домингуша, начальник взмахнул ножом для разрезания бумаги и, опустившись на стул, спросил:

— И все-таки ты не знаешь, кто этот белый? Смотри, парень, подумай. Твоя жена тебя ждет, а ты не хочешь говорить.

Тут в комнату вошел сипай. Он принес пиво и два бутерброда и поставил все на стол. Начальник снял очки в тонкой оправе, аккуратно протер стекла и, указывая на Фернанду, распорядился:

— Сипай, можешь отвести этого в камеру. А жене вот этого, которая ждет там во дворе, скажи, что она может убираться: ее муж никогда больше не выйдет из тюрьмы.

Домингуш хотел броситься к двери, выбежать во двор и крикнуть Марии, что он жив, чтобы она не говорила ничего, даже если его убьют, но, по нерешительности сипая, он вдруг разгадал маневр начальника полиции и улыбнулся. Фернанду, опустив глаза, пошел вслед за сипаем. В дверях он на мгновенье задержался, услыхав, как начальник сказал трактористу:

— Ешь, парень. Возьми стакан. Другой будет для меня.

Начальник медленно стал наливать пиво из бутылки, сначала в один стакан, потом во второй. Белая пена перелилась через край. Тракторист начал есть, сначала медленно, потом торопливо глотая куски. Мысли путались в его голове. А что, если Мария действительно ждет его там? Нет, не может быть.

И Домингуш не понял даже, как случилось, что он очутился на полу. Жестокий удар кулаком по сигналу начальника сбил его с ног в тот момент, когда он сделал первый глоток. Стакан разрезал ему губы. Жидкость залила глаза, на мгновенье ослепив. Инстинктивно избегая ударов, он скрючился на полу. Полицейский, с лицом, изрытым оспой, бил его кулаками. В промежутках между ударами Домингуш слышал только

тяжелое дыхание полицейского и визгливый, раздраженный голос начальника:

— Негодяй! Вздумал воспользоваться моим пивом и бутербродами! Связать его! Связать! Не хотел говорить — теперь заговорит! Сипай!

Вбежал перепуганный сипай и вытянулся перед начальником. Полицейский, устав, тяжело дышал, Домингуш стонал, извиваясь на залитом кровью полу.

— Тащи его в камеру. Ни пить, ни есть, пока не заговорит. Слышишь?

Схватив тракториста под мышки, сипай потащил его по коридору во двор. Здесь он оставил его лежать на земле, а сам побежал к начальнику за ключами.

Домингуш стонал и корчился от боли, пронизывавшей спину и живот. Он закрыл глаза, не выдержав ослепительного света солнца. Но все-таки успел увидеть в небе, на фоне серых облаков, бумажных змеев с тряпичными хвостами, любимую забаву всех мальчишек из муссеков. Он улыбнулся. Жизнь там, снаружи, за стенами тюрьмы, продолжается. Он не предал свой народ. И с этой мыслью он снова погрузился в забытье. Сон овладел им, излечивая от жестокой боли. Вернулся сипай с ключами и поволок Домингуша в камеру.

Когда дверь камеры закрылась, из распухших глаз тракториста полились слезы радости. Он устоял еще раз. Его разбитые, кровоточащие губы касались холодного цементного пола... И словно во сне, ограждая его от боли и тошнотворного запаха ведра, вновь появились бумажные змеи, любимая забава мальчишек из муссеков.

Они взвились высоко в синее небо, как во времена детства, там, на берегу Кванзы, когда он состязался с мальчишкой Антонинью, сыном господина инженера. А тот делал такие красивые воздушные шары из бумаги — из шелковистой бумаги, которую отец привозил ему из Луанды. Но бедняжка! Чтобы шар его взлетел, ему приходилось просить малыша Мингу приделать к шару хвост из грязной тряпки. Мальчишка Антонинью был счастлив. А мальчишка Домингуш сделал совсем немного, пустяк: шар с хвостом, шар без единой морщинки, какого никто никогда не видал! Никогда!

VI

День, рождение которого наблюдала Мария, стоя у двери хижины, в то время как все ее друзья спали, надолго остался в памяти муссека. Над вершиной холма за Лишейрой поднялось солнце — желтое и горячее. На голубом небе не видно было ни тучки, и с самого раннего утра над городом нависла удушливая жара. Не чувствовалось даже облегчающего дуновения морского бриза.

Акации у края дороги были усыпаны ярко-красными цветами. На немощеных улицах, спускавшихся в Нижний город, еще почти никого не было видно. Только оттуда, из-за Лишейры, из-за Куки, шли люди, которым нужно было попасть на работу очень рано.

В квартале Самбизанга уже болтали женщины, растапливая печурки, чтобы подогреть сильно разбавленной водой кофе и хлеб с колбасой. Все это продавалось прямо у дороги.

Пока соу Кардозу собирался на работу, Мария помогла Тэте приготовить для всех завтрак и сходила за водой. Потом, когда старый друг ушел и мальчишки убежали со своими приятелями, Мария покормила Себастьяна и собралась идти в участок навести справки о муже.

Ею овладело какое-то странное спокойствие. Может быть, так подействовала на нее встреча со старыми друзьями и прекрасный солнечный

день. Мария не знала. Но в душе у нее росла уверенность, что Домингуш здоров, что она его скоро увидит, что все кончится благополучно и они вместе вернутся на автобусе домой.

Тэте попросила соседского мальчишку пойти позвать одного из ее сыновей. Он, наверно, играет в овраге по ту сторону улицы. Когда сынишка прибежал, Тэте сначала накричала на него, а потом сказала:

— Жоазинью, проводи-ка дону Марию, покажи ей, где полицейский участок муссеков, ладно?

Мария ласково улыбнулась мальчику и, оставив Себастьяна на попечение подруги, отправилась в путь.

Было почти десять часов. Солнце жгло немилосердно. Жоазинью старательно перепрыгивал через осколки стекла и колючки, но к горячему песку его босые подошвы давно привыкли. Ветки мулемб неподвижно повисли, листья не шелестели, и мальчишки с бумажными змеями в руках напрасно ожидали порыва ветра.

Мария шла вдоль сточной канавы, прорезавшей муссек, и думала о том, как тесно здесь живут люди. Домишки лепились один к другому, и в каждом жило несколько семей. Голые сопливые ребятишки со вздутыми животами копались в песке или сидели неподвижно, уставившись в одну точку большими глазами. И когда сынишка Тэте показал пальцем на дом, стоявший на другой стороне улицы, у подножия баобаба, Мария сказала ему:

— Теперь возвращайся домой, сынок. Мама тебя ждет.

Жоазинью кивнул и, пустившись бегом, мгновенно скрылся за домишками муссека.

Оставшись одна, Мария почувствовала себя менее уверенно. Пока она шла рядом с мальчиком, наблюдая жизнь вокруг, она не задумывалась над тем, что ей предстоит. Теперь ей оставалось сделать лишь несколько шагов, перейти песчаную дорогу — и на той стороне был полицейский участок муссеков... Приближаясь к нему, она вдруг ощутила страх. А что, если какой-нибудь чиновник, одетый в белую форму, разрушит ее надежды?

Около участка было очень много народу. Люди в длинных очередях терпеливо ждали: одним нужно было выпросить пропуск, другим — заплатить налоги, показать фотографии, удостоверяющие личность тех, кто был арестован просто так, наугад. Мария шла медленно, по спине ее сбегали струйки пота.

Жара все усиливалась, и желтое солнце по-прежнему сияло в безоблачном небе. Обойдя дом, она вошла во двор. Там толпились женщины: прачки, работавшие в Нижнем городе, в домах у белых, нередко попадали в полицию. Мария остановилась в тени баобаба, глядя на длинные вереницы людей, на множество дверей и окон, не зная, куда направиться. На лестнице, в тени буганвилий, развалились ленивые сипаи.

Наконец Мария решилась подойти к молодой женщине, одетой в городское платье. Она кормила ребенка.

— Скажи, куда надо идти, чтобы поговорить с господином администратором?

Женщина испуганно взглянула на нее, а потом, заметив, что Мария одета так, как одеваются женщины из санзал, показала на дом, стоявший напротив:

— Вон там. Но, чтобы с ним поговорить, тебе придется долго ждать. Ты не из Луанды?

Мария отрицательно покачала головой, поблагодарила и через пустой песчаный двор направилась к дому.

В молодой листве баобаба пели пиррулы, предвещая дождь, и Мария, услышав это, посмотрела на небо. Голубое-голубое небо — такого

чистого неба она давно не видела. Ни облаков, ни ветра — только солнце и удушливая жара. Ручьи пота струились по телу Марии, а пиррулы пели, не переставая, и над вереницей людей, стоявших в очереди за документами, тучами вились надоедливые мухи.

Перед домом администратора была веранда, и это делало его похожим на загородную виллу. У входа сидел сипай, а внутри, через открытые окна, Мария увидела людей в белых мундирах. Они что-то записывали в толстые книги и стучали на машинках.

Сипай поднял голову, услышав приветствие Марии.

— Я хочу поговорить с господином администратором.

— Господина администратора нет. А если и будет, то он не станет с тобой разговаривать!

Мария сняла с головы пеструю ткань и, тяжело дыша, стала ею обмахиваться. Жара с приближением полдня становилась невыносимой. Высунув язык, пробежала облезлая собака. Сипай снова погрузился в дремоту и вздрогнул от неожиданности, когда Мария опять обратилась к нему.

— Но если его нет, с кем я могу поговорить?

— Если хочешь, я могу позвать господина секретаря.

— Айюэ, спасибо! Большое спасибо. Мне очень нужно с ним поговорить.

Лениво поднявшись, сипай подтянул штаны и вошел в дом. Мария, уже привыкнув к ожиданию, села на ступеньки цементной лестницы. По ту сторону двора вереницы людей становились все длиннее. Подходили новые просители, а машины и грузовики то и дело подвозили арестованных.

Поднялся еле заметный ветер, и между домами пробежал горячий воздух. Над песчаным двором взвилась пыль. На мгновенье повеяло каким-то подобием прохлады. Мария думала о муже, стараясь представить себе, где он теперь. А может быть, Домингуш уже едет в санзалу, на той же машине, которая его увезла. И господин аспирант извиняется перед ним за ошибку.

Голос сипая вернул ее к действительности:

— Господин секретарь сказал, что сейчас выйдет.

— Ох, неужели он сам?

В дверях появился секретарь, толстый и низенький, в рубашке, расстегнутой до самого живота. Увидав Марию рядом с сипаем, он направился к ней.

— Это ты хотела со мной говорить?

— Да, господин секретарь. Я пришла искать своего мужа.

— А кто твой муж?

— Домингуш. Домингуш Шавиер. Он работает трактористом на строительстве плотины возле Донду.

Услышав это, секретарь с любопытством посмотрел на Марию и решил выслушать ее внимательно. Много раз в этом дворе он выслушивал разные просьбы о разных арестованных. Но тут заключенных никогда не держали. Господин секретарь предпочитал только взглянуть на них и допросить. Бывали случаи, доставлявшие ему множество неприятностей. Хотя до сих пор он имел дело с людьми, арестованными за самые обычные преступления: с ворами, с мелкими жуликами, с убийцами. Но в большинстве своем это были просто невинные люди, которых полагалось наказать просто так, для острастки. Арестованных по политическому обвинению ему еще не приходилось видеть. Поэтому он спросил:

— А кто арестовал твоего мужа?

— Его взяли сначала в управление нашего поселка, а потом сипаи мне сказали, что его увезли в Луанду. Господин аспирант сам увез его на синей машине.

Оставив Марию с сипаем, секретарь вернулся к себе в кабинет. Покопавшись в бумагах и расспросив делопроизводителей, он застегнул пуговицы на рубашке и снова медленно вышел на веранду.

— Знаешь, женщина, сюда его не привозили. Я проверил. Ты говоришь, его зовут Домингуш?

— Да, господин секретарь. Домингуш Шавиер.

— Нет, женщина, под этим именем в наших тюрьмах никто не числится. А ты знаешь, где участок Нижнего города?

— Нет, не знаю. Я не была в Луанде двенадцать лет. Сегодня первый раз я вернулась сюда.

— Ну, расспроси кого-нибудь из своих. Твой муж должен быть там. Иди туда. Он, наверно, там.

Секретарь повернулся к ней спиной и возвратился в дом. Сипай стал объяснять Марии, где находится участок Нижнего города. Но Мария ничего не слышала. Уверенность, которая родилась в ее сердце сегодня утром, после слов секретаря исчезла.

Как найдет она своего мужа в этом огромном городе, ничего и никого не зная? Где страдает сейчас Домингуш, ничего не зная о Марии, ничего не зная ни о ком? Да, Мария больше не верила, что сумеет его отыскать. И в голове ее проносились мрачные мысли — как неслись по небу плотные белые облака. Ветер дул с юга, тучи громоздились одна на другую и надвигались на город, неся дождь. Пируллы кричали в ветвях баобаба около полицейского участка муссеков.

Ослабев от жары, вся покрытая красной пылью, которая клубилась над дорогой, Мария шла знакомым путем к дому друзей.

И если бы не рассудительная и опытная Тэте, которую Мария уважала, как родную мать, она осталась бы сегодня вечером у них дома, на циновке, рядом с Себастьяном, и ни за что бы не пошла опять в участок. Утренний разговор с секретарем разрушил все ее надежды, и ей казалось, что больше ничего не стоит предпринимать. Лучше всего просто ждать! Бог поможет ее мужу. А если бог не захочет помочь, разве она сможет найти Домингуша в таком большом городе?

На Марию нагоняла тоску тяжелая, нависшая над городом жара и горячий ветер, поднявшийся во второй половине дня. Взметая вверх опавшие листья, бумажки и песок муссеков, дул этот ветер, и солнце время от времени скрывалось за тучами. Они неслись на северо-восток и становились все темнее.

Но Тэте умела уговаривать. Она хорошо знала жизнь муссеков Луанды. На своем собственном горьком опыте женщины из народа, женщины из муссеков, она убедилась, что в ход всегда нужно пускать все средства. Иначе, девочка моя, как могли бы мы жить? Столько детей,— кто умер, кто неизвестно где. Кардозу уже состарился, а двое мальчишек еще растут. Нужно быть мужественной! Раз Домингуша нет в полицейском участке муссеков, значит, он в городской полиции. А если его и там не окажется, вот тогда, девочка, будет плохо. Есть еще только одна, Новая тюрьма. Те, кто работают там, не носят мундиров. Ночью они выезжают на своем джипе и забирают людей всегда только поодиночке. В эту тюрьму попали уже многие. Но, по всей вероятности, Домингуш находится в городской тюрьме, тюрьме администрации округа. Если из округа привозят людей в Луанду, так только в эту тюрьму.

Тут Жоазинью забежал домой, чтобы поесть, а затем Тэте велела ему надеть башмаки и собираться в дорогу. И вот Мария снова вышла в сопровождении мальчика на асфальтовое шоссе, обсаженное акациями.

Ох уж этот Жоазинью! Разбитной городской мальчишка! Он болтал без умолку, рассказывая Марии, как однажды прокатился на автобусе, не заплатив за билет, что ему очень понравилось. Поджидая автобус, Жоазинью болтал, а Мария смотрела на видневшийся внизу залив, на

большие пароходы, на волны, которые из голубых постепенно становились серыми. Солнце спряталось за быстро несущимися тучами. Темные и грозные, они нависли над всем городом и над морем. Постепенно сгущался мрак.

Прохожие беспокойно посматривали на небо, прорезаемое вспышками молнии. Глухие раскаты грома доносились откуда-то издалека, от самого Какуаку. Мария подумала о дожде. По запаху она чувствовала, что дождь обязательно будет, бескрайние поля плоскогорья скроются за стеной воды. Дождь затопит все. Но зато потом как хорошо будут расти трава, маис, массанга и массамбала*. Она почему-то никак не могла представить себе, что дождь может намочить асфальт. Ей казалось, что здесь, в Луанде, весь дождь прольется в море или на улицы муссеков. Его капли не могут упасть туда, где высятся красивые дома белых, где зеленеют их сады.

И, продолжая думать об этом уже в автобусе, она опять вспоминала Домингуша. Маленький Жоан сидел рядом с ней очень прямо и чинно, зажав в руке два билета, совсем не похожий на мальчишку из муссека (Мария все же решила ехать, несмотря на приближение дождя).

Как могут жить люди в таких высоких домах под черепичными крышами! Ведь в таких домах им, наверно, не слышно, как постепенно начинается дождь, как танцуют на крыше капли, все быстрее, все громче, и как наконец дождь принимается стучать изо всех сил. Как-то раз в поселке, когда Мария убирала дом одного из инженеров, хлынул ливень, а Мария этого даже не заметила. Только когда вышла из дома, увидела, что все кругом мокрое. Она очень жалела. Ей всегда нравилось стоять у двери и смотреть, как идет дождь, стоять, открыв рот, насквозь пропитываясь влагой, как в детстве, когда она была совсем маленькой.

Автобус остановился на площади Мутамбы. Жоан взял Марию за руку и повел ее среди потока машин и людей. Так вот она какая, Луанда! Даже если бы собрать всех, кто работает на постройке плотины, и всех, кто живет в поселке, они не могли бы заполнить эти улицы.

Ты, мальчик, говоришь, что это площадь Мутамбы? Но этого не может быть! Ведь она ходила здесь, правда, когда еще была совсем маленькой, но она все прекрасно помнит. Она была здесь со своими друзьями. Тогда она спустилась пешком из Ингомботу сюда, на Кокейру. А где же сад, и статуя какого-то человека, и большие мулембы? Нет, мальчик, извини, это вовсе не площадь Мутамбы. Площадь Мутамбы где-нибудь совсем в другом месте.

Жоазинью возражал, уверенный в своей правоте, но Мария не соглашалась.

Вдруг она заметила здание полицейского участка. Быстро поднявшись по ступенькам, она открыла дверь. Храбро вошла и посмотрела по сторонам.

К ней подошел часовой:

— Что тебе здесь нужно?

— Я пришла узнать, не здесь ли мой муж?

— А кто такой твой муж?

Жоазинью не спускал глаз с полицейского — с любопытством рассматривал висевшую у него на боку кожаную кобуру с револьвером. Мария объяснила часовому, кто она, что делает тут и откуда забрали ее мужа. Выведенный из терпения ее словоохотливостью, часовой сердито велел ей замолчать, сесть на скамейку вместе с Жоазинью и ждать.

Снаружи доносилось завыванье ветра. Он раскачивал ветви деревьев и сметал все с улиц. Прохожие бежали, спеша укрыться от дождя.

---

* Массанга и массамбала — злаковые растения. Зерно их идет в основном для корма птиц и скота.

Над их головами нависли черные тучи. Все чаще и чаще гремел гром, и длинные лезвия молний прорезали мрак. Над муссеком, наверно, уже бушевала гроза. Мария прислушивалась к тому, что происходило на улице. Ей очень хотелось пойти посмотреть, как бегут люди, как ветер ускоряет их бег по асфальтированным улицам.

Часовой вернулся в сопровождении писаря.

— Послушай, здесь нет никого под таким именем. Но если он со строительства плотины, то, вероятно, попал в другую тюрьму.

Мария нетерпеливо сказала, что ее послал сюда господин секретарь полицейского участка муссеков — он сказал, что ее муж должен быть здесь. Пусть посмотрит хорошенько.

Писарь засмеялся и ответил:

— Его здесь нет. Для чего нам говорить неправду? Завтра утром иди в Старый город, а лучше всего в Новую тюрьму. Знаешь, где она?

Часовой подробно объяснил, где она должна искать Домингуша, а когда Мария, совсем упав духом, сказала, что поняла, он рявкнул:

— Ладно. Теперь можешь убираться.

Дождь уже начался. Крупные капли медленно и тяжело шлепались на асфальт. На несколько минут гром утих, ветер смирил свое бешенство, и Мария с мальчиком побежали на остановку автобуса. Улицы были пустынны. Все укрылись в домах, надеясь, что ливень не будет долгим.

Когда они уже почти добежали до остановки, черное небо сверху донизу расколола молния, озарив зловещим белым светом потемневший город. От раздавшегося через мгновенье удара грома задрожали все стекла. Это было сигналом.

Из низких туч сплошной стеной хлынул ливень — в двух шагах ничего не было видно. Асфальтовые улицы превратились в бурные реки. Еще через несколько минут вода на улицах покраснела. Значит, ливень смывает песок из муссеков и несет его вниз.

Мария и Жоан спрятались в подворотне большого дома на площади Мутамбы и оттуда наблюдали, как над городом неистовствовала гроза.

Неужели это возможно? Мария с изумлением смотрела на город, залитый водой. Дождь был такой же, как там, в поселке, на плоскогорье, но здесь не было песка, не было земли, которая могла бы выпить воду. Здесь по асфальту двигались машины, и вода бурлила под их колесами. Бушевал ливень, сверкали молнии, гром сотрясал стекла. А там наверху, в муссеках, люди, запершись в убогих домишках из глины и тростника, в лачугах, покрытых старой жестью, смотрели, как расползается глина, как вода уносит сорванные крыши и стены грозят обрушиться на обитателей, мокрых, скорчившихся от страха в углу.

Красная вода переполнила улицы. Молнии отражались в блестящих крышах и наносили смертельные раны стволам старых мулемб. Потом, когда ливень стал утихать, а по улицам все еще неслись бурные реки, подул сильный ветер. Он погнал воду к морю, по дороге срывая крыши, ломая деревья и ветки и сбивая с ног детей, которые уже забавлялись, пуская по улицам кораблики.

И Жоазинью, ожидавший окончания ливня, стоя в подворотне большого дома на площади Мутамбы, думал о том, как хорошо было бы пустить кораблик по этой реке, текущей так близко от него. Кораблик с утиным пером вместо паруса...

Ливень продолжался всего двадцать минут и кончился так же внезапно, как начался. По небу, подгоняемые ветром, все еще неслись в сумасшедшем беге черные тучи. Но кое-где уже проглядывала промытая грозой лазурь. По заливу расплылись широкие красные пятна от потоков, размывших муссеки. В Нижнем городе по некоторым улицам невозможно было проехать — в них нанесло столько песка, что ни одна машина не могла пробиться через него.

Утренние газеты поместили подробные описания разрушений и фотографии. Были напечатаны изображения города, затопленного водой, вырванные деревья, искалеченные автомобили и горы песка, нанесенного в таком количестве, что для расчистки улиц понадобились бульдозеры...

Но ни в одной газете не было сказано ни слова ни о мальчике, утонувшем в потоке, ни о молнии, которая убила ребенка, укрывшегося под мулембой. О разрушенных домишках в муссеках, об их обитателях, оставшихся без крова или погребенных под обломками, газеты молчали. Только жители этих муссеков знали об этом и оплакивали своих братьев. А на следующий день друзья и знакомые уже помогали ставить эти хижины, приносили материалы для починки, давали деньги в долг, чтобы похоронить детей, люди упрямо продолжали жить.

VII

С вершины холма Кванза напоминала красные потоки, хлынувшие в город во время грозы. До Мигела доносились голоса женщин, которые внизу, на камнях, стирали белье. По другую сторону холма, где когда-то проходило русло, как муравьи копошились люди, воздвигая преграды из железа и цемента против сил могучей реки. Подъемные краны протягивали в воздухе свои металлические лапы.

Некоторое время Мигел стоял, с любопытством разглядывая, как строят плотину. Двигались люди, дымили машины, рычали грузовики, подвозя щебень и бетон. По галереям, из недр холма, трактора вытаскивали глыбы камня.

Затем Мигел направился к реке по узкой тропинке, протоптанной ногами женщин.

Сегодня ему повезло. Он приехал утром на попутном грузовике с Араужу, шофером, постоянно возившим бататы на плоскогорье Уамбы. Они выехали из Луанды на рассвете, плотно позавтракали в Зензе и доехали без всяких приключений почти до самого Донду. Под Донду дорога была размыта, но все же около десяти часов утра он уже мог попрощаться с Араужу, пожелав ему счастливого пути. Теперь Мигел стоял на перекрестке перед рабочим поселком. Миновав заросли высокой травы, он направился к хижинам.

■

В тот вечер, когда Шику сообщил ему о неизвестном арестованном, Мигел, поужинав, оставил друга на берегу беседовать с Бебианой, а сам отправился в путь. От Самбы до Рабочего квартала было далеко, но Мигела это не пугало. Он привык много ходить и постоянно наведывался в муссеки. Правда, он опасался встреч с сипаями и солдатами, потому что у него не было удостоверения личности и квитанции об уплате налога, которые всегда полагалось иметь при себе. Но он давно научился избегать подобных встреч. Он знал все укромные проулки и тропинки, по которым можно было добраться до дома Муссунды. И днем, и вечером, и ночью он тихонько насвистывал, вступая на узкую дорожку, ведущую туда.

Это была плетеная, обмазанная глиной хижина, выкрашенная в розовый цвет. Внизу стены были черные, но, даже если к ним прислониться, краска не пачкала. Большая, выходящая во двор комната служила мастерской. Здесь обычно два ученика сметывали скроенные вещи, выдергивали наметку, распарывали швы и делали разную другую работу, не требующую особого искусства. Кроил всегда сам Муссунда, а если он отсутствовал, то его лучший помощник, Жоан Роза.

Муссунда жил один. Жена его давно умерла, и с тех пор никто не видел его в обществе женщин.

— Такой жены я не найду больше никогда! — часто говорил Муссунда.

И не собирался жениться. А спать с горбуном, хоть он и был умнее многих других мужчин, ни одна женщина не соглашалась.

Слава о портном Муссунде распространилась по всем муссекам. Любители танцев из Рангела, из Пренды и даже из Боавишты приходили сюда заказывать узкие брючки — сшить новые или сузить старые. С некоторого времени Жоан Роза тоже начал кроить и делать всю работу, но клиенты продолжали верить, что их заказы выполняет сам Муссунда. Поэтому у мастера оставалось много времени для разговоров. А он любил посидеть за бутылочкой с друзьями, которые его не забывали.

Подойдя к двери, Мигел услыхал внутри тихие голоса. Он постучал. Через некоторое время раздался спокойный голос Муссунды:

— Кто там?

— Это я, Мигел.

Дверь открылась, и Муссунда обнял друга, которого он не видел уже несколько дней. Затем портной втянул Мигела за руку в мастерскую, где на крышке швейной машины был устроен письменный стол. На ней были разбросаны книги и тетради. Двое юношей с удивлением смотрели на Муссунду и Мигела.

— Познакомьтесь — это наш друг. А это — студенты.

Юноши сложили тетради и книги и собрались уходить. Муссунда проводил их до двери. Мигел уселся и с удовольствием обвел взглядом эту знакомую и любимую комнату.

Портной придвинул стул поближе и, похлопывая Мигела по спине, со своей обычной улыбкой начал расспрашивать.

— Итак, брат, что случилось?

— Очень печальные новости, друг Муссунда.

В тишине и уединении этой скромной комнаты Мигел передал портному сообщение Шику, не упустив ни одной подробности, рассказанной другом: арестованный — человек высокий и худой, даже очень худой, молодой, был увезен на рассвете в синей машине, которую вел аспирант; машина вся была покрыта пылью.

Мигел рассказывал и описывал этого человека, а Муссунда сидел в своей обычной позе, опустив голову на руки, положенные на крышку машины. Мигел умолк, а Муссунда еще долго что-то обдумывал. Наконец он сказал:

— Мигел, придется тебе выполнить одно поручение. Больше его никому нельзя доверить.

По спине Мигела пробежала дрожь, но он постарался сразу взять себя в руки. Портной пристально смотрел на него маленькими живыми глазками. Да, Мигел уже много раз выполнял такие поручения, много раз смотрел опасности в лицо. Но, получая новое задание, он всегда чувствовал страх. И страх этот исчезал, только когда поручение было уже выполнено. А до тех пор именно страх сдерживал его напряженные нервы и давал ему спокойствие, удивлявшее товарищей.

Портной подробно объяснил, что Мигелу надлежит сделать. Муссунда, не скрывая, говорил об опасности, связанной с тем, что полиция как раз выслеживает человека, которого он должен найти. Сказав все, он велел Мигелу повторить задание. И, когда Мигел, не забыв ничего и ничего не перепутав, закончил, Муссунда вздохнул с облегчением, встал и достал с полки, из-за кусков габардина, два стакана и бутыл-

ку. Это было хорошее китото *, совсем не сладкое. Кто-то из друзей принес его Муссунде в знак благодарности.

Они пили и разговаривали об арестованных друзьях, о том, что студентов надо вовлечь в их движение, обо всех трудностях, стоящих перед клубом, которые сейчас, из-за волны арестов, невозможно было разрешить. А когда Мигел уже собрался уходить, Муссунда воскликнул:

— Да, я забыл тебе сказать! Как только вернешься, приходи сюда. В субботу ночью мы устраиваем праздник. Соберется вся наша компания, придут музыканты из «Нголы»...** Хоть и меньше нас стало, но люди будут. Поговорим, вот почему я хочу, чтобы ты пришел.

Мигел был очень доволен и польщен. Сегодня четверг, до субботы остается два дня. Он вышел из дома Муссунды около полуночи — надо было идти к Араужу, который уезжал на рассвете.

— Да, я уверен, что он оттуда, со строительства плотины. Но высокий и худой — не знаю. Будь он худой и невысокий, я был бы уверен, что это Соузинья. Теперь иди и возвращайся, узнав все, что нужно.

Мигел почувствовал на своем плече сильную руку горбуна, маленькие глаза пристально смотрели на него. Невозможно ответить «нет» портному Муссунде. Второго такого человека нет на свете! Всю дорогу до дома Араужу Мигел раздумывал о товарищах, которых знал. И в душе у него не оставалось сомнения в том, что Муссунда — самый лучший из них.

■

Увидев Мигела, две женщины, купавшиеся в реке, бросились к своей одежде. Когда молодой человек приблизился к ним, они все еще продолжали смеяться, прикрывая лица руками.

Здесь, рядом с большими камнями, течение Кванзы было очень быстрым. Но узкий рукав реки образовал выше камней заводь, где женщины обычно стирали белье. Мигел шел медленно, внимательно вглядываясь в женщин, стараясь угадать ту, которая была ему нужна. Девушки украдкой поглядывали на парня, посмеивались и шептались. Ясно было, что он не здешний. В это время все мужчины на работе, а те, что работали в ночную смену, отдыхают сейчас дома, в санзале.

Мигел подошел к самому краю теплой заводи и, вежливо поздоровавшись, спросил:

— Нет ли здесь сеньоры Жозефы Жоан? Мне надо с ней поговорить.

Среди женщин пронесся смех, и одна из них громко крикнула, глядя на другую сторону лагуны:

— Са *** Зефа! Са Зефа! Иди сюда!

Старая женщина, невысокая и худая, выпрямилась и подняла голову. Оставив белье в воде, она наморщила лоб и медленно направилась к Мигелу. Он решительно подошел к ней и осторожно заговорил:

— Добрый день, сеньора. Я понимаю, что сеньора меня не знает, но вы уж извините. Я должен поговорить с сыном сеньоры. У меня к нему поручение из Луанды.

— Айюэ, сынок, айюэ! Какое несчастье! Никто не знает, где он! Можешь спросить кого угодно! Никто не видел его уже давно, никто! Айюэ! О мой сын! Каждый тебе скажет это. И все-таки, знаешь, сердце говорит мне, что он жив!

Глаза Мигела внимательно изучали выразительное лицо женщины, ее печальный взгляд и жесты. Ему часто приходилось разговаривать с

---

* Китото — пиво из маиса.

** «Нгола ритмуш» — первый ангольский национальный музыкально-танцевальный ансамбль. В 1959 г. большинство участников его было арестовано.

*** Са — сокращенное «сеньора».

женщинами из народа, с женами африканцев, но от матерей всегда было особенно трудно чего-нибудь добиться. Не сводя глаз со старой Зефы, он думал о том, что, в сущности, она уже сказала гораздо больше, чем хотела. Она сказала: сердце ее чувствует, что сын жив, и Мигел понял: не следует расспрашивать и настаивать. Ему надо было только выяснить, не был ли сын са Зефы арестован.

Муссунда предвидел эту трудность и предупредил: если окажется, что Соузинья скрывается и арестован не он, то нужно сделать все возможное, чтобы его найти. А если в течение дня не удастся с ним встретиться, тогда придется поговорить с другим человеком.

Мигел переменил тему.

— Дело вот в чем, сеньора: я приехал из Луанды, ехал всю ночь с поручением к нему — очень важным. Один друг хочет устроить его на работу в городе...

Са Зефа слушала, опустив голову. Видно, этот парень не дурак. Нет, он не всему поверил, сразу видно. А как ему сообщить теперь? Может быть, он действительно друг. Но ведь с той ночи, когда взяли Домингуша, она не видела сына. Тут она вспомнила слова Соузы, который предупредил ее:

— Никому, мама. Не говори никому.

А приезжий уверяет, что дело идет о работе. Конечно, хорошо бы Соузинье работать в Луанде. Но нет, она не может сказать никому! И, повернувшись к Мигелу спиной, она проговорила:

— Знаешь, сынок, мне нужно стирать.— И са Зефа направилась к тому месту, где в воде лежало брошенное белье.

Но Мигел, засунув руки в карманы, пошел за ней, по-прежнему уверяя, что речь действительно идет о работе. Он придумывал разные заманчивые подробности, только чтобы поддержать разговор. Са Зефа молча нагнулась над бельем и стала его тереть худыми высохшими руками.

Мигел уже не раз попадал в подобное положение. И не из таких он был, чтобы сдаваться сразу. Солнце быстро двигалось по небу. Скоро настанет время возвращаться в санзалу, готовить обед для мужей и сыновей, которые придут с работы. Некоторые женщины складывали выстиранные вещи, другие уже торопливо поднимались по тропинке, обсуждая появление приезжего, который разговаривал с Зефой, со старой Зефой.

Мигел стал расспрашивать, как чувствовал себя Соузинья, когда она его видела в последний раз, и са Зефа, складывая белье в маленький таз, уже более доверчиво сказала:

— Хочешь, пойдем, сынок, я тебе приготовлю обед. Если ты действительно друг моего сына, пойдем вместе пообедаем. Но где он — вот уж этого я не могу сказать. Ничего не знаю, сынок.

Тогда Мигел, таким тоном, каким говорят о вещах совершенно незначительных, заметил:

— Я слышал, сеньора, что здесь у вас забрали одного парня...

— Айюэ, сынок! Верно. Все верно. Моего соседа. Ах, бедняга! Ночью пришла машина — и все. Хороший человек был этот Домингуш!

— Как его звали?

— Домингуш. Домингуш Шавиер. Он работал трактористом на плотине. Ты его знаешь?

— Нет, матушка, не знаю.

И, пока они поднимались по узкой тропинке к санзале, Мигел успел узнать от старой Зефы все, что ему было нужно, все подробности об аресте и об арестованном. Наконец-то ему удалось кое-что выяснить!

Около хижины он, улыбаясь, поблагодарил са Зефу за предложенный обед и, подойдя совсем близко, тихонько сказал ей:

— Айюэ, сеньора! Наша жизнь так тяжела! Но придет день, когда все будет иначе. Все будет хорошо. Я в этом уверен. И тогда, матушка, ты увидишь своего сына!

И старая са Зефа в первый раз засмеялась. Ничем не сдерживаемый, громкий смех вырвался из ее груди. Она была рада, что этот неизвестный парень так ничего и не узнал о том, где ее Соузинья!

Только эти нынешние парни вовсе не дураки, нет! Правда, она была осторожна, как и следовало. Начала говорить о всяких, совсем не важных вещах, и вдруг, смотрите-ка, парень сказал ей то, о чем она сама думает, чего она сама желает! А того, что он хотел узнать, она так ему и не сказала. И при этой мысли старая Зефа снова радостно засмеялась.

VIII

Когда первый удар грома потряс небо над городом и хлынул дождь, Домингуш в испуге проснулся. Он лежал на животе, весь мокрый. Он попробовал прикоснуться распухшими пальцами к израненным губам, а потом приподнять голову. Но боль пронзила все тело. Он застонал и, не в силах удержать голову поднятой, ударился лбом об пол, залитый водой. За стенами тюрьмы шумел дождь, и в камеру проникало сладостное дыхание красной земли. Потом, когда во дворе затихла монотонная музыка падающих капель, Домингуш снова погрузился в дремоту.

Пробежав по всему муссеку, вода текла через камеру, омывая неподвижное тело. На склонах холма струи дождя превращались в мощные и широкие реки. И чем ниже они сбегали, тем шире становились.

А внизу разъяренная, ревущая Кванза бушевала в предчувствии бетонного ложа, которое ожидало ее. Могучую реку заставили обогнуть холм и свернуть с привычного тысячелетнего пути по скалам и горячим пескам. Ей предложили новое русло, приготовленное людьми, русло длиною в несколько сот метров. И волны бессильно негодовали. Теперь у них остались только воспоминания о стремнинах там, между гранитными стенами, обсушенными солнцем. Гранитные стены, покрытые мхом, и на них лужи...

Тот изгиб русла, перед которым она злилась и металась, покинув плоскогорье, где родилась, который она раньше пробегала с неистовым шумом и ревом, бушуя между скалами, непокорная и гордая,— этот изгиб теперь отжил свой век. Высыхали на солнце его гранитные стены. И дома из цемента и алюминия, бараки и конторы, мощная электростанция с вершины холма, с недоступной высоты, злобно издевались над усмиренной рекой.

При выходе из туннеля вода с отчаянием самоубийцы поднималась высоко в воздух и потом бросалась вниз на отполированные камни. И дальше она текла возмущенно, отстаивая свои права, набрасываясь на каменные и бетонные стены, воздвигнутые на ее берегах.

Но выбегая на зеленые просторы полей, протекая мимо деревьев, шум которых она так хорошо знала, старая река успокаивалась. Она вспоминала весь свой длинный путь от зеленого плоскогорья Уамбы, друзей, нашедших приют в ее зеленых волнах, и ее голос становился ласковым, рев умолкал. Приближаясь к Донду, она лишь тихо журчала, а возле Мушимы на ее светлом лике появлялись улыбки — отсюда начинался прямой путь к морю.

Перед истерзанными глазами Домингуша женщины бесконечной вереницей спускались вниз к реке по тропинке, протоптанной их ногами. Приглушенно доносился шум машин и грохот взрывов. Ветер приносил

оттуда, снизу, на холмы отзвуки женского смеха. И Кванза текла там разгневанная, готовясь наброситься на каменные высокие стены.

Во дворе шумел дождь, пропитывая красный песок на дорогах и заливая камеру. Одежда прилипла к телу Домингуша. А он все в той же позе спал глубоким сном. Ему снилась Кванза и другие реки его родины.

Проснулся он от громкого, исполненного ненависти голоса полицейского — от этого голоса и от ударов сипая. Домингуш напряг все силы, стараясь подняться, и застонал. Сипай помог ему встать, и тогда снова раздался громкий голос:

— Веди сюда этого мерзавца.

Домингуш прислонился к стене камеры. Ему стало холодно. Мурашки пробежали по рукам и ногам. Рубашка приклеилась к рубцам, оставшимся на спине после ударов плети. Все лицо так распухло, что трудно было открыть глаза. Чуть-чуть приподняв загноившиеся веки, Домингуш увидел полицейского. Очень медленно, волоча ноги и хватаясь за стену, тракторист пошел по коридору. Сипай подталкивал его.

Была ночь. Свежий ветер веял над городом, прилетая с моря. Вымытые дождем деревья шелестели около высоких стен. На черном небе горели звезды, словно маленькие светильники с пальмовым маслом, зажженные в большой санзале. А над ними висел белый круг луны. Ветер доносил голоса людей, смех девушек. Все было спокойно этой ночью. А в сердцах людей, томившихся за высокими стенами, за стальными решетками, покой и тишина этой ночи порождали надежду или беспросветную тоску.

Сипай привел Домингуша в ту же комнату, где проходил последний допрос. Здесь ничего не изменилось. Исчезли только осколки стакана. Да еще в углу горела яркая лампа на подставке. Лист бумаги все так же торчал из машинки.

Сипай вышел из комнаты. Домингуш вдруг почувствовал мучительную голодную резь в животе. Он вспомнил, что, с тех пор как его увезли из санзалы, он только выпил кружку кофе и съел немного хлеба.

За стеной полицейский разговаривал с начальником полиции. Но слов нельзя было разобрать. Потом начальник что-то приказал, и сипай торопливо побежал куда-то. Внезапно дверь открылась, и в комнату вошел начальник полиции. Сейчас его глаза за стеклами очков казались еще меньше, вся его сгорбленная фигура сжалась и стала еще более зловещей.

— Хорошая ночь сегодня. Встречаемся второй раз. Как твои дела?

Домингуш сжал губы, ожидая, что последует за этими словами. Незаметно подошедший сзади полицейский дернул его за уши и изо всех сил ударил по шее. Домингуш заметил, что начальник повернул худое лицо к огненному шару лампы. Тракторист пошатнулся, но полицейский поддержал его, улыбаясь, посадил на стул и попросил извинения. Начальник сел за стол и, тщательно протирая очки, спросил:

— Ну как, будешь ты говорить сегодня? Мне не нравится твое упрямство.

Домингуш не ответил. Он понял, что от этих людей его теперь ничто не спасет. Они пойдут на все, чтобы заставить его говорить. Но он ничего не скажет. Даже если его убьют. Измученное и избитое тело уже не принадлежало ему. Он стоял, сжав губы, порезанные, разбитые.

— Так ты, значит, не знаешь, кто этот белый?

— Не знаю.

— Не знаешь, где Бернарду Соуза?

Домингуш молчал. Тогда полицейский медленно подошел сзади и стал привязывать его ноги и руки к стулу. Затягивая узлы, он тихо говорил, наклоняясь то к одному уху, то к другому, обдавая Домингуша горячим дыханием:

— Мы тебя предупреждали. А ты, негр, не верил. Теперь будет плохо. Не хотел говорить по-хорошему, теперь заговоришь. Будем возиться с тобой всю ночь, а спать будем днем.

Вдруг Домингуш почувствовал острую боль и вскрикнул. Полицейский вонзил ему в ягодицу иглу и, услышав крик, радостно засмеялся. Ведь это была просто шутка.

— Смотрите-ка, он, оказывается, чувствует...

Свет на потолке погас. Начальник поднес рефлектор с ослепительной лампой к глазам Домингуша. Тракторист почувствовал жар, обжигающий лицо... Все стало красным. Полицейский не давал ему отвернуть лицо, ударяя то по одной щеке, то по другой. Начальник наступил сапогом на босые пальцы распухших ног и снова спросил:

— Будешь говорить? Кто этот белый?

Сыпались разные вопросы, но этот повторялся настойчивее других. Свет жег лицо, кровь текла из ушей, сапоги начальника полиции топтали уже раздавленные пальцы. Но Домингуш молчал.

Разозленный полицейский тяжело дыша, как загнанный зверь, наносил удары куда попало. Разжигая свою ненависть, он свирепо ругался. А начальник все продолжал топтать пальцы Домингуша, размеренно повторяя:

— Кто этот белый? Говори! Говори!

И собственный голос, и упорство Домингуша, и тяжелое дыхание полицейского рядом с ним бесили начальника. Гнев душил его и принуждал к действию. Он еще раз прорычал свой вопрос. И когда Домингуш, с трудом приоткрыв распухшие губы, выговорил: «Не скажу ничего!» — перед ним мелькнуло маленькое худое лицо начальника, рефлектор резко отодвинулся, и тракторист почувствовал опять удары, удары и удары. Стул опрокинулся вместе с ним и упал на пол. Начальник сел Домингушу на грудь и заорал:

— Ах ты, собачий сын, негр! Не знаешь, не говоришь?! Я изобью тебя, но услышу, как ты скажешь! Перейра да Гунья! Бей его! Что ты стоишь и смотришь? Бей, пока он не заговорит!

Полицейский, изумленный свирепостью начальника, бросился к Домингушу, развязал веревки и, приподняв его, как мешок, снова бросил на пол. Ударил по лицу. Но поникшая голова тракториста не шевелилась. Он уже не чувствовал боли от ударов. Откуда-то издалека до него донесся пронзительный крик начальника полиции:

— Ты будешь говорить, собака?! Ты будешь говорить?! Я убью тебя! Убью!

Домингуш улыбнулся. Ведь он уже умер. Его уже убили. Он уже был мертв. Теперь у него болит только сломанная нога. Он улыбнулся. Он улыбнулся, а кровь бежала изо рта, из ушей, из ноздрей, растекаясь по разорванной рубашке, по телу, по полу, пачкая полицейского и стены. И так приятно было чувствовать, что кровь свободно вытекает, а он сам становится пустым и легким... Он радовался, что ничего не сказал. Соленые слезы струились по его лицу, смешиваясь с кровью.

За стенами тюрьмы мерцали звезды. Прохладный ветер проникал за эти каменные стены, принося послание жизни. Домингуш не предал эту жизнь. Он еще мыслил, и ему казалось, что он где-то далеко-далеко купается в зеленых водах реки, бегущей к морю, родившейся там же, где родился он... Сломанные ноги болтались, руки бессильно висели, а вода все текла и текла перед его глазами. Он уже не чувствовал, как сипай протащил его по двору и бросил в большую камеру, прямо на спящих людей. На земле, во дворе тюрьмы, остались кровавые следы. И другой сипай должен был их уничтожить раньше, чем во дворе тюрьмы появится новый арестованный.

■

Ночь поглотила все шумы. Когда безжизненное тело тракториста упало на спящих узников, уже приближался рассвет. Скрип двери разбудил заключенных. Широко открытыми глазами всматривались они в темноту, стараясь разглядеть, кого втолкнули сюда под покровом ночи. Они услыхали, как сипай повернул ключ в замке, задвинул засов и ушел, тихо разговаривая с кем-то.

В безоблачном, усыпанном звездами небе сияла полная луна. Потоки света проникали сквозь решетки, озаряя лежавшие на полу тела.

Здесь было много людей. Они спали без циновок, без всякой постели, прямо на цементном полу, завернувшись в тряпки или старые одеяла. Здесь были слуги, выгнанные хозяевами, безработные, задержанные без пропусков, пьяницы, схваченные у всегда открытых дверей пивных, мелкие воришки, смутьяны... Теперь их всех объединила общая судьба и принудительные работы на дорогах.

Появление еще одного такого же несчастного было встречено полным равнодушием. Кто-то заворчал, но никто ни о чем не спросил. Утром, перед тем как отправиться на работу, они узнают, кто этот арестованный. Но когда шаги сипая затихли вдали и снова наступила тишина, всем вдруг показалось странным, что новичок не шевелится.

— Эй ты! Повернись-ка. Ложись сюда.

Высокий силач повернул Домингуша на спину. Бледный свет луны упал на окровавленное, распухшее лицо тракториста и на его грязные лохмотья. На людей повеяло холодным дыханием смерти. Страшным было это изуродованное лицо с застывшей на губах улыбкой.

Какой-то мальчишка нагнулся и старым платком стал осторожно вытирать лицо Домингуша. Высокий силач безнадежно махнул рукой и снова улегся. Низенький старичок, от которого пахло вином, начал всхлипывать. Люди столпились вокруг Домингуша. Кто-то принес рваное одеяло и прикрыл им худое истерзанное тело тракториста. Мальчишка продолжал вытирать платком окровавленное лицо незнакомца.

На этом лице застыло выражение спокойствия. Дыхание Домингуша было еле слышно, рубашка на груди почти не поднималась. И после каждого еле заметного выдоха мальчишка вытирал кровь, тонкой струйкой сбегавшую из уголка рта.

Глаза Домингуша Шавиера были закрыты, он не шевелился, не стонал. С каждым вздохом жизнь уходила из его тела. А вокруг собрались люди и молча, присев на корточки, смотрели на умирающего. Какой-то парень снял с себя старую куртку и прикрыл грудь тракториста. Теперь только лицо оставалось открытым, лицо, освещенное лунным светом, проникавшим сквозь решетку. Старый пьяница продолжал всхлипывать в своем углу... Луна заглядывала в камеру, освещая строгое и спокойное лицо Домингуша.

Кровь текла все медленнее, дыхание становилось все слабее, разбитое лицо бледнело. Мальчишка, наклонившись к сидящим прошептал:

— Айюэ, похоже, что он спит.

Ты прав, мальчик. Домингуш Шавиер заснул для своих братьев, обретя счастье в смерти. Он заснул на рассвете, когда день встречался с ночью. Он заснул, чтобы вернуться в рассказах и песнях о Домингуше Шавиере и воскресать потом каждую ночь.

Опустив голову и медленно раскачиваясь, парнишка из Фунды* запел тихо и грустно:

Он нашим другом был,
Они его убили.

---

* Фунда — один из африканских кварталов Луанды.

Он умер, потому что братьев он любил.
Пусть спит спокойно.
Мы сложим песню, чтобы знали все,
Что братья брата не забыли.

И хор голосов вырвался из тюремных стен. Быстро и легко на крыльях свежего утреннего ветра песня полетела над муссеком. И даже плети сипаев, бросившихся в камеру, не заставили ее смолкнуть.

IX

С некоторых пор люди, жившие в муссеке вблизи высоких стен Новой тюрьмы, заметили, что почти каждую субботу повторяется одно и то же. С наступлением вечера из двери тюрьмы, горько плача, выходила чья-нибудь жена или мать. Это случалось уже не раз и не два. Без всяких объяснений тяжелую, окованную железом дверь сейчас же запирали за несчастной, и она шла через муссек, оплакивая свое горе.

После того как рано утром сюда привезли арестованного, худого и высокого, старый Петелу сказал внуку:

— Мальчик, будь начеку. Играй поближе к тюрьме — необходимо знать, что там происходит.

И теперь каждый день с утра он напоминал Зиту об этой его обязанности. Мальчик убегал из дому, надев на шею резинку от рогатки, и играл с приятелями у стен тюрьмы в ковбоев или в разбойников или гонял мяч, сделанный из тряпок. Порою он нарочно забрасывал его подальше под деревья, к самым воротам тюрьмы, и мчался за ним, заглядывая в подъезжающие машины.

Но была у мальчишек одна любимая игра, немножко похожая на биллиард: сидя на земле под деревьями, они все вечера напролет катали разноцветные шарики. Зиту был признанным мастером. Никто не умел так ловко, как он, подбить своим шариком шарик противника и столкнуть его в ямку, выкопанную в земле. Он побеждал всех.

Вот так играли они и в этот тихий субботний вечер, когда в муссеке уже воцарилось безмолвие. Утром людям не нужно было идти на работу — одни отдыхали, другие отправились в кабачки потолковать вполголоса о трудностях жизни. Попивали вино, разбавленное водой, и, поговорив немного, умолкали, поднимались и уходили домой. Материнские руки гладили брюки сыновьям. Ведь субботний вечер — это вечер танцев. И несмотря на то, что для муссеков наступили мрачные времена, где-нибудь да устраивалась вечеринка. Жизнь всегда сильнее смерти!

Зезинью и Камабуинду не спускали завистливых глаз с Зиту. Сейчас он должен загнать в ямку шарик, принадлежащий Тонеку. Тому просто не повезло, а безжалостный Зиту положил на землю свой шарик, согнул как следует средний палец, прицелился и... бац! Но шарик пролетел мимо, не задев шарик Тонеку, и упал в ямку. Потому что как раз в эту минуту на улице показалась женщина. Она несла на руках ребенка и медленно приближалась к тюрьме.

Зиту застыл от удивления. Обычно в это время женщины сюда не приходили. Только утром, в воскресенье, им иногда разрешали свидание с арестованным.

Женщина подошла к большой двери и позвонила. Это была Мария. Она пришла вместе с малюткой Себастьяном узнать о Домингуше.

Побывав тогда в городской тюрьме, Мария решила вернуться домой. Ею овладела мучительная растерянность, последний луч надежды погас в ее душе. Но несмотря на слезы и возражения отчаявшейся подруги, Тэте все-таки сумела сделать так, что она осталась. Тэте не уговаривала и не спорила... Простые люди доказывают дружбу не словами. Она про-

сто уложила Марию, посоветовав ей выспаться хорошенько, а рано утром ушла из дому вместе со своими мальчишками, чтобы Мария могла спокойно возиться с Себастьяном. Все так и вышло, как хотела Тэте.

В субботнее утро вымытое дождем солнце сияло на небе, заливая хижины муссека ослепительным светом. Тэте перед уходом попросила подругу помочь ей по хозяйству, и Мария, взявшись за работу, почувствовала, что в сердце ее снова рождается надежда. Вернулся с ночной работы соу Кардозу, и, так как вечером ему не нужно было уходить снова, он подсел к малютке Себастьяну.

— Слушай, Мария, ты не должна смиряться... Ведь полиции только и нужно, чтобы ты не ходила искать мужа, чтобы ты не надоедала им. Если ты пойдешь туда, да еще с ребенком, они обязательно дадут ответ.

И Мария согласилась. Когда же она подумала о том, что ее муж уже несколько дней находится в заключении, когда она вспомнила слова сипая из городской тюрьмы, она снова поникла головой. Но соу Кардозу не сдавался. Он играл с малюткой Себастьяном и, болтая о всякой всячине, старался отвлечь Марию от грустных мыслей. И в пять часов Мария взяла малютку на руки. Уже зная дорогу, она пошла к Новой тюрьме.

Ветер шелестел листьями мулемб, растущих возле дороги. Мальчишки играли на красной земле в свои обычные игры. Женщины и девушки стирали или гладили, мужчины, прислонившись к стенам хижин, беседовали о жизни. Тишина субботнего вечера успокоила Марию. И, вполголоса болтая с малюткой Себастьяном, она прошла мимо мальчишек, игравших возле стен тюрьмы.

Увидав женщину, приближавшуюся к дверям тюрьмы, Зиту промахнулся и не попал в шарик Тонеку. Тот подпрыгнул от радости, громко вскрикнул и присел около своего шарика:

— Теперь увидишь, Зиту, я не промажу!

— Смотри целься хорошенько! — прибавил Камабуинду.

Зиту продолжал следить за женщиной и ничего не отвечал.

Открылась дверь, и появившийся на пороге сипай что-то спросил. Женщина с ребенком на руках вошла в дверь. Тогда малыш Зиту, забыв про игру и про свой шарик, помчался домой. Тонеку, Зезинью и Камабуинду кричали ему вслед:

— Трус! Убегаешь, когда проигрываешь! Мошенник!

Но Зиту, ничего не слыша, сломя голову бежал к маленькой хижине. Около двери сидел дед. Старый Петелу по обыкновению курил трубку, греясь в последних лучах заходящего солнца.

— Дед, иди скорее. В тюрьму вошла женщина с ребенком.

Моргая усталыми глазами, старый Петелу быстро встал. Зиту схватил его за руку и потащил между хижинами. Спрятав трубку в карман, старый Петелу по дороге расспрашивал внука. Но Зиту не успел хорошенько разглядеть женщину. Она несла запеленутого ребенка — в этом он был уверен. А лица ее он не заметил, потому что играл.

— Я же говорил тебе, мальчик, смотри внимательно.

— Разве я не смотрел? Я же говорю, подожди, пока она выйдет.

— А если она не выйдет?

Когда, продолжая спорить, они показались на площадке перед хижинами, мальчишки снова принялись ругать Зиту:

— Трус! Жулик! Мошенник!

— И тебе не стыдно?! Когда выигрываешь — остаешься, а когда проигрываешь — убегаешь. Вот мы поймаем тебя и отлупим.

Зиту молча нагнулся, поднял с земли камень и запустил им в приятелей. Тонеку, Зезинью и Камабуинду бросились бежать, громко крича:

— Такуимоши! Такуимоши!

Когда мальчишки скрылись за домами, Зиту усадил деда на камень, а сам, грустно присев на корточки, стал рисовать на земле человечков.

Старый Петелу, не сводя глаз с двери тюрьмы, вытащил из кармана неизменную трубку.

Прошло совсем немного времени. Солнце опустилось по оранжевому небу ближе к морю, подул прохладный ветер, напоминая о приближении ночи. Вдруг дверь тюрьмы распахнулась, и на пороге появилась плачущая Мария с малюткой Себастьяном на руках. Она кричала так громко, что было слышно по всему муссеку. Пестрая ткань, соскользнув с ее плеча, волочилась по земле. Слезы ручьями текли по ее лицу, и Себастьян тоже жалобно плакал. Ветер развевал одежду Марии, но она ничего не замечала. Упав на колени на красный песок, она стала кулаками бить по земле. А малютка Себастьян, развернувшийся, голый катался по песку и плакал все громче. Из хижин высыпали женщины, девушки. Некоторые издали испуганно наблюдали за этой сценой, другие бросились к несчастной. Мария плакала и кричала:

— Айюэ, айюэ, мой муж! Его убили. Айюэ, я тоже умру теперь.

Она, рыдая, повторяла эти слова и билась головой о землю.

Женщины наклонились к перепачканному песком малютке Себастьяну. Какая-то девушка подняла его с земли, взяла на руки и стала краем одежды вытирать мокрое грязное личико. Люди пытались успокоить неизвестную женщину. Она очень страдала, это было ясно всем. Но Мария смотрела на них широко открытыми глазами и никого не видела. Люди протягивали к ней дружеские руки, что-то шептали ей, но горе ее было слишком велико. Кто мог понять ее? Айюэ, ее муж, ее друг, Домингуш Шавиер, отец малютки Себастьяна. Никогда больше она его не увидит. Никогда. Его убили... Теперь Мария была в этом уверена.

— Но послушай, сестра, откуда ты знаешь? А может быть, он жив.

— Айюэ! Меня посылали из одной тюрьмы в другую. И везде сипаи разговаривали со мной. А здесь... Он даже не захотел смотреть на меня. Он даже ничего не сказал. Опустил голову, потому что ему было стыдно. Я знаю, я знаю, теперь я знаю. Моего мужа убили здесь.

И плакала, плакала. Напрасно дружеские голоса преждевременно состарившихся женщин успокаивали ее:

— Перестань плакать, сестра. Ты еще увидишь своего мужа.

— Нет, нет, никогда! Айюэ, его убили. Теперь я знаю. Поэтому сипай не захотел говорить со мной. Я видела его глаза.

Голоса смолкли. Люди поняли, что утешать несчастную бесполезно. Только несколько матерей еще настаивали. Потом женщины помогли Марии привести в порядок одежду, привязали ей за спину малютку Себастьяна и долго с грустью смотрели, как она шла по песку, смоченному ее слезами, оплакивая своего мужа, своего друга.

Расспросив женщин, которые утешали несчастную, старый Петелу узнал имя арестованного и все понял. Человека, высокого и худого, очень худого, которого привезли в то утро на синей машине со связанными руками и ногами, убили. Он умер.

Женщины медленно разошлись, переговариваясь вполголоса, сочувствуя своей несчастной сестре. Но в нынешние времена никто не знает, когда придет его час страданья!

На город внезапно спустилась ночь. Далеко-далеко, на другом конце, на холме Майанга, зажглись робкие огоньки светильников. Они были еле заметны в блеске электрических огней белого города, который уже со всех сторон взбирался на холм и теснил сопротивляющийся муссек. Держась за руку внука, старый Петелу быстро ковылял туда, в Пренду.

X

— Праздник так праздник, брат! Кто сказал, что его не будет? Кто? Нет, будет непременно! Ах, так тебе сказал этот дурак-полицейский? Ну

ладно, если я его встречу — разобью ему морду! Обязательно! Честное слово! Он хорошо знает меня и боится. Да, да, брат. Я его давно раскусил. Поэтому он меня избегает. Ты думаешь, что я забыл приемы джиу-джитсу? Нет, брат, не забыл! Пока еще никто меня не поймал. Никому не удалось... Обязательно приходи, Шику, обязательно приходи, да, да! И ты, Жоан, приходи, и ты, Тетеку! Ты спрашиваешь почему? Потому что на этот праздник придет «Нгола». Это будет наш общий праздник, вместе со всеми друзьями, с нашей музыкой, с нашими песнями, с нашей национальной едой. И ты еще, чудак этакий, спрашиваешь почему. Отложи все дела и приходи непременно! И приведи свою девушку.

— Ах, я все понимаю, Гильермина. Но сердце мое страдает. Как это можно сейчас? Не представляю себе. И не я одна так думаю. Фефа тоже согласна со мной. Невозможно... Ну что ты, Марселина. Все тебе представляется в мрачном свете... Ну так как, пойдем или нет? Ведь если там будет «Нгола», как мы можем не пойти? Ах, брось, пожалуйста. Я прекрасно понимаю, но «Нгола» без соу Лисеу и Аморина — разве это возможно?! Конечно, и все-таки, когда Зе Мария берет в руки гитару и начинает играть «Мушиму» *, мне всегда хочется плакать. А ты позовешь и Фонтинью? Ну, конечно, обязательно... Нет, друзья, не нравится мне это, не нравится... Ну, Гильермина, смотри не забудь. Ах, мое сердце страдает!

— И его тоже надо послать предупредить товарищей. Итак, теперь мы обо всем договорились. Все явятся обязательно. Скажите своим сестрам, чтобы нарядились и приходили на праздник. Праздник так праздник!

Во всех муссеках, во всех закоулках города, где только люди встречались и перекидывались хоть несколькими словами,— везде говорили о празднике. Он должен был состояться в субботу в Рабочем квартале. Правда, далеко не всех звали на этот праздник. Нужно было соблюдать особую осторожность. Ведь джипы все время носились между хижинами: полиция старалась лишить народ всякой радости.

Но юноши и девушки, которые хорошо знали друг друга, должны были присутствовать непременно. Им всем было известно о празднике в доме Муссунды. А тем, в ком они не были уверены, не сказали ничего. Приглашенные знали: будет «Нгола» — значит, будет ангольская музыка, будут ангольские кушанья и ангольские одежды. Обязательно будут. Конечно, музыка бразильская и кубинская тоже будет, но только самая лучшая — баийа и меренги. А португальское радио не будет играть! Нет! Все будет только народное. Это будет праздник народа Анголы!

Все утро и весь день матери и дочери готовили любимые кушанья, чтобы отнести их на праздник. Желтую китабу** и сваренные в листьях бананов великолепные кикуанги. Мальчишек спозаранку послали на базар купить орехи кола и имбирь, чтобы макезу было особенно душистым. Некоторые мастерицы своего дела готовили из рыбы крепкий отвар музонги, чтобы, выпив его уже на заре, утомленные танцоры могли плясать с новыми силами. Юноши закупали газированную воду, бутылки с вином, пивом и китото, чтобы заранее положить их в погреб. Толстые мамаши и высохшие от старости бабушки украшали приготовленные блюда, раздували огонь в очагах и с грустью вспоминали старинные танцы, жалея о том, что нынешняя молодежь не танцует массембу. Теперь все пляшут только чачу и меренги.

Из далекой Пренды, из Боавишты и из всех других муссеков начали собираться девушки и юноши. Некоторые важно приезжали на машине

---

* «Мушима» — очень популярная песня. На языке кимбунду — сердце.

** Здесь и дальше — национальные кушанья: китаба — пирожное из арахиса; кикуанги — пирожки из маниоковой муки с пряностями; макезу — шарики из маниоковой муки с пряностями.

приятеля. Машина выгружала пассажиров и ехала за другими. Настраивались гитары, глухо звучали удары нгомы *, и Шоду выбивал на диканзе ** удивительные ритмы.

О долгожданный праздник! Давно уже, с тех пор как разогнали клуб «Ботафогу», не было такого. Мальчишки через забор разглядывали прибывающих гостей и убегали, сверкая босыми пятками, чтобы рассказать обо всем увиденном матерям и старшим братьям. Сейчас уже многие забыли, как трудно было устроить этот праздник! Ведь, как только начались разговоры о нем, сразу же возникли разногласия. Муссунда утверждал, что праздник непременно должен состояться. Но многие товарищи, особенно те, у кого в семье были арестованные, не соглашались с ним.

— Нет, брат Муссунда. Это невозможно! В то время как Флориан, Зека и другие наши братья сидят в тюрьме, мы будем устраивать праздник? Это невозможно, нет. Какие у нас причины для веселья?

Муссунда старался успокоить товарищей и убеждал их:

— Послушайте! Наши братья в тюрьме — это правда! Но мы-то с вами живем, мы продолжаем жить! Мы существуем!

— Да, конечно, мы существуем!

— Почему же вы хотите, чтобы наши братья думали, что мы умерли? Что мы молчим, что мы потеряли голоса, что мы погибли?

— Нет, Муссунда, нет.

Споры разгорались. Одни защищали идею праздника, потому что он должен быть выражением воли народа, утверждением его права на жизнь. Этот праздник покажет, что народ нельзя задушить никакими арестами и жестокостями. И кроме того, как говорил Муссунда, наши заключенные братья тоже станут участниками этого праздника. Там, в мрачных тюрьмах, они услышат наши песни и музыку, они узнают о том, что мы их не забыли. Этот праздник выразит наше уважение к их мужеству. Потому что все наши заключенные братья ведут себя в тюрьме как настоящие герои.

Споры продолжались. Многие считали, что нужно показать свою солидарность с товарищами и скорбь об их судьбе, надев траур или еще как-нибудь... Но постепенно идея праздника приобретала все новых сторонников, и в конце концов большинство стало на сторону портного Муссунды. Когда же стало известно о том, что в празднике примет участие «Нгола», споры прекратились совсем. Ангольская музыка! Только наша, нашего народа!

В пятницу ночью вопрос о празднике был окончательно решен, и везде начали готовиться к субботнему вечеру. Теперь мог помешать только дождь. Но весь день небо оставалось безоблачным. Волнение было напрасным. Все радостно готовились к вечеру.

Праздник начался в половине десятого. Танцующие пары уже двигались по садику, но пока медленно, словно нехотя. Было еще очень жарко. Женщины шептались по углам, рассматривая наряды дочек, а франты из муссеков беседовали, сравнивая свои брючки. Муссунда переходил от одной группы к другой, приветливо разговаривая со всеми — и со студентами и с танцорами. Для каждого у него находилось ласковое слово, и все чувствовали себя в этот вечер как-то по-особенному объединенными. Когда портной отходил в сторону, люди говорили:

— Да, братья, этот Муссунда умница. Мы можем ему доверять.

— Правда, братья, другого такого у нас нет.

---

* Нгома — несколько тамтамов разных размеров, соединенных вместе. На них играет один человек.

** Диканза — ударный музыкальный инструмент типа ксилофона.

Наконец появился Мигел с сестрой Бебианой. Муссунда встретил их, широко улыбаясь, обнял девушку и повел обоих под развесистое дерево, где собралась молодежь. Шику влюбленными глазами смотрел на Бебиану, а она попросила его взять гитару и что-нибудь сыграть. Молодежь танцевала, поверяя друг другу свои секреты или перекидываясь шутками. Всем было очень весело. Фонтилью пел, а Зе Мария вытворял со своей гитарой разные фокусы под бурные аплодисменты зрителей. Все болтали, все смеялись и пили вино, фруктовую воду, китото или пиво — кто что хотел.

Муссунда слушал отчет Мигела о его поездке на плотину. Юноша очень тихо, со всеми подробностями рассказывал, как он сначала долго не мог найти человека, который знал бы арестованного, и как потом все ему стало понятно. Муссунда, очень довольный, улыбнулся.

— Подумай, как получилось. Ты мне сказал, что я должен его найти, только если не встречу никого другого. Искал, искал и ничего так и не узнал. Даже у его матери. Пообедали с ней и пошел искать того человека, о котором ты мне сказал. И знаешь, когда я уже пришел к нему, мне захотелось попросить извинения и уйти. Я подумал: «Муссунда, наверно, ошибся — на строительстве есть два человека с таким именем».

Муссунда слушал, продолжая улыбаться. Он кивал головой, приветственно махал друзьям, входившим во двор, но все его внимание было отдано Мигелу.

— И, конечно, брат, ты не ошибся. Это был он. Инженер сказал, чтобы я пришел к нему домой в шесть часов, и объяснил дорогу туда. А когда я уже собрался уходить — у меня прямо голова пошла кругом,— он сказал так, чтобы слышал чертежник, сидевший рядом: может быть, устрою тебя на работу. Но приходи ко мне домой!

Танцы становились все оживленнее. Пары покачивались и скользили, и воздух звенел песнями. Зе Мария продолжал выгворять чудеса со своей гитарой, но, к сожалению, нгома был не в руках Аморина, лучшего музыканта, а другого. Аморин давно уже томился в тюрьме.

— Рассказывай, Мигел, рассказывай дальше.

— Ну вот, в шесть часов я был там. Постучал в дверь, и вышла сеньора. Молодая-молодая, совсем как девочка. Улыбнулась мне, велела войти и присесть подождать. Я посмотрел по сторонам — повсюду стоят книги инженера Силвештри. Наконец пришел он сам. Долго разговаривал со мной, расспрашивал о тебе, а потом повел меня в гараж. Там я увидел этого парня. В гараже была только постель и еда. И он...

Ритм танцев все ускорялся. Маленький двор уже был полон народа. Ноги танцующих поднимали красную пыль. Она покрывала туфли и башмаки. В кухне все прибавлялось дел, а в погребе на льду появлялись все новые и новые бутылки. Фонтинью запел «Мушиму», и Муссунда грустно сказал:

— Ах, Мигел, каждый раз, когда я слушаю эту песню, вспоминаю Лисеу...

— Увидишь, Муссунда, придет день, и он опять будет петь вместе с нами.

Муссунда ничего не ответил. Он думал об арестованных братьях и о том, каким вдохновляющим примером они были для всех здесь присутствующих. Хорошо все-таки, что удалось устроить этот праздник. Узники заслужили, чтобы народ чествовал их мужество!

Среди всеобщего оживления никто из танцующих не заметил, как через калитку во двор вошел худой невысокий юноша. С ним был какой-то белый, в больших очках, с открытым приветливым взглядом. Только Муссунда сразу увидел их и бросился к ним навстречу.

— Соуза, наконец-то! Айюэ, брат, айюэ! Хорошо, что ты пришел, Силвештри. Как дела?

— Все хорошо, Муссунда. А как ты?

— Что я могу сказать? Вы ведь сами видите. Посмотрите кругом. А теперь, инженер, давайте выпьем!

Силвештри согласился, с улыбкой поглядывая на танцующих. В глубине двора девушки окружили Шику Жоана. Без сомнения, сердцам их грозила опасность! Но сейчас с ним танцевала Бебиана, гордясь тем, что Шику предпочел ее остальным девушкам. Подруги Бебианы, все без исключения, мечтали вычерчивать по земле эти сумасшедшие па вместе с Шику Жоаном. Ведь он танцевал так, как будто играл в футбол! И только одна Ирена отошла от подруг, чтобы поздороваться с хозяином дома и Соузиньей.

Инженер Силвештри вместе с Муссундой направился в дом попробовать сладости, которые мастерски готовил сам портной. А Соузинья и Ирена стояли рядом и разговаривали о том, о чем им уже давно не удавалось поговорить.

Субботняя ночь быстро бежала навстречу воскресенью. Танцующие пары выписывали на красной земле прихотливые узоры ангольских танцев. Зе Мария, Фонтинью и Тонеку были душой праздника. Когда под аплодисменты всех собравшихся окончилась еще одна песня, Зе Мария опустил гитару и, вытерев лицо белым платком, сказал:

— Друзья. Чтоб отпраздновать как следует сегодняшний вечер, мы хотим сыграть для вас... и для всех тех, кто сегодня только издали может слышать нас... Вспомним о них! Мы хотим сыграть и спеть самбу, сочиненную нашим братом, основателем ансамбля... Вы все знаете Карлуша Анесету...

Гром аплодисментов заглушил последние слова Зе Марии. И песня началась ударами ингомы, размеренными и тяжелыми. Шоду, низко опустив голову, аккомпанировал на диканзе. И никто не танцевал, все застыли, когда зазвучал чарующий голос Фонтинью:

Этот мир и жесток и неласков
К нам, друзья, не ко мне одному,
Я не знаю, в чем смысл этой злости,
В чем причина — никак не пойму,
Но прощу, и пойму, и забуду,
Если мне объяснят почему...

Он пел в полной тишине. Не сводя глаз с Фонтинью, девушки и юноши слушали как завороженные и подходили к нему все ближе.

Это правда, что через решетки
Не пробиться живому лучу,
Это правда, что я неизменно
Дни и ночи в тревоге влачу
И страдаю в тюрьме этой мрачной,
Потому что бороться хочу.

Воспоминание о соу Лисеу, давно уже томящемся в тюрьме, завладело застывшими парами. Соу Лисеу, арестованном так давно. И никто не знает, когда он выйдет из темницы... А сейчас к ним как будто донесся его голос, как будто все опять увидели его движения, и эта гитара, принадлежавшая ему, сейчас звенела и плакала в руках Зе Марии... Ах, когда же наконец мы его увидим? Такой день настанет...

Эта тьма, этот мрак беспросветный
Мне на плечи, как камень, упал.
Я тревожусь, что в сложенных песнях
Я еще не про все рассказал.
Но я верю, я верю, я верю,
Что конец мой еще не настал!

Да, это правда, брат Лисеу! Правда, это еще не конец! Ты не один! Мы все с тобой! Может быть, ты слышишь нас? Фонтинью поет твою песню, «Нгола» играет твою музыку. Народ не забыл тебя, брат Лисеу!

Песня не угасла, даже когда умолк голос Фонтинью. Все девушки и юноши подхватили мелодию, запели хором и снова начали танцевать.

Муссунда и его друзья были в комнате, когда зазвучала музыка. Они услышали, как воцарилась тишина, как потом под звуки нгомы и диканзы взлетел голос Фонтинью. Силвештри жадно ловил каждое слово, а Муссунда грустно улыбался. Когда звуки песни замерли, разговоры возобновились, праздник продолжался. И вдруг раздался стук в дверь.

— Кто там?

— Спрашивают соу Шику!

— Кто?

— Какой-то старик и мальчик.

Шику Жоан вскочил, распахнул дверь и побежал через двор, пробираясь между танцующими. И справа и слева двигались пары. А на улице, за забором, освещенные лунным светом стояли старый Петелу и малыш Зиту.

— Брат Шику, мы искали тебя до ужина. Не нашли. Мы искали тебя после ужина. Не нашли. Только сейчас нам сказали, что ты здесь на празднике.

— Но говори, крестный, что случилось? Какие-нибудь новости?

— Ах, брат Шику, плохие новости...

И, приложив губы к самому уху знаменитого футболиста, старый Петелу рассказал ему о вечернем происшествии, о том, как женщина вышла из тюрьмы, о том, как ее, несчастную, утешали люди, о том, что они узнали.

Шику Жоан взял старого Петелу за руку и вместе с Зиту ввел во двор. Угостил мальчика конфетами, а старика — стаканчиком вина. Потом медленно, опустив голову, вернулся в комнату, где его ждали друзья. Все танцующие остановились, увидев старого Петелу и мальчика, заметив расстроенное лицо Шику, когда он проходил мимо.

И вот в сопровождении Ирены, Соузы и белого гостя во двор вышел Муссунда. Лицо портного было мрачно. Таким его никогда еще никто не видел. Умолкла диканза, нгома тоже. Зе Мария прижал к груди онемевшую гитару. Муссунда остановился на середине двора. Он вытер лицо рукавом рубашки и заговорил спокойно и торжественно:

— Братья африканцы...

Все глаза были прикованы к Муссунде, все с волнением ожидали, что он скажет, все поняли, что произошло что-то очень важное. Портной посмотрел кругом, на лица встревоженные, грустные, улыбающиеся, на лица, застывшие в ожидании. Он увидел Соузинью и Силвештри рядом с Иреной, недалеко от себя, и повторил уже более спокойно:

— Братья африканцы! Мы только что узнали, что в тюрьме убили нашего брата. Его звали Домингуш Шавиер. Он был трактористом. Он никогда никому не сделал зла. Он желал лишь добра своей стране и своему народу. Мы сейчас прервали наш праздник для того, чтобы сказать вам об этом. Но наш праздник будет продолжаться, потому что мы рады и горды тем, что у нас есть такие братья. Он вел себя как герой. Он не выдал тайн своего народа. Он не предал свой народ. Нет, наш дорогой брат Домингуш Шавиер! Мы не будем оплакивать твою смерть. Мы не будем оплакивать твою смерть, потому что ты не умер для нас. Сегодня ты начал свой новый путь, свою новую настоящую жизнь в сердце ангольского народа.

И даже ветер не решился шелестеть листьями мулембы, когда портной Муссунда произнес эти слова.

РОБЕР ДЕСНОС

ИЗБРАННЫЕ СТРОКИ

Перевод с французского
МИХАИЛА КУДИНОВА

Обвинять могут не только строки поэтов. Имена поэтов тоже. Гарсиа Лорка, Мигель Эрнандес, Муса Джалиль... Гневная память поколений хранит мартиролог тех, чья жизнь была оборвана потому, что их строки отстаивали жизнь. Имя Робера Десноса встало в этот скорбный перечень на рассвете 8 июня 1945 года.

Лишь для немногих узников крепости Терезин в Чехословакии день освобождения стал днем возвращения к живым. Когда русские солдаты и чешские партизаны ворвались в этот старинный форт, переоборудованный СС по последнему слову техники истребления, в битком набитых казематах они обнаружили груды агонизирующих призраков вперемежку с остывающими трупами. Их пригнали сюда недавно из других «фабрик смерти»: даже отступая, разгромленные гитлеровцы цеплялись за систему концлагерей, как за самое совершенное детище «арийского гения». Многих спасти было уже нельзя; в госпитале, разбитом чешскими врачами на месте лагеря, люди ежедневно умирали от дизентерии, сыпняка, истощения.

В ночь с 3 на 4 июня студент-медик Иозеф Штуна, просматривая список больных, наткнулся на запись: «Робер Деснос, национальность — француз». Штуна, увлекавшийся французской поэзией, помнил по книгам и журналам сюрреалистов лицо этого человека в очках с толстыми стеклами и массивной оправой. Вместе со своей приятельницей Аленой Тесаровой он разыскал его среди 240 больных своего барака. Силы Десноса были на исходе. Обрадовавшись неожиданным друзьям, день и ночь дежурившим у его постели, он вслух вспоминал о Париже, о Сопротивлении и своей поэтической юности, об океанском прибое и зелени лесов, рассказывал о возникших в лагере замыслах, читал Гонгору, Вийона, свое последнее стихотворение, обращенное к жене Юки. Через три дня он потерял сознание и больше в себя не приходил.

Робер Деснос был другом Элюара; когда-то его подпись стояла рядом с подписью Арагона под сюрреалистскими манифестами, позже их псевдонимы — в одних и тех же журналах Сопротивления; одновременно с Превером он покинул кружок сторонников Бретона, стал работать в кино, на радио. И путь Десноса — путь от зашифрованной исповеди потрясенной души к горизонтам человеческого братства. Два десятилетия назад поэт посылал фронтовикам, сражавшимся «под Киевом и у Ильмень-озера, на Днепре и Припяти», дружеское приветствие «на языке, известном всем, на языке, в котором только одно слово — свобода»:

Мы вам посылаем привет: добрый день!
Не о наших страданиях мы говорим, но о нашей надежде,
На пороге грядущего утра мы шлем вам привет: добрый день!
Шлем его тем, кто близко,

И тем, кто получит приветствие наше тогда,
Когда сумерки тихо в дома прокрадутся.
И все же: день добрый сегодня и завтра,
День добрый от самого сердца, от всей нашей крови.

Ровесник века, Деснос провел детство в самом сердце старого Парижа: здесь каждый перекресток, каждое здание хранит легенду. На этих мостовых разыгрывалась история Франции, и юный поклонник «Собора Парижской богоматери» и «Отверженных» был зачарован призраками многовекового прошлого, о котором рассказывали потрескавшиеся стены.

Став взрослым, Деснос увлекался латиноамериканской народной музыкой, открытой им во время поездки на Кубу, и экзотическим хламом, найденным на «блошином рынке» — парижской толкучке. Но и в жизни, и в поэзии он неизменно оставался истинным парижанином — вольнодумцем и острословом, по-вийоновски приверженным к земным радостям, светлым в печали, в раздумьях о смерти и стыдливо-ироничным в душевных порывах. Дух буйного, мятежного непокорства, унаследованный от санкюлотов-якобинцев, блузников рабочих предместий 1848 года, коммунаров 1871, как-то очень дружно уживался в нем с тягой к картезианскому рационализму, классически четкой ясности: он умел быть математически строгим даже в своих опытах «словесной алхимии». Деснос был знатоком парижского просторечия, сочинял на нем песенки в духе старинных заплачек, переплетая задушевность с незлым подтруниванием, позднее — издевательские сонеты о маршале Петэне, коллаборационистах. В своих радиопередачах он подхватывал и обыгрывал словечки, подслушанные в толпе; Парижу и парижанам посвящены его многочисленные «куплеты», поэма «Ночной сторож на Мосту Менял». В этой привязанности к родному городу не было, однако, и намека на головной культ архитектурных красот: поэта привлекали жители, а не камни, атмосфера душ, а не урбанистические пейзажи. В 1942 году в «Куплетах улицы Сен-Мартен» Деснос с тоской и укором сетовал на улицу своего детства, ставшую чужой с тех пор, как однажды перед рассветом немцы увели отсюда его закадычного друга.

Средневековые предания о чернокнижниках, пиратах, о соблазнителе Дон-Жуане и человеке, потерявшем свою тень, срастались в воображении Десноса с фольклором современного города, который зачастую возникает из газетной хроники, раздутой молвой, украшенной пересудами. На стыке стародавних легенд и сегодняшней повседневности рождались лучшие образцы десносовской поэзии — шутливо-горестное приглашение всплакнуть над судьбою пирата, растерявшего свои замки, наложниц, былую осанку и заделавшегося прилежным служащим с одышкой и вечным страхом лишиться места, или знаменитый цикл о «безголовых» — потомках людей, «которые сражались бы в завтрашних революциях, если бы судьба не обрекла их погибнуть в революциях вчерашних... людей из братской могилы у Стены коммунаров». Деснос придаст им сказочный облик парней без головы — в память об их предках-бунтовщиках, кончавших свои дни на гильотине, в знак их отчаянного «безрассудства», побуждавшего вновь и вновь восставать против тех, кто посылал их на плаху, и еще — как упрек в том, что они слишком уж медлят опять обзавестись собственной головой на плечах, довольствуясь мечтательным бездействием ума.

В самом преддверии своей зрелости Деснос столкнулся с войной 1914 года. Правда, он был слишком юным, чтобы вместе с барбюсовскими «пуалю» месить окопную грязь. Но и достаточно взрослым, чтобы за трескучим фейерверком газетных сводок расслышать треск выстрелов отнюдь не игрушечных винтовок и стоны своих старших сверстников, умиравших ради того, что его школьные учителя называли «христианской цивилизацией». Отвращение к лозунгам и добродетелям, освящавшим эти судороги прогнившего мира, бессильный гнев и мечта о всеразрушающем бунте — вот настроения, охватившие Десноса, когда он прощался с детством. Юноша резко порвал с семьей и пренебрег карьерой, чтобы на свой страх и риск пуститься вплавь по житейскому морю. В растерзанном послевоенном Париже он свел дружбу с отчаянными сорвиголовами, у которых презрение к мещанской респектабельности доходило до оправдания кражи и разбоя и которые рисовались воображению Десноса чем-то вроде Робин Гудов

XX столетия. А вскоре судьба свела его и с сюрреалистами, грозившими взломать двери, за которыми до сих пор хранились ценности добропорядочного здравого смысла, с той же дерзостью, с какой знакомые Десноса по живописной компании анархистов-взломщиков вскрывали банковские сейфы.

Среди сюрреалистов, запальчиво и шумно ополчившихся на склеротически окостенелое буржуазное мышление, а на деле остававшихся пленниками порожденных его распадом философско-эстетических галлюцинаций, Деснос быстро стал своим. Он обладал поразительной способностью к языкотворчеству и охотно употреблял ее на то, чтобы выворачивать наизнанку ходячие прописи, придумывать головоломные словесные фокусы, в кратких афоризмах играть на клавиатуре сходных по звучанию корней и окончаний. Десносовские стихи и поэмы тех лет взвинченны, искажены гримасами «черного юмора»; их трагизм — зачарованность ликами смерти, ужас перед светопреставлением, которое захлестывает мир и сознание заблудившейся в нем личности. У законодателя сюрреалистов Андре Бретона, кажется, не было более ревностного адепта, чем Деснос. Зато он же одним из первых сделался вероотступником, как только обнаружил, что рецепты «сюрреалистского письма» сковывают и грозят разрушить его талант, а бретоновское ниспровержение «выродившейся цивилизации» ограничивается ни для кого не опасными зажигательными анафемами. Объявив однажды и во всеуслышание всю доктрину сюрреализма смердящим трупом, а ее верховного блюстителя — скрытым пособником мракобесов-мистиков, Деснос обрел независимость.

Разрыв, наделавший немало шума, произошел в 1930 году. Франция подходила к очередному историческому перепутью. Поэзии предстояло покинуть кельи алхимических экспериментов, выйти на улицу, и Деснос осознал это раньше многих своих друзей, заявив: «Я провозглашаю пришествие эстетики понятного». Выбравшись из лабиринтов разорванного подсознания, он тянулся к цельной ясности, от изысков поэм-шарад для немногих посвященных он обратился к поискам «поэтической речи одновременно народной и точной... обыденной и лиричной».

«Наяву» — вызывающе озаглавил один из своих циклов тех лет Деснос, еще вчера приводивший в восторг сюрреалистов своим умением впадать в прострацию и диктовать бессвязные сновидения. Погоне за смутными химерами он предпочитал отныне открытие повседневности, простой и полной загадок, с ее трудными буднями и смехом нечастых праздников. В тогдашней французской поэзии, пожалуй, не найти других столь безыскусных, проникнутых таким доверием к жизни признаний, как десносовская лирика: словно шагает по земле очень доброжелательный человек с широко открытыми глазами и не мудрствуя лукаво ведет рассказ об увиденном, заставившем задуматься, огорчившем, радостном. Он радушно приемлет все живое, твердо зная, что счастье— не иллюзия простаков, но дело рук людских. У его веры нет ничего от краснодушия, она добыта ценой нелегких потерь и побежденного отчаяния. И потому человек в пути с улыбкой бросает прохожим и домам, реке и звездам, товарищам и любимой приветливое «День добрый!».

Перед самой войной, которую во Франции окрестили «забавной» и которая оказалась чревата национальной катастрофой, Деснос написал «Кантату в честь торжественного открытия Музея Человека», положенную на музыку Дариусом Мийо. Земная история человечества, о которой речь ведется вслед за космической историей мироздания, представлена здесь отнюдь не праздничным шествием поколений сквозь столетия; но не менее далека она и от бессмысленного блуждания по кругам абсурда, какой она рисуется пророкам философии апокалипсиса. Пророчество Десноса иного рода: впереди ему виделась заря, и земля, залитая солнцем, и «товарищи люди», снимающие обильную жатву.

Право на это предсказание Десносу пришлось оплатить жизнью. Мобилизованный в 1939 году, он познал сумятицу разгрома, опасности выхода из окружения, унижения француза, вернувшегося в хмурый оккупированный Париж. Казалось, все недавние надежды рассыпались в прах, но Деснос в самую мрачную годину оставался певцом надежды, вестником весны для тех, кто в ледяной ночи бодрствует, чтоб «не проспать рассвет».

В устах Десноса слова веры — не утешающее заклинание, но призыв к оружию: «Сердце, ненавидевшее войну, ныне бьется для боя и сражения. Сердце, которое билось вместе с морскими приливами, со сменой времен года, с чредой часов ночи и дня, ныне набухает и гонит по венам кровь, обжигающую порохом и ненавистью...» Кровью своего сердца писал Деснос статьи в легальной прессе, до поры до времени чудом миновавшие ножницы цензоров, потом стихи в подпольной печати; по велению сердца он пришел в ряды Франции сражающейся, занимался сбором данных о военных эшелонах для партизан.

О поэзии французского Сопротивления у нас говорилось немало, но, как правило, ее сводили к двум-трем именам. А между тем то был полноводный поток, и редкий французский поэт не внес от себя лепту в эту летопись национальной трагедии и патриотического подвига. Перу Десноса принадлежит в ней несколько блестящих страниц. Он был одним из тех, кто, по словам Арагона, в час страданий и мужества «раздавал свои песни от всей души, не спрашивая платы». Сатирик, поносивший гитлеровских пособников на площадном наречии, и агитатор, страстно взывавший к уму и совести соотечественников, сочинитель немудрящих фольклорных куплетов и философ-пантеист, искавший поддержки своему оптимизму в раздумье о круговороте вечно обновляющейся природы, чуткий лирик, черпавший в любви силу продолжать жить во весь рост, и рассказчик побасенок для детей, которых он, вопреки всем невзгодам, заботливо вводил в чудесное царство зверушек и растений,— Деснос в последние, самые суровые годы жизни вступил в пору щедрой зрелости своего дарования.

Слово для поэтов — строительный материал, каждый на свой лад возводит здание. Одни витийствуют, другие плетут узор, третьи ворожат. Поздний Деснос почти всегда просто беседует. Иногда по-уитменовски вольно, громко, размашисто, иногда с лукаво-простодушной улыбкой, чаще задумчиво, доверительно или — в философских стихах — строго, чуть наставительно, тщательно оттеняя едва заметные повороты мысли. Перед ним всегда собеседник, которого он старается не столько поразить живописностью картины или подспудной музыкой фразы, не столько растрогать или насмешить, сколько поделиться с ним думами, наблюдениями, душевным опытом. При всей виртуозности Десноса, возрождавшего самые сложные формы классической поэтики, включая сонет и терцетную строфу, при всей гранености его афористичных строк и умении возвращать стертым речениям первозданную свежесть, секрет его мастерства в другом. Деснос ненавязчиво назидателен и прозорлив, очень вдумчив и очень прост, даже бесхитростен. И наделен редким даром подсказывать нам, как различить удивительное в примелькавшемся, в капельке — вселенную, в заурядном случае — дыхание истории.

Когда 22 февраля 1944 года за Десносом пришли из гестапо, в его письменном столе хранилась стопка готовых рукописей (их публикация растянулась почти на двадцать лет). Еще больше осталось набросков, едва намеченных или близких к завершению. Деснос был препровожден в парижскую тюрьму Френ, потом в Компьенский лагерь. Жене и друзьям удалось устроить так, чтобы его имя исчезло из списков французов, намеченных к отправке в Германию. Прослышав об этом, один из литераторов-коллаборационистов в разговоре с видным гестаповцем изумился: «Деснос не будет выслан? Да вы должны его расстрелять! Ведь это опасный тип, террорист, коммуинст!» Пожелание доносчика, потом сбежавшего во франкистскую Испанию, осуществилось: Освенцим, Бухенвальд, пересыльные лагеря в Германии и Чехословакии — Деснос до конца прошел крестный путь узников нацизма.

Он все же дожил до победы и успел сказать занимающейся заре свое неизменное «День добрый!». И пусть на этот раз приветствие Десноса для него самого было прощанием с жизнью.

Добрый день! — по-прежнему улыбается его поэзия солнцу, весне, людям.

Самарий Великовский

Был лист зеленый

Был лист зеленый, на нем были линии:
Линия жизни,
Линия счастья,
Линия сердца,
И ветка была на конце листка;
Была эта ветка меткою жизни,
Меткою счастья,
Меткою сердца,
И дерево было на кончике ветки,
Достойное жизни,
Достойное счастья,
Достойное сердца, стрелою пронзенного,
Сердца, вырезанного на древесной коре.
И дерево это никто не видел,
И на конце его были корни —
Истоки жизни,
Истоки счастья,
Истоки сердца,
И наконец,
Была Земля,
Просто наша Земля,
Такая круглая, неповторимая.
В целой Вселенной
Одна Земля.

■ ■ ■

В дверь постучи —
Тебе не ответят,
Вновь постучи —
Тебе не откроют,
Вышиби дверь —
И увидишь тогда,
Что путь свободен,
И дом свободен,
И в дом этот можно
Войти без труда.
Так и в любви и в жизни бывает...
Но не всегда.

Не видел

Не видел кометы,
Не видел звездного неба,
В тот вечер не видел.

Не видел моря в бутылке,
Не видел горы наизнанку,
В жизни такого не видел.

Но видел два глаза лучистых,
Но видел яркие губы
И даже большее видел.

■ ■ ■

Я коснулся глубин...
Ничего,
Больше нет ничего.
Я один.
Но остались
Тюрьма и ограда,
Которые надо
Разрушить, пока не пришло
Время старости, время морщин...
Сколько дел у тебя впереди!

■ ■ ■

Пирату все надоело,
Пират устал и страдает одышкой,
Пират потерял былую осанку...
Давайте всплакнем над судьбою пирата.

Позади у пирата — прошлое, полное драм,
У пирата был титул, земля плодородная, замок,
Который в руинах лежал, как и склеп, где покоились предки...
Давайте всплакнем над судьбою пирата.

Пират испытал огорченья и муки любви,
Пират был рыцарем с каменным сердцем,
Насилуя пленниц, пират вспоминал свою даму.
Давайте всплакнем над судьбою пирата.

Затем пират превратился в несчастного парня,
Стал банковским служащим или стоит за прилавком,
Не в океане корабль его плавает, а в тюильрийском бассейне...
Давайте всплакнем над судьбою пирата.

Пират стал рабом и по-прежнему им остается,
Дрожит он, когда увольненьем ему угрожает хозяин;
Нет замка, есть только мечта, притупившая волю и разум...
Давайте всплакнем над судьбою пирата.

В ожесточенной войне
Эксплуататоры ловко удар нанесли, убедив эксплуатируемых,
Что существует один только выход — бегство в мечту...
Давайте всплакнем над судьбою пирата.

Но от пролитых слез
Стала мокрой одежда пирата.
О шайка прохвостов! —
Пусть он закричит! —
Перестаньте мочиться!
Увесистым грубым пинком
Давайте разбудим пирата,

Чтобы видеть нелепые сны перестал
И взглянул на свои нарукавники,
На поредевшие волосы, на отощавшее тело,
Чтобы рабство свое осознал человек,
Наяву погрузившийся в сон...
И все же... давайте всплакнем над судьбою пирата,
Посочувствуем всем, кто похож на него.

Люди

Люди тяжелого нрава,
Люди работы трудной,
Люди раннего утра.

Машина крутится по законам Деблера.
Колеса, и снова колеса, и двери бистро,
Что покрыты испариной
От аромата кофейников и аромата горячего хлеба...
Человек, который щупает утром носки,
Затвердевшие от вчерашнего пота, и затем их с трудом надевает,
И надевает рубашку, затвердевшую от вчерашнего пота,
И думает утром, что умоется вечером,
А вечером думает, что умоется утром,
Потому что он слишком устал...
И тот, кто проснувшись с трудом открывает глаза...
И тот, кто мечтает о лихорадке,
Чтоб наконец отдохнуть на чистой постели...
И пассажир-эмигрант, у которого голод урчит в животе
В то время, как с палубы в море бросают объедки,
Целый ворох аппетитных объедков
со стола пассажиров первого класса...
И тот, кто ночует в метро
И кого из метро выгоняет дежурный...

Люди тяжелого нрава,
Люди работы трудной,
Люди раннего утра.

Четверо без головы

Их было четверо, не имеющих головы,
Четверо, у которых ее отрубили.
Их звали: четверо без головы.

Когда в кафе они заходили
И садились выпить вина в сторонке,
Официант приносил четыре воронки.

Когда они ели, это было кроваво,
Когда они пели, взрывалась октава,
Когда любили, кровь клокотала,

Когда бежали, все трепетало,
Когда рыдали, все оживало,
Когда засыпали, никто не жалел,

Когда работали, злость разбирала,
Когда гуляли, это пугало,
Когда играли, то вмиг исчезала

Боязнь, потому что играли они,
Как я или вы, как прочие люди,
И это очень всех удивляло.

Но говорили они о любви,
И кровь свою отдали б за поцелуй,
Хотя у них крови осталось мало.

На их ладонях линии, знаки,
Переплетаясь, терялись во мраке,
Как рельсы теряются в гуще лесов.

Когда восседали они, то величьем своим
королей посрамляли.
И прятались идолы, спрыгнув с крестов,
Когда эти четверо мимо шагали.

Им возвращали не раз и не два
Головы, найденные во время охоты
Или на праздниках. Но отчего-то

Их не устраивала своя голова,
В которой тускло сверкали глаза
И воспоминанья погружались в дремоту.

Возможно, шляпнику или дантисту
Не было никакого проку от них:
Радость одних огорчает других.

Все четверо живы, я в этом уверен,
Один мне известен, по крайней мере,
Возможно, я знаю и трех остальных.

Первым по счету идет Анатоль,
Вторым — Крокиньоль,
Затем — Барбемоль,
А самым последним — опять Анатоль.

Я их встречаю все реже и реже:
Меня утомляет с недавних пор
Знакомство с теми, кто слишком хитер.

Куплеты улицы Сен-Мартен

Мне улица Сен-Мартен не мила,
С тех пор как Андре Платáра здесь нет.
Мне улица Сен-Мартен не мила,
Мне все не мило, на сердце мгла.

Мне улица Сен-Мартен не мила,
С тех пор как Андре Платара здесь нет.
Он был мой товарищ. Нас дружба свела,
Мы с ним делили досуг и дела.
С тех пор как Андре Платара здесь нет,
Мне улица Сен-Мартен не мила.

Он был мой товарищ. Нас дружба свела.
И вот он исчез. В душе моей мгла.
Его на рассвете схватили. С тех пор
Мне улица Сен-Мартен не мила.

Напрасный труд — молиться святым:
Молчат святые Жак и Мартен,
Кто скажет, что стало с другом моим?
Проходят дни. Никаких перемен.
Андре Платар, мой старый товарищ,
Покинул улицу Сен-Мартен.

1942

Завтра

Я и в сто тысяч лет еще имел бы силы
Тебя, день завтрашний, предчувствовать и ждать.
Пусть время тащится, кряхтя, как старец хилый,
Я знаю, что оно идти не может вспять.

Дéнь завтрашний придет. Но ждем мы год из года.
Храня огонь и свет, мы бодрствуем и ждем,
И наша речь тиха — бушует непогода,
И отдаленный гул чуть слышен за дождем.

Из глубины ночной, во мраке леденящем
Свидетельствуем мы: прекрасен дня расцвет...
Мы жить не в будущем хотим, а в настоящем,
И потому не спим, чтоб не проспать рассвет.

Жатва

Невозможно представить себя
Полным сил, реальным, живым.
Невозможно представить себя
Вдруг исчезнувшим, словно дым.
Невозможно поверить, что ты
Не сумеешь смерть побороть,
Станешь прахом, тенью мечты
И душой, покинувшей плоть.

Розы прошлого! Как он хорош,
Как чудесен был ваш аромат!
Лепестков ваших трепетных дрожь
На заре наполняла сад.
Ваша участь была коротка,
Ваша участь с нашей судьбой
В чем-то схожа. Увядших слегка,
Вас в Салон приносили с собой.

Ваши боги жили тревожно,
Ваши боги — маленький люд,
Их бюджет был совсем ничтожен,
И ничтожным был их уют.
Ну, а нас не причислят к нищим,
И страшней наша участь, поверьте.
Невозможного мы не ищем
И не боимся смерти.

Голос

Так далеко от нас этот голос,
Что слух уловить его больше не может,
Но, как приглушенная дробь барабана,
Он все же врывается в наше сознанье.

Хотя он как будто идет из могилы,
Но говорит о весне и о лете,
И наполняет радостью тело,
И на губах зажигает улыбку.

Я слышу его, я узнал человеческий голос,
Летящий сквозь грохот сражений и сутолку жизни,
Сквозь рухнувший гром и наполненный слухами шепот.

А вы? Этот голос не слышите вы?
Говорит он: «Страданьям наступит конец».
Говорит он: «Весна уже близко, совсем уже близко».

Неужели его не слышите вы?

Эпитафия

Я жил в суровый век. Давным-давно я умер.
Я жил настороже, был ко всему готов.
Честь, благородство, ум томились в клетках тюрем,
Но я свободным был, живя среди рабов.

Я жил в суровый век, но мрак мне взор не застил,
Я видел ширь земли, я видел небосвод.
Дни солнечные шли на смену дням ненастья,
И было пенье птиц и золотистый мед.

Живые! Это все — теперь богатство ваше.
Его храните вы? Возделана ль земля?
Снят общий урожай? И хорошо ль украшен
Тот город, где я жил и где боролся я?

Живые! Я в земле, мой прах топчите смело:
Нет больше у меня ни разума, ни тела.

Последнее стихотворение

Я так много мечтал о тебе,
Я так много ходил, говорил,
Я так сильно любил твою тень,
Что теперь у меня ничего от тебя не осталось.
Одно мне осталось: быть тенью в мире теней,
Быть в сто раз больше тенью, чем тень,
Чтобы в солнечной жизни твоей
Приходить к тебе снова и снова.

Пеликан

Капитан Джонатан
Видел много разных стран,
И в одной из этих стран
Был им пойман пеликан.

Стал он жить у капитана.
Снес яйцо. И утром рано
Вдруг услышал Джонатан
Крик второго пеликана.

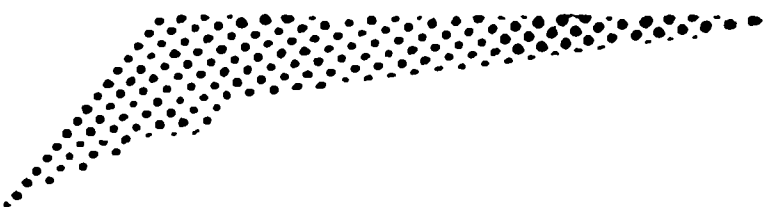
Снес яйцо второй. О горе!
Третий вылупился вскоре,
И могло бы без конца
Так и продолжаться это,
Если б не было яичниц,
Если б не было омлета.

Медведь

В зоопарке медведь
Должен в клетке сидеть.

А на небе светится
Большая Медведица.

Злюка, злюка ты! Для злючки
В супе сварены колючки.
Злюка с палкою в руке
Будет жить на чердаке,
Будет с дырами в кармане,
Женится на обезьяне.



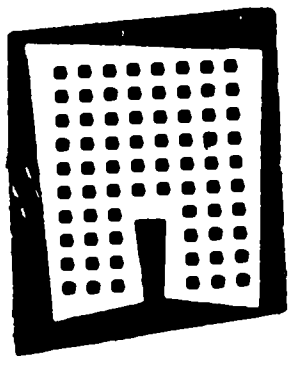
АЛЬБЕРТО МОРАВИА

ПРЕЗРЕНИЕ

РОМАН

Перевод с итальянского
Г. БОГЕМСКОГО и Р. ХЛОДОВСКОГО

Глава первая



ервые два года после женитьбы — теперь я могу утверждать это — у меня с женой были превосходные отношения. Я хочу сказать, что в течение этих двух лет полная и глубокая гармония наших чувств сопровождалась тем помрачением или, если хотите, тем молчанием разума, когда лишаешься всякой способности рассуждать и, оценивая поступки и характер любимого человека, прислушиваешься лишь к голосу любви. Словом, Эмилия казалась мне полностью лишенной недостатков, и, думаю, я представлялся ей таким же. Или, пожалуй, я видел ее недостатки, а она — мои, однако в силу чудесного превращения, произведенного любовью, они казались нам обоим не только простительными, но даже приятными, милыми, словно это были и не недостатки, а добродетели, хотя и несколько необычные. Как бы то ни было, мы не анализировали взаимные достоинства и недостатки — мы любили друг друга. В этой повести я хочу рассказать, как случилось, что в то время, когда я продолжал по-прежнему любить Эмилию, не задумываясь над ее достоинствами и недостатками, она, наоборот, открыла во мне или вообразила, что открыла, некоторые недостатки, начала меня за них осуждать, а потом и совсем разлюбила.

Чем больше счастье, тем меньше его замечаешь. Может, это и странно, но в те два года мне иногда даже казалось, что я начинаю ощущать скуку. Я, конечно, просто не отдавал себе отчета в том, насколько я счастлив. Мне казалось, что я живу, как все: люблю свою жену и любим ею, и наша любовь представлялась мне чем-то обычным, естественным, чем можно было совсем не дорожить — ведь не дорожим же мы воздухом, которым дышим и которого так много вокруг нас; мы постигаем как он нам нужен только тогда, когда его вдруг не хватает и мы начинаем задыхаться. Если бы кто-нибудь в те времена сказал мне, что я счастлив, я бы даже удивился. По всей вероятности, я ответил бы, что нет, я вовсе не счастлив, ибо, хотя мы с женой и любим друг друга, у меня нет уверенности в завтрашнем дне. Это было действительно так: мы еле сводили концы с концами на те гроши, которые я получал,

сотрудничая в качестве кинокритика в одной второстепенной газетке и еще прирабатывая разной другой журналистской поденщиной. Жили мы в меблированной комнате, снимали ее у хозяйки; мы вечно сидели без денег и не могли позволить себе ничего лишнего, а иной раз у нас не хватало даже на самое необходимое. Как же я мог быть счастлив? И только впоследствии я понял, что никогда так часто не жаловался на судьбу, как именно в то время, когда, по-видимому, вкушал всю глубину и полноту счастья.

Мы были женаты уже два года, когда наконец наши денежные дела несколько поправились: я познакомился с одним кинопродюсером по фамилии Баттиста и написал для него свой первый сценарий. На работу в кино я смотрел тогда как на нечто временное, тем более что всегда мечтал стать известным драматургом, но именно этой-то работе и суждено было сделаться моей профессией. Однако как раз в то время наши отношения с Эмилией стали омрачаться. Мой рассказ начинается именно с этих первых шагов на поприще киносценариста и появления первых признаков охлаждения в отношениях с женой — двух событий, которые произошли почти одновременно и были, как мы увидим, самым непосредственным образом связаны друг с другом.

Стараясь теперь воскресить в памяти прошлое, я смутно вспоминаю об одном случае, показавшемся мне тогда не заслуживающим внимания; только впоследствии я понял, что должен был отнестись к этому серьезно.

Я стою на тротуаре одной из центральных улиц города. Эмилия, Баттиста и я только что поужинали в ресторане. Баттиста предложил закончить вечер у него, и мы приняли приглашение. Все вместе мы подходим к красному автомобилю Баттисты: это роскошная, но небольшая машина — в ней всего два места. Баттиста садится за руль, потом, открыв дверцу, высовывается из машины и говорит: «Вам, Мольтени, придется поехать на такси... одному или, если хотите, подождите меня здесь — я вернусь за вами». Эмилия стоит рядом со мной, на ней ее единственное вечернее платье — черное шелковое, с глубоким вырезом. Меховую накидку она держит в руках — в октябре было еще тепло. Я смотрю на нее, и мне почему-то кажется, что в ее красоте, обычно такой спокойной и безмятежной, в этот вечер появилось что-то новое — какое-то беспокойство, чуть ли не смятение. Я весело говорю ей:

— Конечно, Эмилия, поезжай с Баттистой... я догоню вас на такси.

Эмилия смотрит на меня, потом медленно произносит протестующим тоном:

— Не лучше ли будет, если Баттиста поедет вперед, а мы с тобой возьмем такси?

Тогда Баттиста высовывает голову из окошка и шутливо восклицает:

— Вот это мило, значит, вы хотите, чтобы я ехал один?!

— Дело не в том, но...— возражает Эмилия, и я снова замечаю, что ее красивое, всегда такое невозмутимо-спокойное и гармоничное лицо омрачено, оно даже исказилось от глубокого душевного волнения. Но у меня уже вырвалось:

— Баттиста прав, поезжай с ним, я возьму такси.

На этот раз Эмилия уступает, вернее, подчиняется и садится в машину. Уже сидя рядом с Баттистой, еще не захлопнув дверцу, она смотрит на меня, и я читаю в ее растерянном взгляде — это было нечто совсем новое, о чем я вспоминаю только теперь, когда пишу эти строки,— мольбу и упрек, смешанные с отвращением. Я же не придал значения тому, что увидел в ее глазах, и решительным жестом, как человек, закрывающий сейф, захлопнул тяжелую дверцу. Машина уезжает, а я в самом веселом настроении, тихонько насвистывая, направляюсь к ближайшей стоянке такси.

Баттиста живет неподалеку от ресторана; если бы мне ничто не

помешало, я приехал бы одновременно с ними или несколькими минутами позже. Однако на полдороге происходит непредвиденный случай — на перекрестке такси сталкивается с какой-то машиной. Оба автомобиля слегка повреждены: у такси поцарапано и помято крыло, у другой машины — вмятина на боку. Шоферы немедленно выскакивают из машин и начинают обвинять друг друга, вокруг собирается толпа, появляется полицейский, с трудом разнимает спорящих и наконец записывает их адреса и фамилии. В течение всей этой перепалки я не выхожу из такси и не только не проявляю ни малейшего нетерпения, но даже впал в какое-то блаженное состояние от того, что много и вкусно поел и выпил и что Баттиста в конце ужина предложил мне участвовать в создании сценария. Однако на пререкания ушло минут десять, а то и пятнадцать, и я приезжаю на квартиру к продюсеру с опозданием. Войдя в гостиную, я вижу Эмилию, сидящую в кресле, и Баттисту, стоящего в углу у передвижного столика-бара. Баттиста весело меня приветствует, а Эмилия, наоборот, чуть ли не с мукой в голосе спрашивает, где я столько времени пропадал. Я небрежным тоном сообщаю о причине задержки, но сам чувствую, что ответ мой звучит уклончиво, словно я хочу что-то скрыть, на самом же деле я просто рассказываю об этом, как человек, который не придает решительно никакого значения тому, о чем он говорит. Но Эмилия не успокаивается, и в голосе ее слышатся все те же необычные нотки:

— Столкновение... какое еще столкновение?

Меня удивил и, пожалуй, даже несколько озадачил этот вопрос, и я принялся по порядку рассказывать обо всем, что со мной произошло. При этом мне показалось, что я слишком вдаюсь в детали, будто боюсь, что мне не поверят; словом, я чувствовал, что неизвестно почему взял ошибочный тон, то прибегая к недомолвкам, то пускаясь в излишние подробности. Но вот Эмилия прекращает свои расспросы, и Баттиста — воплощенная любезность,— весело улыбаясь, ставит на стол три бокала и предлагает мне выпить. Я усаживаюсь, и за болтовней и шутками — болтаем и шутим главным образом мы с Баттистой — проходит часа два. Баттиста настолько оживлен и весел, что я почти не замечаю подавленного настроения Эмилии. Впрочем, из-за своей застенчивости она всегда довольно молчалива и замкнута, так что ее сдержанность меня не удивляет. Мне лишь кажется странным, что она совсем не принимает участия в беседе, не откликается на реплики, как обычно, хотя бы улыбкой или взглядом. Она не улыбается, не смотрит на нас и только — будто одна в комнате — молча курит и потягивает вино из бокала. В конце вечера Баттиста заводит со мной деловой разговор о фильме, в создании которого я должен участвовать, рассказывает мне его сюжет, сообщает фамилии режиссера и моего компаньона по работе над сценарием, а потом предлагает зайти на следующий день к нему в контору для подписания договора. Эмилия, воспользовавшись минутой молчания, встает и говорит, что устала и хочет домой. Мы прощаемся с Баттистой, выходим на лестницу, спускаемся, вот мы уже на улице и молча идем к стоянке такси. Потом садимся в машину, такси трогается. Меня пьянит радость от неожиданного предложения Баттисты, и, не в силах сдержать ее, я обращаюсь к Эмилии:

— Этот сценарий подоспел вовремя... Просто не знаю, что бы мы без него делали... Пришлось бы залезть в долги.

Эмилия в ответ только спрашивает:

— А сколько платят за сценарии?

Я называю сумму и добавляю:

— Итак, дела наши в порядке, по крайней мере на эту зиму.

Говоря это, я беру руку Эмилии и пожимаю. Она не отнимает руки и до самого дома не произносит больше ни слова.

Глава вторая

С того вечера все, что было связано с работой, шло самым прекрасным образом. На следующее утро я отправился к Баттисте, подписал договор и получил часть аванса. Это была, насколько я помню, довольно пустая сентиментальная кинокомедия. Мне тогда казалось, что для этого жанра я, будучи по характеру человеком серьезным, совсем не подхожу; однако в ходе работы неожиданно выяснилось, что именно этот жанр и оказался моим истинным призванием. В тот же день состоялась моя первая деловая встреча с режиссером и вторым сценаристом.

Я могу совершенно точно указать момент, когда началась моя кинокарьера,— это был вечер, проведенный у Баттисты, но мне очень трудно с такой же точностью сказать, когда стали портиться мои отношения с женой. Я мог бы, разумеется, считать началом охлаждения все тот же вечер, но понял я это только теперь, как говорится, задним числом, тем более что в отношении ко мне Эмилии пока еще не было заметно ни малейших перемен. Перемена, несомненно, произошла в течение месяца после того самого вечера, проведенного у Баттисты, но я действительно не в состоянии сказать, когда именно в сердце Эмилии одна чаша весов окончательно перевесила другую и что могло послужить тому причиной.

В то время мы виделись с Баттистой ежедневно, и я мог бы рассказать во всех подробностях о многих других эпизодах, подобных тому, какой произошел в тот памятный вечер у него дома. Я говорю об эпизодах, которые тогда ничем не выделялись, как, по крайней мере, мне казалось, на общем фоне нашей жизни; впоследствии, однако, каждый из них приобрел в моей памяти свои отличительные черты, занял свое особое место. Мне только хотелось бы отметить одно обстоятельство: всякий раз, когда нас приглашал Баттиста,— а это происходило теперь довольно часто,— Эмилия отказывалась идти со мной. Правда, противилась она не слишком сильно и решительно, но с удивительным постоянством. Она всегда находила какой-нибудь предлог избежать общества Баттисты, я же каждый раз настойчиво доказывал Эмилии, что ее отговорки несостоятельны, и все выспрашивал, не питает ли она к Баттисте антипатии, а если питает, то по какой причине. На мои вопросы она в конце концов неизменно, хотя и не без замешательства, отвечала, что Баттиста ей вовсе не антипатичен и она ничего против него не имеет, просто ей не хочется идти с нами потому, что эти вечерние выходы ее утомляют и вообще ей надоели. Меня не удовлетворяли такие не очень убедительные объяснения, и я продолжал донимать ее; все-таки между ней и Баттистой, наверно, что-то произошло, хотя, возможно, сам Баттиста этого и не заметил, или же так получилось помимо его воли. Но чем настойчивее я пытался доказать Эмилии, что она не симпатизирует Баттисте, тем упорнее она продолжала это отрицать, и замешательство ее под конец сменялось самым упрямым и решительным сопротивлением. Тогда, вполне успокоившись относительно чувств, испытываемых ею к Баттисте, и поведения Баттисты по отношению к ней, я начинал излагать ей доводы в пользу наших совместных вечерних развлечений: до сих пор я один никогда никуда не ходил, и Баттиста это прекрасно знает; и потом, Баттисте ее присутствие доставляет удовольствие — об этом говорит хотя бы то, что всякий раз, приглашая меня, он просит: «Приходите, пожалуйста, с женой»; ее неожиданное отсутствие, которое трудно объяснить, может показаться Баттисте признаком неуважения или, что еще хуже, может его обидеть, а от Баттисты теперь зависит вся наша судьба. В общем, поскольку Эмилия не может привести никаких серьезных доводов в оправдание своего отказа, а я, наоборот, могу привести множество самых основательных аргументов почему ей надо пойти, то не

лучше ли будет ей примириться со скукой этих вечеров и превозмочь усталость. Эмилия обычно слушала мои рассуждения рассеянно, с каким-то отрешенным видом: пожалуй, более внимательно, чем за моими доводами, следила она за жестами, которыми я их сопровождал, и за выражением моего лица; в конце концов она обычно сдавалась и начинала молча одеваться. Перед самым уходом, когда она была уже совсем готова, я спрашивал ее в последний раз: ей в самом деле так не хочется идти со мной? Я делал это не потому, что сомневался в ее ответе, а скорее потому, что не хотел вызывать у нее и тени сомнения насчет ее полной свободы поступать, как ей нравится. Она самым категорическим тоном отвечала, что действительно не имеет ничего против, и тогда мы выходили из дому.

Однако все это мне удалось восстановить в памяти, как я уже упомянул, лишь позднее, терпеливо роясь в прошлом и воспроизводя многие незначительные или, по крайней мере, казавшиеся мне прежде незначительными факты, которых в то время я просто почти не замечал. Тогда я понимал только, что отношение Эмилии ко мне изменилось к худшему, но совершенно не мог ни объяснить причины этого, ни определить, в чем именно это ухудшение выражается: так при еще безоблачном небе гнетущая тяжесть в воздухе возвещает приближение грозы.

Все чаще я стал думать о том, что Эмилия любит меня меньше, чем прежде: я заметил, что теперь она уже не стремится всегда быть со мной, как в первые дни и месяцы нашей совместной жизни. Раньше, когда я говорил: «Послушай, мне надо часа на два уйти. Я постараюсь вернуться как можно скорее»,— она не возражала, однако всем своим видом — покорным, но опечаленным — показывала, что мое отсутствие ей неприятно. Поэтому нередко случалось, что, махнув рукой на все дела, я оставался дома или же, если это было возможно, брал жену с собой. Ее привязанность ко мне в те времена была так сильна, что однажды на вокзале, провожая меня — я уезжал всего на несколько дней в Северную Италию,— она отвернулась, чтобы я не увидел ее слез. Я сделал вид, что ничего не заметил, но всю поездку меня мучило воспоминание о слезах, которых она стыдилась, но не могла сдержать, и с тех пор я никогда больше не уезжал один. Теперь же, когда я говорил ей, что ухожу из дому, на лице ее не появлялось знакомого, столь любимого мной выражения легкого недовольства и грусти. Она лишь спокойно, часто даже не поднимая глаз от книги, отвечала: «Хорошо... значит, увидимся за ужином... смотри не задерживайся». Иногда мне даже казалось, что ей хочется, чтобы я не приходил подольше. Скажем, я предупреждал ее: «Я ухожу, вернусь в пять». А она отвечала: «Можешь не торопиться... у меня полно дел». Однажды я в шутку заметил, что она, видимо, предпочитает, чтобы я поменьше бывал дома, но Эмилия уклонилась от прямого ответа. Она лишь сказала, что раз я все равно занят почти целый день, то нам лучше видеться только за едой — тогда и она сможет спокойно заниматься своими делами. Это было верно, но лишь отчасти: работая над сценарием, я уходил из дому только во второй половине дня, все остальное время я неизменно старался проводить с Эмилией. Но после того разговора я стал уходить и по утрам.

Когда Эмилия еще выказывала недовольство моим отсутствием, я отправлялся по делам с легким сердцем, в сущности, радуясь этому ее чувству, так как видел в нем новое доказательство ее большой любви. Однако стоило мне заметить, что она не только не проявляет ни малейшей досады по поводу моего ухода, но, по-видимому, даже предпочитает оставаться одна, как я ощутил смутную тревогу — нечто подобное должен испытывать человек, неожиданно почувствовавший, что земля уходит у него из-под ног. Теперь я не бывал дома не только после обеда, но, как я уже сказал, и утром, причем часто с единственной целью — проверить,

существует ли это совершенно новое и столь горькое для меня равнодушие Эмилии. Со временем она не только перестала проявлять какое-либо недовольство, а наоборот: стала относиться к моему отсутствию совершенно спокойно, даже, как мне казалось, с плохо скрываемым облегчением. Вначале я пытался объяснить эту холодность, пришедшую после двух лет супружеской жизни на смену любви, неизбежным появлением привычки, пусть даже исполненной самой нежной заботливости,— ведь спокойная уверенность супругов во взаимной любви, конечно, лишает их отношения какого бы то ни было налета страсти. Но я и сам чувствовал, что это не так,— именно скорее чувствовал, чем сознавал,— ибо мысль, несмотря на всю ее кажущуюся логичность, обманывает нас чаще, чем смутное и неясное чувство. Словом, я видел, что Эмилия перестала досадовать на мое отсутствие не потому, что считала его неизбежным или перестала бояться, что оно может повлиять на наши отношения,— она просто меньше любила меня, если совсем не разлюбила. И я чувствовал также: произошло нечто такое, что серьезно повлияло на ее чувство ко мне, недавно еще необыкновенно сильное и страстное.

Глава третья

Когда я впервые встретился с Баттистой, положение мое было крайне затруднительным, чтобы не сказать ужасным, и я не знал, как мне из него выпутаться. Дело в том, что я решил купить квартиру, хотя у меня не было денег для выплаты всей необходимой суммы и я не представлял себе, где ее достать. Первые два года мы с Эмилией жили в большой меблированной комнате. Может быть, другая женщина и не страдала бы от такого временного устройства, но Эмилия — в этом я совершенно уверен, — согласившись жить в таких условиях, дала мне самое большое доказательство любви, какое только может дать мужу преданная жена. Эмилия была женщина «домовитая», однако ее любовь к дому выходила за пределы естественного и свойственного всем женщинам чувства, это было нечто вроде пылкой и всепожирающей страсти, чуть ли не алчности, страсти, которая была сильнее Эмилии и корнями своими уходила, по-видимому, куда-то очень глубоко. Эмилия выросла в бедной семье. Когда я с ней познакомился, она работала машинисткой. Я думаю, что в ее любви к дому бессознательно проявлялись разбитые надежды обездоленных людей, у которых никогда не было возможности обзавестись своим кровом, пусть даже самым скромным. Не знаю, надеялась ли Эмилия, выходя за меня замуж, осуществить свою мечту о собственном доме. Но я хорошо помню один из тех немногих случаев, когда видел ее плачущей,— это произошло вскоре после нашего обручения, когда я вынужден был признаться, что пока еще не могу ни купить, ни даже снять для нее квартиру и что поэтому первое время нам придется довольствоваться меблированной комнатой. Правда, она сразу же совладала со слезами, хоть они, по-моему, и были вызваны не только горьким сожалением о том, что осуществление столь дорогой мечты отодвигается на неопределенный срок: в них обнаружилась вся глубина и страстность этой мечты — в сущности, даже не мечты, а того, в чем Эмилия видела чуть ли не смысл жизни.

Итак, первые два года мы жили в меблированной комнате. Но какую чистоту и какой порядок поддерживала в ней Эмилия! Насколько это было возможно — а в меблированной комнате это отнюдь не просто,— Эмилия пыталась создать иллюзию, будто у нее собственная квартира. И поскольку у нас не было своей обстановки, она стремилась вложить в чужую обшарпанную мебель всю свою душу домовитой и аккуратной

хозяйки. На моем письменном столе неизменно стояла ваза с цветами; мои бумаги были всегда разложены в исключительном порядке и словно звали меня к работе, гарантируя мне максимальные удобства; не было случая, чтобы на чайном столе не лежали салфетки и не стояла вазочка с печеньем; никогда одежда или предметы туалета — как это часто бывает в подобного рода тесных и временных обиталищах, — не оказывались там, где им не следует быть,— на полу или на стульях. После уборки, наскоро сделанной служанкой, Эмилия еще раз тщательно прибирала комнату, да так, чтобы все, что могло блестеть и сверкать, блестело и сверкало, будь то латунный шарик на оконном шпингалете или почти незаметный кусочек паркета. По вечерам она сама, без помощи горничной, стелила постель, и всегда на кровати с одной стороны лежала ее прозрачная ночная рубашка, а с другой — моя пижама; одеяло было аккуратно отогнуто, а подушки удобно уложены. Утром она поднималась раньше меня, шла на общую кухню, готовила завтрак и приносила его мне на подносе. Все это Эмилия делала бесшумно, размеренно и естественно, но с пылом и старанием, которые говорили о чувстве, слишком глубоком, чтобы в нем можно было признаться. И тем не менее, несмотря на все героические усилия Эмилии, меблированная комната оставалась меблированной комнатой. Иллюзия, которую Эмилия пыталась создать у себя и у меня, никогда не была полной. Иной раз в минуты большой усталости она начинала жаловаться, правда, мягко и по складу своего характера почти спокойно, но все-таки не без внутренней горечи; в таких случаях она спрашивала меня, до каких же пор будет продолжаться эта наша временная и неустроенная жизнь. Я понимал, что за внешним спокойствием Эмилии скрывается подлинная боль, и меня мучила мысль о том, что рано или поздно я должен буду найти способ как-то удовлетворить ее страстное желание обзавестись собственным домом.

В конце концов, как уже было сказано, я решил купить квартиру; не потому, что у меня появились деньги — их у меня по-прежнему не было,— а потому, что я понимал, как страдает Эмилия, и опасался, что в один прекрасный день чаша ее терпения переполнится. За два года нашей совместной жизни я отложил небольшую сумму; добавив к ней деньги, взятые в долг, я смог сделать первый взнос. Однако я не испытывал при этом удовлетворения человека, приобретающего для своей жены квартиру; наоборот, я ощущал мучительное беспокойство, так как совершенно не представлял себе, каким образом мне удастся выкрутиться через месяц, когда подойдет срок выплаты следующего взноса. Я впал в такое отчаяние, что даже чуть ли не злился на Эмилию, чье упорное и страстное стремление иметь собственное пристанище в какой-то мере вынудило меня пойти на столь необдуманный и рискованный шаг.

Но искренняя радость Эмилии, когда я сообщил ей о покупке квартиры, и необычайно бурное ликование, внезапно овладевшее ею, когда мы вошли в наши еще не обставленные комнаты, на некоторое время заставили меня забыть о всех моих страхах и волнениях. Я уже говорил, что любовь к дому была у Эмилии поистине страстью; более того, в тот день мне показалось, что к этой страсти примешалась даже чувственность; словно то, что я наконец купил для нее квартиру, сделало меня в ее глазах как бы более желанным.

Мы пошли посмотреть нашу квартиру. Сперва Эмилия просто ходила со мной по пустым и холодным комнатам, а я говорил ей, как мне хотелось бы расставить мебель. Но в конце нашего осмотра, когда я подошел к окну, чтобы распахнуть его и показать, какой из него открывается вид, Эмилия вдруг прижалась ко мне и тихо попросила поцеловать ее. Для нее, обычно столь сдержанной и почти робкой в проявлениях любви, это было чем-то совершенно новым и неожиданным. По-

раженный и взволнованный ее тоном, я поцеловал ее. Это был один из самых пылких, самых опьяняющих поцелуев, которыми мы когда-либо обменялись.

Однако в пылкости столь неожиданно бурных объятий Эмилии я почувствовал не только любовь ко мне, прежде всего я ощутил в них порыв подавленной страсти к собственному очагу, которая как бы сама собой вылилась в чувственное желание. Необставленные гулкие комнаты, еще пахнущие краской и непросохшей штукатуркой, всколыхнули в глубинах ее души что-то такое, чего до сих пор не могли пробудить все мои страстные ласки.

Между нашим посещением еще пустой квартиры и переездом в нее прошло два месяца. За это время мы оформили договор на покупку квартиры на имя Эмилии — я знал, что это доставит ей удовольствие,— и, насколько позволили мои весьма ограниченные средства, приобрели кое-какую мебель. Когда прошло первое чувство удовлетворения от того, что квартира мною все-таки куплена, я, как уже говорилось, стал испытывать мучительное беспокойство при мысли о будущем, а временами просто впадал в отчаяние. Конечно, зарабатывал я неплохо; неплохо, чтобы жить скромно и даже немного откладывать, но заработка моего было явно недостаточно, чтобы сделать ближайший взнос за квартиру. Я приходил в тем большее отчаяние, что не мог даже отвести душу, поговорив обо всем с Эмилией: мне не хотелось отравлять ее радость. Теперь я вспоминаю о том времени, как о поре, когда я пребывал в постоянной тревоге и даже как-то меньше любил Эмилию. Я не мог не думать, что, хотя она великолепно знала наши реальные возможности, ее нисколько не беспокоило, где я смогу раздобыть такую уйму денег. Поэтому меня неприятно изумляло и чуть ли не раздражало то, что радостная и возбужденная Эмилия все эти дни все время только и бегала по магазинам в поисках обстановки для квартиры и ежедневно преспокойно оповещала меня о какой-нибудь новой покупке. Я спрашивал себя, как может она, любя меня, не догадываться о моих страхах и беспокойстве. Я понимал, что, по всей вероятности, Эмилия решила: раз уж я купил квартиру, то, конечно, позаботился и о том, чтобы достать необходимые для этого деньги; и все же то, что она была такой безмятежно довольной, когда меня не оставляли тревожные мысли, казалось мне проявлением ее эгоизма или, по меньшей мере, черствости.

В ту пору я был настолько озабочен мыслями о деньгах, что у меня изменилось даже представление о себе самом. Я считал себя интеллигентным, культурным человеком, драматургом по призванию; я всегда питал пристрастие к драматургии и полагал, что мне следует посвятить всего себя ей. Этот — скажем так — нравственный облик побуждал меня смотреть определенным образом и на собственную внешность: мне казалось, худоба, близорукость, нервность, бледность, небрежность в одежде являются у молодого человека признаками будущей литературной славы, которая, как я считал, была мне уготована. Но тягостные заботы вытеснили из моего сознания этот столь заманчивый и многообещающий образ и заменили его другим — образом жалкого бедняка, запутавшегося в сетях страсти и погрязшего в тине мелких неудач; он не смог устоять перед любовью к жене и потому решился на шаг, превышающий его силы, и кто знает, как долго еще придется ему страдать от унизительного отсутствия денег. Изменился также и мой взгляд на собственную персону, я уже казался себе не молодым, непризнанным театральным гением, а всего только голодным журналистом, сотрудничающим во второсортных газетках и журнальчиках, или, что еще хуже, ничтожным служащим какой-нибудь частной фирмы или государственного учреждения: бедняга, чтобы не волновать жену, скрывает от нее свои тревоги, целыми днями бегает по городу в поисках работы и в большинстве слу-

чаев не находит ее; он просыпается по ночам, вздрагивая при мысли о долгах, которые надо платить; одним словом, ничего не знает и не видит, кроме денег. В таком, возможно и трогательном, персонаже не было ни блеска, ни достоинства, это был жалкий герой из какой-нибудь бульварной книжонки, и я остро ненавидел его, так как боялся, что постепенно, со временем, полностью уподоблюсь ему во всем. Но так уж вышло — я женился не на женщине, которая разделяла бы и понимала мои мысли, вкусы и стремления, а на необразованной машинистке, зараженной, как мне казалось, всеми предрассудками своего класса. С понимающей меня женщиной я мог бы переносить тяготы бедной и неустроенной жизни в какой-нибудь студии или меблированной комнате, ожидая будущих успехов на поприще драматургии; теперь же я вынужден был любой ценой создавать домашний очаг, о котором мечтала моя жена. Ради него, думал я в отчаянии, мне придется отказаться, и, быть может, навсегда, от столь дорогих для меня честолюбивых мыслей о литературной карьере.

Итак, мной владели тоска и сознание собственного бессилия перед материальными трудностями. Если железный прут долго держать над огнем, он становится мягким и гнется; вот и я чувствовал, что свалившиеся на меня заботы точно так же постепенно ослабляют и сгибают меня. Я отчетливо сознавал, что непроизвольно завидую тем, кто не знает подобных забот, — людям богатым и привилегированным; я замечал, как к этой зависти, и опять-таки помимо моей воли, примешивается злоба и направлена она не против конкретных лиц или обстоятельств, но неудержимо стремится принять общий и отвлеченный характер определенного миросозерцания. Одним словом, в эти трудные для меня дни я мало-помалу стал замечать, как раздражение и досада, вызванные у меня отсутствием денег, превращаются в чувство возмущения несправедливостью — и не только той, которая совершалась по отношению ко мне, но и той, от которой страдало бесчисленное множество мне подобных. Я отдавал себе отчет в том, что мои личные обиды незаметно переходят в настроения и размышления, не связанные уже только со мной; я замечал это по ходу своих мыслей, постоянно и неуклонно развивавшихся в одном и том же направлении, по своим разговорам, которые, независимо от моего желания, все время вращались вокруг одного и того же вопроса. Тогда же я обнаружил в себе все возрастающую симпатию к политическим партиям, заявляющим, что они борются против пороков и недостатков того самого общества, которое я винил в терзавших меня заботах. Это общество, думал я, обрекает на голод лучших своих сынов — при этом я имел в виду себя самого — и потакает худшим. У людей попроще и необразованных все это обычно совершается как бы само собой в темных глубинах сознания, где некая таинственная алхимия перерабатывает эгоизм в альтруизм, ненависть в любовь, страх в мужество; но для меня, привыкшего наблюдать за собой и заниматься самоанализом, процесс этот был предельно ясным, словно я следил, как он совершается в ком-то другом. Я все время понимал, что мною движут чисто материальные и эгоистические побуждения и что я распространяю на все человечество то, что имеет отношение только ко мне одному.

Наконец совершился наш переезд, а через день — совпадение это кажется мне теперь роковым — я встретил Баттисту и, как уже рассказывал, сразу же получил от него приглашение работать над сценарием для одного из его фильмов. Я вздохнул свободно, и на некоторое время мне стало так хорошо и легко, как давно уже не было. Я думал, что сделаю четыре-пять сценариев, расплачусь за квартиру, а затем опять займусь журналистикой и дорогим моему сердцу театром. Я снова и еще сильнее, чем прежде, любил Эмилию и часто, испытывая при этом мучи-

тельные угрызения совести, ругал себя за то, что мог думать о ней плохо, считая ее черствой эгоисткой. Однако просвет этот был недолгим. Почти сразу же вслед за ним небо моей жизни заволокли тучи. Впрочем, сперва появилось только маленькое облачко, правда, достаточно темное.

Глава четвертая

Встреча с Баттистой произошла в первый понедельник октября. Через неделю мы въехали в уже полностью обставленную квартиру. Квартира эта, стоившая мне стольких хлопот и огорчений, по правде говоря, не была ни большой, ни роскошной. Она состояла всего из двух жилых комнат: большой гостиной и спальни. Ванная, кухня и комната для прислуги, как это обычно бывает в современных домах, были очень маленькие. Кроме того, имелась еще крохотная комнатушка без окна, где Эмилия пожелала сделать свою гардеробную. Наша квартира находилась на последнем этаже нового дома, такого белого и сверкающего, словно он был сделан из гипса. Стоял он на маленькой, слегка пологой улочке. По одну сторону улицы выстроился ряд точно таких же, как наш, домов, по другую тянулась ограда парка чьей-то виллы, высокие деревья простирали поверх нее свои ветви. Вид, открывавшийся из нашей квартиры, был превосходный, и я обратил на это внимание Эмилии. Казалось даже, что парк с проглядывающими сквозь деревья извилистыми дорожками, фонтанами и лужайками не отделен от нас ни улицей, ни оградой и что мы можем спускаться и гулять в нем, когда нам вздумается.

Мы переехали в полдень, у меня были какие-то дела, и сейчас я уже не помню, ни где, ни с кем мы тогда обедали, помню только, что около полуночи я стоял в спальне перед зеркалом и медленно развязывал галстук. Вдруг в зеркале я увидел, как Эмилия взяла с кровати подушку и направилась к двери в гостиную. Я очень удивился и спросил:

— Что ты делаешь?

Я произнес это не оборачиваясь. Опять-таки в зеркале я увидел, как она остановилась в дверях и, оглянувшись, сказала безразличным тоном:

— Ты не обидишься, если я буду спать на диване?

— Нынче ночью? — спросил я растерянно, ничего не понимая.

— Нет, всегда,— быстро ответила Эмилия.— По правде сказать, это было одной из причин, почему мне хотелось перебраться в новую квартиру... Я не могу больше спать, как ты любишь, с открытыми окнами. Каждое утро я просыпаюсь на рассвете и уже не могу уснуть, а потом весь день хожу сонная... Ты не обидишься?.. Думаю, нам лучше спать врозь.

Я все еще ничего не понимал, подобный сюрприз в первую минуту вызвал у меня лишь легкое раздражение. Подойдя к Эмилии, я сказал:

— Но ведь это же невозможно... у нас всего две комнаты, в одной — кровать, в другой — диван и кресла. Зачем? А кроме того, спать на диване неудобно.

— Я все никак не могла решиться сказать тебе об этом, — проговорила Эмилия, опустив глаза и не глядя на меня.

— Все эти годы,— продолжал я,— ты никогда не жаловалась. Я считал, что ты привыкла.

Она посмотрела на меня и, как мне показалось, явно обрадовалась, что разговор принял такое направление.

— Нет, я никак не могу привыкнуть... Я все время спала плохо... Возможно, именно поэтому я стала такой нервной. Если бы еще мы ложились рано, но то из-за одного, то из-за другого мы всегда засыпаем поздно... И вот... — Не докончив фразы, она направилась в гостиную.

Я догнал ее.

— Погоди, — торопливо сказал я,— если тебе так уж хочется, я могу спать и с закрытыми окнами... Ну, хорошо, с сегодняшнего дня мы будем спать с закрытыми окнами.

Говоря это, я почувствовал, что мое предложение подсказано не только уступчивостью любящего мужа; вероятно, тогда мне захотелось испытать Эмилию. Она покачала головой и, чуть-чуть улыбнувшись, ответила:

— О нет... Почему ты должен жертвовать собой... Ты всегда говорил, что задыхаешься, когда окна закрыты... Лучше уж нам спать врозь.

— Уверяю тебя, этим мне легче пожертвовать... я привыкну.

Эмилия поколебалась, но потом сказала с неожиданной твердостью:

— Нет, я не желаю никаких жертв... ни маленьких, ни больших... я буду спать в гостиной.

— А если бы я тебе сказал, что мне это неприятно и что я хочу, чтобы мы спали вместе?

Она снова заколебалась.

— Какой ты странный, Рикардо,— произнесла она наконец, как всегда мягко. — Ты не хотел жертвовать этим два года назад, когда мы только поженились... а теперь ты хочешь этого во что бы то ни стало... К чему? Очень многие супруги спят врозь и тем не менее любят друг друга... По утрам, когда ты уходишь на работу... тебе будет даже удобнее. Ты не будешь меня будить...

— Но ты же сама сказала, что обычно просыпаешься на рассвете... А я ведь не ухожу из дому на рассвете.

— Ох, какой ты упрямый, — сказала она раздраженно. И на этот раз, не дав мне ничего возразить, вышла из комнаты.

Оставшись один, я сел на постель. На кровати не хватало подушки, и уже одно это наводило на мысль о разлуке и одиночестве. Некоторое время я рассеянно смотрел на дверь, за которой скрылась Эмилия. «Эмилия, — спрашивал я себя, — не хочет спать со мной потому, что ее действительно беспокоит по утрам солнечный свет, или просто потому, что ей не хочется спать со мной?» Я склонялся ко второму предположению, хотя всем сердцем хотел бы поверить в первое. Я чувствовал, что, если приму объяснение Эмилии, у меня останутся сомнения. Я не признавался себе в этом, но в конечном счете вопрос, который я себе задавал, сводился к следующему: а может быть, Эмилия меня вообще больше не любит?

Пока, погруженный в подобные мысли, я сидел на постели и Эмилия входила и выходила; вслед за подушкой она перенесла в гостиную две сложенные простыни, которые вынула из шкафа, одеяло и халат. Было начало октября, погода стояла теплая, и Эмилия расхаживала по квартире в тонкой прозрачной рубашке. Я еще не описал Эмилию и хочу сделать это сейчас хотя бы для того, чтобы объяснить мои тогдашние переживания. Пожалуй, Эмилия была не высокого роста, но благодаря тому чувству, какое она у меня вызывала, казалась мне выше, а главное, величественнее всех женщин, которых я когда-либо знал. Не могу сказать, действительно ли ей была присуща эта величественность или ее приписывала Эмилии моя влюбленность, но я помню, что в первую ночь после свадьбы, когда она сняла туфли на высоких каблуках и я обнял ее посреди комнаты, меня поразило, что лоб ее находится на уровне моей груди и что я выше ее на целую голову. А потом, когда она легла рядом со мной в постель — новая неожиданность: она вдруг показалась мне большой, полной, широкой, хотя я знал, что на самом деле Эмилия отнюдь не грузная женщина. У нее были самые красивые плечи, руки и шея, какие мне когда-либо приходилось видеть, — полные, округлые, хорошо очерченные и гибкие. Лицо у нее было смуглое, нос прямой и тонкий; когда она улыбалась, за ее свежими чувственными губами влаж-

но сверкали два ряда изумительно белых зубов; в ее больших глазах цвета золотистого каштана светилась чувственность, и иногда, в минуты страстного самозабвения, они казались какими-то странно растерянными. Эмилия, как я уже говорил, не была хорошо сложена, но, не знаю уж почему, казалась хорошо сложенной женщиной, то ли благодаря гибкой талии, подчеркивавшей линии бедер и груди, то ли потому, что она держалась очень прямо и с большим достоинством, то ли из-за вызывающей красоты и девической силы длинных, стройных ног. Одним словом, в ней была непринужденная грация и та естественная спокойная величавость, которая дается одной лишь природой и поэтому кажется еще более таинственной и необъяснимой.

Пока Эмилия ходила из спальни в гостиную, а я расстроенный и растерянный, смотрел на нее, не зная, что сказать, мой взгляд соскользнул с ее спокойного лица на ее фигуру, очертания которой по временам просвечивали сквозь тонкую рубашку; и вдруг у меня опять возникло подозрение, что Эмилия меня больше не любит; меня пронзила мучительная мысль, что близость между нами невозможна. Я никогда не испытывал ничего подобного. На мгновенье это ошеломило меня, и вместе с тем я не мог поверить, что это правда. Конечно, любовь — прежде всего чувство, но и невыразимая, почти духовная плотская близость. До этого я наслаждался своей любовью, не задумываясь, как чем-то вполне естественным и само собой разумеющимся. Теперь же я отчетливо увидел то, чего до сих пор не замечал, и понял, что подобной близости между нами, видимо, больше не будет и даже уже нет. Как человек, внезапно очутившийся на краю бездны, я ощутил нечто вроде сосущей тоски при мысли о том, что близость между нами неизвестно почему превратилась в отчужденность.

Все мои мысли сосредоточились на этом, все перевернувшем во мне ощущении; Эмилия тем временем, по-видимому, принимала ванну: я слышал, как из кранов льется вода. Я остро чувствовал свое бессилие и в то же время мучительно желал побороть в себе это чувство. До сих пор я любил Эмилию легко и неосознанно; моя любовь к ней словно по волшебству выливалась в бессознательный, бурный, вдохновенный порыв, зависевший, как мне до сих пор казалось, от меня, и только от меня. Теперь же я впервые понял, что он зависел от такого же ответного порыва Эмилии и поддерживался им; видя, как она переменилась, я испугался, что не смогу любить ее с прежней легкостью, непринужденностью и естественностью. Словом, я боялся, что в чудесную близость между нами проникнет холодное принуждение с моей стороны, а с ее... Я не знал, как она себя поведет, но предчувствовал, что всякое принуждение с моей стороны встретит у нее в лучшем случае лишь одну безучастную пассивность.

В эту минуту Эмилия прошла мимо меня, направляясь в гостиную. Почти непроизвольно я приподнялся и, схватив ее за руку, сказал:

— Пойди сюда... Я хотел бы поговорить с тобой.

В первое мгновенье она сделала шаг назад, но тут же уступила и присела на кровать, правда, на некотором расстоянии от меня.

— Поговорить? О чем ты хочешь со мной поговорить?

Не знаю почему, но у меня тревожно сжалось сердце. Возможно, это была робость, чувство, которого до сих пор в наших отношениях не было и которое, как мне казалось, больше чем что-либо указывало на происшедшую в них перемену.

— Да, поговорить,— сказал я.— Мне кажется, что-то в нас изменилось.

Эмилия взглянула на меня и спокойно ответила:

— Не понимаю... Почему изменилось? Ничего не изменилось.

— Я не изменился, а вот ты — да.

— Вовсе я не изменилась... Я такая же, как была.

— Раньше ты любила меня больше... Ты огорчалась, когда я уходил и оставлял тебя одну... А потом, тебе не было неприятно спать со мной... наоборот.

— Ах, вот в чем дело! — воскликнула она, но я заметил, что в голосе ее уже не было прежней уверенности.—Я так и знала, что ты вообразишь что-нибудь такое... Чего ты ко мне пристал? Я не хочу спать с тобой просто потому, что хочу высыпаться, а когда мы вместе, мне это не удается, вот и все.

Странно, но теперь я вдруг принял ее доводы, и мое скверное настроение быстро рассеялось: оно растаяло, как воск подле огня. Эмилия сидела рядом со мной в измятой рубашке, сквозь которую просвечивало ее тело; я желал ее, мне казалось непонятным, почему она не замечает этого, почему она не умолкнет и не обнимет меня, как бывало прежде, стоило лишь встретиться нашим взволнованным взглядам. С другой стороны, это желание вселяло в меня надежду не только на то, что во мне пробудится прежнее влечение к Эмилии, но и что оно вызовет у Эмилии такое же чувство ко мне.

— Если ничто не изменилось, докажи мне это,— тихо сказал я.

— Но я же доказываю тебе это каждодневно, ежечасно.

— Нет, сейчас.

Я привстал и, почти грубо схватив ее за волосы, хотел поцеловать. Эмилия позволила привлечь себя, но в последний момент легким движением головы уклонилась от поцелуя, так что губы мои коснулись лишь ее шеи.

— Ты не хочешь, чтобы я тебя поцеловал? — спросил я, выпуская ее из объятий.

— Не в этом дело,— все с тем же безразличием проговорила Эмилия и оправила волосы.— Если бы речь шла только о поцелуе, я охотно поцеловала бы тебя... Но ты же не ограничишься этим... А теперь уже поздно.

Ее рассудительность и холодность обидели меня.

— Ну, для этого никогда не поздно.

Я опять попытался поцеловать Эмилию и, взяв ее за руку, привлек к себе.

— Ой! Ты сделал мне больно! — воскликнула она.

Я ее едва коснулся; прежде, в пору нашей любви, случалось, что я душил ее в своих объятиях, и все-таки у нее не вырывалось даже слабого стона.

— Раньше я не делал тебе больно,— разозлившись, сказал я.

— У тебя не руки, а клещи,— заметила Эмилия,— ты совсем не считаешься с этим... Теперь у меня останется синяк.

Все это она произнесла равнодушно и, как я видел, без всякого кокетства.

— Ну так как,— спросил я резко,— хочешь ты меня поцеловать или нет?

— Пожалуйста,— она привстала и по-матерински коснулась губами моего лба.— А теперь пусти меня спать... Уже поздно.

Я не мог ничего понять. Я снова обнял ее за талию.

— Эмилия,— сказал я, наклоняясь к ней, так как она отстранялась от меня,— я хотел, чтобы ты поцеловала меня не так.

Она оттолкнула меня и повторила, но теперь уже сердито:

— Пусти меня... Мне больно.

— Неправда, не может быть,— пробормотал я сквозь зубы, сжимая ее в объятиях.

На этот раз Эмилия высвободилась несколькими сильными, энергичными движениями, встала и, словно вдруг решившись, сказала мне в лицо:

— Если тебе этого хочется, пожалуйста... Но не делай мне больно, я не желаю, чтобы со мной так грубо обращались.

У меня захватило дух. На этот раз голос Эмилии звучал холодно, деловито, в нем не было даже намека на чувство. На мгновение я замер. Я сидел на кровати, зажав руки в коленях, опустив голову. До меня снова донесся ее голос:

— Если ты действительно хочешь, я буду твоей... Хочешь?

Не поднимая головы, я тихо ответил:

— Да, хочу.

Это была неправда, теперь я уже не хотел ее. Но мне надо было сломать в ней это новое, странное ощущение отчужденности. Я услышал, как она сказала: «Хорошо»,— затем прошла по комнате, обогнув за моей спиной кровать. «Ей надо снять одну лишь рубашку»,— подумал я и вспомнил, что прежде смотрел на нее в такие минуты завороженными глазами, словно разбойник из сказки, который, произнеся магическое слово, видит, как медленно распахивается дверь пещеры, открывая его взору блеск несметных сокровищ. Но теперь я не захотел смотреть. Я понимал, что смотрел бы на нее уже другим взглядом — не детским и чистым, хотя и страстным, а таким, каким его сделало безразличие Эмилии,— алчным, оскорбительным и для нее и для меня. Я по-прежнему сидел, низко опустив голову и зажав руки в коленях. Немного спустя я услышал, как тихо скрипнули пружины матраца: Эмилия взобралась на постель и улеглась под одеяло. Послышался шорох, по-видимому, Эмилия устраивалась поудобнее. Потом она сказала все тем же новым ужасным тоном:

— Ну же, иди... Чего ты ждешь?

Я не обернулся, даже не пошевелился; неожиданно я спросил себя, а не было ли в наших отношениях всегда все точно так же. Да, ответил я себе, все было более или менее так. Эмилия раздевалась и ложилась в постель — а как же могло быть иначе? Но в то же время все было совсем по-другому. Прежде никогда не было этой бездушной, холодной, пассивной податливости, которая теперь ощущалась не только в тоне Эмилии, но даже в скрипении пружин, в шорохе примятого одеяла. Прежде все совершалось в вихре вдохновенной стремительности, неосознанности, опьянении взаимного чувства. Порой, когда ум бывает захвачен важной мыслью, случается так: засунешь куда-то какую-нибудь вещь — книгу, щетку, ботинок — и потом часами тщетно ищешь ее, пока в конце концов не обнаружишь в самом невероятном месте, куда и засунуть-то ее очень трудно — на шкафу, или в самом дальнем углу комнаты, или же в ящике стола. Вот так бывало прежде со мной в минуты любви. Всегда все происходило стремительно, в каком-то опьянении и волшебном самозабвении: я оказывался в объятиях Эмилии, почти не помня, как это случилось и что произошло между той минутой, когда мы сидели друг против друга, спокойные, не испытывая желаний, и тем мгновением, когда наши тела сплетались друг с другом. Теперь у Эмилии не было этой самозабвенности, а поэтому не было ее и у меня. Теперь я мог бы холодно и жадно разглядывать ее, а она, несомненно, могла бы точно так же разглядывать меня. Ощущение, которое в моем возмущенном сознании вырисовывалось все яснее, неожиданно приобрело характер отчетливого образа: передо мной была уже не жена, которую я люблю и которая любит меня, передо мной была проститутка, недостаточно терпеливая и не очень опытная, которая безучастно приготовилась к моим объятиям, надеясь, что они будут непродолжительными и не слишком ее утомят. На мгновенье образ этот встал перед моими глазами как привиденье, потом мне показалось, что он словно прошел мимо меня и слился с лежавшей за моей спиной Эмилией. В ту же минуту я встал и, не оборачиваясь, сказал:

— Не надо... Я уже не хочу... Пойду спать туда... Оставайся здесь.— И на цыпочках ушел в гостиную.

Диван был застлан, одеяло отогнуто, на нем лежал халат Эмилии с закатанными рукавами. Я взял рубашку, стоявшие на полу ночные туфли, халат, который Эмилия положила на кресло, и, вернувшись в спальню, сложил все это на стул. На этот раз я не удержался и взглянул на нее. Эмилия лежала все в той же позе, которую приняла, сказав мне: «Ну же, иди»,— совсем обнаженная, одна рука заложена за голову, лицо с широко раскрытыми, но безразличными, словно ничего не видящими глазами обращено ко мне, другая рука вытянута вдоль тела. Теперь это была уже не проститутка, это был призрачный образ, овеянный дыханием тоски по невозможному; Эмилия находилась в нескольких шагах от меня, но казалась такой далекой, словно она была существом из другого мира, расположенного за пределами реального и осязаемого.

Глава пятая

В тот вечер я, конечно, уже предчувствовал, что для меня начинается сложная жизнь, но, странная вещь, я не сделал из поведения Эмилии тех выводов, которые, казалось бы, напрашивались сами собой. Конечно, тогда она проявила холодность и равнодушие, а я предпочел отказаться от любви, не желая принимать ее на таких условиях. Однако я любил Эмилию, а любовь заставляет не только надеяться, но и забывать. Прошел день, и, не знаю уж как, инцидент предыдущего вечера, впоследствии казавшийся мне столь знаменательным, утратил в моих глазах почти все свое значение; тягостное чувство отчужденности рассеялось, и все свелось к обычной размолвке. Всегда легко забываешь то, о чем не хочется вспоминать. С другой стороны, забыть о случившемся, как я думаю, помогла мне и сама Эмилия, которая несколько дней спустя, хотя она и по-прежнему спала одна, уже не отвергала моей любви. Правда, и на этот раз Эмилия проявила ту же холодность и пассивность, которые вызвали у меня в первый момент чувство возмущения и протеста; но, как это часто случается, то, что было неприемлемым, через несколько дней стало казаться мне не только приемлемым, а даже приятным. Одним словом, сам того не замечая, я ступил на ту зыбкую почву, где, благодаря увертками и ухищрениям жаждущей обмана души, холодность представляется на следующий день самой пылкой любовью. В тот первый вечер я подумал, что Эмилия ведет себя как проститутка; но прошло меньше недели, а я уже согласился на то, чтобы обладать ею даже как проституткой. Поскольку в глубине души я, вероятно, боялся, что любовь Эмилии ко мне совсем остыла, я был благодарен ей даже за ее холодность и нетерпеливое равнодушие, словно именно такими и должны были быть наши супружеские отношения.

Мне все еще хотелось думать, что Эмилия любит меня, как прежде, а вернее, я вообще старался не думать о нашей любви. И все же меня не оставляли подозрения, что отношения между нами изменились. Об этом свидетельствовало то, что я иначе стал смотреть на свою работу. Я отказался на время от своей мечты о театре и занялся кино только для того, чтобы удовлетворить страстное желание Эмилии иметь собственный дом. Пока я был уверен, что Эмилия любит меня, работа сценариста не казалась мне слишком тягостной, но после того, что произошло в тот вечер, я неожиданно стал замечать, что она вызывает у меня скуку, недовольство и отвращение. В самом деле, ведь я согласился на работу в кино, как согласился бы на всякую другую работу, даже более неблагодарную и менее интересную, только из любви к Эмилии. Теперь же, когда ее лю-

бовь от меня ускользала, работа эта потеряла для меня всякое значение и представлялась всего лишь бессмысленным рабством.

Тут я хочу сказать несколько слов о ремесле сценариста хотя бы для того, чтобы стало ясно, что я в то время чувствовал. Как известно, сценарист — это тот, кто, чаще всего в сотрудничестве с другим сценаристом и режиссером, пишет сценарий, то есть создает канву, на основе которой в дальнейшем возникает фильм. В соответствии с развитием действия в сценарии указываются все жесты и реплики актера, а также различные повороты съемочной камеры. Таким образом, сценарий — это в одно и то же время и пьеса, и кинематографическая разработка, и режиссерский план. Но хотя роль сценариста в создании фильма огромна и в этом смысле он занимает место сразу же за режиссером, по существующей до сих пор в кино традиции сценарист считается фигурой второстепенной и всегда остается в тени. Если оценивать искусство с точки зрения непосредственности выражения, а по-другому оценивать его и нельзя, то сценарист — это художник, который вкладывает в фильм всю свою душу, не получая при этом никакого удовлетворения от сознания, что он выразил в фильме самого себя. Труд его творческий, и все-таки он всего лишь поставщик находок, выдумки, технических, психологических и литературных указаний; дело режиссера затем обработать весь этот материал в соответствии со своим талантом и выразить в фильме себя. Сценарист, таким образом,— это человек, всегда остающийся на втором плане; он жертвует кровью своего сердца ради успеха других, и, хотя судьба фильма на две трети зависит от него, сам он никогда не видит своего имени на афишах, где красуются имена режиссера, актеров и продюсера. Правда, нередко сценарист может достичь высокого мастерства в этом своем второразрядном ремесле и зарабатывать большие деньги, но он никогда не имеет возможности сказать: «Этот фильм сделал я... В этом фильме я выразил себя... Этот фильм — я сам». Говорить так может только режиссер. Сценарист же вынужден довольствоваться работой ради денег, которые ему платят, и, хочет он того или нет, они в конце концов становятся единственной и подлинной целью всей его деятельности. Таким образом, сценаристу остается лишь наслаждаться жизнью, если, конечно, он на это способен, на деньги, которые являются единственным результатом его труда, и переходить от одного сценария к другому, от комедии к трагедии, от приключенческого фильма к мелодраме — беспрерывно, безостановочно, почти так же, как некоторые гувернантки переходят от одного ребенка к другому: не успев привязаться к одному, они уже расстаются с ним и начинают воспитывать другого, а в результате плоды их усилий достаются матери, которая одна имеет право называть ребенка своим.

Но помимо этих основных и постоянных, так сказать, недостатков, ремесло сценариста имеет и другие неприятные стороны, меняющиеся в зависимости от качества и жанра фильма, от характера сотрудников, не становясь от этого менее тягостными. В отличие от режиссера, которому продюсер предоставляет свободу действий, сценарист может лишь согласиться или не согласиться работать над предложенным ему материалом, а согласившись, не вправе выбирать себе сотрудников: его — выбирают, он — нет. Бывает, что из-за личных симпатий продюсера, ради его выгоды или каприза или же просто в результате случайности сценарист вынужден работать с антипатичными ему людьми, намного ниже его по уровню культуры, с людьми, чьи манеры и характер вызывают у него раздражение. Работать совместно над сценарием — совсем не то же, что, допустим, работать вместе в конторе или на фабрике, где каждый делает свое дело независимо от соседа и где личные взаимоотношения могут быть сведены до минимума либо даже вовсе отсутствуют. Работать над сценарием — это значит с утра до вечера, связывая и соединяя свой ум,

свои чувства, свою душу с умом, чувствами и душой остальных сотрудников, жить с ними одной жизнью; словом, это значит в течение двух-трех месяцев, пока идет работа над фильмом, создавать между собой и ими искусственную близость, единственная цель которой — создание сценария, а, следовательно, в конечном счете, как я уже говорил,— деньги. Эта близость самого дурного свойства, самая утомительная, самая нервирующая, самая докучливая, какую только можно себе представить, потому что в основе ее лежит не молчаливый напряженный труд, как это бывает у ученых, проводящих совместно какой-нибудь эксперимент, а нескончаемые разговоры. Обычно режиссер собирает своих сотрудников ранним утром — этого требует краткость срока, отпущенного для производства фильма,— и с раннего утра до позднего вечера сценаристы только и делают, что разговаривают, большей частью о работе, но порой, устав, они развлекаются, то есть болтают о чем попало. Одни рассказывают непристойные анекдоты, другие излагают свои политические взгляды, третьи обсуждают поведение общего знакомого, четвертые говорят об актерах или актрисах или изливаются в своих горестях; между тем комната, где идет работа, наполняется табачным дымом, на столах рядом с листами сценария скапливаются чашки из-под кофе, а сценаристы, которые явились сюда утром выутюженные и причесанные, к вечеру оказываются всклокоченными, без пиджаков, вспотевшими и растерзанными. Бездушный автоматизм, с каким фабрикуются фильмы, сильно смахивает на своего рода растление таланта: здесь, скорее, можно говорить о настойчивости и корысти, чем о вдохновении или чувстве. Случается, конечно, что фильм обладает высокими художественными достоинствами, а режиссер и сотрудники связаны давней дружбой и испытывают друг к другу взаимное уважение, словом, бывает, что работа проходит в тех идеальных условиях, какие можно встретить в любой области человеческой деятельности, даже самой неблагодарной. Но такое счастливое сочетание столь же редко, как редки хорошие фильмы.

После того как я подписал договор на второй сценарий — уже не с Баттистой, а с другим продюсером,— меня вдруг покинуло мужество, и я начал со все возрастающим раздражением и отвращением ощущать те неприятные стороны своей работы, о которых я только что говорил. Предстоящий день уже в самом начале казался мне бесплодной пустыней, сжигаемой неумолимым солнцем вымученного вдохновения. Едва лишь я входил в кабинет к режиссеру, как он встречал меня дежурной фразой вроде: «Ну, что же ты придумал за ночь? Нашел решение?» Это злило меня и вызывало отвращение. Во время работы все меня раздражало: шутки, которыми режиссеры и сценаристы пытались оживить длительные споры и обсуждения; глупость и тупость моих сотрудников или просто разногласия, возникавшие у нас в процессе работы над сценарием; даже похвалы режиссера моим находкам и решениям вызывали у меня лишь горькое чувство досады, ибо, как я уже говорил, мне казалось, что я отдаю самое лучшее в себе чему-то такому, до чего мне, в сущности, нет никакого дела и в чем я принимаю отнюдь не добровольное участие. Эти похвалы были для меня самым невыносимым. Всякий раз, когда режиссер, со свойственными многим людям этой профессии демагогичностью и панибратством, подскакивал на кресле и восклицал: «Браво! Ты — гений!» — я думал с обидой: «Хорошо бы включить это в одну из моих драм, в одну из моих комедий». Но — и в этом состояло странное и горькое противоречие! — несмотря на все свое отвращение к работе в кино, я не мог относиться безразлично к своим обязанностям сценариста. Работа над сценарием напоминает старинную упряжку четверкой, где есть сильные, резвые лошади, которые действительно тянут карету, и лошади, которые делают вид, что тянут, а на самом деле только бегут следом. Так вот, при всем своем раздражении и недовольстве

работой, я был той самой лошадью, которая тянет. Я очень скоро заметил, что режиссер и мой коллега по работе, оказавшись перед лицом какой-нибудь трудности, всякий раз ждут, чтобы я справился с ней и двинул карету вперед. Делать это меня заставлял не дух соревнования, а, скорее, сознание долга, более сильное, чем противостоящая ему воля: раз уж мне платят, я должен работать. Но всякий раз при этом мне было стыдно перед самим собой, и я испытывал такие угрызения совести, словно продал за бесценок нечто, не имеющее цены и чему я во всяком случае мог бы найти гораздо лучшее применение.

Как я уже говорил, все эти неприятные стороны работы в кино стали мне бросаться в глаза только через два месяца после того, как я подписал свой первый договор с Баттистой. Сперва я не понимал, почему не замечал их с самого начала и почему должно было пройти столько времени, прежде чем я обратил на это внимание. Но чувство отвращения и неудовлетворенности, которое возбуждала во мне столь привлекавшая меня ранее работа, становилось все сильнее, и мало-помалу я начал связывать его со своими отношениями с Эмилией. В конце концов я понял: работа в кино вызывает у меня отвращение потому, что Эмилия меня больше не любит или, по крайней мере, хочет показать, что не любит. Я понял, что смело и решительно брался за работу над сценариями, пока был уверен в любви Эмилии. Теперь же, когда у меня больше не было такой уверенности, смелость и решительность оставили меня, и работа в кино стала представляться мне рабством, растлением таланта, пустой тратой времени.

Глава шестая

Я жил в то время как человек, которого мучает страшная болезнь, но который никак не решится пойти к врачу. Иными словами, я старался не думать слишком много ни о поведении Эмилии, ни о своей работе. Я знал: когда-нибудь мне придется задуматься и над тем и над другим, но именно потому, что я понимал неизбежность этого, мне хотелось, чтобы это случилось как можно позднее: то немногое, что я уже подозревал, заставляло меня гнать от себя подобные мысли и даже бессознательно страшиться их. Наши отношения с Эмилией нисколько не изменились с той минуты, когда я впервые подумал, что они неприемлемы; но теперь, боясь худшего, я пытался, хоть и не слишком успешно, убедить себя самого в том, что они у нас самые обычные: днем — безразличные, ничего не значащие, уклончивые разговоры, ночью — время от времени любовь, которую я не без некоторой жестокости навязывал ей и которую она равнодушно принимала. Я продолжал работать усердно и упрямо, но все более неохотно и со все возрастающим отвращением. Если бы тогда у меня достало смелости разобраться в создавшемся положении, я, несомненно, отказался бы и от работы в кино, и от любви Эмилии, ибо всегда был убежден, что то и другое связано между собой. Но у меня не хватало для этого мужества; возможно, я смутно надеялся, что со временем все разрешится само собой. Действительно, со временем все разрешилось, однако совсем не так, как мне бы того хотелось. Итак, Эмилии была неприятна моя любовь, а мне неприятна моя работа. Дни проходили в тягостном и томительном ожидании.

Тем временем сценарий, который я писал для Баттисты, был почти закончен. Баттиста тогда же намекнул мне, что ему хотелось бы, чтобы я принял участие в новой работе, значительно более серьезной, чем эта. Подобно всем продюсерам, Баттиста был человек скользкий и уклончивый; мимоходом бросаемые им намеки не шли дальше общих фраз вроде: «Мольтени, как только вы закончите этот сценарий, мы сразу же при-

мемся за другой... Но уже за настоящий», или: «Будьте готовы, Мольтени, на днях я намерен вам кое-что предложить», или несколько более определенно: «Не подписывайте никаких договоров, Мольтени, через две недели вы подпишете договор со мной». Таким образом я был предупрежден о том, что после этого малоинтересного сценария Баттиста собирается поручить мне работу над другим; тот будет куда более значительным в художественном отношении, и за него, понятно, мне заплатят гораздо больше. Признаюсь, несмотря на мое все возрастающее отвращение к подобного рода деятельности, первое, о чем я тогда подумал, была все та же квартира и деньги, которые мне предстояло за нее внести. Поэтому предложение Баттисты меня обрадовало. Впрочем, такова уж работа киносценариста: если даже, как это было со мной, ее не любишь, всякое новое предложение принимается с благодарностью, а когда никаких новых предложений тебе не делают, начинаешь волноваться и считаешь, что тебя обошли.

Однако я не сказал Эмилии о новом предложении Баттисты и вот почему: прежде всего, я еще не знал, соглашусь ли на него, а потом, как я понял, моя работа больше не интересовала Эмилию, и я предпочел ничего не говорить ей, чтобы не получать нового подтверждения ее холодности и безразличия, которым я все еще упорно старался не придавать значения. Я смутно связывал новое предложение Баттисты с холодностью Эмилии; и я не был уверен, соглашусь ли на новую работу именно потому, что чувствовал: Эмилия больше меня не любит. Если бы она любила меня, я, конечно, рассказал бы ей о предложении Баттисты, а рассказать ей о нем значило бы для меня уже согласиться.

В один из таких дней я вышел из дому и отправился к режиссеру, с которым работал над первым сценарием, сценарием для Баттисты. Я знал, что иду к нему в последний раз — до конца оставалось лишь несколько страниц,— и мысль об этом меня радовала: наконец-то тягостный труд будет окончен, и хотя бы полдня я смогу делать, что захочу. Как это всегда случается при работе над сценарием, двух месяцев оказалось вполне достаточным, чтобы у меня возникла глубокая неприязнь и к героям фильма и к его сюжету. Я знал, что скоро буду иметь дело с новыми героями и новым сюжетом, и они тоже в свою очередь мне быстро осточертеют, но от этих-то я уж, во всяком случае, отделаюсь; при одной мысли об этом я чувствовал уже большое облегчение.

Надежда на скорое освобождение окрылила меня, и в то утро я работал с подъемом. Оставалось лишь внести в сценарий два-три незначительных исправления, над которыми мы бились безрезультатно вот уже несколько дней. В порыве вдохновения мне удалось сразу же направить обсуждение по верному руслу, и одну за другой преодолеть все оставшиеся трудности. Не прошло и двух часов, как мы обнаружили, что работа над сценарием закончена, на этот раз уже полностью. Так бывает иногда во время бесконечного изматывающего подъема в гору, когда совсем уже отчаиваешься достигнуть вершины, а она вдруг показывается за каким-нибудь поворотом. Я написал фразу и удивленно воскликнул:

— Но ведь на этом можно и кончить!

Пока я писал, сидя за столом, режиссер все время расхаживал по кабинету из угла в угол; тут он подошел ко мне, взглянул на рукопись и сказал, тоже удивленно, словно не веря своим глазам:

— Ты прав, на этом можно закончить.

Я написал слово «конец», захлопнул папку и встал из-за стола.

Минуту мы оба молча глядели на стол, где лежала папка с уже завершенным сценарием,— совсем как два вконец обессилевших альпиниста смотрят на озерко или утес, до которого они добрались с огромным трудом.

Потом режиссер сказал:

— Мы добили его... Ну вот,— повторил он снова,— наконец мы добили его.

Режиссера звали Пазетти. Это был молодой блондинчик, угловатый, сухой, весь какой-то приглаженный и прилизанный. Он был больше похож на педантичного учителя геометрии или счетовода, чем на художника.

Пазетти был моих лет, но, как это всегда случается при работе над сценарием, отношения между нами были такими, какие устанавливаются между выше- и нижестоящим: режиссер всегда пользуется бóльшим авторитетом, чем все другие сотрудники.

Помолчав еще немного, Пазетти произнес со свойственным ему тяжеловесным юмором:

— Должен заметить, Рикардо, что ты, как лошадь, которая чует конюшню... Я был уверен, что нам придется возиться еще по меньшей мере дня четыре... А мы все кончили за два часа... Перспектива гонорара подстегнула тебя!

Несмотря на всю свою ограниченность и почти невероятную тупость, Пазетти не был мне антипатичен. При установившихся между нами отношениях мы в какой-то мере дополняли друг друга: он человек без воображения и нервов, но сознающий свои возможности, а они не превышали уровня посредственности, я же, наоборот, человек легко возбудимый и одаренный, само воображение и сплошной комок нервов.

— Ну, конечно,— ответил я, подделываясь под его тон и обращая все в шутку.— Ты верно сказал: перспектива гонорара.

Закурив сигарету, Пазетти продолжал:

— Но не рассчитывай, что на этом так уже все и кончено... Мы сделали сценарий пока лишь вчерне... Нам еще придется пересмотреть все диалоги... Не почивай на лаврах.

Я лишний раз про себя отметил, что Пазетти, как всегда, пользуется избитыми фразами и штампами. Украдкой взглянув на часы — был уже час,— я сказал:

— Не беспокойся... Если что-нибудь придется переделывать, я к твоим услугам.

Пазетти покачал головой:

— Знаю я вашего брата... Чтобы ты не размагнитился, скажу-ка Баттисте — пусть придержит выплату последней части твоего гонорара.

Ему была свойственна шутливая и в то же время — поразительная у столь молодого человека — властная манера пришпоривать своих сотрудников, переходя от попреков к похвалам, от лести к суровым замечаниям, от просьб к приказаниям; в этом смысле он мог считаться хорошим режиссером, потому что режиссура на две трети заключается в умении хорошо использовать труд подчиненных.

Как всегда, дав Пазетти возможность поразглагольствовать вволю, я возразил:

— Нет, ты скажешь, чтобы мне выплатили весь гонорар, а я обещаю, что буду в твоем распоряжении, когда понадобится сделать какие-нибудь поправки.

— Но к чему тебе столько денег? — спросил он с неуместным смешком.— Тебе всегда мало... А ведь ты не играешь, и у тебя нет ни любовницы, ни детей...

— Мне надо выплатить очередной взнос за квартиру,— ответил я серьезно и опустил глаза. Его бестактность начинала меня раздражать.

— А много тебе надо еще выплачивать?

— Почти все.

— Бьюсь об заклад, что жена не дает тебе покоя. Я так и слышу: «Рикардо, не забудь, что ты должен внести очередной взнос».

— Да, жена,— солгал я.— Ты же знаешь, каковы женщины... Дом для них — все.

— Кому ты говоришь!

И Пазетти принялся рассказывать о своей жене, которая очень походила на него самого, но которую, как я понял, он почему-то считал существом причудливым, капризным и способным на самые невероятные выходки, одним словом, с ног до головы женщиной. Я сделал вид, будто внимательно слушаю его, хотя в действительности думал совсем о другом.

— Все это, конечно, чудесно,— самым неожиданным образом закончил свои разглагольствования Пазетти.— Но я знаю вас, сценаристов: все вы одним миром мазаны... Получите деньги — только вас потом и видели... Все-таки скажу Баттисте, чтобы он попридержал выплату тебе гонорара.

— Не надо, Пазетти. Прошу тебя.

— Ну, там видно будет... Не слишком-то на меня рассчитывай.

Я снова украдкой взглянул на часы. Я дал Пазетти возможность пощеголять своей властью — он пощеголял ею, теперь мне можно было и уходить.

— Ну вот,— начал я,— рад, что сценарий написан или, как ты говоришь, закончен вчерне... А теперь, пожалуй, мне пора идти.

— Ничего подобного! — воскликнул он добродушно.— Мы должны выпить за успех фильма... Какого дьявола... Сценарий написан, и ты от меня так просто не уйдешь.

— Ну, если надо выпить,— сказал я покорно,— что ж, я готов.

— Тогда пошли... Думаю, жена будет рада составить нам компанию.

Я прошел за ним из кабинета по узкому, пустому белому коридору, в котором сильно пахло кухней и детскими пеленками. Пазетти открыл передо мной дверь в гостиную и крикнул:

— Луиза, мы с Мольтени закончили работу над сценарием... Выпьем за успех фильма.

Синьора Пазетти встала с кресла и сделала несколько шагов нам навстречу. Это была невысокая женщина с большой головой и очень бледным продолговатым лицом, обрамленным черными блестящими волосами. Ее большие, но тусклые и невыразительные глаза оживлялись только в присутствии мужа: тогда она не спускала с него взгляда, словно преданная собака. Но когда мужа не было, она сидела потупившись и изображала неприступное целомудрие. Хрупкая и миниатюрная, она за четыре года супружеской жизни родила четырех детей.

— Ну и напьемся же мы сегодня,— с вымученной веселостью заявил Пазетти.— Я приготовлю коктейль.

— Только не для меня, Джино,— предупредила его синьора Пазетти.— Ты ведь знаешь, я не пью.

— Ну, а мы выпьем.

Я сел в обитое узорчатой материей некрашеное деревянное кресло, стоявшее перед камином, сложенным из красных кирпичей. Синьора Пазетти уселась в такое же кресло с другой стороны камина. Оглядевшись вокруг, я подумал, что комната похожа на хозяина дома. Это была стандартная гостиная в псевдодеревенском стиле, чистенькая и аккуратная и в то же время какая-то жалкая — совсем как в квартире у педантичного бухгалтера или счетовода. Мне только и оставалось, что озираться по сторонам, потому что синьора Пазетти не сочла нужным поддерживать со мной беседу. Она сидела напротив меня совсем неподвижно, опустив глаза и сложив на животе руки. Я проследил взглядом за Пазетти, который прошел в глубь комнаты, подошел к безобразнейшему шкафчику, куда были вмонтированы радиоприемник и бар, встал на свои тощие коленки и неловко извлек из него две бутылки, одну с вермутом, другую с джином, три стакана и шейкер. Я заметил, что обе бутылки не начаты и запечатаны: видимо, Пазетти не часто разрешал себе

пить тот коктейль, который он собирался сейчас приготовить. Сверкающий шейкер тоже казался совершенно новым. Пазетти сказал, что сходит за льдом, и вышел.

Мы долго молчали. Наконец, просто чтобы сказать что-нибудь, я произнес:

— Вот мы и закончили работу над сценарием!

Не поднимая глаз, синьора Пазетти ответила:

— Да, Джино мне уже говорил.

— Уверен, что это будет хороший фильм.

— Я в этом тоже уверена, иначе Джино за него не взялся бы.

— Вы знаете сюжет?

— Да, Джино мне рассказывал.

— Вам он нравится?

— Раз нравится Джино, значит, нравится и мне.

— Вы всегда во всем соглашаетесь друг с другом?

— Джино и я? Всегда.

— А кто у вас глава семьи?

— Ну, конечно Джино.

Я заметил, что она ухитряется произнести имя Джино всякий раз, как только открывает рот. Я разговаривал почти в шутливом тоне, но она все время отвечала мне очень серьезно.

Вошел Пазетти, держа ведерко со льдом.

— Рикардо, тебя зовет к телефону жена,— сказал он.

У меня почему-то сжалось сердце, и внезапно мною снова овладело ощущение тоскливого беспокойства. Я машинально встал и сделал шаг к двери. Пазетти остановил меня:

— Телефон на кухне... Но если хочешь, можешь говорить отсюда... Я переключу аппарат.

Телефон стоял на тумбочке подле камина. Я поднял трубку и услышал голос Эмилии:

— Извини, но сегодня тебе придется где-нибудь поесть... Я иду обедать к маме.

— Почему же ты не сказала мне об этом раньше?

— Не хотелось отрывать тебя от работы.

— Хорошо,— сказал я,— пообедаю в ресторане.

— Увидимся вечером. До свидания.

Она повесила трубку, и я обернулся к Пазетти.

— Рикардо,— спросил он,— ты не будешь обедать дома?

— Нет, пойду в ресторан.

— Вот что, пообедай с нами... Тебе придется удовольствоваться... тем, что есть. Но мы будем очень рады.

При мысли, что надо обедать одному в ресторане, мне стало почему-то грустно — вероятно, я заранее предвкушал, как сообщу Эмилии об окончании работы над сценарием. Может быть, я и не сделал бы этого, зная, как я уже говорил, что Эмилию больше не интересует то, чем я занимаюсь, но в первый момент я поддался старой привычке, характерной для наших прежних взаимоотношений. Приглашение Пазетти обрадовало меня. Я чуть ли не рассыпался в благодарностях.

Тем временем Пазетти откупорил бутылки и жестом фармацевта, дозирующего микстуру, налил в мензурку джина и вермута, а затем перелил все это в шейкер.

Синьора Пазетти, как обычно, не спускала глаз со своего мужа. Когда Пазетти, старательно встряхнув шейкер, начал разливать коктейль по бокалам, она сказала:

— Мне только глоток, прошу тебя... И ты, Джино, не пей много... Тебе может стать плохо.

— Ну, сценарий заканчиваешь не каждый день.

Пазетти наполнил бокалы мне и себе, а в третий, по просьбе жены, налил на донышко. Мы чокнулись.

— За сотню таких же сценариев,— сказал Пазетти, пригубив коктейль и ставя бокал на столик.

Я выпил все залпом. Синьора Пазетти сделала несколько маленьких глотков и встала.

— Пойду взглянуть, что делает кухарка...— сказала она.— Извините.

Она ушла, Пазетти занял ее место в узорчатом кресле. И мы принялись болтать. Вернее, говорил один Пазетти, почти все время о сценарии, а я только слушал, поддакивал, кивал головой и пил коктейль. Бокал Пазетти оставался почти полным, он не отпил даже половины, а я осушил свой уже трижды. Не знаю почему, я чувствовал себя очень несчастным и пил в надежде, что опьянение прогонит это чувство. К сожалению, я хорошо переношу действие алкоголя, а коктейль Пазетти был сильно разбавлен водой. Так что три-четыре бокала лишь усилили мое скверное настроение. Вдруг я спросил себя: «А почему, собственно, я чувствую себя таким несчастным?» И тогда я вспомнил, что у меня защемило сердце в тот момент, когда я услышал по телефону голос Эмилии, такой холодный, такой рассудительный и такой равнодушный, столь не похожий на голос синьоры Пазетти, когда та произносила магическое имя Джино. Однако я не смог сосредоточиться на этой мысли, потому что в эту минуту вошла синьора Пазетти и пригласила нас в столовую.

Столовая Пазетти была похожа и на его кабинет, и на его гостиную: та же новая крикливая, дешевая мебель из некрашеного дерева; посуда из цветного фаянса; бокалы и бутылки из толстого зеленого стекла, соломенная скатерть и соломенные салфетки. Мы уселись в этой маленькой комнатке, большую часть которой занимал стол, так что служанке, когда она подавала кушанья, всякий раз приходилось беспокоить кого-нибудь из сидящих.

Мы принялись за обед молча и сосредоточенно. Потом служанка переменила тарелки, и я, чтобы завязать разговор, задал Пазетти какой-то вопрос о его планах на будущее. Он ответил мне — как всегда, спокойно, четко и размеренно. Посредственность и полное отсутствие воображения ощущались не только в подборе слов, но даже в интонациях его голоса. Я молчал, ибо планы Пазетти меня не интересовали, а если бы даже и интересовали, то его монотонный и бесцветный голос сделал бы их для меня неинтересными. Взгляд мой перебегал с предмета на предмет, ни на чем не задерживаясь, и в конце концов остановился на лице жены Пазетти, которая слушала мужа, опершись подбородком на руки и, как всегда, не спуская с него глаз. Я взглянул на нее, и меня поразило выражение ее лица: в ее глазах светилась самозабвенная любовь, к которой примешивалось безграничное восхищение, беспредельная благодарность, чувственное влечение и почти меланхолическая робость. Это удивило меня, показалось чем-то поистине загадочным: Пазетти, человек сухой, бесцветный, посредственный, явно лишенный всего того, что обычно нравится женщинам, по-моему, не способен был вызвать к себе столь глубокие чувства. Потом я подумал, что каждый мужчина в конце концов находит женщину, которая его ценит и любит, и что нельзя судить о чувствах других только по себе. Я ощутил симпатию к синьоре Пазетти за такую ее преданность мужу и порадовался за самого Пазетти, к которому, несмотря на всю его посредственность, я, как уже говорилось, питал своего рода ироническую доброжелательность. Моя грусть рассеялась. И вдруг одна мысль или, лучше сказать, внезапное ощущение снова пронизало меня: «В глазах синьоры

Пазетти все время светится любовь к мужу... И Пазетти доволен собой и своей работой, потому что она его любит... Эмилия уже давно на меня так не смотрит... Эмилия меня больше не любит, она меня уже никогда не полюбит...»

Мысль эта причинила мне почти физическую боль; я поморщился, и синьора Пазетти обеспокоенно спросила, не попался ли мне случайно пережаренный кусок мяса. Я ответил, о нет, мясо не было пережарено. По-прежнему делая вид, будто слушаю Пазетти, который рассказывал о своих планах на будущее, я попытался разобраться во владевшем мною чувстве скорби, таком остром и в то же время таком смутном. Я понял, что весь последний месяц старался привыкнуть к тому невыносимому положению, в котором оказался, но что это мне так и не удалось; дальше так продолжаться не может, я не могу жить с Эмилией, если она меня не любит, и заниматься делом, которое мне претит из-за того, что Эмилия ко мне охладела. Неожиданно я сказал себе: «Хватит... Я должен объясниться с Эмилией раз и навсегда. Если понадобится, я уйду от нее и перестану работать в кино».

Однако, хотя я думал об этом с решимостью отчаяния, я никак не мог поверить в происходившее: я не был еще полностью уверен ни в том, что Эмилия меня больше не любит, ни в том, что найду в себе силы уйти от нее, бросить работу в кино и вернуться к холостой жизни. Иными словами, я испытывал что-то вроде мучительного и совсем нового для меня чувства неуверенности в том, что мой разум признавал бесспорным.

Почему Эмилия меня больше не любит? Чем вызвано ее равнодушие? У меня тоскливо сжималось сердце, я предвидел, что для того, чтобы полностью убедиться в справедливости первого из этих общих предположений, самого по себе очень мучительного, потребуются доказательства, очень конкретные и, следовательно, еще более мучительные. Одним словом, я был уверен, что Эмилия меня больше не любит, но не знал, ни почему, ни как это случилось; чтобы поверить в это окончательно, мне нужно объясниться с ней, нужно во всем разобраться и ввести безжалостный зонд анализа в рану, которой я до сих пор старался не замечать. Мысль об этом меня ужаснула, тем не менее я понимал: только разобравшись во всем до конца, я найду в себе силы сделать то, что порывался сделать в минуту отчаяния, то есть смогу уйти от Эмилии.

Ничего не замечая вокруг себя, я продолжал есть, пить и слушать Пазетти. Слава богу, обед в конце концов кончился. Мы снова перешли в гостиную, и мне пришлось пройти через все формальности буржуазного гостеприимства: кофе с одним-двумя кусочками сахара, ликер, от которого принято отказываться, разговоры ни о чем, лишь бы как-то провести время. Наконец, когда мне показалось, что можно откланяться, я встал. В эту минуту гувернантка ввела в комнату старшую дочку Пазетти, чтобы показать ее родителям перед ежедневной прогулкой. Это была темноволосая девочка, бледная, с большими глазами, ничем не примечательная, совсем как и ее родители. Помню, когда я смотрел, как мать ласкает ее, у меня мелькнула мысль: «А вот я никогда не буду таким счастливым... У меня с Эмилией никогда не будет ребенка». И сразу же эта мысль породила другую, еще более горькую: «Как все это пошло и тривиально... Я уподобляюсь всем мужьям, которых разлюбили жены... Я завидую любой супружеской паре, милующейся со своим дитятей... Такие чувства возникли бы у любого мужа на моем месте».

Эта горькая мысль сделала для меня окончательно невыносимой трогательную сцену, при которой я вынужден был присутствовать. Я резко сказал, что должен идти.

Пазетти с трубкой в зубах проводил меня до двери. Я почувствовал, что мой уход удивил и обидел синьору Пазетти: возможно, она ожидала, что меня растрогает назидательная картина материнской любви.

Глава седьмая

Работа над вторым сценарием начиналась в четыре, у меня оставалось еще полтора часа. Выйдя на улицу, я невольно направился к дому. Я знал, что Эмилии нет, что она ушла обедать к своей матери, но, охваченный чувством растерянности и беспокойства, почти надеялся, что это неправда и что я застану ее дома. Тогда, твердил я себе, я наберусь смелости, поговорю с ней откровенно и вызову ее на окончательное объяснение. Я понимал, что это объяснение повлияет не только на мои взаимоотношения с Эмилией, но и на мою дальнейшую работу. Но теперь, после стольких жалких и лицемерных увертoк, мне представлялось, что лучше любая катастрофа, лишь бы настал конец тому положению, которое становилось для меня все более очевидным и все более невыносимым. Возможно, мне придется уйти от Эмилии и отказаться от работы над вторым сценарием для Баттисты. Ну что же, тем лучше. Правда, какой бы она ни была, гораздо лучше неопределенного, унизительного состояния лжи и жалости к самому себе.

Когда я дошел до своей улицы, мною вновь овладела нерешительность: конечно, Эмилии нет дома, и в нашей новой квартире, которая казалась мне теперь не только чужой, но даже враждебной, я буду чувствовать себя еще более одиноким и несчастным, чем в каком-нибудь общественном месте. Я уже почти решил повернуть и провести оставшиеся полтора часа в кафе. Но тут роковым образом вспомнил об обещании, данном Баттисте: он должен был позвонить и договориться со мною о встрече. Это была очень важная для меня встреча. Баттиста решил наконец сделать мне конкретное предложение и представить меня режиссеру. Я заверил Баттисту, что в этот час, как всегда, он застанет меня дома. Правда, я мог бы сам позвонить ему из кафе, но, во-первых, я не был уверен, что застану его, потому что Баттиста часто обедал в ресторане, а во-вторых, находясь в состоянии полнейшей растерянности, я испытывал потребность в каком-то предлоге, чтобы вернуться домой. Им стал звонок Баттисты.

Я вошел в подъезд, сел в лифт, закрыл за собой дверцу и нажал кнопку последнего этажа, на котором мы жили. Но пока лифт поднимался, мне пришла в голову мысль, что, в сущности, я не имею права уславливаться с Баттистой о встрече, так как не вполне уверен, соглашусь ли на его новое предложение. Все будет зависеть от моего объяснения с Эмилией. Я знал, что, если Эмилия скажет мне откровенно, что она меня больше не любит, я не только не стану заниматься этим сценарием, но вообще навсегда брошу работу в кино. Но ведь Эмилии нет дома. Когда позвонит Баттиста, я не смогу ему честно сказать, согласен я обсуждать его предложение или нет. Договориться о деле, а затем отказаться казалось мне самой большой нелепостью, какая только может быть. Одна мысль об этом внушала мне омерзение, и мной овладело чувство почти истерической ярости. Я резко остановил лифт и нажал кнопку первого этажа. Будет лучше, говорил я себе, будет гораздо лучше, если Баттиста, позвонив, не застанет меня дома. Сегодня же вечером я объяснюсь с Эмилией. А на следующий день дам соответствующий ответ продюсеру.

Между тем лифт опускался; за его чисто вымытыми стеклами один за другим мелькали этажи, я смотрел на это с таким же отчаянием, с каким, вероятно, смотрит рыба на то, как опускается уровень воды в ее аквариуме. Наконец лифт остановился, и я уже хотел открыть дверцы. Но вдруг меня осенила мысль: судьба моей следующей работы у Баттисты зависит от объяснения с Эмилией, а что, если нынче вечером Эмилия убедит меня в своей любви? Ведь

тогда Баттиста, не застав меня дома, может рассердиться и я потеряю работу! Продюсеры — я знал это по собственному опыту — капризны, как все маленькие тираны. Одного этого может оказаться достаточным, чтобы Баттиста раздумал и пригласил другого сценариста. Такого рода мысли быстро проносились в моем больном воображении, вызывая у меня горькое сознание собственной незадачливости. «Ты действительно жалкий человек,— говорил я себе,— обуреваемый то жаждой денег, то любовью, ты никак не можешь сделать выбор и принять какое-то твердое решение».

Кто знает, как долго простоял бы я в лифте, не зная, что же предпринять, если бы дверцы его не распахнула молодая дама, нагруженная покупками. Увидев перед собой мою неподвижную фигуру, она вскрикнула, потом, оправившись от испуга, вошла в лифт и спросила, какой этаж мне нужен. Я ответил. «А мне третий»,— сказала дама, нажимая кнопку. Лифт снова стал подниматься.

Оказавшись на площадке своего этажа, я почувствовал большое облегчение. Но тут же подумал: «В каком же я нахожусь состоянии, если веду себя подобным образом? До чего я дошел?» Размышляя над этим, я машинально открыл дверь квартиры, запер ее за собой и прошел в гостиную. Вдруг я увидел Эмилию — она лежала в халате на диване и читала журнал. Рядом стоял маленький столик, на котором я заметил тарелки с остатками обеда. Эмилия никуда не уходила, она не обедала у матери, одним словом, она меня обманула.

Вид у меня, очевидно, был страшный, потому что, взглянув на меня, Эмилия спросила:

— Что с тобой?.. Что случилось?

— Разве ты не должна была обедать у матери? — прохрипел я.— Почему же ты дома? Ведь ты сказала мне, что уйдешь.

— После нашего разговора с тобой мама позвонила и сказала, чтобы я к ней не приходила,— спокойно ответила Эмилия.

— Так почему же ты мне не перезвонила?

— Мама позвонила в самый последний момент... Я подумала, что ты уже ушел от Пазетти.

Я сразу же решил, что Эмилия лжет, не знаю даже почему, однако, не будучи в состоянии доказать это не только ей, но даже себе самому, промолчал и тоже сел на диван. Немного спустя она спросила, перелистывая журнал и не глядя на меня:

— А ты что делал?

— Пазетти пригласил меня пообедать с ними.

В эту минуту в соседней комнате зазвонил телефон. Я подумал: «Это Баттиста... Сейчас скажу ему, что решил больше не заниматься сценариями... К черту! Совершенно ясно, что у этой женщины нет даже капли любви ко мне».

— Пойди послушай, кто звонит...— как всегда, безразличным тоном сказала Эмилия.— Это, конечно, тебя.

Я встал и вышел.

Телефон стоял в соседней комнате на тумбочке. Прежде чем взять трубку, я взглянул на кровать, увидел лежавшую посреди изголовья одинокую подушку и укрепился в своем решении: все кончено — откажусь от сценария, а потом уйду от Эмилии. Я поднял трубку, но вместо Баттисты услышал голос тещи.

— Рикардо, Эмилия дома?

Я ответил, не думая:

— Нет, ее нет... Она сказала, что пойдет к вам обедать... Она ушла... Я думал, она у вас.

— Но ведь я же звонила, что не смогу ее принять. Сегодня у прислуги свободный день,— удивленно начала она объяснять мне. В эту

минуту я поднял глаза и через раскрытую дверь увидел лежавшую на диване Эмилию. Она смотрела на меня. Ее пристальный взгляд выражал не столько удивление, сколько отвращение и холодное презрение. Я понял, что из нас двоих солгал я, и она понимает, почему я это сделал. Я что-то пробормотал, прощаясь с тещей, затем, словно опомнившись, крикнул:

— Нет... Подождите... Эмилия только что вошла... Сейчас я вам дам ее.— Одновременно я делал Эмилии знаки, прося ее подойти к телефону.

Эмилия поднялась с дивана, прошла к телефону и молча, не глядя на меня, взяла трубку. Я вышел в гостиную. Нетерпеливым движением руки Эмилия приказала мне закрыть дверь. Я закрыл ее, смущенно уселся на диван и стал ждать.

Эмилия говорила долго. Я мучительно ждал, когда она кончит, и мне даже казалось, что она нарочно затягивает разговор. Но Эмилия всегда подолгу разговаривала по телефону со своей матерью. Она была привязана к матери. Мать Эмилии овдовела, жила одна, и, кроме дочери, у нее никого не осталось. Думаю, что Эмилия поверяла ей свои тайны.

Наконец дверь открылась, и вошла Эмилия. Я молчал, видя по необычно суровому выражению ее лица, что она на меня очень сердита.

— Ты что, с ума сошел? — убирая со стола посуду, сказала Эмилия.— Зачем тебе понадобилось говорить маме, что я ушла?

Пораженный ее тоном, я не нашелся, что ответить.

— Чтобы проверить, сказала ли я правду? — продолжала Эмилия.— Чтобы узнать, предупреждала ли меня мама о том, что не сможет со мной пообедать?

— Возможно,— с трудом выдавил я из себя.

— Убедительно прошу тебя, больше так не делай... Я никогда не лгу... И мне нечего от тебя скрывать... А подобного рода вещей я просто не выношу.

Все это она сказала очень решительно, затем взяла поднос, собрала тарелки и вышла из комнаты.

Оставшись один, я на мгновенье почувствовал что-то вроде горького удовлетворения одержанной победой. Значит, это правда: Эмилия меня больше не любит. Прежде она, конечно, со мной бы так не говорила. Она сказала бы нежно и с наигранным изумлением: «Неужели ты мог подумать, что я тебя обманула?» — а затем рассмеялась бы над всем этим, как над детской шалостью; а может быть, дала бы понять, что ей это даже приятно: «А ты в самом деле ревнуешь? И ты не знаешь, что я люблю тебя одного?» Все кончилось бы почти материнским поцелуем; ее длинные пальцы погладили бы мой лоб словно для того, чтобы отогнать от меня тревожные мысли. Правда, в прежнее время я и не подумал бы в чем-либо заподозрить Эмилию, а тем более не смог бы не поверить ей. Все изменилось: и ее любовь, и моя. И по-видимому, все продолжает меняться к худшему.

Однако человек всегда хочет верить, даже когда он знает, что верить больше не во что: я получил доказательство того, что Эмилия меня больше не любит, и все-таки у меня оставались некоторые сомнения или, скорее, надежда на то, что я неверно истолковал, в сущности, очень незначительный инцидент. Я говорил себе: не надо ускорять события, ты обязан заставить Эмилию сказать тебе, что она тебя больше не любит, ведь только она может представить доказательства, которых тебе пока еще не хватает... Такие мысли мелькали у меня одна за другой, пока я сидел на диване и напряженно смотрел в пустоту. Потом дверь отворилась, и в комнату вернулась Эмилия.

Не глядя на нее, я сказал:

— Скоро позвонит Баттиста, он хочет предложить мне работу над новым сценарием... Над очень серьезным сценарием.

— Ну и что же, ты доволен? — донесся до меня ее спокойный голос.

— На этом сценарии,— продолжал я,— можно хорошо заработать... Во всяком случае, достаточно, чтобы уплатить два очередных взноса за квартиру.

На этот раз она ничего не сказала. Я продолжал:

— Кроме того, этот сценарий будет много значить также и для меня... Если я его сделаю, мне закажут еще... Речь идет о большом фильме.

Она спросила рассеянно, тоном человека, который говорит, не отрываясь от книги:

— А что это за фильм?

— Не знаю,— ответил я. Затем, немножко помолчав, сказал почти торжественно: — Но я решил от него отказаться.

— А почему? — Тон был по-прежнему спокойный и безразличный.

Я встал, обогнул диван и сел напротив Эмилии. Она читала журнал, но, увидев, что я сел напротив нее, опустила его и посмотрела на меня.

— Потому,— сказал я искренне,— что, как тебе известно, мне ненавистна эта работа, я занимаюсь ею только во имя сохранения твоей любви... ведь надо платить за квартиру, которой ты так дорожишь или делаешь вид, что дорожишь. Но теперь я твердо знаю: ты меня больше не любишь... И все это уже ни к чему...

Эмилия смотрела на меня, широко раскрыв глаза и не говоря ни слова.

— Ты меня больше не любишь,— продолжал я,— и я не намерен бороться за эту работу... Ну, а как быть с квартирой? Что ж, я заложу ее или продам... Короче говоря, так жить я больше не могу, пора сказать тебе об этом... Теперь ты все знаешь... Скоро позвонит Баттиста, я пошлю его к черту.

Я высказался. Теперь настала минута для решительного объяснения, которого я так долго и мучительно жаждал и которого так боялся. При мысли об этом я почувствовал почти облегчение и с явно неожиданной для Эмилии смелостью взглянул на нее: интересно, что она мне ответит?

Эмилия немного помолчала. Ее явно удивила резкость моих слов. Наконец, желая выиграть время, она спросила уклончиво:

— Но что заставляет тебя думать, будто я тебя больше не люблю?

— Все,— ответил я со страстной силой.

— Например?

— Прежде всего скажи, правда это или нет?

Эмилия упрямо повторила:

— Нет, ты скажи, что тебя заставляет думать, будто это так.

— Все! — снова сказал я.— То, как ты говоришь со мной, как ты смотришь на меня, как ты со мной держишься... Все... Месяц назад ты пожелала спать одна. Прежде тебе этого не хотелось.

Эмилия смотрела на меня, не зная, что сказать. Потом я увидел, как в глазах ее вспыхнул огонек внезапно принятого решения. Вот сейчас, подумал я, она решила, как вести себя со мной, и она уже не отступит от этого, что бы я ни говорил и ни делал.

Наконец она мягко сказала:

— Уверяю тебя, я готова тебе даже поклясться, что не могу спать с открытым окном... Мне нужно, чтобы было темно и тихо, клянусь тебе.

— Но ведь я же предлагал тебе спать с закрытым окном.

— Видишь ли,— она заколебалась,— я должна тебе сказать, что ты не умеешь спать тихо.

— То есть как?

— Ты храпишь.— Она слегка улыбнулась, а затем добавила: — Каждую ночь ты будил меня своим храпом... Потому я и решила спать одна.

Ее слова о том, что я сильно храплю, смутили меня. Но мне трудно было этому поверить: я спал с другими женщинами, и ни одна из них не говорила мне, что я храплю.

— И потом, ты не любишь меня,— сказал я,— потому что жена, которая любит своего мужа...— Мне стало немного стыдно, и я помолчал, подыскивая подходящие слова,— не относится к любви так, как это с некоторых пор делаешь ты.

Эмилия сразу же возразила, и в тоне ее голоса я почувствовал скуку и раздражение.

— Не знаю, чего ты хочешь... Я принадлежу тебе всякий раз, как ты пожелаешь... Или я тебе когда-нибудь отказывала?

Я знал, что, когда у нас заходил разговор о подобного рода вещах, смущался и стыдился только я. Обычно сдержанная и скромная, Эмилия в минуты интимной близости, казалось, не знала ни стыда, ни смущения. Меня всегда поражала и привлекала та естественная наивность, с какой она говорила о чувственной стороне любви — откровенно, поразительно свободно, без тени недомолвок или сентиментальности.

— Нет, не отказывала...— тихо ответил я.— Но...

Эмилия продолжала наступать:

— Всякий раз, когда ты хотел обладать мной, я была твоя... Ты не из тех мужчин, которые довольствуются просто близостью... Ты умеешь любить.

— Ты так думаешь? — спросил я, почти польщенный.

— Да,— сказала она сухо и не глядя на меня.— Но если бы я тебя не любила, именно твое умение любить докучало бы мне. Женщина всегда найдет какой-нибудь предлог, чтобы отказаться. Не так ли?

— Ну хорошо,— сказал я,— ты принимаешь мою любовь, ты никогда мне не отказывала... Но ты принимаешь мою любовь не так, как это делает женщина, которая действительно любит.

— А как?

Я должен был бы ответить: «Как проститутка, которая безропотно подчиняется клиенту и жаждет лишь, чтобы все кончилось возможно скорее. Вот как». Но из уважения к ней, а также и к самому себе я предпочел промолчать. А впрочем, к чему бы это привело? Эмилия, конечно, сказала бы, что я не прав, и, пожалуй, напомнила бы мне с грубо технической точностью о некоторых своих чувственных порывах, в которых была опытность, жажда наслаждения, страстность, эротическое неистовство — все, кроме нежности и невыразимого самозабвения подлинной любви.

Поняв, что объяснение, которого я так желал, закончилось ничем, я сказал с чувством отчаяния:

— Словом, каковы бы ни были причины, но я убежден, что ты меня больше не любишь. Вот и все.

Прежде чем ответить, Эмилия еще раз внимательно посмотрела на меня. Казалось, по выражению моего лица она старалась понять, как ей следует вести себя. Я давно уже отметил в ней одну характерную черту: когда Эмилия не могла решиться на что-то такое, что ей было не по душе, ее красивое, обычно столь правильное и симметричное лицо искажалось — одна щека как бы вваливалась, рот перекашивало, растерянные, потускневшие глаза исчезали под веками, словно их запечатали сургучом. Я знал эту ее особенность — так бывало всегда, когда

Эмилии приходилось принимать неприятное для нее решение или идти против своей воли.

Вдруг она порывисто обняла меня за шею.

— Но зачем ты говоришь мне все это, Рикардо? — воскликнула она, однако в голосе ее звучали фальшивые нотки.— Я люблю тебя... И ничуть не меньше, чем прежде.

Ее горячее дыхание коснулось моего уха. Она погладила мне лоб, виски, волосы; затем обеими руками крепко прижала мою голову к своей груди.

Я подумал, что Эмилия обняла меня так, чтобы я не видел ее лица, которое, вероятно, было теперь напряженным и озабоченным, как у человека, заставляющего себя делать то, чего делать ему совсем не хочется. В отчаянной тоске по любви я прижался к ее полуобнаженной груди и все-таки не мог не подумать: «Она притворяется... Но ее обязательно выдаст какая-нибудь фраза или интонация».

Я ждал этого несколько минут. Потом услышал ее осторожный вопрос:

— А что бы ты сделал, если бы я тебя действительно разлюбила?

«Я был прав,— подумал я с горьким торжеством,— она выдала себя. Ей хочется знать, что я сделаю, чтобы взвесить и оценить, чем она рискует, если решит сказать мне правду». Не пошевелившись, я ответил:

— Я тебе уже говорил... Прежде всего откажусь от новой работы для Баттисты.— Мне хотелось прибавить: «И уйду от тебя»,— но у меня не хватило духу сказать это в ту минуту, когда моя щека прижималась к ее груди, а ее пальцы гладили мой лоб. Я еще все надеялся, что Эмилия меня любит, и боялся, что нам действительно придется расстаться, если я заговорю об этом хотя бы предположительно.

Все еще крепко обнимая меня, Эмилия сказала:

— Но ведь я люблю тебя... И все это просто нелепо... Знаешь, что ты сделаешь?.. Когда позвонит Баттиста, ты условишься с ним о встрече, а затем пойдешь и согласишься на предложенную им работу.

— Почему я должен поступать так, зная, что ты меня больше не любишь? — крикнул я с раздражением.

На этот раз Эмилия ответила обиженно и рассудительно:

— Я люблю тебя, и не заставляй меня без конца повторять это. Я хочу остаться в нашей квартире... Если тебе не нравится работа над этим фильмом, я не стану тебя уговаривать... Но если ты не хочешь браться за нее, потому что считаешь, будто я тебя больше не люблю и не дорожу домом, то знай — ты ошибаешься.

У меня мелькнула надежда на то, что Эмилия не лжет. Я понял, что по крайней мере сегодня она меня убедила. Но теперь мне отчаянно захотелось узнать еще больше, мне хотелось быть уверенным до конца. Словно угадав мое желание, Эмилия выпустила меня из объятий и прошептала:

— Поцелуй меня, хочешь?

Я встал и, прежде чем поцеловать Эмилию, на мгновение взглянул на нее. Меня поразил отпечаток крайней усталости на ее лице, более чем когда-либо печальном и нерешительном. Словно разговаривая со мной, лаская и обнимая меня, она проделала какую-то нечеловечески тяжелую работу, а теперь приготовилась к поцелую, как к чему-то еще более тягостному и трудному.

Я взял Эмилию за подбородок и приблизил свои губы к ее губам. В эту минуту затрещал телефон.

— Это Баттиста,— сказала Эмилия, с явным облегчением высвобождаясь из моих объятий и убегая в соседнюю комнату.

Я остался сидеть на диване и через открытую дверь увидел, как Эмилия подняла трубку и сказала:

— Да... Он дома... Сейчас я его вам дам... Как поживаете?..

Эмилия еще о чем-то поговорила. Потом, многозначительно кивнув мне, сказала:

— Мы только что говорили о вас и о вашем новом фильме.

Затем последовало еще несколько туманных фраз. Потом она сказала спокойно:

— Да, в ближайшее время увидимся... А сейчас передаю трубку Рикардо.

Я поднялся, прошел в спальню и взял телефонную трубку. Как я и предполагал, Баттиста сообщил мне, что завтра в полдень будет меня ждать у себя в конторе. Я сказал, что приду, перекинулся с ним несколькими словами и повесил трубку. Лишь тут я заметил, что, пока я разговаривал с Баттистой, Эмилия вышла из спальни. Вдруг я подумал, что она ушла, так как добилась своего, заставив меня согласиться на встречу с Баттистой: теперь уже не было никакой надобности ни в ее присутствии, ни в ее ласках.

Глава восьмая

Назавтра к условленному часу я отправился на свидание с Баттистой. Контора Баттисты занимала весь первый этаж старого палаццо. В прошлом этот особняк принадлежал какой-то патрицианской семье, теперь же в нем помещалось несколько акционерных обществ. Баттиста разгородил простыми деревянными перегородками большие залы с расписными потолками и стенами на множество маленьких комнат, обставленных канцелярской мебелью. Там, где некогда висели старинные картины на мифологические и библейские сюжеты, теперь бросались в глаза яркие, красочные афиши кинофильмов. Повсюду были развешаны фотографии актеров и актрис, вырезанные из журналов иллюстрации, грамоты, полученные на фестивалях, и тому подобные украшения, которые можно встретить в помещении любой кинофирмы. В приемной на фоне выцветших фресок красовался длинный зеленый металлический барьер, за которым три-четыре секретарши принимали посетителей. Баттиста был еще молодым продюсером, в последние годы сделавшим себе имя на производстве посредственных, но обеспечивающих хорошие сборы фильмов. Его фирма, «скромно» названная «Триумф-фильм», была в то время одной из самых процветающих.

К этому часу приемная оказалась уже переполненной. Благодаря приобретенному опыту, я с первого же взгляда мог совершенно точно определить, кем является каждый из посетителей; здесь было несколько сценаристов — я узнал их по усталому и в то же время беззаботному выражению лица, по папкам, которые они сжимали под мышкой, по небрежно-элегантной манере одеваться; какой-то администратор, как две капли похожий на управляющего имением или на торговца скотом; две-три девушки, мечтающие стать актрисами или, вернее, статистками,— юные, даже грациозные, но уже испорченные кино: это было видно по их заученным позам, чрезмерно накрашенным лицам и вычурным туалетам; наконец здесь находилось несколько неопределенных личностей, которых всегда встречаешь в приемной любого продюсера: безработные актеры, неудачливые сценаристы и всякого рода попрошайки. Все они расхаживали взад и вперед по грязному мозаичному полу или покачивались на стоящих вдоль стен позолоченных стульях, зевали, покуривали сигареты и вполголоса беседовали друг с другом. Секретарши то

разговаривали по бесчисленным телефонам, то неподвижно сидели за барьером, тупо уставившись перед собой остекленевшими от скуки глазами. Поминутно резко и неприятно верещал звонок, секретарши выкликали фамилию, кто-нибудь из посетителей быстро вскакивал и скрывался за позолоченными створками огромной двери.

Я назвал свое имя и уселся в самом дальнем углу. На душе у меня было также скверно, как и вчера, но теперь я чувствовал себя гораздо спокойнее. Сразу же после разговора с Эмилией я пришел к твердому убеждению, что она солгала, сказав, что любит меня. Однако на этот раз — отчасти потому, что я не очень устал, отчасти потому, что мне непременно хотелось заставить ее объясниться до конца и начистоту,— я решил пока что ничего не предпринимать; иначе говоря, я не отказывался от новой работы у Баттисты, хотя очень хорошо понимал, насколько она теперь бесцельна, как, впрочем, и вся моя жизнь. Потом, думал я, как только мне удастся заставить Эмилию сказать всю правду, я плюну на работу и пошлю все к чертям. В известной мере такое далеко не мирное решение вопроса нравилось мне даже больше, чем то, о котором я подумывал прежде. Скандал и материальный ущерб еще более подчеркнули бы мое отчаяние, а также мое твердое желание покончить со всякими недомолвками и компромиссами.

Как я уже сказал, я был совершенно спокоен. Но это было спокойствие, порожденное апатией и равнодушием. Предчувствие неведомой беды вызывает тревожное беспокойство — ведь в глубине души до последней минуты надеешься, что, может быть, все и неправда; осознание же неизбежности несчастья, напротив, порождает на некоторое время тягостное спокойствие. Я был совершенно спокоен, но понимал, что это ненадолго: первая стадия — стадия подозрения — мною пройдена; вскоре ее сменит стадия мучительных терзаний, разрыва и раскаяния. Я знал, что так оно и будет. Но знал также и то, что между этими двумя стадиями временно наступил период мертвого штиля, напоминающего мнимое затишье перед новым и еще более свирепым неистовством бури.

Пока я ждал вызова Баттисты, мне пришло в голову, что до сих пор я только старался узнать, любит меня Эмилия или нет. Теперь же, как мне казалось, я уже убедился, что она меня не любит. Значит, решил я, пораженный этим открытием, следует задуматься над другим вопросом: почему она меня не любит? Как только я установлю причину, мне будет гораздо легче заставить Эмилию объясниться.

Должен признаться, подобный вопрос в первое мгновенье показался мне лишенным всякого смысла. Это же невероятно, это просто нелепо: у Эмилии решительно не могло быть никакой причины разлюбить меня. На чем основывалась такая моя уверенность, я не сумел бы объяснить; точно так же, как не смог бы объяснить, почему, несмотря на то, что у Эмилии не было, как мне казалось, причин разлюбить меня, она меня тем не менее явно не любит. Противоречие между тем, что я чувствовал, и доводами рассудка заставило меня на мгновенье растеряться. В конце концов я, как студент, доказывающий геометрическую теорему, сказал себе: «Допустим, исходя от противного, что причина имеется, и посмотрим, в чем же она может заключаться».

Я заметил: чем сильнее людьми овладевают сомнения, тем охотнее они хватаются за мнимую логическую очевидность, надеясь с помощью разума прояснить то, что затуманивает и замутняет чувство. В тот момент, когда инстинкт подсказывал мне столь противоречивые ответы, мне хотелось, подобно сыщику из детективного романа, прибегнуть к логическому анализу. Какого-то человека убили. Необходимо установить причину убийства. Определив причину, нетрудно отыскать убийцу... Так вот, думал я, причины могут быть двоякого рода: во-первых, связанные с Эмилией, во-вторых — со мной. Я тут же решил, что причины первого

рода можно свести к одной-единственной: Эмилия больше не любит меня потому, что любит другого.

После минутного размышления мне показалось, что от такого предположения надо отказаться. Последнее время в поведении Эмилии ничто не свидетельствовало о том, что в ее жизнь вошел какой-то другой мужчина. Наоборот, как раз в последнее время она стала вести жизнь более замкнутую и очень тесно связанную с моей. Я знал, что Эмилия почти безвыходно сидит дома, читает, разговаривает по телефону с матерью или занимается домашним хозяйством. Все ее развлечения — кино, прогулки, обеды в ресторане — зависели только от меня. Несомненно, первое время после нашей свадьбы ее жизнь была более разнообразной и в какой-то мере более светской. Тогда Эмилия еще поддерживала отношения с подругами своей юности; но вскоре они исчезли, и жизнь ее стала настолько зависеть от моей, что это меня начало даже стеснять. Эта зависимость нисколько не ослабла и после того, как она ко мне охладела. Эмилия не сделала ни малейшей попытки вытеснить меня из своей жизни: уже не любя меня, она, как и прежде, ждала моего возвращения с работы, и ее нечастые развлечения были связаны только со мной. В этой зависимости без любви было даже что-то возвышенное и печальное. Эмилия напоминала женщину, чье призвание состоит в том, чтобы оставаться верной женой и сохранять верность даже тогда, когда для этого нет уже никаких оснований. Одним словом, хотя она меня больше не любила, в ее жизни, несомненно, не было никого, кроме меня.

Помимо этого было еще одно соображение, которое заставило меня отказаться от мысли, будто Эмилия любит другого. Я знал или полагал, что знаю, ее очень хорошо. Я знал, что она не способна лгать, и прежде всего в силу своей невыносимо грубой откровенности. Любая ложь казалась ей чем-то не столько постыдным, сколько очень утомительным и скучным. Наконец почти полное отсутствие воображения не позволяло ей уверенно говорить о том, чего в действительности не произошло и реально не существует. Я был уверен: влюбись Эмилия в другого человека, она с ее характером не нашла бы ничего лучшего, как сразу же доложить мне об этом с бессознательной жестокой грубостью, свойственной мещанской среде, из которой она вышла. Эмилия могла быть молчаливой и замкнутой, такой она и была теперь, поскольку чувство ее ко мне изменилось; но для нее было бы очень трудно — если вообще возможно — вести двойную жизнь, чтобы скрыть адюльтер, то есть придумывать встречи с модистками и портнихами, утверждать, что она ходила к родственникам или подругам, а возвращаясь поздно домой, ссылаться, как обычно делают в таких случаях женщины, на театр или городской транспорт. Нет, ее холодность ко мне не означала пылкой страсти к другому. Если причина была — а не быть ее не могло,— искать ее следовало не в жизни Эмилии, а в моей.

Я так погрузился в свои размышления, что не заметил, как ко мне подошла одна из секретарш. Она стояла передо мной, и улыбаясь, повторяла:

— Синьор Мольтени... Доктор Баттиста ждет вас...

Я встрепенулся и, прервав нить своих рассуждений, поспешно вошел в кабинет продюсера.

Баттиста сидел в глубине большого зала с расписным потолком и позолоченными стенами за металлическим письменным столом зеленого цвета.

Хотя я уже довольно много говорил о Баттисте, до сих пор я еще не описал его внешности. Думаю, теперь это следовало бы сделать.

Так вот, Баттиста был одним из тех, кого сотрудники и подчиненные за глаза награждают милыми прозвищами вроде: Животное, Обезь-

яна, Скотина, Горилла. Нельзя отрицать, что внешний облик Баттисты мог породить подобные эпитеты. Однако самому мне никогда не приходило в голову применять их к нему — отчасти потому, что я питаю отвращение ко всяким прозвищам, отчасти потому, что все они, как мне кажется, никак не соответствовали очень яркому характеру Баттисты — его поразительной хитрости, чтобы не сказать хитроумию, скрываемой под маской внешней грубости. Конечно, Баттиста был толстокожим животным, наделенным колоссальной жизненной силой. Но она проявлялась не только в его огромных аппетитах, но и в его деловых операциях, зачастую весьма тонких, направленных на удовлетворение этих аппетитов.

Баттиста был среднего роста, но довольно широкоплечий, с узкими бедрами и короткими ногами — это-то и придавало ему сходство с крупной обезьяной, которому он был обязан своими прозвищами. В лице его тоже было что-то обезьянье: зачесанные назад волосы образовывали залысины по обе стороны лба, густые, подвижные брови, маленькие глазки, короткий широкий нос, большой, но почти лишенный губ, тонкий, как лезвие ножа, рот и несколько выступающий подбородок. Живота у Баттисты совсем не было, и благодаря этому грудь у него сильно выдавалась вперед. Его мускулистые руки, начиная с самых запястий, были покрыты черной шерстью: когда мы однажды были с ним на пляже, я обратил внимание, что она густо покрывает его спину и грудь. Этот человек с такой грубой внешностью говорил мягко, вкрадчиво, убедительно и с легким иностранным акцентом — Баттиста родился в Аргентине. Голос Баттисты поражал, как что-то совсем неожиданное, и в этом я тоже усматривал проявление его хитрости и изворотливости.

Баттиста был в кабинете не один. Перед столом сидел мужчина, которого он, представляя, назвал Рейнгольдом. Я великолепно знал, кто это такой, хотя встречался с ним впервые. Рейнгольд был немецким кинорежиссером, в дофашистской Германии он поставил несколько фильмов-«колоссов», имевших в свое время довольно большой успех. Конечно, Рейнгольд не считался режиссером такого масштаба, как Пабст или Ланг, но все-таки это был крупный режиссер; он никогда не ставил чисто коммерческих фильмов, и у него имелись свои, пусть спорные, но все же вполне определенные эстетические взгляды и принципы. После прихода Гитлера к власти о Рейнгольде никто ничего не слышал. Говорили, будто он работал в Голливуде, но за последние годы в Италии не показывали ни одного его фильма. И вот теперь совершенно неожиданно он появился в конторе Баттисты.

Пока Баттиста говорил, я с любопытством разглядывал Рейнгольда. Видели ли вы на какой-нибудь старой гравюре лицо Гёте? Так вот, у Рейнгольда было такое же благородное и строгое лицо олимпийца. И так же, как у Гёте, голову его окружал нимб ослепительно седых волос. Одним словом, у него была голова гения. Однако, присмотревшись повнимательнее, я обнаружил, что величие и благородство Рейнгольда несколько искусственны: черты его лица, крупные и в то же время рыхлые, напоминали картонную маску; возникало впечатление, что под ней ничего нет, как под теми чудовищно огромными декоративными головами, которые на карнавалах надевают на себя карлики. Рейнгольд встал, чтобы пожать мне руку. При этом он слегка склонил голову и щелкнул каблуками с чисто немецкой чопорностью. Тут я обнаружил, что он маленького роста, хотя плечи у него, как бы подчеркивая величавость его внешности, были очень широкие. Здороваясь, он приветливо улыбнулся широкой лунообразной улыбкой, обнажив два ряда очень ровных и слишком уж белых зубов, показавшихся мне, не знаю почему, искусственными. Но, едва он снова сел, улыбка исчезла с его лица внезапно и бесследно, словно на луну набежала туча; лицо его приняло суровое, довольно неприятное выражение, властное и требовательное.

Баттиста, как всегда, начал издалека. Кивнув в сторону Рейнгольда, он сказал:

— Мы с Рейнгольдом говорили о Капри... А вы, Мольтени, знаете Капри?

— Немного,— ответил я.

— У меня на Капри своя вилла,— продолжал Баттиста,— Я только что рассказывал Рейнгольду, какое восхитительное место Капри... Там даже такой деловой человек, как я, становится немного поэтом.

Это был один из самых излюбленных трюков Баттисты: он любил выставлять напоказ свое восхищение прекрасным, возвышенно-благородным — одним словом, всем тем, что относится к сфере идеального. И больше всего меня поражало то, что восхищение это бывало, по-видимому, искренним, хотя далеко не всегда бескорыстным.

Баттиста снова заговорил, казалось, растроганный собственными словами:

— Роскошная природа, восхитительное небо, вечно лазурное море... и цветы, всюду цветы. Если бы я был, как вы, Мольтени, писателем, мне хотелось бы жить на Капри, для вдохновения... Не понимаю, почему художники, вместо того чтобы писать пейзажи Капри, рисуют свои безобразные картины, на которых ничего не разберешь... На Капри имеются, так сказать, уже готовые прекрасные картины... Надо только взять и скопировать пейзаж.

Я промолчал. Взглянув украдкой на Рейнгольда, я увидел, что он одобрительно кивает головой; улыбка на его лице опять напоминала серп луны на безоблачном небе. А Баттиста продолжал:

— Мне всегда хотелось пожить там хотя бы с месяц, ничего не делая и не думая о делах. Но осуществить это мне так никогда и не удавалось. Здесь, в городе, мы ведем противоестественный образ жизни... Человек создан не для того, чтобы жить среди папок, в конторе... В самом деле, жители Капри выглядят гораздо счастливее нас... Посмотрите на них, когда они вечером выходят погулять: юноши, девушки, улыбающиеся, спокойные, красивые, веселые... И это потому, что в их жизни не происходит ничего важного, а их стремления и интересы — незначительны... Н-да, им хорошо...

Помолчав, Баттиста продолжал:

— Так вот, как я уже сказал, на Капри у меня вилла, и, к сожалению, я там никогда не бываю... С того времени, как я купил эту виллу, я прожил на ней в общей сложности не больше двух месяцев... Я как раз говорил Рейнгольду, что моя вилла — самое подходящее место для работы над сценарием. Во-первых, вас будет вдохновлять пейзаж. Но помимо этого, как я уже сказал Рейнгольду, пейзаж этот вполне соответствует сюжету фильма.

— Синьор Баттиста,— заметил Рейнгольд,— работать можно везде... Конечно, и Капри может оказаться подходящим местом... Особенно, если, как я предполагаю, мы будем делать натурные съемки в Неаполитанском заливе.

— Вот именно. Рейнгольд говорит, что он предпочитает жить в гостинице. У него свои привычки, а кроме того, он любит иногда поразмышлять в одиночестве. Но мне кажется, вы, Мольтени, могли бы поселиться у меня на вилле... Вместе с женой... Мне вы доставите только удовольствие — наконец-то там кто-нибудь будет жить. На вилле имеются все удобства, а женщину, которая будет следить за домом, подыскать нетрудно...

Как всегда, я сразу же подумал об Эмилии. Я подумал также о том, что жизнь на Капри и к тому же на богатой вилле могла бы разрешить многие трудности. Сказать по правде, не знаю уж почему, но у меня возникла уверенность, что это разрешит все мои проблемы.

— Спасибо,— искренне поблагодарил я Баттисту.— Я тоже думаю, что Капри — подходящее место для работы над сценарием. Мы с женой будем очень рады пожить у вас.

— Великолепно, договорились,— сказал Баттиста и поднял руку, словно желая остановить поток благодарностей, в которых я вовсе и не думал изливаться.— Договорились. Вы отправитесь на Капри, а я приеду к вам погостить... Теперь побеседуем-ка немного о фильме.

«Давно пора»,— подумал я и пристально посмотрел на Баттисту. Теперь я раскаивался в том, что столь поспешно принял его приглашение. Не знаю почему, но я почувствовал, что Эмилия не одобрила бы моей поспешности. «Я должен был бы сказать, что мне нужно обо всем этом поразмыслить и посоветоваться с женой»,— подумал я с некоторым раздражением. Чувство благодарности, с каким я принял приглашение Баттисты, показалось мне неуместным, чуть ли не постыдным.

— Все согласны с тем,— продолжал Баттиста,— что в кино надо найти что-то новое... Послевоенный период кончился, и возникла необходимость в новой формуле... Возьмем, к примеру, неореализм, он всем уже несколько надоел. Проанализировав причины, из-за которых зрителям наскучили неореалистические фильмы, мы, возможно, сумеем понять, какой могла бы быть новая формула.

Как уже говорилось, я знал, что Баттиста не любил брать быка за рога. Он не был циником или, во всяком случае, старался не казаться им. В отличие от остальных продюсеров Баттиста очень редко заговаривал о кассовых сборах: вопрос о прибылях, имеющий для него не меньшее, а может быть, даже большее значение, чем для них, всегда оставлялся им в тени. Если, допустим, ему казалось, что сюжет фильма не обеспечит приличной прибыли, Баттиста никогда не заявлял, как другие продюсеры: «На таком сюжете не заработаешь ни гроша». Нет, он говорил: «Этот сюжет не нравится мне потому-то и потому-то». И причины, которые он приводил, всегда оказывались причинами эстетического или морального порядка. Однако в конечном счете все решала все-таки прибыль. После длинных споров о прекрасном и нравственном в киноискусстве, после всего того, что я называл дымовой завесой Баттисты, он неизменно выбирал коммерчески наиболее выгодное решение. Поэтому я уже давно утратил интерес к зачастую долгим и сложным рассуждениям Баттисты о хороших и плохих фильмах, о фильмах нравственных и безнравственных. Я всегда ждал, пока он ступит на твердую почву, а ею постоянно и неизменно оказывалась финансовая сторона вопроса. Теперь я тоже подумал: «Конечно, Баттиста не признается, что неореалистические фильмы надоели продюсерам потому, что они больше не приносят прибыли. Послушаем, что же он скажет...» И действительно, Баттиста тут же изрек:

— По-моему, неореалистические фильмы надоели всем потому, что это нездоровые фильмы.

После этого он замолчал. Я искоса взглянул на Рейнгольда: тот даже глазом не моргнул. Баттиста, который своим молчанием хотел подчеркнуть слово «нездоровые», пояснил:

— Я хочу сказать, что они не помогают жить, не укрепляют веры в жизнь. Неореалистические фильмы угнетают зрителя, они пессимистичны, мрачны. Не говоря уже о том, что они изображают Италию как страну нищих, к великой радости иностранцев, которым очень выгодно думать, что наша страна — нищая страна. Не говоря уже об этом, что само по себе достаточно важно, неореалистические фильмы слишком напирают на все негативное, все низменное, грязное, ненормальное в жизни человека... Одним словом, это пессимистические, вредные фильмы, фильмы, которые напоминают людям о трудностях, вместо того чтобы помогать им преодолевать эти трудности.

Я смотрел на Баттисту и опять не мог понять, действительно ли он

думает то, что говорит, или только прикидывается. В его тоне чувствовалась какая-то искренность. Возможно, это была всего лишь искренность человека, который охотно соглашается верить в то, во что ему выгодно верить, но все-таки он казался искренним.

Баттиста продолжал развивать свои мысли. Тембр его голоса был какой-то неестественный, почти металлический, даже когда он старался быть любезным.

— Рейнгольд сделал мне предложение, которое меня заинтересовало. Он обратил мое внимание на то, что в последнее время большой успех имели фильмы на библейские сюжеты. Они делали самые крупные сборы.

Баттиста отметил это, но словно в скобках, как факт, которому сам он не хотел бы придавать слишком большого значения.

— А почему?.. Потому, что Библия — самая здоровая книга из всех, когда-либо созданных... Так вот, Рейнгольд сказал мне: «У англосаксов имеется Библия, а у вас, людей средиземноморской культуры, есть Гомер...» Не так ли?

Он обернулся к Рейнгольду, словно спрашивая, правильно ли передал его слова.

— Именно так,— подтвердил Рейнгольд, но на его расплывшемся в улыбке лице мелькнула тень тревоги.

— Для вас, средиземноморцев,— Баттиста продолжал цитировать Рейнгольда,— Гомер — то же, что Библия для англосаксов. Почему бы нам не сделать фильм, например, по «Одиссее»?

Наступило молчание. Я был ошеломлен и, желая выиграть время, спросил:

— Имеется в виду «Одиссея» целиком или какой-нибудь эпизод из «Одиссеи»?

— Вопрос этот мы уже обсудили,— быстро ответил Баттиста,— и пришли к выводу, что лучше будет обратиться к материалу всей «Одиссеи». Впрочем, это не так уж важно. Важнее другое.— Он повысил голос.— Перечитав «Одиссею», я в конце концов понял, чего я уже давно и безотчетно ищу... То, чего нельзя найти в неореалистических фильмах. То, что, к примеру, я никогда не находил в тех сюжетах, какие за последнее время предлагали мне вы, Мольтени. Одним словом, то, что я чувствую, но не могу хорошо выразить и что также необходимо для киноискусства, как и для жизни,— поэзию.

Я снова взглянул на Рейнгольда. Тот по-прежнему улыбался. Пожалуй, его улыбка стала даже еще шире. Он одобрительно кивал головой. Неожиданно для себя самого я сказал почти резко:

— Разумеется, поэзии в «Одиссее» сколько угодно... Все дело в том, чтобы передать ее в фильме.

— Верно,— сказал Баттиста. Он взял со стола линейку и прицелился ею в меня.— Верно... Но для этого и существуете вы оба: вы, Мольтени, и вы, Рейнгольд... Я знаю, что поэзия там есть, а ваше дело извлечь ее оттуда.

— «Одиссея»,— заметил я,— это целый мир... Можно извлечь из нее все что пожелаешь. Надо, однако, знать, с какой стороны к ней подступиться.

Казалось, Баттисту удивило, что его предложение не вызвало у меня никакого энтузиазма. Он пристально посмотрел на меня, словно желая уяснить, что скрывается за моей холодностью. Потом, по-видимому, отложив выяснение этого на некоторое время, встал из-за стола и, запрокинув голову, засунув руки в карманы, принялся расхаживать по комнате из угла в угол. Мы повернулись и следили за ним глазами. Расхаживая по комнате, Баттиста говорил:

— Больше всего меня потрясло в «Одиссее» то, что поэзия Гомера имеет всегда характер зрелища. Говоря о зрелище, я имею в виду то, что

всегда безоговорочно нравится публике. Возьмем, к примеру, эпизод с Навзикаей. Прелестные голые девушки плещутся в воде, а Одиссей наблюдает за ними, спрятавшись в кустах... Здесь вы имеете вариант сцены из «Купающихся красавиц». Или возьмите Полифема: одноглазое страшилище, великан, сказочное чудовище... Но это же Кинг-Конг — один из популярнейших персонажей довоенного кино. Или вспомните Цирцею с ее дворцом. Это Антинея из «Атлантиды»... Вот что мы называем зрелищем. Но это, как я говорил, не просто зрелище, в этом также и поэзия.

Баттиста был в восторге. Остановившись перед нами, он произнес:

— Вот как я представляю себе «Одиссею», выпущенную кинофирмой «Триумф-фильм».

Я промолчал. Я понимал, что поэзия для Баттисты совсем не то, что для меня. Я понимал, что в соответствии с таким его пониманием поэзии «Одиссея» производства «Триумф-фильм» должна быть сделана по образцу голливудских фильмов на библейские сюжеты — с чудовищами, обнаженными женщинами, соблазнительными сценами, эротикой и театральной помпезностью. В сущности, говорил я себе, Баттиста все еще обладает вкусом итальянских продюсеров эпохи Д'Аннунцио. Да и как могло быть иначе?

Баттиста уселся за письменный стол и спросил:

— Ну, так что же вы на это скажете, Мольтени?

Каждому, кто знаком с миром кино, известно: есть фильмы, о которых еще до того, как написана хотя бы одна строка сценария, можно с уверенностью сказать, что они будут поставлены; и есть другие фильмы, о которых даже после того, как подписан договор и написаны сотни страниц сценария, твердо знаешь, что они никогда не будут закончены. Пока Баттиста говорил, чутье профессионального сценариста сразу же подсказало мне, что его «Одиссея» — один из тех фильмов, о которых много шумят, но которые так и не выпускают на экран. Почему я так решил? Я не смог бы этого объяснить. Не знаю, может быть, из-за непомерных претензий подобного фильма, а может быть, из-за впечатления, которое произвела на меня внешность Рейнгольда, столь величественного, пока он сидел, и оказавшегося таким маленьким, когда он встал. Я чувствовал, что, подобно Рейнгольду, фильм будет иметь великолепное начало и жалкий конец. Оправдав тем самым известное выражение о сиренах — «Desinit in piscem» *. Но почему Баттиста захотел поставить такой фильм? Я знал, что он очень осторожен и не склонен рисковать. Может быть, подумал я, он надеется, сыграв на имени Гомера, на «Одиссее» — этой, по выражению Рейнгольда, Библии средиземноморских народов,— получить солидные ассигнования, возможно, даже из Америки. Но, с другой стороны, я знал, что, если фильм не будет поставлен, Баттиста — в этом он ничуть не отличался от других продюсеров,— найдет какой-нибудь предлог, чтобы не оплатить мой труд. Так всегда бывает: если работа над фильмом оказывается напрасной, продюсер в большинстве случаев предлагает отложить оплату уже написанного сценария до производства следующего фильма, и бедняге сценаристу не остается ничего другого, как согласиться. Поэтому я сказал себе, что, как бы там ни было, мне следует обезопасить себя, потребовав немедленного подписания контракта, а главное, выплаты аванса. Для этого был лишь один способ: сослаться на трудности и заставить Баттисту добиваться моего сотрудничества.

— Мне кажется, что это превосходная мысль,— сухо ответил я.

— Однако не видно, чтобы она привела вас в восторг.

— Боюсь, что это не мой жанр, что я... не справлюсь.

— Но почему?— было заметно, что Баттиста злится.— Вы всегда

---

* Все кончается рыбьим хвостом *(лат.)*.

утверждали, что хотели бы работать над серьезными фильмами... А теперь, когда я даю вам такую возможность, вы отказываетесь.

— Понимаете, Баттиста,— возразил я,— у меня склонность к психологическим фильмам. А этот фильм, если я правильно вас понял, должен быть чисто зрелищным, вроде американских фильмов на библейские сюжеты.

Баттиста не успел ответить — совершенно неожиданно в разговор вмешался Рейнгольд.

— Выслушайте меня, синьор Мольтени,— сказал он, выпуская на лицо свою лунообразную улыбку, и это напомнило мне жест, которым актер приклеивает себе усы. Несколько наклонившись вперед, он заговорил почтительно, чуть ли не заискивающе:— Синьор Баттиста прекрасно рассказал о нашем замысле... Он дал очень верное представление о том, какой фильм я намерен поставить с вашей помощью. Но синьор Баттиста говорил как продюсер, обращая внимание главным образом на элементы зрелищности... Если вы испытываете склонность к психологическим сюжетам, вам непременно надо работать над этим фильмом. Потому что он — не что иное, как фильм о психологии взаимоотношений Одиссея и Пенелопы... Я хочу сделать фильм о человеке, который любит свою жену, но не любим ею.

Я растерялся, особенно потому, что озаренное искусственной улыбкой лицо Рейнгольда приблизилось ко мне и, казалось, отрезало все пути к отступлению. Надо было ответить, и притом сразу же. И вот в тот самый момент, когда я собирался возразить: «Но ведь неверно, что Пенелопа не любит Одиссея»,— последняя фраза режиссера неожиданно напомнила мне о моих отношениях с Эмилией, ведь это я был человеком, который любит свою жену и не любим ею. В то же самое мгновенье по какой-то непонятной ассоциации мне вспомнилось нечто такое, что, как я тут же решил, по-видимому, могло дать ответ на вопрос, который я задавал себе в приемной, ожидая вызова к Баттисте: почему Эмилия меня больше не любит?

Сейчас, когда я рассказываю, может показаться, что на все это ушло много времени. В действительности же воспоминания пронеслись в моем сознании стремительно, за какую-то секунду. Так вот, пока Рейнгольд склонял ко мне свое улыбающееся лицо, я вдруг увидел себя в гостиной меблированных комнат диктующим сценарий. Я диктовал в течение нескольких дней, работа приближалась к концу, а я все еще не мог бы сказать, хорошенькая машинистка или нет. Пустячный случай, так сказать, открыл мне на это глаза. Машинистка печатала какую-то фразу, когда я, взглянув на лист через ее плечо, увидал, что она сделала ошибку. Я наклонился и исправил ошибку, напечатав сам нужное слово. Кладя пальцы на клавиши, я непроизвольно коснулся её руки. Я заметил, что рука у нее большая, сильная и как-то совсем не вяжется с ее хрупкой фигуркой. Она не отдернула руку. Я напечатал следующее слово и на этот раз, пожалуй, уже намеренно тронул ее пальцы. Затем я взглянул ей в лицо, она тоже смотрела на меня, выжидающе и как бы поощряя. Неожиданно, словно увидев ее в первый раз, я понял, что она хорошенькая. У нее был маленький чувственный рот, капризный носик и пышные, зачесанные назад волосы. Ее тонкое, бледное лицо выражало разочарование и досаду. И еще одна деталь: когда она произнесла с гримаской: «Простите, я отвлеклась»,— меня поразил резкий, сухой тембр ее довольно неприятного голоса. Так вот, взглянув на нее, я увидел, что она не только не опустила глаза, но даже посмотрела на меня вызывающе. Должно быть, я несколько смутился, потому что с этой минуты в течение нескольких дней мы только и делали, что обменивались взглядами. Точнее сказать, посматривала на меня она — причем нагло, с явным бесстыдством. Ее взгляд преследовал мой, когда я отводил глаза в сторону, старался удержать

его, когда наши глаза встречались, и погружался в мои глаза, когда я смотрел на нее. Сперва она поглядывала на меня лишь изредка, потом все чаще и чаще. В конце концов, не зная, как уклониться от ее взгляда, я стал диктовать, прохаживаясь у нее за спиной. Но упрямая кокетка сумела выйти из положения, глядя на меня в большое зеркало, висящее на противоположной стене. Всякий раз, когда я поднимал глаза, я встречал в зеркале ее пристальный взгляд. В конце концов случилось то, чего она так старательно добивалась. Однажды, исправляя через ее плечо какую-то ошибку, я поднял на нее глаза, наши взгляды встретились, и губы соединились в коротком поцелуе. Характерно, что поцеловавшись со мной, она тут же сказала: «Наконец-то! Я начала уже думать, что ты так никогда и не решишься». По-видимому, она была уверена, что теперь я у нее в руках, настолько уверена, что не стала больше целоваться со мной и сразу же принялась за работу. Я почувствовал смущение и раскаяние. Конечно, девушка мне нравилась, иначе я не стал бы ее целовать, но я знал, что не люблю ее. Я поцеловал ее потому, что к этому меня вынудила ее дерзкая и лестная для моего мужского тщеславия настойчивость. Теперь она печатала, не поднимая глаз от машинки. Я смотрел на ее бледное круглое личико, на густую гриву черных волос, и она все больше казалась мне хорошенькой. Потом, вероятно нарочно, она сделала ошибку, и, желая исправить ее, я снова наклонился. Она следила за каждым моим движением. Как только моя голова приблизилась к ее лицу, она быстро повернулась, обняла и, схватив меня за голову, прижала свой рот к моим губам. В эту минуту распахнулась дверь, и в комнату вошла Эмилия.

Я думаю, не надо подробно рассказывать, что вслед за этим произошло. Эмилия сразу же вышла. Я торопливо сказал девушке: «Синьорина, на сегодня работа закончена... Идите домой», — и чуть ли не бегом бросился в комнату Эмилии. Я ждал сцены ревности, но, когда я вошел, Эмилия сказала мне только: «Ты бы хоть вытер помаду с губ». Я вытер губы, сел рядом с ней и начал оправдываться, рассказывая, как все случилось. Она слушала меня как-то недоверчиво, но в сущности снисходительно, а потом сказала, что если я действительно люблю машинистку, то не стоит извиняться, она, конечно, согласится дать мне развод. Она сказала это без всякого раздражения, грустно и мягко, словно молчаливо прося меня сказать «нет». В конце концов мои долгие объяснения и крайнее отчаяние (мысль о том, что Эмилия оставит меня, привела меня в ужас), по-видимому, убедили ее, и, немного поупрямившись, она согласилась меня простить. В тот же день я в присутствии Эмилии позвонил машинистке и сообщил ей, что больше не нуждаюсь в ее услугах. Девушка попыталась назначить мне свидание, но я ответил ей уклончиво и с тех пор больше ее не видел.

Как я уже говорил, может показаться, что эти воспоминания заняли много времени, в действительности же они озарили мое сознание как вспышка молнии: я вдруг увидел Эмилию, открывающую дверь в тот самый момент, когда я целовал машинистку. Несомненно, подумал я, все развивалось следующим образом: Эмилия сделала вид, что не придала никакого значения этому случаю, но на самом деле он продолжал ее мучить, хотя сама она этого, быть может, и не сознавала. Позднее, вспоминая этот инцидент, она наматывала вокруг него все более густой и плотный клубок растущего разочарования. Поцелуй, который был для меня минутной слабостью, нанес ее душе, выражаясь языком психиатров, травму, рану, которая со временем не только не зарубцевалась, но стала еще болезненнее.

Должно быть, пока я думал об этом, у меня был очень рассеянный вид, потому что вдруг словно из густого тумана до меня донесся встревоженный голос Рейнгольда:

— Вы слушаете меня, синьор Мольтени?

Туман внезапно рассеялся, я встрепенулся и увидел перед собой улыбающееся лицо режиссера.

— Простите, — сказал я. — Я немного отвлекся... Я задумался над тем, что вы мне сказали: человек, который любит свою жену, но не любим ею... — Не зная, однако, что сказать дальше, я привел возражение, какое прежде всего пришло мне на ум: — Но ведь в поэме Гомера Одиссей любим Пенелопой... В известном смысле, вся поэма держится на любви Пенелопы к Одиссею.

— Это верность, синьор Мольтени, — Рейнгольд улыбнулся, — а не любовь... Пенелопа верна Одиссею, но мы не знаем, насколько она его любит. А как вам известно, можно быть очень верным и не любить... Иногда верность может быть даже местью, расплатой за любовь... Верность, а не любовь.

Эти слова Рейнгольда меня снова ошеломили. Я опять подумал об Эмилии. Я спросил себя, не предпочел бы я ее измену с последующим раскаяньем — верности и равнодушию. Конечно да. Если бы Эмилия изменила мне, а потом почувствовала себя виноватой, я мог бы держать себя с ней увереннее. Но я только что доказал себе, что Эмилия мне не изменяла, что это я изменил ей. Я снова ушел в свои мысли, когда вдруг услышал голос Баттисты:

— Словом, Мольтени, мы договорились, вы будете работать с Рейнгольдом.

— Договорились, — выдавил я через силу.

— Великолепно,— в голосе Баттисты я почувствовал удовлетворение.— Сделаем так: завтра утром Рейнгольд должен уехать в Париж, он пробудет там неделю, за эту неделю вы, Мольтени, напишете и представите мне либретто сценария «Одиссеи»... Как только Рейнгольд вернется из Парижа, вы оба отправитесь на Капри и немедленно приметесь за работу.

После этой, завершившей наш разговор фразы Рейнгольд встал, я машинально поднялся вслед за ним. Я знал, что мне нужно заговорить о договоре и авансе, иначе Баттиста обведет меня вокруг пальца. Но меня волновали мысли об Эмилии, а еще больше — странное совпадение рейнгольдовской интерпретации Гомера с фактами моей личной жизни. Все-таки, когда мы подошли к двери, я пробормотал:

— А договор?

— Договор готов,— неожиданно благодушно ответил Баттиста.— А вместе с договором и аванс... Вам надо только зайти в канцелярию, подписать договор и получить деньги...

Я растерялся от неожиданности. Я ожидал, что, как бывало при работе над другими сценариями, Баттиста будет всячески вилять, стараясь снизить мой гонорар или затянуть выплату аванса, а тут он платит мне сразу и без проволочек. Пока мы проходили в соседнюю комнату, где помещалась канцелярия, я не удержался и промямлил:

— Спасибо, Баттиста... Вы знаете, я сижу без денег.

Я кусал себе губы. Прежде всего неправда, будто я сидел совсем без денег, во всяком случае, дела мои были не настолько плохи, как можно было бы заключить из сказанной мною фразы. Да и вообще я сразу почувствовал, не знаю даже почему, что мне не следовало этого говорить. Баттиста подлил масла в огонь.

— Я догадывался об этом, мой милый,— сказал он, покровительственно похлопывая меня по плечу,— и обо всем позаботился.

И, обратившись к одному из секретарей, сидевших за барьером, он распорядился:

— Это — синьор Мольтени... Договор и аванс.

Секретарь встал, открыл папку и извлек из нее уже готовый договор,

к которому скрепкой была приколота расписка в получении аванса. Пожав Рейнгольду руку, Баттиста снова похлопал меня по плечу, пожелал мне удачной работы и вернулся к себе в кабинет.

— Синьор Мольтени,— сказал Рейнгольд, подходя ко мне и протягивая руку,— мы увидимся, как только я вернусь из Парижа... Тем временем сделайте либретто сценария «Одиссеи», представьте его синьору Баттисте и обсудите с ним.

— Ладно,— сказал я, посмотрев на него с некоторым изумлением: мне показалось, что он понимающе и очень по-дружески кивнул мне.

Заметив мой удивленный взгляд, Рейнгольд вдруг взял меня под руку и прошептал мне на ухо:

— Не волнуйтесь... Не бойтесь... Пусть Баттиста говорит все, что ему угодно... Мы сделаем психологический фильм... только психологический.

Я обратил внимание на то, что слово «психологический» Рейнгольд произнес на немецкий манер: «псюхологический». Отрывисто поклонившись, он пожал мне руку и вышел, стуча каблуками. Я проводил его взглядом. Голос секретаря заставил меня вздрогнуть:

— Синьор Мольтени... Не будете ли вы так любезны расписаться вот здесь?..

Глава девятая

Когда я пришел домой, было еще только семь часов. Я позвал Эмилию, но она не откликнулась — квартира была пуста. Эмилия ушла, и ее вряд ли следовало ждать раньше, чем к ужину. Я был разочарован и даже немного огорчен тем, что ее не оказалось дома: я рассчитывал застать ее и, не откладывая, поговорить с ней о случае с машинисткой. Я полагал, что причиной нашего разлада послужил именно тот поцелуй, и, преисполненный новой для меня уверенности в себе, надеялся, что мне удастся несколькими словами разъяснить недоразумение, а затем сообщить ей приятное известие о только что заключенном договоре, о полученном авансе, о поездке на Капри. Хотя я и знал, что объяснение с Эмилией откладывается всего лишь на какие-нибудь два часа, я все равно испытывал разочарование и досаду и чуть ли не видел в этом плохое предзнаменование. В ту минуту я был уверен в своих силах, но кто знает, сумею ли я найти столь же убедительные слова через два часа. Как видите, хоть я и обманывал себя, тешась мыслью, что мне наконец удалось отыскать конец нити и распутать клубок, то есть понять, в чем истинная причина того, что Эмилия меня разлюбила, в глубине души я был далеко не уверен в этом. И достаточно мне было не застать Эмилии дома, чтобы почувствовать тревогу и впасть в дурное настроение.

Подавленный, раздраженный, растерянный, я пошел в кабинет и машинально стал рыться в книжном шкафу, ища «Одиссею» в переводе Пиндемонте. Найдя книгу, я сел к письменному столу, вставил в пишущую машинку лист бумаги и, закурив, приготовился изложить краткое содержание поэмы. Я думал, что работа поможет мне успокоиться или, по крайней мере, забыться. К этому средству я неоднократно прибегал и прежде. Раскрыв книгу, я не спеша прочитал первую песнь. Затем напечатал заглавие «Краткое содержание «Одиссеи» и приступил к изложению: «Троянская война окончилась несколько лет назад. Все участвовавшие в ней греческие герои возвратились домой. Лишь один Одиссей еще находится вдали от родного острова и своей семьи». Однако, дойдя до этого места, я остановился, сомневаясь, следует ли в кратком изложении описывать совет богов, на котором обсуждался вопрос о возвращении Одиссея на Итаку. Я считал этот эпизод важным моментом, по-

скольку он вносит в поэму мысль о роковой неизбежности, тщете и вместе с тем благородстве героических усилий человека. Выбросить его значило исключить весь потусторонний мир поэмы, отрицать всякое божественное вмешательство, отказаться от изображения столь милых и поэтических богов. Однако Баттиста, несомненно, не пожелает даже слышать о них — боги покажутся ему всего лишь пустыми болтунами, хлопочущими о том, с чем действующие лица поэмы прекрасно могут справиться и сами. Что до Рейнгольда, то его недвусмысленный намек относительно психологического фильма не предвещал для богов ничего хорошего: психологизм, разумеется, исключал идею рока и самую возможность божественного вмешательства; сторонники психоанализа, в лучшем случае, находят фатальную неизбежность в глубинах человеческой души, в темных закоулках так называемого подсознательного. Поэтому боги излишни — они не эффектны сценически, не психологичны... Я думал об этом все более вяло, мысли путались. Время от времени взгляд мой падал на пишущую машинку, и я говорил себе, что должен продолжать работу, но мне это не удавалось, я не в силах был шевельнуть пальцем; я сидел неподвижно за письменным столом и, устремив взгляд в пустоту, глубоко задумался. В действительности я не столько размышлял, сколько пытался осмыслить самые противоречивые, но сплошь неприятные чувства, которые наполняли мое сердце горечью и ледяным холодом. Однако я был так подавлен, испытывал такую усталость и такое глухое раздражение, что даже не мог дать самому себе точного отчета в том, что происходит в моей душе. Потом совершенно неожиданно — так по неподвижной поверхности стоячего пруда вдруг проходит легкая рябь — у меня мелькнула мысль: «Сейчас я собираюсь подвергнуть «Одиссею» той хирургической операции, какой обычно подвергается художественное произведение при экранизации... а когда сценарий будет закончен, книга вернется в шкаф, встанет среди прочих томов, использованных мной при работе над другими сценариями... и через несколько лет, ища какую-нибудь книгу, чтобы так же изуродовать ее для очередного фильма, я вновь увижу «Одиссею» и скажу себе: «Ах да, тогда я писал сценарий вместе с Рейнгольдом... а потом дело кончилось ничем... кончилось ничем, после того как мы целыми днями с утра до вечера говорили об Одиссее, Пенелопе, циклопах, Цирцее, сиренах... и говорили впустую, потому... потому, что не оказалось денег на постановку». При этой мысли я почувствовал, как во мне вновь поднимается глубокое отвращение к ремеслу, которым я вынужден был заниматься. И снова с острой болью я ощутил, что это отвращение рождается во мне от уверенности в том, что Эмилия меня больше не любит. До сих пор я работал для Эмилии, только для нее одной; когда же я убедился, что больше не любим ею, моя работа утратила всякий смысл.

Не знаю, сколько времени я сидел в такой позе — неподвижно застыв перед пишущей машинкой, со взглядом, устремленным в окно. Внезапно я услышал, как хлопнула входная дверь, затем до меня донесся шум шагов в гостиной, и я понял — возвратилась Эмилия. Но я не тронулся с места, не сделал ни одного движения. Через некоторое время у меня за спиной приоткрылась дверь и раздался голос Эмилии. Она спросила:

— Ты здесь? Что ты делаешь? Работаешь?

Тогда я обернулся.

Она стояла на пороге в шляпе и со свертком в руках. Я ответил с легкостью, которая после стольких сомнений и раздумий меня самого удивила:

— Нет, не работаю... раздумываю над тем, следует ли вообще соглашаться писать для Баттисты этот новый сценарий.

Она закрыла за собой дверь и подошла ко мне.

— Ты был у Баттисты?
— Да.
— И вы не столковались... он тебе мало предлагает?
— Да нет, предлагает он мне достаточно... мы сговорились.
— Тогда в чем же дело... может быть, не нравится сюжет?
— И сюжет неплох.
— А что за сюжет?

Прежде чем ответить, я взглянул на нее, она казалась, как обычно, рассеянной и равнодушной, видно было, что говорит она со мной по обязанности.

— Это «Одиссея»,— ответил я кратко.

Она положила сверток на письменный стол, затем подняла руку и, осторожно сняв шляпу, встряхнула головой, чтобы распушить примятые волосы. Но лицо ее ничего не выражало, и взгляд оставался рассеянным: она либо не поняла, что речь идет о бессмертной поэме, либо название — и это было вернее,— хоть она его и слышала, ничего ей не говорило.

— Ну так что же,— произнесла она наконец почти нетерпеливо,— она тебе не нравится?

— Я тебе уже сказал, что нравится.

— Это та самая «Одиссея», которую проходят в школе? Почему же ты не хочешь за нее браться?

— Потому что я вообще не намерен больше этим заниматься.

— Но ведь только сегодня утром ты решил дать согласие!

И вдруг я понял: наступил момент для нового, на этот раз действительно окончательного объяснения. Я вскочил, схватил ее за руку и сказал:

— Пойдем в другую комнату, я должен с тобой поговорить.

Она испугалась, быть может, не столько моего тона, сколько того, как я судорожно сжал ей руку.

— Что с тобой... ты сошел с ума?

— Нет, я не сошел с ума, пойдем поговорим.

С этими словами я потащил упиравшуюся Эмилию в гостиную и, распахнув дверь, подтолкнул ее к креслу:

— Садись.

Сев напротив, я сказал ей:

— Теперь поговорим.

Она посмотрела на меня, во взгляде ее было недоверие и еще не прошедший испуг.

— Ну говори, я тебя слушаю.

— Вчера, как ты помнишь,— начал я холодным и бесстрастным тоном,— я сказал тебе: мне не хочется писать этот сценарий, так как я не уверен, что ты меня любишь... а ты ответила, что любишь меня и советуешь мне взяться за него... Не так ли?

— Да, верно.

— Так вот,— произнес я решительно,— я думаю, что ты мне солгала... не знаю почему, может, из жалости ко мне, может, из собственной выгоды...

— О какой выгоде ты говоришь? — гневно перебила она.

— А вот о какой: ты сможешь по-прежнему оставаться в квартире, которая тебе так нравится.

Ее ответ поразил меня своей резкостью. Она поднялась с кресла и громко, чуть не крича, спросила:

— Кто это тебе сказал?.. Да мне эта квартира не нужна, совершенно не нужна... я готова сию же минуту переехать обратно в меблированную комнату... видно, ты меня не знаешь... мне она совершенно не нужна.

Ее слова причинили мне острую боль, какую испытывает человек, видя, как с презрением отвергают его дар, ради которого ему пришлось

принести немало жертв. Помимо всего, в этой квартире, о которой она говорила теперь с таким пренебрежением, последние два года заключалась вся жизнь, ради этой квартиры я бросил любимую работу, отказался от самых дорогих для меня стремлений. Не веря своим ушам, я тихо переспросил:

— Она тебе не нужна?

— Нет, совершенно не нужна,— голос ее дрожал от непонятной ярости и презрения,— не нужна... ты понял? Не нужна!

— Но вчера ты сказала, что хотела бы остаться в этой квартире.

— Я сказала это, чтобы сделать тебе приятное... думала, что ты ею дорожишь.

Я изумился: выходит, это я, пожертвовавший своим призванием драматурга, я, никогда в жизни действительно не придававший значения таким вещам, выходит, это я дорожил квартирой? Поняв, что по какой-то неизвестной мне причине она начинает вести спор недобросовестно, я подумал: незачем ее ожесточать, возражая ей и напоминая о том, чего она прежде так желала и что теперь упрямо отвергает. Впрочем, квартира была лишь деталью, важно было совсем другое.

— Оставим в покое квартиру,— сказал я, пытаясь овладеть собой и сохранить примирительный и рассудительный тон,— не о ней я хотел поговорить с тобой, а о твоем чувстве ко мне... вчера ты мне солгала — не знаю, с какой целью,— сказав, что любишь меня... ты мне солгала, и именно поэтому я не хочу больше работать в кино... ведь я делал это только для тебя, а если ты меня больше не любишь, мне совершенно незачем всем этим заниматься.

— Но с чего ты взял, что я солгала тебе? Что тебе дает основание так думать?

— Ничего и вместе с тем все... и об этом мы уже говорили с тобой вчера, и я не хочу заводить разговор вновь... этого не объяснишь, это чувствуешь... я чувствую, что ты меня разлюбила...

Эмилия вдруг сделала непроизвольное движение, и впервые за время разговора слова ее прозвучали искренне.

— Ну зачем тебе до всего допытываться? — глядя в окно, спросила она неожиданно печальным и усталым голосом.— Зачем? Оставь все как есть... так будет лучше для нас обоих.

— Значит,— не отставал я,— ты признаешь, что я, быть может, и прав?

— Ничего я не признаю... я хочу только одного... чтобы ты оставил меня в покое...— В ее голосе прозвучали слезы.— А теперь я пойду... мне надо переодеться.

Поднявшись, она направилась к двери. Но я успел остановить ее, схватив за руку. Это было мое привычное движение, нередко я делал его и раньше: она поднималась, говоря, что пора идти, а я, когда она проходила мимо, ловил ее руку, сжимая узкое и длинное запястье. Но тогда я не давал ей уйти потому, что во мне неожиданно поднималось желание, она это знала и послушно останавливалась, привычно ожидая, и я, не вставая, привлекал ее к себе и прижимался лицом к ее платью или сажал ее к себе на колени. Все это, после недолгого сопротивления и ласк, обычно кончалось объятиями на том же кресле или соседнем диване. Однако на этот раз — что я не мог не отметить с охватившим меня чувством горечи — у меня в мыслях было совсем иное. Она не вырывалась, но отодвинулась и, смотря на меня сверху вниз, спросила:

— Ну чего ты от меня в конце концов хочешь?

— Правды.

— Ты хочешь, чтобы наши отношения обязательно испортились... вот чего ты хочешь!

— Значит, ты допускаешь, что эта правда не будет мне приятна?

— Я ничего не допускаю.
— Но ведь ты сказала: наши отношения испортятся.
— Я сказала это просто так... а теперь пусти меня.

Однако она не вырывалась, даже не двигалась, а просто ждала, когда я ее отпущу. Я подумал, что этому ее холодному и презрительному терпению предпочел бы яростную вспышку; и чуть ли не с надеждой пробудить в ней чувство любви, я обнял ее. На Эмилии была длинная и очень широкая юбка со множеством складок; под моими руками она, словно спущенный парус вокруг корабельной мачты, плотно обвилась вокруг ее стройных и упругих ног. Я почувствовал, как во мне вспыхнуло желание обладать Эмилией; оно было непроизвольно и в то же время сопровождалось столь ясным сознанием полной невозможности осуществить его, что у меня сжалось сердце. Подняв голову, я сказал:

— Эмилия, что ты затаила против меня?
— Решительно ничего... а теперь пусти!

Обеими руками я еще крепче обхватил ее ноги, уткнувшись лицом в подол. Обычно после того как я делал это движение, я сразу чувствовал, как мне на голову опускается ее большая рука, прикосновение которой я так любил, и медленно и нежно гладит меня по волосам. Это было признаком ее ответного волнения и знаком согласия. Но на этот раз рука ее была безжизненной и вялой. Такое отношение Эмилии, столь отличающееся от прежнего, ранило меня в самое сердце. Я отпустил ее, но тотчас вновь схватил за руку.

— Нет, не уходи,— воскликнул я,— ты должна сказать мне правду... Сейчас же... ты не уйдешь отсюда, пока не скажешь мне правду.

Она по-прежнему стояла, смотря на меня сверху вниз; я не видел ее лица, но мне казалось, что я ощущаю ее устремленный на мою поникшую голову взгляд и читаю в нем нерешительность.

— Ну что ж,— произнесла она наконец,— если ты этого хочешь... Я ведь была согласна, чтобы все продолжалось по-прежнему... но раз ты этого хочешь сам, так слушай: я тебя действительно больше не люблю... Вот тебе правда.

Мы можем сколько угодно рисовать себе в воображении самые неприятные перспективы и твердо быть уверенными, что так и произойдет в действительности. Однако когда эти наши предположения или, лучше сказать, уверенность подтверждается, это всегда бывает для нас неожиданным и болезненным. В сущности, я давно знал, что Эмилия меня разлюбила. Но когда я услышал об этом из ее уст, сердце у меня болезненно сжалось. Она меня больше не любит — эти слова, которые я столько раз мысленно повторял себе, теперь, когда их произнесла она, приобретали совершенно иной смысл. Теперь они были фактом, а не предположением, которое, впрочем, было почти уверенностью. Они стали весомыми, приобрели объемность, какой никогда раньше не имели в моем воображении. Я уж хорошо не помню, как воспринял эти слова. Возможно, услышав их, я вздрогнул — так человек, вставший под ледяной душ, прекрасно зная, что он ледяной, все равно вздрагивает от холода, попав под струю, словно это было для него полной неожиданностью. Затем я постарался взять себя в руки.

— Иди сюда,— по возможности мягко произнес я,— сядь и объясни, почему ты меня разлюбила.

Она подчинилась и снова села, на этот раз на диван. Затем немного раздраженно ответила:

— Объяснять здесь нечего... я тебя больше не люблю, и это все, что я могу тебе сказать.

Чем больше старался я казаться рассудительным, тем острее пронзала мне сердце нестерпимая боль. С вымученной улыбкой я сказал:

— Однако согласись, что ты должна дать мне хотя бы какое-то объяснение... ведь даже когда отказывают прислуге, ей тоже объясняют причину...

— Я тебя разлюбила, и мне нечего больше сказать.

— Но почему?.. Ведь ты же любила меня?

— Да, любила... очень... но теперь больше не люблю.

— Ты меня очень любила?

— Да, очень, а теперь все кончено.

— Но почему? Ведь должна же быть какая-то причина!

— Может, и есть.. но я не могу ее объяснить... знаю только, что больше не люблю тебя.

— Да не повторяй же ты этого так часто! — вырвалось у меня почти непроизвольно.

— Ты сам заставляешь меня повторять.. Ты никак не хочешь понять моих слов, оттого я и повторяю.

— Теперь я понял.

Наступило молчание. Эмилия закурила сигарету; она курила, опустив глаза. Я сидел, согнувшись, обхватив голову руками. Наконец я произнес:

— А если причину скажу тебе я, ты признаешь?

— Я сама ее не знаю...

— Но если ты услышишь ее от меня, ты, быть может, со мной согласишься?

— Ну что ж, говори.

Мне хотелось крикнуть ей: «Не смей так обращаться со мной!» — до того острую боль причинял мне ее голос, в котором явственно звучало равнодушие и желание поскорее закончить этот разговор. Но я сдержался и, пытаясь сохранить прежний рассудительный тон, начал:

— Ты помнишь ту девушку, которая несколько месяцев назад приходила к нам перепечатывать сценарий... машинистку... ты застала нас, когда мы целовались... это была с моей стороны глупая слабость... но тот поцелуй, клянусь тебе, был первым и последним, у меня с ней ничего не было, после того я никогда ее больше не видел. Теперь скажи мне правду... не из-за этого ли поцелуя ты стала отдаляться от меня?.. Скажи же правду... Неужели из-за этого ты могла меня разлюбить?

Говоря это, я внимательно смотрел на Эмилию. Сначала на ее лице отразилось некоторое удивление, а затем она отрицательно покачала головой, словно мое предположение показалось ей совершенно нелепым. Потом я отчетливо увидел, как выражение ее лица изменилось — очевидно, у нее неожиданно родилась какая-то мысль.

— Ну, допустим,— медленно ответила она,— что дело в том поцелуе... теперь ты успокоился?

Я сразу же почувствовал, что причина вовсе не в поцелуе, как она хотела сейчас меня убедить. Все было ясно: сначала Эмилия просто удивилась моему предположению, столь далекому от истины, а затем ей неожиданно пришла в голову мысль, что ей выгодно с ним согласиться. Я не мог не думать о том, что причина ее охлаждения ко мне гораздо серьезнее, чем какой-то невинный поцелуй. Возможно, она не хотела открывать мне эту причину из-за еще не совсем умершего чувства уважения ко мне. Эмилия была не злой и не любила кого-нибудь обижать. Очевидно, истинную причину она считала для меня обидной.

— Неправда, дело не в том поцелуе,— возразил я мягко.

Она удивилась:

— Почему?.. Ведь я же тебе сказала, что дело именно в нем.

— Нет, дело не в поцелуе... тут что-то другое.

— Не понимаю, что ты хочешь этим сказать.

— Прекрасно понимаешь!

— Нет, не понимаю, честное слово.

— А я говорю, что понимаешь.

На лице ее отразилось нетерпение, и увещевающим тоном, словно уговаривая непослушного ребенка, она сказала:

— Ну зачем тебе это нужно знать?.. Что ты за человек такой... вечно тебе нужно до всего допытываться... какая тебе разница?

— Я предпочитаю знать правду, какова бы она ни была, а не довольствоваться ложью... Кроме того, если ты не скажешь мне правду, я могу представить себе бог знает что... может быть, очень плохое.

Она молча и как-то необычно посмотрела на меня.

— Какая тебе разница,— повторила она,— у тебя ведь совесть спокойна?

— У меня-то, конечно, спокойна.

— Ну так какое же тебе дело до остального?

— Значит, правда...— продолжал я настаивать,— значит, что-нибудь очень плохое?

— Я не говорила этого... я сказала только, что, если у тебя совесть спокойна, ведь тот поцелуй вряд ли может волновать тебя.

— У меня-то совесть спокойна, это так... Но это еще ничего не значит... иногда и совесть тоже может обмануть.

— Только не твоя, не правда ли? — сказала она с еле заметной иронией, которая, однако, не могла ускользнуть от меня и показалась даже еще обиднее, чем ее равнодушный тон.

— И моя тоже.

— Ну ладно, мне надо идти,— неожиданно произнесла она,— ты хочешь мне сказать еще что-нибудь?

— Нет, ты не уйдешь, пока не скажешь мне правды.

— Я уже сказала правду: я тебя больше не люблю.

Как глубоко ранили меня эти пять слов! Я побледнел и умоляющим тоном, со слезами в голосе сказал:

— Я же просил тебя не повторять так часто.. мне слишком больно это слышать.

— Ты сам заставляешь меня повторять... и для меня в этом тоже мало приятного.

— Почему тебе так хочется, чтобы я обязательно поверил, будто ты разлюбила меня из-за того глупого поцелуя? — продолжал я, следуя ходу своих мыслей.— Подумаешь... Это была просто легкомысленная девчонка, которую я больше никогда и в глаза не видел... все это ты прекрасно знаешь и понимаешь... Нет, дело не в этом,— теперь я уже не просто говорил, а скорее медленно складывал воедино отдельные слова, стараясь как-то выразить свои неясные, смутные догадки,— разлюбила ты меня не поэтому... что-то случилось... что-то изменило твое чувство ко мне... или, вернее, что-то, быть может, изменило сначала твое отношение ко мне, а потом уже и твое чувство.

— Следует признать, что ты не глуп,— произнесла она с неподдельным удивлением и чуть ли не с похвалой.

— Значит, я сказал правду.

— Я этого не говорила... я только сказала, что ты не глуп.

Я старался докопаться до истины и чувствовал, что подошел к ней почти вплотную.

— Значит, до того, как что-то случилось,— настаивал я,— ты была обо мне хорошего мнения... а потом стала думать обо мне плохо... и потому разлюбила.

— Ну, допустим, что это так.

Вдруг мне стало совершенно невыносимо. Мой рассудительный тон — я сам это ощущал — звучал фальшиво. Я не мог больше ждать. Мне было не до рассуждений, я страдал, страдал сильно и глубоко, был

весь во власти ярости и отчаяния: зачем мне сохранять этот рассудительный тон? Не знаю, что со мной случилось в ту минуту. Я вскочил с кресла и прежде, чем сам понял, что делаю, закричал:

— Не думай, что я пришел сюда для пустой болтовни! — И, бросившись, на Эмилию, схватил ее за горло и повалил на диван.— Скажи правду,— крикнул я ей в лицо,— скажи наконец... сию же минуту!

Подо мной билось ее большое, прекрасное тело, которое я так любил. Лицо Эмилии покраснело и словно распухло — наверно, я слишком сильно сдавил ей горло. Я вдруг понял, что бессознательно стремлюсь убить ее.

— Скажи мне наконец правду! — Произнося эти слова, я сжал пальцы еще сильнее; у меня мелькнула мысль: «Сейчас я убью ее... но лучше пусть она умрет, чем будет моим врагом». Я почувствовал, что она старается ударить меня коленом в живот; ей удалось это, удар был столь яростный, что у меня перехватило дыхание. Он причинил мне почти такую же боль, как фраза: «Я больше не люблю тебя»,— такой удар и впрямь мог нанести только враг, который стремится возможно больнее ударить противника. Но в ту же минуту я почувствовал, что моя ярость, мое желание убить ее проходят. Я немного ослабил тиски, и она вырвалась, оттолкнув меня с такой силой, что я чуть не упал с дивана. И прежде чем я успел прийти в себя, она с ожесточением крикнула:

— Я презираю тебя... вот что я к тебе испытываю, вот в чем причина того, что я тебя разлюбила... Я презираю тебя, я чувствую отвращение всякий раз, когда ты до меня дотрагиваешься... Вот тебе твоя правда... Я тебя презираю, ты мне противен!

Я поднялся. Взгляд мой остановился на тяжелой стеклянной пепельнице, затем к ней потянулась и рука. Эмилия, наверно, подумала, что я хочу убить ее, она испуганно вскрикнула и закрыла лицо руками. Однако мой ангел-хранитель удержал меня: не знаю как, но мне удалось овладеть собой, я поставил пепельницу на место и вышел из комнаты.

Глава десятая

Как я уже говорил, Эмилия не получила настоящего образования, она кончила только начальную школу, два-три года проучилась в средней, а затем забросила науки и приобрела специальность машинистки-стенографистки. В шестнадцать лет она уже служила в конторе одного адвоката. Правда, она была, как принято говорить, из хорошей семьи, то есть из семьи, некогда состоятельной и владевшей какой-то недвижимостью близ Рима. Однако ее дед разорился на неудачных коммерческих спекуляциях, а отец до самой смерти оставался мелким служащим в министерстве финансов. Выросла она в бедности, и по воспитанию и образу мыслей ее, пожалуй, можно было бы назвать женщиной из простонародья; как многие простые женщины, она рассчитывала лишь на свой здравый смысл, и столь непоколебимо верила в него, что иногда это могло даже показаться глупостью или, по крайней мере, ограниченностью. Однако, располагая одним только этим оружием — здравым смыслом,— она совершенно для меня неожиданно и непостижимо иной раз высказывала суждения и давала оценки весьма правильные и меткие, как это умеют делать именно простые люди — они более близки к природе, чем мы, и голова у них не забита всякими условностями и предрассудками. Многое из того, что Эмилия говорила, она высказывала именно потому, что продумала это со всей серьезностью, искренностью, прямотой,— в самом деле, ее слова всегда звучали удивительно веско. Но не сознавая всей справедливости своих суждений, она не счи-

тала их достаточно убедительными и со свойственной ей скромностью старалась привести в подтверждение какие-нибудь доводы.

Поэтому, после того как она мне крикнула: «Я презираю тебя!» — я больше ни минуты не сомневался, что эта фраза, которая в устах другой женщины могла бы и не иметь никакого значения, сорвавшись с уст Эмилии, вполне отвечает своему истинному смыслу: Эмилия действительно меня презирала, и я ничего не мог с этим поделать. Даже если бы я совершенно не знал характера Эмилии, уже один тон, каким она произнесла это, не оставлял никаких сомнений: так человек произносит слово, которое до сих пор он, быть может, еще никогда в жизни и не произносил, но когда к этому вынуждают обстоятельства, оно почти непроизвольно возникает из самых глубин его словарного запаса. Именно так вы можете иной раз внезапно услышать от крестьянина среди множества исковерканных, избитых слов и диалектизмов блестящую по точности заключенного в ней этического суждения фразу, которая не удивила бы вас в устах другого, но, будучи произнесенной крестьянином, изумляет и кажется просто невероятной. «Я презираю тебя» — эти слова, как я с горечью констатировал, звучали так же убежденно, как и три других слова, которые она произнесла впервые, когда призналась мне в любви: «Я люблю тебя».

Я был настолько уверен в искренности и правдивости этих ее слов, что, оставшись один в кабинете, начал ходить взад и вперед не в силах ни о чем думать и не зная, что предпринять. Взгляд у меня блуждал, руки дрожали. Сказанные мне Эмилией три слова, будто три шипа, с каждой минутой все глубже вонзались мне в сердце, причиняя острую, все возрастающую боль; но кроме этого нестерпимого чувства боли, которое я так отчетливо ощущал, я, в сущности, не воспринимал ничего. Сильнее всего я, конечно, страдал от сознания, что она меня не только больше не любит, но даже презирает. Однако я совершенно не мог найти никакой причины, даже самой незначительной, которая могла бы дать повод для презрения; я испытывал острое чувство незаслуженной обиды и вместе с тем боязнь того, что на самом-то деле меня обидели, быть может, и не напрасно, что презрение ко мне основано на каких-то объективных фактах, объясняется чем-то таким, в чем я не отдаю себе отчета, тогда как другие это ясно видят. До сих пор я всегда считал, что заслуживаю уважения, пусть, на худой конец, смешанного с некоторой долей жалости, как человек не очень-то удачливый, к которому не слишком часто была благосклонна судьба, но уж во всяком случае никак не способный вызывать чувство презрения. Теперь же фраза, брошенная Эмилией, переворачивала вверх дном это мое представление о себе, заставляла меня впервые заподозрить, что я недостаточно хорошо себя знаю и не могу о себе правильно судить, что я всегда обольщался и глубоко заблуждался в своих суждениях о самом себе.

Наконец я пошел в ванную, сунул голову под кран, и холодная струя воды помогла мне; мой мозг пылал, как если бы слова Эмилии подожгли его и он оказался легко воспламеняющимся веществом. Я умыл лицо, причесался, повязал галстук, а затем вернулся в гостиную. Однако вид накрытого в нише стола вызвал у меня чувство возмущения. Разве могли мы сесть, как делали это изо дня в день, за стол теперь в этой комнате, где в воздухе, казалось, еще звучали потрясшие меня слова?! В ту же минуту открылась дверь, и на пороге появилась Эмилия. Лицо ее уже успело принять обычное выражение спокойствия и невозмутимости. Не глядя на нее, я сказал.

— Мне не хочется сегодня обедать дома... скажи прислуге, что мы уходим, и поскорее одевайся... пойдем в ресторан...

— Но ведь уже все готово,— ответила она слегка удивленно,— придется выбрасывать...

— Хватит! — крикнул я с неожиданно охватившей меня яростью.— Выкидывай на помойку все что хочешь, но иди одевайся, я сказал тебе: мы не обедаем дома!

Я по-прежнему не смотрел на нее и услышал только, как она пробормотала: «Что за манеры!» — и закрыла за собой дверь.

Через несколько минут мы вышли из дому. На узкой улице, застроенной небольшими новыми домами, как две капли воды похожими на тот, где жили мы, нас ждала, затерявшись среди множества роскошных автомобилей, моя малолитражка — недавняя покупка, за которую, так же, как и за квартиру, я еще должен был вносить деньги, рассчитывая в основном на то, что мне удастся заработать в будущем за сценарии. Машина была у меня всего лишь несколько месяцев, и я еще испытывал чувство почти детского тщеславия, которое на первых порах может вызывать собственный автомобиль. Но в тот вечер, когда мы, не глядя друг на друга, молча шли к машине, я не мог удержаться от того, чтобы не подумать: «Вот еще одна вещь, ради которой, так же как и ради квартиры, я принес в жертву все свои стремления... а жертва эта была никому не нужна». И в самом деле, в ту минуту я остро почувствовал нелепое противоречие между этой богатой улицей, где все казалось новехоньким и шикарным, нашей квартиркой, окна которой смотрели на нас с третьего этажа, машиной, ожидавшей нас в нескольких шагах от подъезда, и саднящим сердце ощущением пришедшей беды, из-за которой все эти приобретения стали теперь ненужными и вызывали лишь раздражение.

Сев за руль, я подождал, пока устроится Эмилия, и протянул руку, чтобы захлопнуть дверцу; обычно при этом движении я чуть задевал ладонью ее колени или же, немного нагнувшись к ней, легко касался губами ее щеки. На этот раз я почти непроизвольно постарался до нее не дотрагиваться. Дверца с громким стуком захлопнулась, и мы некоторое время сидели неподвижно и молча. Потом Эмилия спросила:

— Куда же мы поедем?

Я подумал, но, так ничего и не придумав, ответил наугад:

— Поедем на Аппиеву дорогу.

— Но на Аппиеву дорогу в это время года еще рано,— с легким удивлением возразила она,— мы замерзнем и потом там сейчас никого нет...

— Неважно... зато будем мы.

Она промолчала, а я быстро повел машину в сторону Аппиевой дороги. Выехав из нашего квартала, я пересек центр города и поехал по Виа деи Трионфи и Виале Пасседжата Аркеолоджика. Вот уже видна древняя, поросшая мхом городская стена, а за ней огороды, сады, прячущиеся среди деревьев виллы в начале Аппиевой дороги. Вот и освещенный двумя тусклыми фонарями вход в катакомбы. Эмилия была права: на Аппиеву дорогу ехать было еще рано. В зале ресторана, стены которого были облицованы грубо отесанными камнями, увешаны и уставлены обломками мраморных плит — фрагментами гробниц, мемориальных досок и глиняными амфорами, мы увидели одних лишь официантов, толпившихся вокруг пустых столиков. Мы были единственными посетителями, и я невольно подумал, что в этом пустынном и холодном зале, окруженные надоедливым вниманием целой армии официантов, мы вряд ли сможем разобраться в наших отношениях, а, скорее, только еще больше их запутаем. Потом я вспомнил, что два года назад, в пору расцвета нашей любви, мы часто приезжали сюда ужинать, и вдруг понял, почему из множества ресторанов, несмотря на промозглую погоду и отсутствие публики, я выбрал именно этот.

С одной стороны над нами склонился официант с раскрытым меню, с другой стоял, держа карту вин, бармен. Я начал заказывать обед, предлагая Эмилии то одно, то другое блюдо, слегка нагнувшись к ней,

совсем как заботливый и галантный муж. Она сидела, потупившись, и, не поднимая глаз, односложно отвечала: «Да... Нет... Хорошо». Я заказал также бутылку дорогого вина, несмотря на протесты Эмилии, твердившей, что она не будет пить. «Тогда я все выпью один»,— сказал я. Бармен улыбнулся мне с заговорщическим видом и ушел вслед за официантом.

Я не собираюсь здесь описывать этот обед во всех подробностях, хочу только рассказать о моем душевном состоянии, в тот вечер совершенно для меня новом, хотя впоследствии ему и суждено было стать обычным в отношениях с Эмилией.

Говорят, человеку удается жить, не затрачивая на это слишком много энергии, только благодаря выработавшемуся в нем автоматизму: большинство наших движений мы совершаем абсолютно бессознательно. Для того чтобы ступить только один шаг, говорят, мы должны привести в действие бесчисленное множество мускулов, однако благодаря автоматизму мы делаем это с безотчетной легкостью. То же происходит и в наших отношениях с людьми. До тех пор пока мне казалось, что Эмилия любит меня, нашими отношениями управлял своего рода счастливый автоматизм, и светом сознания освещалась только внешняя сторона моего поведения, все же остальное оставалось погруженным во мрак неосознанной, пронизанной любовью привычки. Но теперь, когда иллюзия любви рассеялась, я заметил, что пытаюсь осознавать каждый, даже самый незначительный свой поступок. Предлагал ли я ей налить вина, передавал ли соль, смотрел ли на нее или отводил взгляд — любое мое движение было обдуманным, причиняло мне боль, наполняло меня смутным сознанием бессилия, отчаянием. Я словно оказался весь связан, оглушен, парализован; при всяком движении я невольно задавал себе вопрос: надо это делать или же не надо? Одним словом, я полностью перестал ощущать внутренний контакт с Эмилией. И если с совершенно посторонними людьми всегда можно надеяться вновь обрести утраченную близость, с Эмилией такая близость превратилась бы лишь в навсегда погребенные воспоминания прошлого: у меня не могло оставаться никакой надежды.

Мы сидели, не разговаривая, и наше молчание время от времени нарушалось лишь редкими, ничего не значащими фразами: «Хочешь вина? Тебе нужен хлеб? Положить еще мяса?» Мне хотелось бы суметь передать здесь только нам понятный характер этого молчания, ибо оно впервые установилось между нами, чтобы никогда больше нас не покидать, именно в тот вечер. Это молчание, невыносимое молчание, таившее в себе глубокий разлад между мной и Эмилией, было соткано из всего того, что я жаждал ей высказать, но я подавлял в себе это желание, не находя сил и слов. Назвать наше молчание враждебным было бы не совсем точно. В самом деле, мы — во всяком случае я — не испытывали друг к другу никакой вражды, а ощущали лишь полное бессилие объясниться. Я сознавал, что хочу говорить с ней, что мне много нужно сказать ей, но в то же время понимал, что слова теперь ни к чему и мне вряд ли удастся найти нужный тон. Поэтому я и хранил молчание. Однако я не чувствовал себя непринужденно и спокойно, как человек, молчащий просто потому, что не ощущает необходимости говорить; напротив, меня обуревало желание высказаться, я мог сказать ей очень много, и мысль о невозможности объяснения не давала мне покоя, а невысказанные слова бились у меня в сердце и в горле, словно за железной тюремной решеткой. Но это было еще не все: я чувствовал, что такое невыносимое молчание все же для меня — наилучший выход. Если бы я его нарушил, пусть даже как нельзя более тактично и мягко, то рисковал услышать в ответ слова, еще более для себя неприятные, еще более невыносимые — если только это вообще было возможно,— чем само наше молчание.

Но я еще не привык безмолвствовать. Мы съели первое, затем второе, по-прежнему не произнося ни слова. И только когда подали фрукты, я не выдержал и спросил:

— Почему ты все время молчишь?

— Потому что мне нечего сказать,— не задумываясь, ответила она.

Она не казалась ни опечаленной, ни озлобленной, и эти ее слова тоже звучали правдиво.

— Совсем недавно ты произнесла фразу,— продолжал я наставительным тоном,— которая требует самого подробного объяснения.

— Позабудь о ней... будто ты ее никогда и не слыхал,— ответила она все так же искренне.

— Разве могу я забыть о ней? — спросил я с надеждой.— Я позабыл бы, если бы твердо знал, что это неправда... Если бы это были только слова, вырвавшиеся в минуту гнева...

На этот раз она ничего не ответила. И у меня снова мелькнула надежда. Может быть, в самом деле, так оно и было: она крикнула, что презирает меня, в ответ на мою грубость, когда я, схватив ее, причинил ей боль.

— Ну признайся,— продолжал я осторожно настаивать,— ведь то, что ты мне сегодня сказала, неправда... У тебя вырвались эти ужасные слова случайно, в ту минуту ты просто вообразила, что ненавидишь меня, тебе хотелось меня оскорбить...

Она взглянула на меня и вновь промолчала. Мне показалось — хотя, может быть, я и ошибся,— что ее большие темные глаза на мгновенье наполнились слезами. Набравшись смелости, я взял ее руку, лежавшую на скатерти и сказал:

— Эмилия... значит, все это неправда?

На этот раз она с силой, которой я в ней и не подозревал, вырвала руку и даже, как мне показалось, отшатнулась от меня.

— Нет, это правда.

Меня поразил глубоко искренний, хотя и печальный тон ее ответа. Она, казалось, понимала, что стоило ей в ту минуту прибегнуть ко лжи — и можно будет, хотя бы временно, хотя бы внешне, заставить все пойти по-старому; я ясно видел, что на какое-то мгновенье она испытала искушение солгать мне. Но потом после короткого размышления она отказалась от этой мысли. У меня еще сильнее, еще болезненнее сжалось сердце, и, склонив голову, я пробормотал сквозь зубы:

— Но ты понимаешь, есть вещи, которые нельзя говорить просто так, без всякого основания... никому... тем более собственному мужу?

Она ничего не сказала, а только взглянула на меня чуть ли не с испугом: действительно, мое лицо, наверно, было искажено злобой. Наконец она ответила:

— Ты у меня сам спросил об этом, и я тебе ответила.

— Но ты должна объяснить...

— Что именно?

— Ты должна объяснить, почему... почему ты меня презираешь.

— А вот этого я тебе никогда не скажу... даже когда буду умирать.

Меня поразил ее непривычно решительный тон. Но мое удивление продолжалось недолго. Меня обуяла ярость, и теперь мне было не до размышлений.

— Скажи,— я снова взял ее за руку, но на этот раз отнюдь не ласково,— скажи... за что ты меня презираешь?

— Я уже сказала, что этого тебе никогда не скажу.

— Скажи, или я сделаю тебе больно.

Вне себя я с силой сжал ее пальцы. Некоторое время она удивленно смотрела на меня, потом стиснула зубы от боли, и на ее лице отразилось то презрение, о котором до сих пор она только говорила.

— Перестань,— сказала она грубо,— ты опять стараешься сделать мне больно.

Меня ударило это ее «опять», в нем, казалось, таился намек на какие-то другие мучения, которым я будто бы подвергал ее и раньше, и я почувствовал, что мне не хватает воздуха.

— Перестань... как тебе не стыдно?.. На нас смотрят официанты.

— Скажи, за что ты меня презираешь?

— Не делай глупостей, пусти меня.

— Скажи, за что ты меня презираешь?

— Да пусти же!

Она резким движением вырвала руку, сбросив на пол бокал. Раздался звук разбитого стекла, она встала и пошла к выходу, громко сказав мне:

— Я буду ждать в машине... ты пока расплатись.

Она вышла, а я в прежней позе остался неподвижно сидеть за столом, оцепенев не столько от стыда (в самом деле, как и сказала Эмилия, изнывающие от безделья официанты не отрываясь глазели на нас и не пропустили во время нашей ссоры ни одного слова, ни одного жеста), сколько изумленный необычностью ее поведения. Никогда до сих пор она еще не говорила со мной таким тоном, никогда так не оскорбляла меня. Кроме того, у меня в ушах продолжало звучать произнесенное ею «опять» — еще одна печальная загадка, которую мне предстояло разгадать. Когда, каким образом я мог чем-то ее ранить, на что она теперь жаловалась, подчеркивая это «опять»? Наконец я подозвал официанта, расплатился и вышел.

Выйдя из ресторана, я увидел, что погода, с самого утра пасмурная, окончательно испортилась, моросил частый, мелкий дождь. В нескольких шагах впереди я разглядел в темноте фигуру Эмилии. Она стояла у нашей машины — дверцы была заперты на ключ — и, не проявляя нетерпения, ждала меня под дождем.

— Извини, я забыл, что запер машину,— проговорил я неуверенно и в ответ услышал ее совершенно спокойный голос:

— Ничего... дождик совсем маленький.

Покорность, с которой она произнесла эти слова, вновь пробудила в моем сердце — хотя это было чистым безумием — надежду на примирение. Разве могла она, разговаривая со мной таким спокойным, таким нежным голосом, презирать меня? Я открыл дверцу и влез в машину. Эмилия села рядом со мной. Включив мотор, я сказал ей тоном, вдруг показавшимся мне неожиданно веселым, чуть ли не игривым:

— Ну-с, Эмилия, так куда же мы поедем?

Не поворачивая головы, глядя прямо перед собой, она ответила:

— Не знаю... куда хочешь.

Я нажал стартер, и машина тронулась. Как я уже сказал, теперь меня обуяли неизвестно откуда взявшиеся игривость и веселость, всю скованность словно рукой сняло. Я чуть ли не вообразил, что, обратив все в шутку, отнесясь к происшедшему менее серьезно, заменив страсть фривольностью, мне удастся наладить отношения с Эмилией. Не знаю, что со мной случилось в эту минуту — быть может, отчаяние, как слишком крепкое вино, мне бросилось в голову. Я беспечно проговорил нарочито веселым тоном:

— Поедем куда глаза глядят... будь что будет!

Я чувствовал, что, произнося эти слова, я в высшей степени смешон — так бывает смешон хромой, пытающийся проделать танцевальное па. Но Эмилия молчала, и я поддался овладевшему мною новому настроению. Я полагал почему-то, что запас моего веселья неисчерпаем, как море, однако очень скоро убедился в том, что это всего лишь робкий и мелкий ручеек. Теперь я вел машину по бежавшей впереди нас в свете

фар Аппиевой дороге. Сквозь тысячи сверкающих нитей дождя из темноты неожиданно выступали то кипарисы, то какие-то красные кирпичные развалины, то беломраморная статуя, то специально оставленный незаасфальтированным участок древней римской дороги, мощенной крупными неровными камнями. Неожиданно я произнес неестественно возбужденным голосом:

— Давай постараемся хоть раз в жизни позабыть, кто мы такие в действительности, вообразим, что мы студенты, ищущие укромного уголка, чтобы там спокойно предаться любви.

Она и на этот раз ничего не ответила, ее молчание придало мне смелости, и, проехав еще немного, я резко затормозил. Теперь дождь лил как из ведра, и двигавшиеся вверх и вниз щеточки на ветровом стекле не успевали разгонять струйки воды.

— Мы двое студентов,— неуверенно повторил я,— меня зовут Марио, а тебя — Мария... Наконец-то мы нашли тихое местечко... Это ничего, что идет дождь... В машине нам так хорошо... поцелуй меня.

Говоря это, я с решительностью пьяного обнял ее за плечи и попытался поцеловать.

Не знаю, на что я надеялся: после истории в ресторане я должен был бы понимать, что́ меня может ждать в этом случае. Эмилия сначала довольно мягко попыталась высвободиться из моих объятий, потом, видя, что я ее не отпускаю и даже, взяв рукой за подбородок, стараюсь повернуть ее лицо к себе, с силой оттолкнула меня.

— Ты сошел с ума?.. Или, может, ты пьян?

— Нет, не пьян,— пробормотал я,— поцелуй меня.

— И не подумаю,— ответила она с неподдельным возмущением, вновь отталкивая меня. И затем добавила: — А потом ты еще удивляешься, когда я говорю, что презираю тебя... но ты ведешь себя так... после всего, что между нами произошло...

— Я люблю тебя.

— А я тебя нет.

Я чувствовал, что смешон, и это причиняло мне особенно острую боль, было особенно невыносимым. Я понимал, что очутился в положении, которое было не только смешным, но и безвыходным. Но я еще не хотел признать себя побежденным.

— Ты поцелуешь меня, хочешь того или нет,— крикнул я, стараясь придать своему голосу оттенок мужской грубости, и бросился на нее.

На этот раз она не стала сопротивляться, а просто открыла дверцу, и я повалился на пустое сиденье. Выскочив из машины, Эмилия побежала по дороге, не обращая внимания на все усиливающийся дождь.

На мгновенье я остолбенел, уставившись на пустое сиденье. Потом, мысленно обругав себя дураком, тоже вылез из машины.

Дождь хлестал немилосердно, и, едва я ступил на землю, нога у меня по щиколотку погрузилась в лужу. Это привело меня в ярость и вместе с тем заставило еще сильнее пожалеть себя.

— Эмилия, иди сюда,— в отчаянии закричал я,— не бойся, я не трону тебя.

— Если ты не прекратишь, я вернусь в Рим пешком,— отозвалась она откуда-то из темноты.

— Иди сюда,— произнес я дрожащим голосом,— я обещаю тебе все, что ты только потребуешь.

Дождь лил по-прежнему, вода попадала за воротник, неприятно холодя затылок и шею, я чувствовал, как она стекает ручьями у меня со лба и висков. Фары машины освещали лишь небольшое пространство впереди — лучи выхватывали из ночного мрака камни каких-то древнеримских развалин и высокий черный кипарис, верхушка которого терялась в тем-

ном небе; но сколько я ни напрягал зрение, мне так и не удалось разглядеть Эмилию. Охваченный беспокойством, я позвал вновь:

— Эмилия... Эмилия! — В моем голосе теперь слышались чуть ли не слезы.

Наконец она появилась из темноты, войдя в пространство, освещенное фарами машины, и сказала:

— Значит, ты обещаешь, что не дотронешься до меня?

— Да, обещаю.

Она подошла к машине и села в нее.

— Что за дурацкие шутки... я вся промокла... у меня мокрые волосы... завтра утром придется идти к парикмахеру.

Ничего не говоря, я вслед за ней влез в машину, включил мотор, и мы поехали. Эмилия чихнула раз, через несколько минут — другой, затем — еще и еще, притом очень громко и не совсем естественно, словно желая мне показать, что она из-за меня простудилась. Но я не поддался на эту уловку. Я вел машину как во сне. Это был очень плохой сон, в котором меня действительно звали Рикардо и у меня была жена по имени Эмилия; я любил ее, а она меня не любила, и не только не любила, но даже презирала.

(Окончание следует)

МИХАЙ НОВИКОВ

НЕПРЕЛОЖНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП НАШЕЙ ЭПОХИ

Бурные дискуссии—характерная черта современной литературной жизни. Явление это объясняется между прочим и тем, что все шире и шире признается необычайно важная роль, которую играет литература в идеологической борьбе нашей эпохи. Некоторые буржуазные литераторы и теоретики все еще утверждают, что, говоря о литературных проблемах, они абстрагируются от своих политических убеждений; однако им становится все труднее скрывать тот факт, что они в действительности защищают, хотя и косвенно, классовые интересы буржуазии.

Представители социалистического реализма, не отрицая относительной независимости развития литературы, в своих воззрениях исходят из непреложной истины общественной обусловленности этого развития. Как вид искусства, литература исследует и оценивает жизненные явления с эстетической точки зрения, однако эта оценка зависит в первую очередь от идейных позиций автора. Между литературой и теми спорами по вопросам этики и политики, которые столь страстно ведутся в наше время, имеется внутренняя органическая связь. Чтобы понять закономерность литературного процесса, необходимо раскрыть, что же представляет собой эта связь. А чтобы разрешить эту проблему, нужно прибегнуть к самому действенному инструменту — принципу коммунистической партийности, сформулированному еще в 1905 году Владимиром Ильичем Лениным.

Обратившись к опыту румынской литературы последних лет, нетрудно заметить, что утверждение принципа коммунистической партийности в творчестве подавляющего числа писателей имело своим прямым следствием подъем их творчества.

В румынской литературе традицию искусства «ангажированного», служащего обществу, народу, можно проследить с очень давних времен. Она сформировалась в середине прошлого века в борьбе за национальное и социальное освобождение и окрепла под влиянием борьбы рабочего класса в конце того же XIX века, когда столкновение между приверженцами «чистого искусства» и защитниками тенденциозного искусства закончилось полной победой последних. Однако до того момента, когда писатели сознательно подчинили свое творчество задачам рабочего класса и оно стало «частью общепролетарского дела», был еще весьма долгий путь. Решительный шаг на этом пути сделали в 30-е годы нашего столетия писатели, связанные с рабочим движением, которое возглавляли коммунисты. Их опыт был обогащен и пополнен всей румынской литературой после освобождения страны в августе 1944 года.

Буржуазные литераторы и теоретики любят «ниспровергать» принцип партийности; извращая его, они изображают дело так, будто по вопросам творчества принимаются постановления, которым писатели обязаны подчиняться в административном порядке. Литературная жизнь в Румынской Народной Республике наглядно показывает, насколько абсурдны подобные измышления.

Исторические факты говорят о том, что вначале писатели поддержали коммунистов по соображениям политическим. В литературной прессе 1945—1948 годов можно найти многочисленные заявления ведущих писателей — таких, как Михаил Садовяну, Гала Галактион, Гортензия Пападат-Бенджеску, Джордже Баковия, Камил Петреску и другие,— где эти писатели выражали решимость поддерживать политику коммунистической партии. Они были убеждены, что только под руководством коммунистов румынский народ может достигнуть подлинной и полной свободы, социальной справедливости и благосостояния. Признание принципа коммунистической партийности в литературе для многих из них пришло позднее. Таким образом принцип партийности возник как внутренний направляющий и определяющий фактор творческого процесса и явился следствием того, что писатели приняли определенное мировоззрение, определенную философию и политику.

Как подчеркивал Ленин еще в 1905 году и как показывает все развитие литературы вплоть до наших дней, требование «абсолютной свободы творчества» не только лицемерно, но и абсурдно, поскольку «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Писатель не может не быть тенденциозным, его эстетические принципы в конечном счете связаны с определенными классовыми интересами, с защитой определенной политики и морали. Вопрос заключается в том, *что* защищать и *как* защищать. Коммунистическая партийность дает возможность писателю не только защищать передовые идеалы нашей эпохи, но и вооружает его передовым творческим методом. Признание коммунистической партийности приводит к органическому слиянию логического и эмоционального начал в творческом процессе, ликвидирует болезненное противоречие между этими двумя началами — то противоречие, которым в прошлом были отмечены произведения даже великих художников. Идея «полной спонтанности» творчества, которую столь упорно защищают буржуазные эстетики,— ложная идея. Спонтанность творчества мнима, это иллюзия, и ее боятся развеять только те художники, которые чувствуют, что их эстетические идеалы противоречат философским и политическим концепциям, защищаемым ими. Художнику-коммунисту подобные иллюзии не нужны. Он признает контроль разума, поскольку этот контроль не только не тормозит «спонтанность» творческого акта, но и стимулирует его. Для художника, стоящего на позициях социалистического реализма, не может быть безразлична объективная ценность созданных им произведений, потому что, будучи участником гигантского движения за обновление мира, он ощущает внутреннюю потребность сопоставить свой личный вклад с коллективным эстетическим опытом масс, с требованиями революционной борьбы. Руководство литературой со стороны партии является, таким образом, естественным следствием этой внутренней потребности.

Мне хотелось бы привести некоторые примеры из истории современной румынской литературы. Известно, что все творчество Михаила Садовяну может быть охарактеризовано как гимн человеку из народа. И история и современная жизнь служат Садовяну для того, чтобы показать духовное здоровье, превосходство человека из народа, не затронутого буржуазно-помещичьей цивилизацией, над его развращенными хозяевами. Однако в произведениях, написанных до 1944 года, Садовяну защищал эту идею с устаревших, противоречащих историческому развитию позиций, ибо, сопротивляясь разлагающему влиянию буржуазной морали и буржуазной идеологии, он видел спасение в сохранении патриархальности. Отсюда налет грусти и даже трагизма, свойственный этим его произведениям. Читая его книги тех лет, нельзя не ощутить глубоко пессимистического отношения к действительности. Тем большее впечатление производит взрыв оптимизма в его повести «Митря Кокор». Перспектива, которая открывается перед героями в конце этого романа, не только не противоречит эстетическим принципам Садовяну, но, наоборот, подтверждает их. Участие в народной революции вместе с рабочим классом и под его руководством открыло для крестьянства — как показывает в

повести Садовяну — новый путь, отвечающий их вековым чаяниям.

Нечто подобное наблюдается и в творчестве другого видного румынского прозаика — Камила Петреску. Если в жизни и творчестве Садовяну проблемой номер один была историческая судьба румынского крестьянина, то Камил Петреску с такой же страстностью стремился установить, каковы роль и место интеллигенции в современном обществе. Этим объясняется отчасти и интерес Петреску к Прусту. Если налет скорби в произведениях Садовяну связан с ощущением невозможности отстоять с исторически устаревших позиций лучшее, что он видел в нации, то подобные настроения в творчестве Петреску были прямым следствием его мыслей о том, что честный интеллигент, сознающий свой долг перед народом, обречен в буржуазном обществе на изоляцию. Попытка восславить это одиночество привела писателя к странному для нас сегодня выводу, что истинно человеческие достоинства его любимого героя могут быть обнаружены и раскрыты только с помощью углубленного психологического анализа. Эти достоинства скрыты, ибо среда, в которой интеллигент вынужден жить и работать, враждебна ему, но долг писателя — показать их. Творческая манера Пруста и казалась Петреску наиболее соответствующей поставленной задаче — раскрыть образ героя-интеллигента. Однако, если творчество французского писателя и по содержанию и по форме оставалось декадентским, творчество Камила Петреску в своей основе всегда было реалистическим. В пьесах и романах, написанных до освобождения, писатель стремился к «литературе действия», но ему не удавалось обнаружить активные силы в том мире, который он изображал. Выводы Камила Петреску были трагическими, потому что в его анализе отсутствовала историческая перспектива. Эту перспективу писатель обрел только после освобождения Румынии. Герой Камила Петреску — по-прежнему интеллигент-подвижник, подчиняющий свою жизнь великой миссии, но построение сюжета и самое развитие характера стали совсем другими. Главный герой монументального романа «Человек среди людей» Николае Бэлческу показан в действии, в служении народу. И хотя ему суждено погибнуть, трагический его конец будит протест, его трагедия — это «оптимистическая трагедия».

Таким образом, утверждение на позициях коммунистической партийности привело Садовяну и Петреску к необходимости пересмотреть свое собственное творчество предыдущего периода. У Садовяну это наглядно видно в романе «Никоарэ Подкова», который является переработкой ранней его повести «Соколы». Если в повести писателя в первую очередь занимала героико-трагическая судьба главного действующего лица, а исторические события служили лишь декорацией, то в романе «Никоарэ Подкова» на первый план выдвигается народ, именно он становится главным героем книги. Захват трона Молдавии Никоарэ Подковой рассматривается здесь как один из эпизодов классовой борьбы, а не только как акт личной мести. Трагическая развязка освобождается от груза мистико-романтических объяснений и предстает уже не как фатальная неизбежность; наоборот, она предвещает продолжение борьбы, которая (правда, только через века) не может не привести к победе народа. Герои гибнут, но дело их живет, ибо это дело народное, а народ бессмертен.

Тудор Аргези, поэт вечной юности, в многочисленных стихотворениях запечатлел радость освобождения от идейных и моральных «терзаний», преследовавших его на протяжении многих лет. Как неоднократно отмечала румынская критика, творчество Аргези довоенного периода было поэзией «веры и отрицания», между которыми все время колебался поэт. Теперь же, откинув все сомнения, он с гордостью заявляет о своих атеистических убеждениях. Продолжая гуманистическую традицию поэзии Эминеску, Аргези в какой-то мере и противопоставлял себя ей: он не желал воспринимать жизнь как сгусток неразрешимых проблем и дерзко стремился раскрыть все ее «тайны». Но иногда казалось, будто он сгибается под тяжестью взятой на себя задачи. Только познав великие истины эпохи коммунизма, Аргези смог написать «Песнь человеку» — замечательную поэму, блестящий гармонический синтез и венец всего его творчества. Сохраняя пристальный интерес к мельчайшим явлениям жизни, Аргези уже больше не боится ее неожиданных противоречий, теперь в его власти познать их. Творчество Аргези, обогащенное комму-

---

нистическими идеями, приобрело особую широту.

Социалистический реализм, основным эстетическим принципом которого является коммунистическая партийность,— передовой творческий метод, несовместимый с бескрылой описательностью. Объективности писателя, которую требуют от него традиции реалистического искусства, вовсе не противоречит партийная целеустремленность, наоборот, она создает самые благоприятные условия для развития этой объективности в духе требований самого искусства.

Несколько примеров, также взятых из современной румынской литературы, могут подкрепить данное положение. Интересный роман Марина Преды «Морометы» кажется вначале просто летописью жизни одного села, и в первую очередь семьи главного героя. Писатель неторопливо, иногда даже с некоторыми длиннотами повествует о том, как рассеиваются иллюзии Илие Моромета по поводу «независимости» его хозяйства, как он разоряется, не имея возможности противостоять неумолимому наступлению капиталистических отношений. Роман «Морометы» появился после повести «Разворот», в которой писатель страстно выступал за социалистическое преобразование сельского хозяйства, и, по существу, развивает основную идею этой повести. Как подтекст в этом романе звучит полемика со старыми попоранистскими и сэмэнэтористскими* теориями, которые проповедовали необходимость укрепления мелкого и среднего крестьянского хозяйства, видя в этом средство против проникновения капитализма в деревню. Подобные иллюзии, укоренившиеся в сознании среднего крестьянства, тормозили процесс зарождения новых, социалистических отношений в румынской деревне. Полемизируя со своими литературными предшественниками, автор полемизировал и с теми читателями, которые тогда (роман вышел в 1955 году) еще не понимали или понимали весьма туманно историческую необходимость коллективизации. Более того, роман ведет открытую полемику с самим принципом буржуазного индивидуализма, который, как известно, искусственно связывает идеал свободы (понимаемый как возможность утверждения личности) с частной собственностью. Полемику по этому вопросу Марин Преда продолжает и в своем новом романе «Расточители». Буржуазные идеологи, не имея возможности отрицать превосходство социалистической системы в темпах развития производства, пытаются взять реванш, утверждая, что социалистическая действительность якобы ведет к нивелировке человеческого характера, якобы препятствует утверждению личности. Роман «Расточители» блестяще разоблачает подобные лживые измышления, показывая, что именно благодаря проникновению социализма в быт людей, обреченных при буржуазном строе на прозябание, в этих людях раскрываются новые невиданные возможности. Так, учительница Констанца находит силы преодолеть тяжелую личную драму только потому, что посвящает себя общественным делам. В противоположность Констанце доктор Мунтяну, ее первый муж, человек талантливый, но карьерист, готов изменить себе, своему призванию, так как он строит свою жизнь на принципах буржуазного индивидуализма. Сталкивая различные жизненные пути, перекрещивая их самым неожиданным образом, автор убедительно показывает превосходство социалистического мировоззрения как раз в том вопросе, вокруг которого сейчас поднимают шум идеологи буржуазии,— в вопросе об «утверждении личности».

Буржуазные идеологи и ревизионисты всех мастей любят обвинять писателей, стоящих на партийных позициях, в «конформизме». В действительности же этот «конформизм» есть не что иное, как убеждение, что социалистическая революция не только представляет собой акт социальной справедливости, она решительно приблизила человека к его извечному общественному и эстетическому идеалу — подлинно свободной жизни, которую он может посвятить творчеству. Историческое превосходство коммунизма зиждется в конечном счете именно на том, что он открывает человечеству эту перспективу. Видеть эту перспективу, показывать в своем творчестве коренное отличие мира социалистического от мира буржуазного — вот задача писателя. Наши враги утверждают, что, побуждая писателей занять подобную позицию, мы побуждаем их «искажать» правду, скрывать пока еще многочисленные недостатки, которые имеются в жизни социалистических стран. Думать так—

---

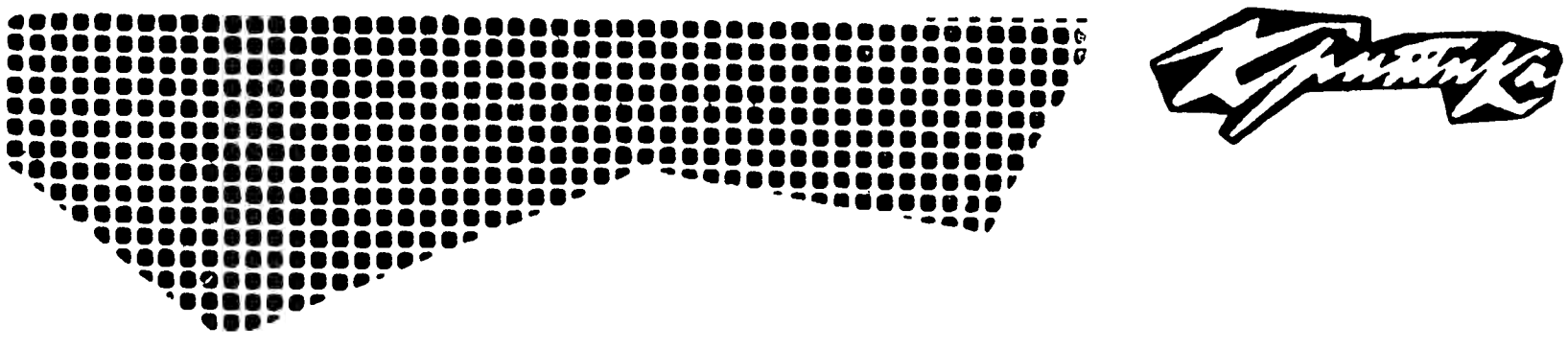
* Попоранизм — течение, возникшее в Румынии в конце XIX в. под влиянием русского народничества.

Сэмэнэторизм — течение, появившееся в начале XX века и получившее название от журнала «Сэмэнэторул» («Сеятель») и проповедующее, в частности, идеализацию патриархального уклада деревни.

значит демонстрировать полное непонимание сущности коммунизма и сущности принципа коммунистической партийности. Румынские писатели не скрывают ни трудностей, ни недостатков нашей действительности. Титус Попович в романе «Земля» показывает, например, как часто заблуждались в первые годы народной революции некоторые борцы за новую жизнь. Многие из них ошибались и дорого заплатили за эти ошибки, но все они верили в перспективу новой жизни, привлекающей в первую очередь своей подлинной красотой. В отношении к революции коммуниста Джордже Теодореску и искателя «абсолютной свободы» Суслэнеску раскрывается глубокий смысл противопоставления этих двух интеллигентов, выведенных в романе. Суслэнеску не может быть счастлив потому, что не способен увидеть свет обновления, ибо он слеп духовно. Теодореску же, наоборот, хотя и вынужден пройти через бесконечные трудности, все-таки счастлив, ибо вера в коммунизм помогает ему преодолеть эти трудности.

Кое-кому кажется, что писатели, решительно утверждающие необходимость изображать в первую очередь те стороны жизни, которые говорят о превосходстве социализма, призывают к одностороннему отражению действительности. Это вовсе не так. Коммунистическая партийность немыслима без отражения всей правды жизни. Но она немыслима также без разоблачения буржуазной идеологии. Теперь, после девятнадцати лет революционных преобразований, писатели Румынской Народной Республики не сомневаются в правильности своих позиций, в необходимости борьбы, которую они ведут с 1944 года вместе с коммунистической партией. Вера в справедливость и окончательную победу дела коммунизма еще сильнее сплотила их. Эта вера, укрепляемая день ото дня самой жизнью, находит свое выражение в их произведениях. Писатели пишут о ней, потому что знают: самая природа социалистической действительности, организаторская и руководящая деятельность революционной марксистско-ленинской партии рабочего класса выдвигают необходимые силы, которые сумеют одолеть все, что мешает строительству нового общества. Такова диалектика борьбы между старым и новым, такова диалектика жизни при социализме, и писатели утверждают превосходство социализма, отражая во всей непреложности эту диалектику. В романах, повестях, пьесах и поэмах, написанных за последние годы на самые актуальные темы, показаны и различные отрицательные явления (например, в романах Николае Цика «Шестой час» и «Молодые годы» или в рассказах Н. Вели, И. Бэйешу, Д. Р. Попеску и др.), но не случайно во всех этих произведениях преобладает утверждающий пафос. Писатель-коммунист чувствует необходимость мобилизовать самые действенные творческие средства, чтобы показать не отрицательные явления сами по себе, а то, как преодолевают их силы прогресса. Ибо борьба этих сил наиболее убедительно утверждает истинность нашего эстетического идеала и разрушает клеветнические измышления идеологов буржуазии, прибегающих к любым средствам, чтобы утвердить лживую идею, будто социализм не в состоянии устранить «первородные грехи» человечества.

Идеологическая борьба имеет свои неумолимые законы, и хотя в разных условиях они проявляются по-разному, общность их в основе бесспорна. Борьба идет за умы и сердца людей, за то, чтобы убедить их, что единственный путь к расцвету всех способностей человека — это путь к коммунизму. Тот, кто показывает его так, что это изображение не привлекает умы и сердца, а отталкивает их, тот солидаризируется с буржуазией. Среднего пути нет. Когда вопрос ставится в такой категорической форме, как сейчас (в мире существуют две системы, которой из них принадлежит будущее?), то ответ не может содержать никакой двойственности. Подлинное искусство было всегда в полном согласии с истиной. Истина в наши дни на стороне коммунизма. Вот почему коммунистическая партийность все шире и шире признается в нашу эпоху непреложным эстетическим принципом художественного творчества.



ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

(Заметки о творчестве А. Силлитоу, Ф. Саган, Дж. Д. Сэлинджера)

В Советском Союзе мне неоднократно приходилось рассказывать о наших «сердитых молодых людях», и я всегда старался пояснить, что́ на самом деле представляют собой эти молодые писатели. Большая их часть появилась в пору повышения общественной активности мелкой буржуазии. Произведения этих писателей почти полностью отражают взгляды этого класса и его новую роль в обществе, хотя некоторые из них вышли из рабочей среды и пишут о рабочих. Однако есть другая, более сложная сторона в этике этих писателей, которая нуждается в исследовании: та моральная атмосфера, в которой они живут, определяет их мировоззрение, характер их повседневной жизни, их социальные взгляды. Короче говоря, именно эта современная буржуазная мораль и придает их произведениям тот особый западный колорит, который был бы немыслим, если бы они жили в Советском Союзе.

Я коснусь не только «сердитых» англичан (в данном случае это Алан Силлитоу), но постараюсь разобраться также в творчестве двух других писателей, изображающих нравственную обстановку нашего общества,— Франсуазы Саган из Франции и Дж. Сэлинджера из Соединенных Штатов.

У Силлитоу, Саган и Сэлинджера очень много общего. Как ни один другой писатель этих стран, они приобрели значение гораздо большее, чем то, на которое они сами могли рассчитывать. Вряд ли кто-нибудь из них претендовал на большее, чем быть серьезным писателем. Я сомневаюсь, чтобы хоть один из них мог претендовать на роль проповедника морали. И тем не менее они именно таковыми стали. Быть может, непреднамеренно, но каждый из этих писателей дал более полную картину общественных нравов Великобритании Франции и Соединенных Штатов, чем кто-либо другой. По этому принципу я их и объединяю. Нравственные позиции этих авторов, безусловно, очень далеки от принципов христианской морали буржуазии былых времен. Мне кажется, что они значительно ближе к смеси фрейдизма и экзистенциализма, которыми буржуазия увлекается сегодня.

Эта статья не имеет целью подвергнуть безоговорочной критике всех трех авторов только на том основании, что их произведения несут на себе в какой-то мере влияние фрейдизма, экзистенциализма и субъективизма. Мне просто хочется найти ключ к пониманию моральных принципов этих писателей.

Всем им не по душе общество, в котором они живут. В то же время они и не коммунисты. Настроения их произведений созвучны, они несут в себе живое дыхание нашей современной западной жизни: беспорядочной, безнадежной, со всеми ее страхами, жестокостями, сексом, невежеством; жизни, способной довести до самоубийства, если она и дальше будет идти тем же путем. Все различие их только в том, что страны, о которых эти авторы пишут, находятся на различных стадиях общественного развития.

Иногда я стараюсь отделить автора от его произведения. И не могу не отметить, что Силлитоу в жизни глубже разбирается

в вопросах политики, чем это можно сказать, судя по его романам (но не по поэзии), а Франсуаза Саган смело выступала по поводу положения в Алжире, но не касается политики в своих произведениях, и не потому, что она боится, а потому, что отделяет эту сторону своего «я» от своего литературного творчества.

Можно ли отождествлять этих авторов с их героями? Думаю, что в целом — да. Являются ли взгляды героев (или антигероев) действительным отражением позиций этих писателей? Ответ будет тот же: в целом — да. Тем не менее общий взгляд на вещи, который можно вынести из их произведений, зачастую куда более беспорядочен и болезнен, чем их собственный. Короче говоря, все их книги оставляют у читателя ощущение, что эти писатели с известным сочувствием относятся к раздвоенности своих героев, она их занимает и завораживает, хотя вовсе не характерна для самих писателей.

Почему так? Отчего их литературное лицо часто так непохоже на их человеческую сущность?

Это тоже результат их моральных принципов, их взглядов на самих себя как на писателей, результат дихотомии, которая порой заставляет их делать вид, что они не желают иметь никаких точек соприкосновения с обществом, в котором живут, даже тогда, когда они препарируют его с увлечением фанатика анатома. Они часто бегут от главных проблем жизни общества, но оказываются в самом их центре и отчаянно пытаются совместить несовместимое.

Это особенно характерно для Саган и Сэлинджера, выходцев из мелкобуржуазной среды, которых, естественно, волнует падение нравов их общества. Силлитоу родился в семье рабочего, и с ним дело обстоит несколько иначе, но все же Артур Ситон, из его романа «В субботу вечером и в воскресенье утром», при том, что он натура сильная,— такой же шалопай и отщепенец, такой же потерянный человек в обществе, как и юные герои Саган и Сэлинджера. Артур Ситон так же неумышленно аморален, несмотря на свою принадлежность к рабочему классу, и так же аполитичен, а зачастую и слеп в своем отрицании общества, как и любой из мятущихся мелкобуржуазных героев Саган и Сэлинджера. Брайн Ситон, в романе «Ключ от двери», пошел, однако, значительно дальше своего брата, и это позволяет нам несколько иначе оценивать Силлитоу как писателя.

В этой статье я намереваюсь начать с Силлитоу, хотя с таким же успехом мог бы обратиться к любому из этих трех авторов.

Алан Силлитоу

Сейчас Алану Силлитоу 35 лет. Родился он в 1928 году на окраине промышленного города Ноттингема и поэтому хорошо помнит все тяготы жизни, выпавшие на долю Великобритании в тридцатых годах.

Трудно передать словами условия, в которых жили люди, подобные Силлитоу, 35 лет назад. Редко пропасть между богатством и нищетой в Великобритании была так глубока, как в то время,— даже во времена феодализма. Кое-кто из современных интеллигентов любит говорить, что Англия Диккенса выглядит сейчас нелепо. Но ведь только двадцать пять лет назад, в тридцатых годах, миллионы англичан жили в условиях ничуть не лучших, чем те, которые знал Диккенс, а в некотором отношении и в худших.

Из истории мы знаем о борьбе британского рабочего класса в те тяжелые годы: всеобщие забастовки, голодные демонстрации, уличные бои с фашистами, солидарность с молодой Страной Советов и с народом Испании во время гражданской войны.

Можно без преувеличения сказать, что вторая мировая война спасла британский капитализм. Но для того, чтобы спасти себя от уничтожения как со стороны внутренних, так и внешних сил, британскому капитализму пришлось разрешить народу Великобритании вести ту войну, которую он хотел: войну против нацизма. Чемберлену, например, очень хотелось оказать нацистской Германии поддержку любым возможным путем, даже тогда, когда мы уже воевали с ней, при условии, что нацисты двинутся на Восток А когда Гитлер двинул войска против Франции и собрался вторгнуться в Англию, Чемберлена у нас уже сменил Черчилль, он воззвал к антифашистским чувствам, которые, как он знал, живы в народе и которые — он не сомневался — можно будет использовать.

Был ли Черчилль сам в то время настроен против нацизма? Безусловно, ибо он знал, что капитализм его собственной страны восстает против не в меру жадного брата из волчьей стаи. Был ли он так же против германского капитализма, как капитализма вообще? Конечно нет. И политика, проводимая им после войны, не оставляет в этом сомнений. Черчилль значительно больше, чем какой-либо другой европейский политический деятель, способствовал возрождению германского капитализма.

Во время войны был заключен любопытный и довольно странный союз между рабочим классом, который ненавидел черчиллей, и черчиллями, которые ненавидели рабочий класс. И те и другие боролись против общего врага, но причины и конечная цель были разными.

Потерпев поражение от лейбористской партии на выборах в 1945 году, хозяева страны, однако, не отказались от своих целей и сразу же стали бороться за восстановление своего былого господства.

Орудием в их руках была сама лейбористская партия. Почти с первого дня своего пребывания у власти правое крыло лейбористской партии стало отступать от

своей начальной социалистической программы.

Эттли и К° потребовалось около десяти лет, чтобы окончательно изобличить себя и вытравить все «социалистическое» из своей программы. И им потребовалось десять лет на то, чтобы вернуть капиталистам Великобританию, которая далеко не была прежней, довоенной Великобританией, в жизни которой нельзя было зачеркнуть глубоких социальных перемен,— это была Великобритания, где был уже сломлен и растоптан дух 1945 года. Она стала циничной и эгоистичной, вследствие горьких разочарований, вызванных поведением лейбористской партии в вопросах политики.

Пришлось бы написать много томов, чтобы проследить установление той мелкобуржуазной подделки под социализм, которая сейчас как тори, так и социалистическими лидерами гордо называется «государством всеобщего благосостояния». Здесь я коснусь только самых существенных моментов, необходимых для понимания Силлитоу и его героев.

Какого же рода социализм мог существовать в Великобритании после 1945 года? У нас могли бы произойти коренные перемены в правах собственности, которая от капиталистов перешла бы к обществу. У нас мог бы быть социализм, при котором старые классовые силы исчезли бы во всех областях нашей жизни, социализм, который впервые высвободил бы огромные таланты рабочего класса и всего нашего народа, социализм, при котором каждый смог бы получить образование и развивать свои таланты.

Этот перечень можно было бы продлить до бесконечности, и не нужно обладать слишком большим воображением, чтобы представить себе мир, в котором истинно социалистическая Великобритания играла бы существенную роль, воодушевляя своим примером остальные европейские государства. У нас никогда не было бы «холодной войны» или гонки вооружения, потому что социалистическая Великобритания настолько бы перетянула чашу весов в пользу всеевропейского социализма, что даже трудно себе представить, насколько продвинулся бы мир по долгому пути, ведущему к заветной цели человечества.

Что же вместо этого получили мы от Эттли и К°?

Все тот же капитализм (только какие-то крохи перешли в общественную собственность), и как основной стимул — та же нажива; мы сотрудничаем с Америкой и с возрожденной нацистской Германией; все старые классовые привилегии восстановлены, а рабочие разочаровались в социализме, видя, что все их надежды рухнули, у нас есть атомная бомба, господство Западной Германии, антикоммунизм; у нас есть американские военные базы и министр иностранных дел по имени лорд Хьюм, который проводит точно ту же политику, что и Чемберлен в Мюнхене, а кроме того, мы можем похвастаться падением общественной нравственности и даже принципов христианской морали.

■

Именно в таком мире и живут герои Алана Силлитоу, и как раз это и объясняет, почему они таковы.

Давайте рассмотрим его первую книгу «В субботу вечером и в воскресенье утром».

Впервые этот роман был напечатан в 1958 году. Очевидно, он был написан в 1956—1957 годах. Как рассказывал сам автор, писать он отправился на Майорку, где жил на небольшую пенсию, получаемую от английских военно-воздушных сил. Во время военной службы в Малайе у Силлитоу открылся туберкулезный процесс, и он получил инвалидность. Нетрудно догадаться, что туберкулез был расплатой за детство, проведенное в отвратительных прокопченных трущобах Ноттингема.

Роман «В субботу вечером и в воскресенье утром» — история молодого Артура Ситона, рабочего велосипедного завода в Ноттингеме. В нем повествуется о семье Артура, его друзьях и врагах, о его взглядах, любовных похождениях (об этом прежде всего) и в результате — о его глубоко личном анархическом отношении ко всему, что его окружает.

Стоит заметить, что несколько издателей отказались печатать книгу Силлитоу (как ни трудно в это поверить), но когда она была в конечном счете издана, ее хорошо приняли и высоко оценили. Репортер «Дейли телеграф» писал, что «после этой книги «Путь в высшее общество» Джона Брейна кажется невинным чаепитием в доме священника», имея в виду, что Силлитоу в своем обнаженном показе разврата, пьянства и насилия даже превосходит Джона Брейна. Но только после фильма «В субботу вечером и в воскресенье утром» роман превратился в одну из самых популярных книг и заставил всю Великобританию заговорить об Алане Силлитоу.

В издательской рекламе к этой книге говорится: «Это необычайно откровенный и сильный роман о жизни рабочих Ноттингема... Главный герой романа является более точным воплощением современного молодого человека, чем любой известный нам литературный персонаж. Об Артуре Ситоне можно порой действительно сказать, что он аморален, хитер, бесчестен, эгоистичен, беспринципен. Но несмотря на его отрицательные черты, он привлекает читателя своей жизнерадостностью и добродушием, и потому читатель не удивляется, что в конце книги Артур намерен «остепениться»...» Такого мнения о романе придерживается и критика.

Это превосходный портрет молодого человека нашего общества, если мы встанем на точку зрения «сердитых молодых людей». То, что Силлитоу описывает рабочего парня, не играет тут роли.

Может возникнуть вопрос: что это за общество, которое то и дело говорит о своей молодежи как об «аморальной и бесчестной» и не приходит от этого в ужас?

Истинная сущность этого общества может быть выражена словами «chacun pour soi» — «каждый за себя», что тоже можно причислить к «достижениям» Эттли и К°. Силлитоу (в числе прочих) через Артура Ситона часто высказывает подобную точку зрения. Трагедия его героя является ценой, которой писатель и его поколение расплачиваются за это «достижение».

В произведениях Силлитоу множество тому примеров. Вот как рассуждает Артур Ситон: «В армии плевать я на всех хотел. У меня-то порядочек. А на гражданке все живут по принципу «каждый за себя». А в общем-то везде одинаково. Какое мне дело, кто как думает. Главное — не попадаться на удочку. Вот только, когда сидишь где-нибудь далеко, на берегу канала, под ивой, и ждешь, что рыба клюнет, или лежишь в постели с любимой женщиной,— только тут и можно чувствовать себя спокойно».

По сути дела. здесь выражена вся горькая философия Ситона. Здесь и потребность в циничном эгоизме («каждый за себя»), и боязнь нечаянно поверить кому-нибудь («плевать я на всех хотел»), и неверие в честные взаимоотношения («главное — не попадаться на удочку»), и единственная отрада (рыбная ловля и лежать в постели с любимой женщиной).

Однако описанию маленького мирка, в котором живет Ситон со своей философией анархиста, предшествует заявление другого плана, направленное против войны. «Пусть только начнут войну,— думал он (Артур),— увидят, какой из меня получится солдат. *Эти там наверху* должны знать, что никто не станет за них воевать...»

И на той же странице появляется даже Ситон-революционер: «Они думают, что заткнули нам рты своими страховыми полисами и телевидением, но я буду одним из тех, кто покажет им, как сильно они ошибаются!»

Но дальше революционер несколько стушевывается и продолжает уже в таком духе: «Я бы стрелял в них... в этого великодушного недоноска, который предложил мне пойти на профсоюзное собрание или подписать бумагу против того, что происходит в Кении. Как будто мне есть до этого дело...»

В романе много подтверждений того, что Ситон по своим взглядам куда больше анархист, чем революционер. Артуру Ситону безразлично все, кроме его собственных переживаний, его личных помыслов и их немедленного удовлетворения, все, кроме своего маленького мирка с его симпатиями и антипатиями, беспечной любовью и слепой ненавистью. Вот его взгляды на жизнь: вопросы пола, например («лучше иметь дело с замужними женщинами»); отношение к деньгам (большую их часть он тратит на себя, он не жаден, но готов убить всякого, кто попытается их у него отнять); к капиталистам (перестрелять бы их всех), к профсоюзным лидерам (перестрелять бы их всех), к армии (хитрит, зубоскалит и старается побыстрей из нее выбраться), к своему классу (никогда не предает его), к чужой собственности (украсть бы), к полиции (врать, обманывать, стянуть что-нибудь из-под носа и удрать).

Силлитоу было 28 лет, когда он написал «В субботу вечером и в воскресенье утром». Только-только ему удалось освободиться от армии, немного залечить туберкулез и выбраться из «джунглей» своего прокопченного родного города. Кто мог бы измерить ту ненависть, с какой он взял в руки перо, чтобы написать этот роман? Приходится лишь удивляться, что жизнерадостность, юмор, энергия и теплота чувств все же присущи его героям, пусть даже они проявляются в пьянках и драках.

Семья Ситона бросает умышленный вызов «респектабельности», и это своего рода пиратская бравада. «А как же с политикой? — спросите вы.— Неужели эти люди совсем не интересуются политикой?»

Да, эти рабочие пираты из Ноттингема способны только на политические *эмоции,* но ни на что другое, более определенное. *Чувства-то* у них правильные в классовом смысле этого слова, но это отнюдь не значит, что и поступают они тоже правильно; они правильно *видят* (в классовом смысле этого слова), но не могут осознать увиденное. Более того, они часто настолько яростно отказываются понимать, что это граничит с идиотизмом. Иногда они и тупы, и жестоки, и глупы. Такими они кажутся Силлитоу, или, вернее, такими мы их видим с его помощью.

Роман можно было бы спокойно снабдить следующим подзаголовком: «История запутавшегося Ситона, или Цыплята Эттли, которые сами рвутся на вертел». Рабочие, показанные Силлитоу в образе Ситона, не понимают своего собственного положения; они не понимают, кто их подлинные враги, стоящие за спиной хозяев; не понимают, как можно изменить свою жизнь, как выбраться из той черной ямы, в которой живут; они не понимают ничего и способны лишь бездумно жить день за днем, вести изо дня в день борьбу за существование и все время кого-то давить — кого угодно, лишь бы самому в этой жестокой борьбе остаться на поверхности.

На поверхности чего?

Да на поверхности все той же черной ямы! Может быть, чтобы выбраться из нее? Нет! Чтобы жить, как в аду, в темноте и невежестве? Да! И эта жизненная позиция Ситона вполне устраивает господствующие классы. Артур Ситон хвастается своей хитростью. Как человек, он хитроумен, но в плане общественном — глуп. Бороться? Да, и до последнего вздоха, так он говорит. Но разве он борется за уничтожение той чудовищной системы, которая принижает его и превращает в ничтожество? Нет, ко всем чертям! Бороться нужно только за себя, даже если тебе придется бороться против всех.

Только такими и хотели бы правящие классы видеть бунтовщиков из числа рабочих, и именно таковы Ситоны в романе. Они *растеряны*, они *одиноки*, так пусть они кричат по любому поводу, если им хочется. В этом объяснение того, почему роман и фильм выжили и пользуются такой популярностью в обществе, которое может без труда разделаться и с тем и с другим. Выражать протест? Пожалуйста, сколько хотите! *Высмеивать, высказывать революционные идеи и бороться?* Никто против этого не возражает, поскольку ты это делаешь от себя лично и ты одинок. *Личный, психологический и эмоциональный протест?* Пожалуйста! *Но делать это коллективно и организованно?* Ни в коем случае! Если вы посмеете заговорить о союзе, или о коллективе, или об организации, вас очень быстро заставят замолчать и сотрут в порошок.

Значит, это конец? Неужели Ситоны обречены на поражение хитроумной моралью и политикой Эттли и его приятелей-аристократов? Неужели Ситоны в самом деле не более как цыплята, которые сами так и рвутся на вертел? Неужели они просто орудие в руках буржуазии, которую устраивает анархизм рабочих, так как он безопасен? Нет, это совсем не так, и в образе Ситона Силлитоу дает нам некоторую надежду. Мы узнаем в конце романа, что Ситон собирается жениться и «остепениться», но мы покидаем его размышляющим о противоречиях своей жизни, которая вся состоит из трудностей, сопротивления им и борьбы. «Что же,— говорит он,— жизнь хороша, и мир при всем том не так уж плох, если не сдаваться и если ты убедил себя, что хоть большой мир ничего о тебе еще не слышал, но скоро, теперь уже скоро, услышит...»

Каким образом мир может услышать что-нибудь об Артуре Ситоне? Этот вопрос вы задаете себе, закрывая книгу. Имел ли он в виду, что добьется этого один, своими собственными средствами, что вполне бы устраивало хозяев? Или он говорил о всех Артурах Ситонах, то есть о всем классе? Своим романом Силлитоу поставил этот вопрос, но по сути дела на него не ответил.

Поэтому с социальной и моральной точки зрения роман не закончен, так как наиболее существенные социальные и моральные вопросы в нем только поставлены, но ответа на них не дано. Что же собирается делать Артур Ситон — вот что мы хотели бы знать. Можно было предвидеть, что Силлитоу обязательно вернется к этим людям, чтобы кое-что пояснить, и он действительно это сделал в своей последней книге «Ключ от двери». В ней он отвечает на ряд вопросов. Насколько же ему это удалось?

Прежде чем перейти к этому, мы должны разобраться еще в некоторых противоречиях мировоззрения Силлитоу.

■

Еще до опубликования романа «В субботу вечером и в воскресенье утром» Силлитоу написал небольшой сборник стихов под названием «Без пива или хлеба». Эти первые стихи — лирическое выражение своего «я» и своих чувств в стиле Лоуренса. Хотя эти стихи показывают Силлитоу-интеллигента, в них чаще чувствуется другой, менее утонченный Силлитоу. Более поздний его сборник стихов «Крысы» написан в ином стиле, так как в нем довольно ощутимо звучит голос протеста Силлитоу-революционера.

Который же из этих двух Силлитоу настоящий? Как и роман «В субботу вечером и в воскресенье утром», поэзия Силлитоу не дает ответа на этот вопрос. Чтобы проследить, каким путем шло развитие взглядов Силлитоу в дальнейшем, следует обратиться к его другому роману — «Генерал». Здесь мы увидим, куда завела автора противоречивость его мировоззрения.

«Генерал» — аллегорический роман, повествующий о западноевропейском симфоническом оркестре, захваченном в плен восточной армией (автор называет солдат этой армии горшаками) во время войны, которая идет неизвестно где и неизвестно когда. Эту войну горшаки (крестьяне-дикари) ведут по принципу «пленных не брать». Судьба оркестра становится сложной проблемой для Генерала горшаков. Бессознательная тяга Генерала к культуре и удовольствие от споров с умным руководителем и дирижером оркестра побуждают Генерала предпринять тайную попытку сохранить жизнь оркестрантам. В конце концов он получает из штаба приказ, предписывающий расстрелять всех оркестрантов. Но Генерал дает возможность им всем совершить побег и перебраться через линию фронта. В результате его самого арестовывают и отправляют в ссылку «на восток».

Этой книгой Силлитоу продемонстрировал свои основные слабости, наиболее серьезные недостатки.

В этом романе значительно определеннее, чем в других, чувствуется, насколько заражен Силлитоу современными взглядами, получившими распространение в среде интеллигенции под влиянием Фрейда и Сартра. По Фрейду, эмоции решают все и являются единственно правильным объяснением человеческих поступков.

«Генерал» был настоящим провалом, которым Силлитоу был обязан путанице в своих взглядах. У него было все — и гнев, и протест, и эмоции, не было только умения решить поставленную проблему. Но я повторяю снова — не следует думать, что это весь Силлитоу.

■

«Одиночество бегуна на длинные дистанции» (написанное до «Генерала») — это сборник рассказов. В рассказе, по которому названа вся книга, нашла наиболее яркое выражение точка зрения автора на борьбу одиночки против общества. Юный узник Борстелского заведения (тюрьма для несовершеннолетних) тренируется в беге на

длинные дистанции, чтобы победить не имеющего конкурентов чемпиона Борстела.

«Заключенный Смит» призван осуществить мечту начальника тюрьмы, который олицетворяет все, что ненавидит Смит — Силлитоу,— респектабельность, набожность, власть, закон, порядок и т. д.— и завоевать ежегодный приз, присуждаемый победителю этого забега. Но Смит решает умышленно проиграть забег, чтобы сбить с начальника спесь. Смит знает, что ему придется расплачиваться за это в течение всего времени, которое ему осталось просидеть в тюрьме, но такова форма его личного протеста, его способ одержать моральную победу над всеми начальниками на свете.

Духовное мужество юноши-одиночки, выступающего против целого общества, делает этот рассказ близким к роману Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Но Силлитоу более нетерпим в своем отношении к обществу, чем Сэлинджер, он мыслит настолько реальнее и в такой степени лишен какой бы то ни было буржуазной сентиментальности, что невозможно ставить эти два произведения в один ряд.

Тем не менее обе эти истории чем-то перекликаются. Этим рассказом Силлитоу бросает вызов обществу, его анархический протест проявляется здесь с большей силой, нежели в романе «В субботу вечером и в воскресенье утром». В фильме, снятом по этому рассказу, Силлитоу изменил биографию главного конкурента Смита в забеге. Вместо никому не известного мальчика из Борстела в фильме показан ученик привилегированной школы, то есть олицетворение власть имущих. И хотя классовый антагонизм выражен более ярко в этом рассказе, чем в других произведениях Силлитоу, основное в нем — судьба одиночки, рискнувшего бросить вызов обществу, обвиняющего его в дикой жестокости и тупости, имеющего мужество идти до конца, хотя бесцельность его борьбы очевидна.

■

В последнем романе «Ключ от двери» Силлитоу начинает в конце концов освобождаться от своего анархизма. Но пока он еще на полпути. Это продолжение романа «В субботу вечером и в воскресенье утром». В романе рассказывается о Брайне Ситоне, старшем брате Артура. Роман состоит из четырех частей. Первая — пролог — история встречи и женитьбы родителей Брайна, вторая рассказывает о его детстве, третья — о его приезде в Малайю в качестве солдата и о его юности, и наконец, четвертая — о том, как он был послан в джунгли для борьбы с коммунистами.

Рассказывая о жизни Брайна Ситона, Силлитоу понял многое из того, что ему не удавалось понять раньше. Он уже смотрит глубже, и, хотя его прежняя точка зрения на значение отдельной личности все еще берет верх, Силлитоу за этой личностью стремится найти и нечто другое.

Во второй части романа есть страница, показывающая этот прогресс во взглядах Силлитоу. Брайн, еще несовершеннолетний, работает чистильщиком котлов. В жаркой темноте покрытый сажей, он вспоминает слова отца: «Никогда не вызывайся добровольцем и не суйся никуда сам». Силлитоу продолжает: «Отец говорил это с убежденностью, и Брайн видел, что он прав. В том-то и беда, что ты куда-нибудь суешься или идешь добровольцем и сам не знаешь, как это получается».

Уже здесь приоткрывается тайная мысль Силлитоу: за каждым человеком, неуклонно защищающим свои интересы, прячется другой, более беспечный, который рано или поздно встает на чью-то сторону И этот другой человек уже готов взять верх над ожесточенной личностью, занятой мыслью только о собственном благополучии.

У этого человека есть уверенность в правоте своего более широкого взгляда на мир. Это он откажется позже стрелять в малайских коммунистов, хотя вполне возможно, что в этой войне кто-нибудь из малайцев пристрелит его. Сравните поведение этого человека с диаметрально противоположным поведением героя рассказа «Одиночество бегуна на длинные дистанции», с протестом, который, хотя и смел и может дорого обойтись герою рассказа, но абсолютно бесполезен, в то время как поступки Брайна Ситона пронизаны идеей братства людей, которая присуща Силлитоу, но которую он всегда подавляет из боязни «встать на чью-то сторону». Это, безусловно, большой шаг вперед по сравнению с отказом Артура Ситона подписать петицию по поводу событий в Африке.

То, что Силлитоу заставил своего Брайна Ситона отказаться воевать с коммунистами Малайи, не единственное достоинство романа. Автор идет дальше. Совершенно ясно, что Брайн Ситон, как его нарисовал Силлитоу, не собирается спасать загнивающую Империю в угоду правящим классам. «Я мог бы спокойно сидеть в Ноттингеме,— размышляет Ситон, после того как началась настоящая война с малайскими коммунистами,— и зарабатывать десять фунтов в неделю у Рэли, вместо того чтобы торчать неизвестно ради чего тут в этой жарище и воевать против друзей». Силлитоу не оставляет ни малейшего сомнения в том, что под словом «друзья» он имеет в виду коммунистов, с которыми Ситон должен был воевать. Немного позже он высказывает надежду, что малайские коммунисты победят, «хоть у него не больше желания помогать им... чем сражаться против них».

И хотя Ситон еще очень далек от того, чтобы стать коммунистом, он знает, на чьей он стороне, и не только «интуитивно», но сознательно и по убеждению. В конце романа Брайн Ситон говорит о своем будущем — его увлекает не безумная жажда

успеха, как Артура (хотя Брайн не меньше брата занят вопросами секса и собственного благополучия), а возвращение к тяжелой работе, и больше того:

«А этот малый с носом, как кочерыжка цветной капусты, все еще секретарь цеховой профсоюзной организации? — так он спросит отца, когда вернется.— Он по-прежнему каждый день приносит номера «Дейли уоркер»? Скажи ему, чтобы он записал и меня в союз...» И продолжая думать о своем будущем, он говорит: «После чая выйду на темную мокрую улицу, пойду мимо пивных и лавок, где торгуют рыбой и жареным картофелем, с сигаретой в зубах, одетый в лучшую пару, и заверну в кабачок играть в воланы и тянуть пиво. Дождь льет как из ведра, а я иду мимо пивных баров и рыбных магазинов с флагом на крыше, и на мне все лучшее, и я направляюсь в кабачок, чтобы поболтать и выпить кружечку с Джонни, и Эрни, и Артуром, Нэном, и всеми остальными. Вечер или два я, конечно, посвящу профсоюзным делам, должен же кто-нибудь это сделать. А я как раз подходящий человек...»

Брайн Ситон думает о своем будущем, сознательно связывая его с будущим своего класса,— здесь Силлитоу сделал большой шаг вперед: «Ключ от двери» — это как бы поиски им самим и его одинокими героями правильного пути в жизни.

Нет ничего удивительного в том, что роман «Ключ от двери» не получил особо благожелательной оценки в Англии, несмотря на то, что он значительно выше всего написанного Силлитоу. Критики настойчиво рекомендуют ему ограничиться излияниями чувств, не пытаясь разобраться в том, что вокруг происходит. Пока что Силлитоу отказывается принять такие советы. И это позволяет думать, что он может стать большим писателем, который внесет значительный вклад в нашу литературу, если только не остановится в своем развитии.

Нельзя сказать, что роман «Ключ от двери» отвечает на все вопросы, и, без сомнения, проблема, стоящая перед Силлитоу,— а именно столкновение его точки зрения на роль отдельной личности с идеей ответственности перед обществом,— должна быть решена глубже. Но Силлитоу уже пытается в этом разобраться в романе «Ключ от двери», и мы видим, что он на правильном пути.

Франсуаза Саган

Когда читаешь книгу современного французского писателя, даже в переводе, даже если автор ни словом не упоминает французскую культуру, «La France», французскую буржуазно-революционную мысль, все равно чувствуешь, что на каждой странице как бы написано: *«Я — продукт французской культуры, французской мысли. Я — уникум. Никто не может сделать ничего подобного Только мы способны на это».*

Франсуазе Саган тоже свойственна вера в исключительное значение своей личности, как бы несущей в себе всю духовную традицию Франции; в этом проявляется особенность французской культуры и своеобразие социальной морали, которая в конце концов гибнет от удушья в идеологическом конфликте, более значительном, чем то, что заключено в идее «La France» и даже в понятии «французский интеллект».

Это может прозвучать обидно для французского «интеллекта», но французская культура в своем традиционном и логическом поединке с реальностью, в своем вечном стремлении найти «raison» всех обстоятельств, предстает в сегодняшней республике более жизненной силой, чем это можно иногда предполагать, исходя из конечных результатов.

Для того чтобы понять, почему Франсуаза Саган стала явлением своего времени и почему общественные нравы, описанные в ее произведениях, в известной мере представляют интерес, мы должны рассмотреть общественную жизнь современной Франции.

Прежде всего попытаемся в общих чертах проследить любопытную эволюцию французского капитализма после второй мировой войны. Так же как и в Англии, французский капитализм спас себя от гибели тем, что при разделе прибылей увеличил долю добычи мелкой буржуазии и стремился подкупить верхушку рабочего класса, только во Франции это происходило по-иному. Новый мир современной Франции и отражен в мире Франсуазы Саган; на нем я и хочу сосредоточить свое внимание.

Связь мелкобуржуазных политиков с французским капитализмом всегда была самой тесной и крепкой, однако унизительной. Французские правящие классы всегда презирали их и даже не пускали к себе на порог.

История Франции на протяжении последнего столетия — это история брака правящих кругов со своими презираемыми мелкобуржуазными слугами.

Стоит отметить, что история Англии за последние триста лет—это история брака— на более высоком уровне, более прочного и более выгодного для капитализма — феодальной аристократии с поднимающимся финансово-промышленным классом и крупной буржуазией. Английский капитализм родился гораздо раньше в результате успешной почти чисто капиталистической революции и развивался более эффективно и планомерно благодаря серии умных социальных компромиссов, на которые французский капитализм с его более современным, более прогрессивным, более рациональным и более народным революционным образом мышления оказался неспособным. Англия 1945 года это Франция 1871, только вместо Тьера у нас был Эттли, вместо Огюста Бланки — Эньюрин Бивэн, а вместо баррикад Коммуны — победа левых сил на выборах.

Это сравнение, пожалуй, несколько утрированно, но не настолько, чтобы быть невозможным.

Продажность французских мелких буржуа, на которой строится все мировоззрение этих политиков,— что и делает их столь полезными для правящих классов,— достигла в конце концов таких размеров, что арена национальной политики превратилась в общедоступный рынок, где царили беспринципность, ложь, полнейшее отсутствие честности, убийственная коррупция.

Де Голль пришел к власти в 1956 году, так как правящие классы поняли, что они должны наконец выступить на общественной арене и непосредственно вмешаться в политику. Это было необходимо, иначе мелкобуржуазная коррупция погубила бы всю систему. Де Голль выдвинул в качестве своей программы избавление Франции от стыда и позора, которые испытывали тогда все французы, глядя на то, что творилось в их национальной политике. Он обещал французам «La France»* и «La République» **, то есть нечто иное, чем обещали мелкие политики, и французский народ поддержал его faute de mieux ***.

Здесь следует сделать одно небольшое, но очень важное дополнение, которое объясняет разочарование таких людей, как Франсуаза Саган, чье мировоззрение несет на себе отпечаток многолетней истории мелкобуржуазного правления во Франции.

Пока мелкобуржуазные политики послевоенной Франции грызлись за доходные места, новое поколение мелких бизнесменов (детище этого честолюбивого класса во Франции), пользуясь неожиданным приливом капитала во французскую экономику, строило свой новый жизненный уклад. Они обладали предприимчивостью и энергией и не боялись риска в делах. Эти люди дали послевоенному капитализму Франции более широкие возможности для новых капиталовложений и расширения товарооборота; и с помощью банков и намеренно подстроенной инфляции создали для французского капитализма такие условия, каких он не знал за последние пятьдесят лет.

Новое поколение бизнесменов сильнее и опаснее довоенных мотыльков типа Поля Рено; эти люди не остановятся ни перед чем для достижения коммерческого успеха. Они еще не занимаются политикой непосредственно, но уже поддерживают де Голля или, идя дальше, поддерживают ОАС. Буржуазная Франция сегодняшнего дня — это их Франция.

■

Отец Франсуазы Саган — преуспевающий бизнесмен, мать — из семьи мелких землевладельцев департамента Лот. Это весьма примечательное сочетание. Отец Ф. Саган был в свое время служащим «Compagnie Générale d'Electricité» *, но благодаря своей «brilliance» ** стал директором (некоторые говорят владельцем, но это не имеет существенного значения) карборундового завода в Аржантейе, на котором работают 800 человек. Если мать Ф. Саган происходит из среды крестьянства, то ее отец — представитель новых, рвущихся к власти сил.

Взгляды Франсуазы Саган отражают в какой-то мере противоречивые позиции этих двух сословий: с одной стороны, старую, традиционную, чуть ли не утонченную крестьянско-мелкобуржуазную культуру, с другой — новую культуру новой буржуазии с ее новыми ценностями.

Я пользуюсь общей социологической терминологией, так как ничего о родителях Франсуазы Саган не знаю. Тем не менее социальные условия и социальные противоречия нового, поднимающегося класса предпринимателей, к которому принадлежит отец Ф. Саган, определяют ее мировоззрение, ее читателей и ее философию.

Ее первая книга «Здравствуй, грусть!» — произведение восемнадцатилетней француженки с наивным и довольно честным, хотя не совсем верным, представлением об окружающем ее обществе (не в личном, а в общем плане). Это эмоциональный рассказ о выросшей без матери девушке, которая только что провалилась на экзаменах в университете и проводит летние каникулы на юге Франции со своим отцом, богатым, преуспевающим бизнесменом, и его любовницей. Отец и дочь ведут весьма свободный образ жизни, обмениваются мыслями о любви, смерти, сексе и счастливы в своем беззаботном уединении. Любовница отца — глупая, но хорошенькая девушка по имени Эльза. Когда к ним присоединяется друг семьи — умная, не первой молодости женщина, явно желающая выйти замуж за отца, Сесиль (героиня романа) восстает против этого союза, так как Анна, с ее трезвой рассудительностью и ее буржуазными моральными принципами, грозит положить конец их бездумно-анархическому наслаждению жизнью. Девушка решает разрушить мечты Анны об идеальной буржуазной семье и достигает своей цели, позаботившись о том, чтобы чары юной любовницы Эльзы, с которой довольно безболезненно сумел порвать ее отец, одержали верх. Анна застает их en flagrant délit *** и решает красиво покончить с собой, направив машину в пропасть. Сесиль и ее отец потрясены и возвращаются в Париж подавленные, но без угрызений совести.

В конце книги они уже снова ведут прежнюю жизнь, развлекаясь, наслаждаясь задушевными беседами, предаваясь новым радостям, так что печальный эпизод с Анной будет вскоре забыт.

---

* Генеральная электрическая компания *(франц.)*.
** Остроте ума *(франц.)*.
*** На месте преступления *(франц.)*.

---

* Францию *(франц.)*.
** Республику *(франц.)*.
*** За неимением лучшего *(франц.)*.

Интересна история этой книги. Франсуаза Саган написала ее во время летнего отдыха. Она провалилась на экзаменах (как и ее героиня) и за два с половиной месяца закончила книгу. В январе перепечатанная на машинке рукопись была послана в три издательства: Плону, Жюллиару и Галлимару.

Редактор издательства Жюллиара начал читать книгу сразу же и читал, не отрываясь, до четырех часов утра. В восемь утра он уже звонил Франсуазе Куарез (имя Саган она заимствовала у принцессы Саган Марселя Пруста). Ему сообщили, что она не встает раньше двух часов дня. В два часа он приехал к ней домой с готовым контрактом, который оставалось только подписать. Франсуаза Саган подписала, и таким образом вся процедура заняла менее 24 часов. К вечеру позвонил другой издатель, но он уже опоздал. Это было в январе. К марту книга вышла в свет (очевидно, это был рекордный для Франции срок), и вскоре только в одной Франции было продано 600 000 экземпляров — огромная для Франции цифра.

В отличие от английских издателей, которые не умеют распознавать представителей поднимающегося класса (они сначала отвергли книгу Силлитоу), у французского издателя за спиной был богатый исторический опыт, подсказавший ему правильное решение. Его длинный нос, наделенный классовым чутьем, помог ему угадать будущего читателя и понять все значение и огромные коммерческие возможности попавшей ему в руки книги этой молоденькой девушки.

■

Социальная мораль романа шокирует тех, кто не хочет, чтобы буржуазная Франция была разоблачена, и разоблачена изнутри, как общество, не имеющее никакой морали, никаких ценностей — ничего, кроме эгоизма и увлечения сексуальной стороной жизни. Но ведь и эгоизм и секс не впервые появляются в современной французской литературе. Этими проблемами вплотную занимались Сартр и Ануй. Почему произведения этих писателей не вызвали такого ажиотажа, как книги Франсуазы Саган? Причины вполне ясны. Сартр и Ануй, Камю и Мальро, характеризуя развращенность и эгоизм современной французской мелкой буржуазии, идут столь сложным путем, что их интеллектуальная изощренность снижает остроту восприятия.

Эти проблемы у них завуалированы. У Франсуазы Саган нет подобного интеллектуального буфера. Она смотрит на мир широко раскрытыми карими глазами и с подробностями и не без удовольствия сообщает (или, скорее, изображает) все, что видела, подобно тому как страдающая нездоровым любопытством школьница пересказывает своей подружке то, что она только что подсмотрела в щелку двери, ведущей в спальню взрослых.

Кажущаяся «искушенность» — это нечто вроде маски, которую надевает на себя юность, не желающая выдавать свой страх и смятение. Но эта детская решимость не показывать своего потрясения и испуга сама по себе настолько аморальна, что именно она больше всего возмутила таких критиков, как Жорж Урдэн, который сказал, что Франсуаза Саган переходит все границы «эротического романа-фельетона», какой мог выйти из-под пера, скажем, Колетт, она действительно заходит очень далеко, а потому католик Урдэн говорит, что ее книги «кричат о пустоте жизни без бога. Они требуют ответа. Под внешней бесстрастностью скрывается оборотная сторона царящего в современном мире хаоса».

И это истинная правда. Ее книги действительно кричат о пустоте «жизни без бога», они показывают, в какой тупик заводит современный хаос.

Однако, по сути дела, позиция Саган абсолютно ничем не отличается от известной еще до нее позиции Сартра и уж во всяком случае ей далеко до необузданности Ануйя. Оба они писали о пустоте жизни и о жизненном опыте, который, по их мнению, ценнее разума. Такова позиция Сартра, такова позиция Камю. Сартр писал даже, что его девиз: «Действовать и, действуя, создавать себя; и быть лишь таким, каким ты себя создал».

Именно таким и описывает Франсуаза Саган свой класс.

Секрет успеха Саган — в простой констатации факта существования двух новых явлений в современной жизни Франции, появления двух новых социальных групп, чего до нее не уловил ни один французский автор (в том числе Сартр и Камю). Это, во-первых, энергичный, сильный, честолюбивый, преуспевающий, аморальный, обаятельный, несколько примитивный бизнесмен (ее пожилые герои: отец в «Здравствуй, грусть!», Люк в «Неуловимой улыбке», Роже в «Любите ли вы Брамса?») и во-вторых, невинные, но аморальные юноши и девушки, которых ничто не пугает и ничто не шокирует (Сесиль в «Здравствуй, грусть!», Доминика в «Неуловимой улыбке» и — в несколько измененном виде — юноша Симон в «Любите ли вы Брамса?»). Эти две группы даже в большей степени, чем бестелесные интеллектуальные герои Сартра, представляют современную буржуазию на вершине последних достижений, в период ее нынешнего недолговечного «ренессанса». Сартр создает идеальных экзистенциалистов в интеллектуальной сфере, Франсуаза Саган нашла их в жизни, ощупала и вылепила из живой плоти. Даже Сартр, вероятно, был удивлен, настолько реальными оказались измышленные им герои — эти плоды его философии.

■

Трудно оценить роль социальной морали в творчестве Саган из-за отсутствия какого-либо развития в ее взглядах. В отличие от Силлитоу, который постоянно ищет, Франсуаза Саган, нащупав однажды тонкую ниточку, связывающую ее с обществом, крепко ухватилась за нее и держится с таким отчаянным упорством, будто под ногами у

нее бездна Ее пьеса «Замок в Швеции», ее балет, ее рассказы и даже репортажи об Италии и Азии — все втиснуто в рамки личного опыта и безучастного наблюдения

О чем бы она ни писала, она всегда стремится объединить свой собственный взгляд на вопросы секса с принципами общественной морали. Но ведь с точки зрени ее класса эти понятия идентичны; отсутствие у ее героев принципов нравственности и отражает отказ от какой бы то ни было веры в прочные взаимоотношения. Временами это граничит с сознательным стремлением создать для себя ад, как будто ад — единственно безопасное место, где можно укрыться, потому что там *все* развращены.

В каком-то смысле это цена морали бизнеса, мелкого частного предпринимательства, морали, постепенно проникающей в душу, цена того, что капитализм полностью овладел социальными чувствами класса.

Согласно этой морали, никому нельзя доверять. Доведенная до крайности, эта мораль приводит к парадоксальным результатам (или, скорее, к ощущению абсурдности жизни), и именно эту абсурдность французская буржуазия видит в книгах Франсуазы Саган.

Герои Саган, даже когда страстно любят, не доверяют друг другу до конца. Они не скрывают (даже в момент высшей радости любви) своей убежденности в том, что все это скоро пройдет. «Что ты будешь делать, если я по-настоящему полюблю тебя?» — спрашивает Доминика у Люка в «Неуловимой улыбке». И Люк с сожалением, но твердо отвечает: «Я скажу: «Доминика... Ну что ж... Доминика, прости меня». Доминика, смиряясь с тем, что у этой любви нет будущего, с грустью говорит Люку: «Я заранее тебя прощаю».

В мире Франсуазы Саган нет союзов, есть только связи. На этом принципе построены не только личные сексуальные отношения ее героев, но и отношения общественные. Это стержень ее социального мировоззрения.

В таких условиях вполне естественно недоверие, даже недоверие к самому себе, даже недоверие к успеху — к главной цели людей, которыми больше всего восхищается Саган Это всеобщее недоверие можно рассматривать в двух аспектах.

■

Один из главных источников сартровской концепции экзистенциализма — философия датчанина Сорена Кьеркегора. Еще в XIX веке Кьеркегор пытался восстановить в христианстве принцип индивидуального выбора, того выбора, который был одним из положительных факторов протестантизма, но во времена Кьеркегора стал уже обветшалой догмой. Кьеркегор пытался восстановить протестантский индивидуализм отрицанием гегелевского учения об абсолютной истине. Взамен он предлагал, чтобы единственным руководящим принципом поведения были убеждения, исходя из которых человек строит свой внутренний мир Разумеется, это не должно противоречить догматам веры.

Сартр шел от тех же положений, и, хотя расширил идею применительно к современным условиям — устранил бога,— он, так же как и его предшественник, пришел к мрачному самоанализу, к утверждению, что в основе всего лежит отчаяние («отчаяние,— говорит Сартр,— идентично воле»), мука, «которая неотличима от чувства ответственности»; к концепции ничтожности человека, что и должно служить отправным пунктом при рассмотрении всякого действия.

Долог путь от Кьеркегора, через Сартра, к Франсуазе Саган, но ясно, что все они питаются от общего корня субъективизма. В длинной цепи экзистенциалистов Франсуаза Саган оказалась единственной, кто привел в литературу реальное, процветающее детище этой философии. Герои Сартра — только макеты экзистенциализма в натуральную величину, в образах Франсуазы Саган они обрели плоть и кровь

Могут сказать, что настоящие герои романов Саган — все эти преуспевающие бизнесмены: Люки, Раймоны, Роже — не типичные экзистенциалисты. Действительно не похоже, чтобы эти люди могли сколько-нибудь интересоваться Сартром.

Тем не менее мораль, которой они придерживаются,— это по сути мораль Сартра. Отчаяние не превращает их в унылых, подавленных «интеллектуалов», они просто превращаются в циников, а цинизм рождает у них стремление к успеху — chacun pour soi — и веру в свое собственное эгоцентрическое «я». Сартр высказывает совершенно ясную для них мысль, что человек существует «один... безо всякой помощи извне, и у него нет другой цели, кроме той, что он поставит перед собой, у него нет другой судьбы, кроме той, что он сам себе уготовит на этой земле».

Герои-бизнесмены Франсуазы Саган живут по этим принципам, как практичные люди, считающие, что эти принципы как нельзя лучше соответствуют их философии бизнеса. Пожалуй, именно их аморальная самоуверенность и честолюбие и привлекают к себе беспомощных юнцов, у которых почти нет честолюбия, а если и есть, они не знают, что с ним делать. Кто же из них экзистенциалисты? И те и другие Юные герои Франсуазы Саган живут по своей теории в социальном вакууме — они лишь тени концепции, а бизнесмены осуществляют свою философию на практике.

■

И Франсуаза Саган и Сартр (в данном случае они единодушны) заняли мужественную позицию в таких важнейших вопросах современности, как война в Алжире и ядерное оружие. Не будет преувеличением сказать, что Сартр решительнее других французов отстаивал лозунг «Алжир для алжирцев». Франсуаза Саган тоже приняла сто-

---

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

рону алжирцев. Общественные проблемы, которых она никогда прямо не касалась в своих книгах, вошли теперь в ее личную жизнь.

В своих книгах Франсуаза Саган строит и лепит характеры на удивительно ровной плоскости, которая никогда или почти никогда не пересекается с плоскостью совести. Некоторые колебания ровной линии безболезненных эмоций объясняются лишь случайными трепыханиями раненой совести. Но все эти краткие пробуждения совести ничего не меняют в общей картине безответственности, нерешительности, бесперспективности.

«Что мы делали все это время? Каков во всем этом смысл?» — спрашивает молодой интеллектуал Бернар богатую молодую женщину Жозе в романе «Через месяц, через год». И Жозе нежно отвечает: «Нельзя позволять себе такие мысли, они сведут нас с ума». Это последние слова книги и в сущности ее главная идея. Печально, когда двое молодых людей боятся потерять рассудок, если они по-настоящему попытаются решать проблему своей жизни. Они едва приближаются к ней, чтобы тут же поспешно отступить.

И все-таки они будут пытаться искать выход, и в этом заключается противоречие, примером которого может служить позиция самой Франсуазы Саган по алжирскому вопросу.

Во Франции, так же как в Англии, молодежь обвиняют в аморальности, грубости, половой распущенности. А ведь само общество навязало ей эти качества. Молодежь (и в особенности молодежь из средних слоев) получила их по наследству. Столпы общества винят во всем «voyous» и «blousons noirs»*. И эти же самые респектабельные джентльмены своим собственным социальным поведением, характером поощряемого ими искусства, театра и литературы порождают именно ту разнузданность, грубость и распущенность, которые уродуют облик молодежи. Молодежь, лишенная старых норм буржуазной морали, поощряемая к аморальности развращенным обществом, в котором она живет, должна выдержать тяжелую борьбу, чтобы создать свою собственную мораль. Ее краткие и одиночные выступления по таким проблемам, как Алжир, подобны операциям разведывательных отрядов, которые она высылает вперед на поиски путей.

В свое время были попытки объяснить все это по-другому. Жорж Урдэн в своей книге «Феномен Франсуазы Саган» говорит, что она является «бесспорным продуктом католической буржуазии», и далее высказывает мысль, что в сладости ее отчаяния, в аромате грусти, окутывающем ее произведения, лежит «тоска по утерянному раю, болезненное воспоминание о великих христианских деяниях».

Отчаяние, присущее католицизму, по всей очевидности, могло бы зародиться в садах Эдема, но лишь иезуит мог предположить, что мировоззрению Ф. Саган близка идея потерянного рая.

У Франсуазы Саган нет никакой тоски по утерянным идеалам, никакой ностальгии, никаких следов «поисков утраченного времени», присущих Прусту; она им восхищается, но не подражает ему; ее мировоззрение — это мировоззрение статичного настоящего, «остановившейся истории», говоря словами Сартра. Ее отчаяние объясняется не болью утраты, а лишь тем, что существует вокруг нее,— ужасной неразберихой, в которой живут все ее герои.

Кто же укажет им выход?

Советский читатель, естественно, спросил бы, почему их ни в какой мере не привлекает социализм? Почему они в поисках выхода не обращаются к старику Марксу?

Сартр заявляет, что его экзистенциалистская философия «не далека от концепции человека у Маркса». Французский философ-коммунист Роже Гароди, возражая Сартру, писал: «Сартр... стремится дополнить марксизм субъективизмом». Но... «экзистенциализм не дополняет марксизм, он противоречит ему... Всем — начиная с доктрины «свободной воли» до идеалистической теории познания... и до безразличия к науке — экзистенциализм кастрирует человека...»

Следует ли Франсуаза Саган своему учителю в его узком взгляде на марксизм? В личном плане для такого предположения нет оснований. Это отрицают ее книги, многие ее высказывания о жизни, это полностью опровергает та позиция, которую она занимает в своих литературных произведениях по отношению к социальной борьбе. Ее книги настолько субъективны, что в них нет ни малейшего признака социального мышления, никаких следов социального сознания, нет даже личного бунта, как у Алана Силлитоу. Полная пустота. Общественным фоном у нее является просто хаос накаленных эмоций, а ровное течение жизни, ограниченное психологическими рамками эгоистических интересов, лишь слегка нарушается чувством, которое глубоко потрясло бы человека другого морального склада. Трагедия поэтому невозможна, и человек терзается лишь постольку, поскольку в нем звучит голос совести.

Куда это все приведет?

В силу того что нельзя отделить класс, его литературу или его мораль от общества в целом, его будущее будет естественно определяться тем, что произойдет дальше с Францией.

Нет никакого сомнения, что значительной части мелкой буржуазии придется еще раз встать перед выбором между Францией, полностью растворенной в Европе, где будет господствовать Германия, и иной Францией, которую они по крайней мере смогут называть своей. Не вся буржуазия (и мелкая буржуазия) своекорыстна настолько, чтобы оставаться равнодушной к угрозе уничтожения национальной независимости. Национальная гордость может сыграть в ее поведении огромную роль.

Социальная аморальность и эгоизм всегда служат орудиями реакции и неизбежно

---

* Стиляг и черноблузников *(франц.)*.

приводят к фашизму. Под угрозой этой опасности такие люди, как Франсуаза Саган, вынуждены будут принять решение. В Англии даже человек, столь далекий от идей коммунизма, как Бертран Рассел, начинает искать выход. И хотя он по-прежнему далек от коммунизма, обстоятельства заставляют его обращаться к Хрущеву как к спасителю человечества.

Жан-Поль Сартр очень ясно показал, что его собственная экзистенциалистская философия оказывается несостоятельной перед лицом тех чудовищных сил, которые встают навстречу одинокому индивиду и сокрушают его, не дожидаясь, пока экзистенциализм придет к нему на помощь Несмотря на утверждение Сартра, что экзистенциализм несет в себе надежду и решимость к действию, которые изоляция и отчаяние пробуждают в человеке, сам он нашел подлинную надежду и решимость к действию, как свидетельствуют его недавние выступления, в коллективном движении за национальное освобождение Алжира и в международном движении сторонников мира.

А что же Франсуаза Саган? Она выступала с протестом против зверств французов в Алжире и высказывала возмущение по поводу угрозы атомной войны.

Но только тогда, когда этот протест из сферы личной перейдет в сферу общественную, можно будет сказать, какой путь изберет Франсуаза Саган, если только она вообще захочет куда-нибудь идти. Путь ей может показать ее собственное поколение — не те потерянные, ни к чему не приспособленные, безликие юнцы, которые никогда не станут взрослыми, и не преуспевающие бизнесмены средних лет, лишенные какой бы то ни было морали; должны появиться другие, более здоровые элементы. В среде ее собственного класса они еще незаметны и еще не осознают себя, главным образом потому, что они еще ничем не заявили о себе и никак себя не показали. Другими словами, в среде ее класса не проявились еще силы, которые могли бы сыграть существенную роль в переустройстве современной Франции.

Можно только надеяться, что, если какие-то представители класса, к которому принадлежит Франсуаза Саган, найдут дорогу вперед, она будет среди них.

Дж. Д. Сэлинджер

Америка сегодняшнего дня является самой мощной в мире капиталистической страной. Как показали недавние события на Кубе, господство Америки в такой мере держит в руках все другие капиталистические страны, что она может выступать от их имени с угрозой всеобщего уничтожения, даже не считая нужным советоваться с ними Американский колониализм имеет довольно долгую историю, однако империализм, родившийся между войнами, получил свое полное развитие только после второй мировой войны. Американская форма империализма интересна тем, что США не только имеют свои собственные колонии, они стали реальной силой в большинстве бывших колоний и полуколоний Франции и Англии (в Иране, Индии, Ливане, Бирме и т. д.). Кроме того, США диктуют свои условия и другим капиталистическим странам — Италии, Испании, Турции и даже Англии, Франции, а также Западной Германии.

Однако с точки зрения общего исторического развития империализма Америка вышла на мировую арену все же слишком поздно. Колониальные страны к этому времени уже достаточно долго находились под гнетом империализма и стремились избавиться от него, какую бы форму он ни носил. Борясь, например, против английского владычества, они отнюдь не желали заменить его американским, хотя иной раз именно этим и заканчивалась их борьба. Это запоздалое появление американского империализма на мировой арене заставило США использовать для достижения своих целей другие методы: непосредственное господство над более старыми империалистическими странами с помощью военно-политических средств, прямой контроль над мировыми рынками (каучук, нефть, олово и т. д.) там, где это возможно, прямое вмешательство во внутреннюю политику, когда это проходит безнаказанно (Латинская Америка), и, наконец, самое важное — тщательно разработанное использование военных ассигнований. Кроме того, как оправдание огромного распространения могущества Соединенных Штатов еще и «холодная война».

Мощным противодействием всему этому (и новым элементом в истории) является факт существования социалистических стран, плюс национальное сопротивление широких масс в странах, находящихся под американским господством.

То, что случилось с американским народом после 1945 года, по своим результатам весьма напоминает то, что случилось с немцами после 1933 года. Не поймите меня превратно. Я не говорю, что Америка подобна нацистской Германии. Напротив, она не подобна нацистской Германии. Гитлер своими ошибками, по сути дела, научил капиталистов, как не надо себя вести. И американские правящие классы в известной мере усвоили этот урок. Они не используют расизм столь широко (президент Кеннеди официально выступает против него), стараются не слишком ограничивать выборные органы, не претендуют открыто на территориальную экспансию и т. д. Напротив, всей своей деятельности они стремятся придать видимость демократической свободы, в то время как Гитлер презирал подобную игру в демократию и даже старался уничтожить всякую видимость свободы.

Конфликт между подлинным американским образом жизни и этим предназна-

---

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

ченным на экспорт идеалом часто обнажается, когда сквозь нарядный фасад проглядывает неприкрытая правда. Сейчас сами американцы находятся в смятении, ибо, с одной стороны, они верят в свои институты (которые по своему происхождению являются революционными и демократичными), и вместе с тем они обмануты и сбиты с толку людьми, которые угрожают насилием во имя этих же самых институтов. Аналогия с полным обманом немецкого народа здесь не совсем полная, но она налицо.

Обман такого рода не устраняет основных противоречий общества. Классовая борьба остается, ее не может не быть, как бы ни маскировал ее тот успех, которого добились правящие классы, убедив целый народ в том, что все они разделяют одну и ту же цель и мировоззрение — капиталистическую цель и мировоззрение. Подлинный успех маккартизма выражается не в том, что уничтожены почти все прогрессивные организации Америки, а в том, что почти полностью устранена мысль об альтернативе.

Американцы, вероятно, больше чем любой другой народ в мире (даже испанцы), лишены каких-либо представлений о возможности другого общественного устройства, других идеалов, других надежд. Именно в этом состоит подлинный успех Маккарти, и это ставит американский народ в такое положение, при котором он в политически важных вопросах часто является более отсталым и невежественным, чем сицилийские крестьяне.

Сицилийский крестьянин, между прочим, может считаться лучше образованным политически в том смысле, что его мировоззрение определяется непосредственными потребностями. Лишь немногие крупные приманки могли бы сбить его с толку. Тогда как американец в своем окончательном выборе сбит с толку обилием богатых подачек — не только «самым высоким в мире жизненным уровнем», но и тщательно подготовленным и красиво поданным убеждением, что этот образ жизни делает его ответственным за весь «свободный» мир.

Эта уверенность американцев в своей всемирной миссии включает в себя элемент безрассудства, так же как и наивности.

Нет нужды говорить о том огромном богатстве, которым располагает американская система, о том мастерстве, знаниях и замечательных человеческих талантах, которые сделали все это возможным. Это известно. Между прочим, такое изобилие явилось одним из орудий политики, направленной на ликвидацию всяких помыслов о возможности изменения материальной жизни общества. Предполагается, что американский рабочий находится сегодня в таком положении, когда он может сказать: «А что, собственно, может мне предложить социализм?» С его стороны это искренний и законный вопрос. Социализм противопоставляет принципам, на которых зиждется американский образ жизни, свои идеалы. Материальная нужда не является для американцев вопросом жизни или смерти (даже с пятью миллионами безработных), во всяком случае, не так, как для сицилийского крестьянина.

Но даже и в таком случае, почему все же этот идеал не привлекает американца? Неужели ему совершенно чужды идеи, которые идут дальше потребностей собственного желудка и приобретения стиральной машины? Неужели у него никогда не возникает стремления к более высокому представлению о человеке?

Американская система экономически носит такой конкурентный характер и борьба за экономическое выживание столь напряжена, что даже рабочий вовлекается в это очень индивидуалистическое по духу соревнование за то, чтобы выжить, он вынужден к этому всеми обстоятельствами своего существования.

Капитализм ускоряет этот процесс, распределяя (насколько он считает это целесообразным) среди рабочих определенное количество прибылей. Создав чудовищную военную промышленность, главным потребителем которой является содержащееся на народные деньги правительство, крупные американские картели выжили единственно возможным для них способом. Они располагали таким огромным, почти неограниченным и притом верным, беспрекословным и не торгующимся рынком сбыта — собственным правительством,— что им не приходилось слишком уж тревожиться по поводу обычных колебаний капиталистических «свободных» рынков.

Капиталисты заставили рабочего влезть в долг и взять на себя обязательства по отношению к капиталистической системе, которые он должен выполнять за счет своего будущего труда.

Это одна из экономических предпосылок того, что произошло в Америке,— рабочий до того задолжал системе, что действительно чувствует себя ее составной частью.

Для характеристики настоящего этапа в развитии американского общества придумано много широковещательных фраз, вроде «американский век» (Генри Люс), «общество изобилия» (научный термин), «новые границы» (президент Кеннеди). Все это — эвфемизмы для определения общества, доведенного до соглашательства, конформизма и страха перед любыми возможными изменениями. И задачей американских педагогов, философов, писателей, священников, психоаналитиков, драматургов, экономистов, художников и прочая, и прочая стало оправдание этого отупевшего мышления.

Я не хочу сказать, что все американские мыслители, писатели и т. д. выполняют свой долг перед системой. Напротив, лучшие американские писатели и художники всегда испытывали определенные сомнения. Однако официальная философия, узаконенная этим обществом в большей или меньшей степени, всегда пропагандировалась теми, кто не верил в сентиментальную легенду об Америке. Эта легенда некогда воодушевляла пионера, смелого и независимого человека, который стремился на

запад, чтобы занять новые земли, не столько в поисках приключений, сколько для того, чтобы отгородить на этой еще не возделанной земле собственный уголок для себя и своей семьи.

Иногда достаточно взять только одного писателя, например Джона Стейнбека, чтобы проследить в его творчестве основные направления американской мысли: ранние джефферсоновские идеалы пионера («Неизвестному богу»), социалистически мыслящий человек времен зрелого Стейнбека («Гроздья гнева») и, наконец, полное растворение какой-либо идеологии в сентиментальности, покрывающей все («Дорожный автобус», «Консервный ряд» и т. д.).

В американском мышлении существуют два основных течения, которые характерны для современного американского мировоззрения. Иногда они идут врозь, иногда частично совпадают, а иногда оказываются в конфликте друг с другом. Одно из них— это идеология Джефферсона — Джексона, или так называемая «философия границы».

В той массе идей, которые определили характер современной Америки, легенда Джефферсона — Джексона имеет очень глубокие корни. Томас Джефферсон был современником Джорджа Вашингтона, автором «Декларации независимости» и президентом, который заложил основы присущего американцам уважения к конституции. Он выступал против аристократов, таких, как Александр Гамильтон, и хорошо понимал, что опорой американской демократии должен быть класс ремесленников и мелких независимых фермеров, выступавших против крупных землевладельцев и финансистов.

Эндрью Джексон был современником Джефферсона, и, хотя он по многим вопросам расходился с Джефферсоном и в конце концов порвал с ним, взгляды Джексона являются логическим продолжением мировоззрения Джефферсона.

Джексон был первым человеком с запада (западнее Аппалачских гор), избранным на пост президента, и это означало, что в Вашингтон хлынули новые люди, не восточные землевладельцы и аристократы, а пионеры и искатели приключений, настоящие «жители границы», которые стремились распространить власть Соединенных Штатов от Атлантики до берегов Тихого океана.

Может показаться странным, что я уделяю так много внимания этим двум людям, однако это необходимо для того, чтобы понять, что произошло с Америкой после них.

Президент Кеннеди, например, утверждает, что он следует идеалам Джефферсона—Джексона, прогрессивные силы Америки заявляют о том же.

То, что президент Кеннеди пропагандирует в своей философии «новых границ»,— это точка зрения преуспевающего, более изощренного в своих взглядах индивида, устремляющегося на Запад и на Восток и готового даже распространить «ответственность» американцев на весь мир. Прогрессивные же круги видят в доктрине Джефферсона — Джексона защиту от крупных монополий и прежде всего возможность отстоять для народа гарантированное конституцией право думать так, как ему угодно.

Легенда Джефферсона — Джексона сейчас, по существу, становится одной из ловушек, которую правящие классы Америки могут использовать против народа, до сих пор находящегося под влиянием этой легенды и не видящего действительной классовой истории своей страны. Почти всегда можно определить, кто из американских писателей освободился от этого глубоко укоренившегося мифа и кто еще нет. Если обратиться к Уитмену, то ясно видно, что он черпает свою философию во взглядах пионера; однако Уитмен описал новых людей, которые уже начали появляться в его время,— иммигранта и труженика. С другой стороны, люди, подобные Хемингуэю, Стейнбеку, Скотту Фитцджеральду, Томасу Вулфу и Фолкнеру, в свое время не смогли избежать этого мифа. А вот Теодор Драйзер смог. Смог и Фрэнк Норрис, и Джон Рид. Смог также и Генри Джеймс, хотя его идеал, скорее, обращен в прошлое.

■

Личный успех имеет значение в любом обществе, но в Соединенных Штатах Америки он является чуть ли не мерилом самой жизни. Личный успех означает в первую очередь успех денежный, и социальная мораль американского общества построена именно на этой материальной мере успеха.

Американская буржуазия выдвинула (и привлекла со стороны) многих философов, восхваляющих личные успехи и достижения. Наиболее типичным из числа философов, выдвинутых американским обществом, следует считать Джона Дьюи, а из числа философов, чье влияние пришло извне,—Фрейда. С этими двумя именами связан тот вид деятельного прагматизма (или, скорее, примитивно материалистического мировоззрения), исходящего из якобы присущего человеку врожденного эгоизма, который определяет социальные взгляды современной буржуазной Америки.

Влияние Джона Дьюи на американское просвещение огромно, хотя теперь об этом забыли. Джон Дьюи, профессор из Вермонта, провозгласил опыт единственной истинной мерой понимания и единственным орудием познания. Его идеи способствовали выкорчевыванию в Соединенных Штатах остатков старого, классического метода просвещения и замене его системой, которая стала почти полностью функциональной. В этой системе сама культура должна была служить определенной цели, иначе она становилась бесполезной. Знание являлось полезным только постольку, поскольку оно могло помочь практической деятельности.

С точки зрения политической Дьюи рассматривал демократию как сочетание сверх-

---

ДЖЕИМС ОЛДРИДЖ
ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

индивидуалистической деятельности и воли, как нечто помогающее созданию значительной личности. Метафизический бог в воззрениях Дьюи не играл существенной роли, и идею добра, к которому человек должен стремиться, он считал столь же важной, как и идея бога.

Почти все американцы воспитаны в основном на тезисах Дьюи — мера успеха определяется процветанием дел, положением в обществе и материальным благосостоянием, что способствует появлению творящего добро индивида.

Влияние Зигмунда Фрейда на современное американское мышление является, однако, гораздо более очевидным и гораздо более сильным, чем влияние Дьюи. Теория психоанализа Фрейда основана на идее подавления. Предполагается, что все мы испытываем в детстве примитивные (обычно сексуальные) желания, которые мы подавляем из-за социальных запретов. Это диктуемое обществом подавление в конечном счете и определяет весь наш характер.

Личность человека складывается, по Фрейду, в результате подавления им комплексов врожденных инстинктов. Не общество формирует человека, а бессознательное подавление (в том числе и под влиянием общества) человеком его естественных стремлений к другому полу, к насилию, а также ревности, самодовольства, жажды власти и т. д. Следовательно, человек по самой природе своей эгоистичен и любой его поступок (даже благородный) возникает как результат подавления противоположных эмоций.

Нетрудно понять, почему американский капитализм с такой живостью ухватился за эту философию. Устранить всякую возможность объяснения человеческих поступков объективными причинами; возложить на человека личную ответственность (хотя бы и случайную) за любое зло, тупость и насилие; лишить любовь благородства, превратив ее в чисто механическое проявление секса, и объявить, что в детях уже заложены (хотя бы и бессознательно) семена их будущих пороков,— все это находка для такого общества, которое не хочет, чтобы его изучали и выносили ему обвинения, предпочитая, чтобы отдельные люди изучали и обвиняли самих себя.

В настоящее время психоанализ прочно вошел в американскую жизнь, и американские интеллигенты являются его основными жертвами.

Это и есть то общество, о котором пишет Дж. Д. Сэлинджер: смесь идеалов отважного и независимого пионера, твердо отстаивающего свое право на абсолютную свободу мысли, действий и совести, с материализмом Дьюи, согласно которому цель общества—создание некоего «деятельного сверхчеловека», и, наконец, с фрейдистской точкой зрения на человека как на совокупность врожденных инстинктов, которые определяют всю его жизнь, независимо от объективных условий.

Я нарисовал эту картину американского общества очень специфично и очень упрощенно, хотя хорошо знаю, что оно многообразнее и намного сложнее. Как это всегда бывало с субъективными философскими системами, дело тут не столько в том, что Дьюи и Фрейд снабдили американский капитализм идеологией и системой моральных взглядов; они просто выработали такие моральные принципы, которые отвечают потребностям американского капитализма.

■

Если читать книги Дж. Д. Сэлинджера, не вдумываясь в то, в какой среде они возникли, они представляют собой не более как сентиментальное и трогательное описание детства и юности в нашем сложном мире. Но когда, читая их, задумываешься над тем, какое общество сформировало Сэлинджера и его героев, то обнаруживаешь, что книги эти гораздо глубже, поскольку они могут служить иллюстрацией социальной морали нынешних Соединенных Штатов.

Сам Сэлинджер, собственно, и не претендует на роль социального моралиста, но тем не менее каждый написанный им рассказ представляет собой по сути дела апологг, скрытый под тонким покровом юношеской психологии и довольно прочно сколоченный, с помощью хороших сюжетных ходов. Его романы и рассказы — это повествование о еще не сформировавшихся умах, «ощупывающих» окружающее их общество и отвергающих его, даже когда они в конце концов подчиняются ему и становятся его жертвами.

Героем своей первой книги «Над пропастью во ржи» Сэлинджер (намеренно или нет) избрал как раз такую фигуру, которая наилучшим образом отражала бы точку зрения средних слоев американского общества,— семнадцатилетнего подростка по имени Холден Колфилд, находящегося на пороге зрелости; чувствительного мальчика, воспринимающего все окружающее кожей, глазами и разумом, подобного хрупкому растению, которому предначертано судьбой либо расцвести в тепличной атмосфере, либо увять и погибнуть.

Холден Колфилд начинает свое повествование (это действительно свободное повествование, а не рассказ с четкой фабулой) с последнего дня пребывания в подготовительной школе, из которой он уже исключен. С каждой страницы его рассказа бьет ключ инстинктивного неприятия всей системы воспитания, которая принята в средних слоях общества,— школы, родителей, других мальчиков и всех тех норм общественного поведения, с которыми он сталкивается в силу своего личного чувствительного мировосприятия. Он оставляет школу и отправляется в Нью-Йорк, где проводит ночь в гостинице. Затем он тайно является домой и посвящает маленькую сестренку Фиби в свои планы бегства. Он встречается с водителями такси, проститутками, развратниками, девушками, с прежними приятелями, посещает отели и бары. И наконец, когда ему

удается отговорить сестру от совместного бегства, он смотрит, как весело и радостно катается она на карусели, и заключает свой рассказ словами: «Жалко, что вы ее не видели, ей-богу!»

За время своего сложного путешествия Колфилд описывает самые разные стороны повседневной жизни Америки или, во всяком случае, то, как он сам с ними столкнулся, а также рассуждает об уровне жизни выходцев из средних слоев населения. Чувствительная натура и бунтарь даже в мелочах, он отчаянно борется за то, чтобы выжить, уцелеть, хотя с самого начала ясно, что выжить в этом сугубо материалистском и корыстолюбивом мире у него нет никакой надежды. Он сломлен тупостью и вульгарностью того, что его окружает. Однако его поражение подано не как урок, а, скорее, как еще один симптом. По сути дела, для Колфилда нет ни урока, ни возможности выбора. Существуют только он и его невинность, которая в этом мире не может уцелеть.

В романе «Над пропастью во ржи» автор проводит психоанализ окружающего его общества, используя форму фрейдистской «беседы». Он ведет рассказ от лица Холдена Колфилда, юноши, обладающего своими собственными взглядами на мир. Холден находится в остром конфликте с обществом. Но этот рассказ о его борьбе подан таким образом, как если бы мальчик просто лежал на кушетке и свободно говорил все, что приходит ему на ум,— как раз так, как это и должно быть во время психоанализа. Повествование начинается и прекращается как будто совершенно произвольно, хотя на самом деле здесь все подчинено строгому порядку изложения. Комментарии Колфилда, к чему бы они ни относились, поданы так, словно он извиняется за право иметь собственное мнение (хотя и очень определенное), а его оценка людей, сколь бы ни была она сурова, всегда смягчена добавлением дружеского, всепрощающего эпитета «старина».

Старина Стрэдлейтер — его школьный враг, старина Спенсер, старина Салли, старина Алли, старина Д. Б., старина Фиби. Это придает всем образам одну и ту же эмоциональную окраску, как если бы автор равно относился ко всем ним, как если бы он не хотел никого из них обидеть. Однако к концу романа Сэлинджер — Колфилд успевает подвергнуть критике внушительный набор лозунгов американского среднего класса.

Краткий список того, что Сэлинджер определенно не любит и даже резко отвергает, включает в себя: подготовительные школы, кино, спорт и спортсменов, родителей, учителей, шоферов такси, пианистов коммерческих джазов, философию «двинь ему в челюсть», благотворительность, певцов белых джазов, Эрнеста Хемингуэя, Сомерсета Моэма, сэра Лоуренса Оливье, Бродвей, Центральный парк, разговоры о футболе, разговоры об автомобилях, опрятность, зычные голоса, юмор газеты «Сэтердей ивнинг пост», Йельский университет, Руперта Брука, рождество в Нью-Йорке, официальную религию, рождественские представления в «Радио сити», шикарные гостиницы, гомосексуалистов, все виды мошенников и т. д. и т. п. Можно листать страницу за страницей, и на каждой из них мы найдем декларации величайшего недовольства всеми этими «священными коровами» Америки, а список того, что ему нравится, гораздо короче: дети (прежде всего), вежливость, музеи, целомудрие, хорошие книги, поэзия, сигареты (прежде всего), виски, Ринг Ларднер, Скотт Фитцджеральд, монахини, честность и любой искренний поступок, кто бы его ни совершил.

В целом это детский взгляд на мир; мир, полный надежд невинности. Говоря о себе, Сэлинджер как-то писал: «Некоторые из моих лучших друзей — дети. Вообще-то все мои лучшие друзья — дети». Это не случайно. И скорее к Сэлинджеру, чем к Франсуазе Саган, можно было бы отнести слова французского католического критика Жоржа Урдэна о «тоске об утерянном рае». В том мире, который на каждой странице книги описан Сэлинджером, как насквозь фальшивый, в том обществе, где вкусы совершенно извращены (вкусы, но не ценности — Сэлинджер, по существу, никогда их не затрагивает), писатель может восхищаться только неоформившимся миром детской невинности и стремиться остаться в нем. У него нет другого выбора, нет иных желаний — ничего, кроме сожаления о потерянном рае чистой детской души.

■

Читая Сэлинджера, становится ясно, что современное американское общество видит свой идеал не в Холдене Колфилде, а в ненавистном Колфилду Стрэдлейтере, в этом мускулистом эгоистичном карьеристе. Это футболист, человек, который берет себе все, что может (включая и его покушение на невинность Джейн Галлахер, что так разъярило Колфилда), человек с философией «двинь ему в челюсть»... Дело не в том, что он плохой человек. Это просто олицетворение старого идеала, доведенное до логического, с точки зрения буржуазии, завершения при современных капиталистических условиях.

Интересно отметить здесь тот факт, что эта пара Сэлинджер — Холден, так же как и Стрэдлейтер, порождены одной и той же традицией. Сэлинджер и Колфилд хотят видеть пионера более мягкого и терпимого, с более сильной тягой к культуре, чем к практическим доктринам, которые преподают в школах; человека свободного до такой степени, что у него нет почти никакой цели (таков Колфилд), человека, которому не нужно быть ни карьеристом, ни дельцом. Единственная настоящая мечта Колфилда фактически и есть мечта пионера, мечта о хижине в лесу, где он жил бы с глухоне-

---

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

мой женой, не имея никаких связей с обществом и не неся никакой ответственности перед ним. Идеал прагматизма Дьюи также жив и силен в Колфилде. Мальчик жаждет деятельности, хочет быть хорошим и полезным. Именно это желание фактически и определяет название книги, потому что Колфилд считает себя человеком, который ждет у края пропасти и ловит беспечных ребятишек, когда они срываются в нее,— ловец в поле ржи. Это очевидная аллегория: что-то вроде сверхчеловека, спасающего человечество.

Сэлинджер считает общество с самым высоким в мире жизненным уровнем, по меньшей мере, интеллектуально «больным», хотя бы уже потому, что очень восприимчивый и незаурядный школьник, вроде Холдена Колфилда, не может найти себе места в таком крайне конформистском обществе.

Это общество, которое якобы дает простор выявлению личности, где полно людей, искренне считающих, что они самый независимый народ в мире, показано как общество таких конформистов, что невинного неконформиста, вроде Колфилда, оно приводит в полное и безысходное отчаяние. Сэлинджер как бы говорит: для настоящей индивидуальности места нет. На одной из страниц рассказывается, как Колфилд после многих удручающих неприятных минут, пережитых им в Нью-Йорке, идет один по улице и в приступе отчаяния умоляет своего умершего брата: «Алли, не дай мне пропасть! Не дай мне пропасть! Прошу тебя, Алли». Но Холден все-таки скатится в психопатическую бездну. Он не может подчиниться, поэтому он осужден, у него нет никакой возможности спастись.

Герой романа «Над пропастью во ржи» стал популярным среди респектабельных средних слоев населения США, потому что он выражает личную и интроспективную точку зрения юноши этого круга, восставшего против общества. Это вызывает сочувственный отклик почти у всех американцев, вышедших из средних слоев общества, которые подобным же образом выступают против своего собственного общества и чья реакция при сходных обстоятельствах, вероятно, во многих случаях подобна реакции Колфилда. Те чувства, которые он выносит наружу, они стараются скрыть. Словом, получается, что во всех американцах, принадлежащих к средним слоям общества, как бы существуют два противника — Стрэдлейтер и Колфилд: первый, холодный и жестокий, какими им приходится быть (Стрэдлейтер), восстает против той мечты, которую они прежде питали (Колфилд).

В этом смысле Колфилд действительно только мечта — несбыточная, но затаенная в глубине души мечта тех американцев, которые понимают и разделяют его симпатии и антипатии.

Однако затруднения Колфилда до самого конца остаются его личными затруднениями. Даже несмотря на то, что он не в ладах с обществом в целом, его трагедия носит сугубо личный характер. Критике подвергается не общество, а всего лишь проявление бытующих в нем сейчас взглядов. Исследование не идет дальше кожи, которая ощущает и реагирует. Вены не вскрываются, сердце не анатомируется, и конечно же никакого лекарства не предлагается. Это опять-таки точка зрения человека, который *ощущает* общество по-фрейдистски, но не анализирует его. Это точка зрения человека, который смотрит на общество интроспективно, а не через призму объективности. Это не художественный анализ общества, а почти полностью субъективный психоанализ.

Поскольку Холден Колфилд одинок в своем бунте против целого мира, он не только не опасен, но даже вызывает восхищение. В нем, может быть, и есть что-то от бешеного одиночки пионера. Однако вся его проблема сводится, как это и должно быть, к отсутствию выбора: сам автор обрекает своего героя на психическое заболевание, не предусматривая для него абсолютно никаких иных возможностей и совершенно не пытаясь установить, почему так «болен» тот мир, в котором он живет. А ведь либо тот, либо другой действительно должны быть больны — или Колфилд, или общество; и Сэлинджер не оставляет никаких сомнений в том, что Колфилд намного здоровее, чем его окружение.

Но все-таки, где же выбор?

Попытка предложить Сэлинджеру — Колфилду в качестве выхода марксизм, по всей вероятности, породила бы в них ужас и сопротивление. Во всяком случае, нельзя предполагать, чтобы Колфилд при своей невинности мог обрести опору в объективном и научном анализе общества. Ясно, что Колфилду нужен личный, а не социальный ответ, и в этом еще одна причина того, почему он может найти широкий отклик среди средних слоев населения сегодняшней Америки. Обращение к науке и объективности в поисках выхода для него невозможно, что и делает его безопасным и рождает уверенность, что он не выйдет за рамки терпимой социальной критики. Стрелы, направленные на «ценности» американской жизни, попадают лишь во второстепенные цели, в крупную цель — в само общество — не вонзилась ни одна из них.

Само слово «выбор» в данном контексте предполагает выбор в пользу коммунизма, но нам даже нет нужды заходить так далеко. Старые идеи Джефферсона — Джексона все еще жизненны и дают возможность для какой-то промежуточной альтернативы, для чего-то иного, кроме фантастической перспективы Колфилда — одинокая хижина и глухонемая жена. Где-то даже в средних слоях американского общества сохраняются семена сильной антипатии американцев к регламентации, подчинению, крупному бизнесу и милитаризму.

Время от времени какой-нибудь американец доказывает это проявлением такого потрясающего упорства, что можно надеяться, что старые идеалы пионеров еще живы и некоторые из них могут оказаться ценными и полезными, сколь бы ограниченны ни были их цели.

Сэлинджер-писатель является человеком вполне определенных вкусов, и он заставляет своего героя выразить некое подобие отвращения к атомной бомбе. Но его окончательная реакция означает, скорее, смирение, чем сопротивление. «В общем, я рад, что изобрели атомную бомбу,— решает Холден Колфилд.— Если когда-нибудь начнется война, я сяду прямо на эту бомбу. Добровольно сяду, честное благородное слово!» Однако есть и другие, более серьезные заявления. Колфилд вспоминает слова своего брата, Д. Б., который сказал, что «в армии полно сволочей, не хуже, чем у фашистов». Еще более сильно высказывается Колфилд о войне вообще: «Честное слово, если будет война, пусть меня лучше сразу выведут и расстреляют. Я и сопротивляться бы не стал...»

Но это примерно и все, на что способны Холден Колфилд и Сэлинджер, и поэтому хочется большего, хочется более реального протеста против тех абсолютных ценностей, ради сохранения которых Америка то и дело находится на грани атомной войны. Замечаешь это, по сути дела, потому, что Сэлинджер видит так много других проблем, но почему же он упустил эту?

■

Что можно сказать о двух других книгах Сэлинджера — «Девять рассказов» и «Фрэнни и Зуи»? Свидетельствуют ли они о сколько-нибудь прогрессивных изменениях в его мировоззрении, о его эволюции в литературном плане?

«Девять рассказов» Сэлинджера во многих отношениях лучше всего, им написанного, но так как по существу это лишь отдельные фрагменты, трудно сравнивать их с двумя другими, более законченными его произведениями. Один, например, рассказ «В ялике»—незатейливая повесть о маленьком мальчике, который любит убегать из дому, и о его матери, которая все понимает и пытается уговорить сына остаться. В таких рассказах ярко проявляется нежность, доброта и гуманность Сэлинджера. Он не стремится расширить рамки повествования и углубить тему, но при этом тонко вскрывает расовые проблемы.

«Посвящается Эсме» — также рассказ о ребенке. На этот раз Сэлинджер пишет о девочке. Это умная и добрая маленькая англичанка, которая во время войны завязывает дружбу с американским сержантом. Кульминацией этого рассказа является момент, когда девочка присылает сержанту ручные часы своего покойного отца — сентиментальный жест, который Сэлинджер умело превращает в потрясающий акт высшей доброты. Этот поступок возвращает сержанту веру в человечество, и он обретает душевное равновесие без помощи психиатра.

Остальные рассказы, в основном о детях или вокруг них, отражают ту же самую точку зрения, которую мы находим в романе «Над пропастью во ржи»; и хотя они не всегда столь сентиментальны, все они посвящены неудачникам или детям, лихорадочно пытающимся понять довольно грубый мир взрослых, который спасает от полного кретинизма и жестокости лишь то, что некоторые люди проявляют по отношению к детям и подросткам чуткость и великодушие. Но это по-прежнему мир детей. Сэлинджер никогда не отваживается вступить на реальную почву ногою мужчины; он идет по ней легкой походкой счастливого мальчика, который внезапно сталкивается с катастрофой, обходит ее и идет дальше. В большинстве из этих девяти рассказов чувствуется, что он действительно идет, жизнь действительно движется, даже если она все время всего лишь на волосок от безумного кошмара. Вопрос только в том, чтобы стать взрослым, и, хотя Сэлинджер показывает нам взрослых, которые стремятся к миру невзрослых, и детей, которым предначертано стать жертвами чужого для них мира взрослых, кое-где в этих рассказах преобладают простые мотивы доброты и готовность прийти на помощь, а это всегда обнадеживает.

Можно ли увидеть какое-либо развитие взглядов Сэлинджера в его последней книге «Фрэнни и Зуи»?

Ответом должно быть нет. Только регресс.

«Фрэнни и Зуи» состоит из двух длинных рассказов о Фрэнни Гласс и Зуи Гласс, сестре и брате из семьи, отличающейся психической неуравновешенностью. В обоих рассказах говорится о двадцатилетней студентке Фрэнни и описывается ее душевное состояние на грани психопатологии. В первом рассказе изображена ее мучительная борьба,— во-первых, *с духовным влиянием* цзен-буддизма *, которое полностью овладевает ее юным рассудком и в конце концов всем ее существом, и, во-вторых, с более грубой и материальной стороной жизни, которая олицетворяется в ненавистном писателю и уже не новом образе — преуспевающего интеллигентного молодого человека с университетским образованием, в данном случае по имени Лейн Кутелл. Однажды во время завтрака с Кутеллом Фрэнни лишается чувств, истощенная непосильной душевной борьбой. Рассказ о Зуи, ее брате, является продолжением той же линии. Двадцатитрехлетний Зуи, в прошлом тоже психически неуравновешенный подросток, пытается с помощью психоанализа того духовного кризиса, который переживает Фрэнни, вывести ее из состояния нервного потрясения.

Основная часть рассказа о Зуи, или, во всяком случае, его смысл, состоит в страст-

* Цзен-буддизм — учение древней буддийской секты «цзен», сводящееся к проповеди «совершенного опрощения», крайней пассивности. С конца 50-х годов цзен-буддизм очень популярен среди битников в США и «бунтующей молодежи» в Западной Европе, почему его часто называют «религией бунтующей молодежи». *(Прим. ред.)*

ной защите Зуи Глассом христианства против вторжения тех цзен-буддистских взглядов, которым поддалась Фрэнни в своей мятущейся, отчаявшейся невинности и извечном невежестве.

Все это невозможно принимать всерьез. Нарисованная Сэлинджером картина семейства Глассов, этих «сверхнеуравновешенных» ребят, которые, как предполагает автор, представляют собой нечто вроде замкнутого кружка, кладезя всемирной мудрости, доступной лишь немногим, столь смехотворна, что начинаешь подозревать Сэлинджера в стремлении подшутить над читателем. Но нет! Он действительно так думает. Эта башня из слоновой кости для американского юношества — по Сэлинджеру — действительно существует. Борьба юного американского духа (который Сэлинджер пытается спасти от грубого материализма американского общества) происходит в прокуренной ванной и гостиной нью-йоркской квартиры Глассов, и все это описывается как нечто подлинное и значительное.

Так могло бы быть. Дилемма Фрэнни Гласс могла бы быть типичной для американской университетской девушки. Но что касается мудрости, это уже другое дело, и уровень мудрости Зуи есть, в лучшем случае, та мудрость, которую вы можете обнаружить у студента третьекурсника любого американского университета, когда юношам вдруг начинает казаться, что они все знают, так как только что раскрыли дверь в неизведанную область душевного исследования и перед ними обнаружилась изнанка человеческой души. Они просто ошеломлены своей собственной мудростью и приходят к убеждению, что для достижения полного совершенства нужно просто-напросто отыскать какой-то тайный ключ, вроде синтоизма или учения Толстого или Христа. Как только вы отыскали этот магический ключик, вы с полной убежденностью считаете, что тем самым вы уже разрешили тайну мироздания или, по крайней мере, тайну того, как приспособиться к существованию на этой земле. Это и совершили ребята из семейства Глассов. Но это открытие секрета жизни, это понимание буддизма и христианства неуравновешенными юнцами рассматривается как семейный секрет Глассов.

Что в этом рассказе делает Зуи, чтобы помочь Фрэнни? Он, по сути дела, посвящает ее в эту неоценимую мудрость, используя фрейдистский метод анализа. Таким образом, в качестве эмоционального решения нам преподносится смесь цзен-буддизма, христианства и фрейдизма. Если принимать эту философию всерьез, то она попросту сводится к тому, что внешний мир вообще ничего не значит. Сэлинджер отступил еще дальше к детской точке зрения на мир, не желая нести никакой ответственности за реальную действительность. Всерьез эту философию можно понять только в одном плане. Можно было бы предположить, что Сэлинджер ищет нечто, что могло бы противостоять вульгарным взглядам зараженных карьеризмом средних слоев американского общества и, очевидно, находит выход в этой духовной нирване, окруженной глубокой тайной, познать которую могут только американские неуравновешенные юнцы, ибо все мы, остальные, не входим в их кружок. Но как только вы попытаетесь всерьез разобраться в этой точке зрения, то сразу же убеждаетесь, что она несостоятельна, потому что подавляющее большинство из нас на самом деле живет в том внешнем мире, где в расчет принимаются действительные проблемы и реальные поиски решений, а не надуманные, типа цзен—Христос.

Можно лишь пожалеть о том, что Сэлинджер ушел еще глубже внутрь этого американского кошмара. Отсутствие какой-либо альтернативы вульгарности окружающего его общества, не считая этого ухода в сугубо личный культ эгоцентризма, показывает, с какой меркой он подходит к решению проблемы. Как я уже сказал, это — мерка, выработанная его собственным обществом. У него нет другой позиции в критике, помимо той же самой морали и тех же социальных взглядов, которые ему, по его словам, так не нравятся. Однако эта книга вроде бы указывает, что эта мораль ему вовсе не претит. Сэлинджер просто пытается найти выход для неудачников. Поэтому он и погружается в убаюкивающее море мистицизма, который призван противостоять всему грубо материальному. Но, поступая так, он лишь способствует усилению грубости, ибо идет прямо туда, куда правящий класс Америки и хочет толкнуть свою интеллигенцию,— в нирвану, но ни в коем случае не к реальности.

Сэлинджер заявляет, что продолжит этот цикл рассказов о семействе Глассов. Говоря о «Фрэнни и Зуи», он пишет: «Оба рассказа являются критическим введением к повествованию о семье нью-йоркских жителей XX века, Глассов. Это откровенно честолюбивый замысел, причем на длительное время...» В литературном отношении «Фрэнни и Зуи» внушает довольно мрачные предположения об остальных рассказах этого цикла, а также о дальнейшем пути самого Сэлинджера. Более глубокие размышления о «Нью-Йорке XX века», которым он намерен предаться, потребовали бы, чтобы он сначала передвинул целую гору, прежде чем сможет хотя бы просто увидеть этот «Нью-Йорк XX века». Во «Фрэнни и Зуи» нет ни малейших признаков этого. «Нью-Йорк XX века» закопан в том частном погребе, который можно было бы назвать «Нью-Йорком Сэлинджера» или, вернее, «Нью-Йорком журнала «Нью-Йоркер».

Оба эти рассказа были напечатаны именно в этом журнале. Отрицательную роль журнала «Нью-Йоркер» в общественном и литературном развитии Сэлинджера поистине трудно переоценить. Журнал «Нью-Йоркер», представляющий узкую, замкнутую касту интеллигенции, которая преуспевает в этом преуспевающем обществе, стал ныне рупором «новых веяний» в среде интеллигенции в Америке. Он играет в Америке ту же роль, что «Обзёрвер» в Англии. Кокетливо прикрываясь лозунгом борьбы против

установившихся взглядов, он утверждает новые взгляды, отражающие «новые веяния», которые в известном отношении еще хуже, чем старые, ибо они до того пронизаны так называемыми либеральными и неконформистскими взглядами, что начисто скрывают лежащий в их основе абсолютный конформизм.

Сэлинджер либо попался на эту приманку, либо он сам таков.

Литературное приложение к лондонской газете «Таймс» сравнивает Сэлинджера со Скоттом Фитцджеральдом, но это неправомерно. В потоке речи Сэлинджера, возможно, есть что-то от манхаттенской поэзии Скотта Фитцджеральда, но Скотт Фитцджеральд глубоко изучил свое общество и блестящим образом отразил его во всех своих произведениях (хотя бы и мрачно, хотя бы и по-фрейдистски). Недаром также Скотт Фитцджеральд восхищался Шелли. Может быть, жалко, что Сэлинджер не восхищается им или не делает вида, что восхищается. Шелли жил тоже в жестоком и грубом обществе, он тоже сталкивался со взглядами и понятиями, которые чуть не сломили его физически и духовно Но Шелли устоял, ибо его кредо было ясным: он выступал против реальных подлецов, против реального грубого общества, против реальных врагов человечества. В какой-то мере это делал и Скотт Фитцджеральд.

Сэлинджер пока еще не пытался в открытую столкнуться с грубостью, хотя он и поставил перед своими подростками проблему — что делать с этим жестоким обществом? Во «Фрэнни и Зуи» Сэлинджер фактически прячет голову под крыло, закрывает глаза и уши и сдается, надеясь, что, когда он поднимет голову, уже не будет жестоких и грубых людей.

Но жестокость и грубость никуда не денутся. Общество подлецов останется таким до тех пор, пока кто-нибудь не покончит с ним. И может быть, в один прекрасный день Сэлинджеру придется взглянуть прямо в лицо этому обществу и хоть немного научить своих подростков пониманию жизни, чтобы перед ними открылись возможности какого-то выбора. До настоящего времени он этого не сделал. «Фрэнни и Зуи» не содержит в себе никакой перспективы, ни малейшего намека на то, что Сэлинджер когда-либо примет действительный вызов грубого американского общества не как ребенок, а как взрослый человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашем западном мире, как это предсказывал Маркс, конфликт человека с обществом тем острее, чем глубже распад этого общества. Все это породило особый вид литературы и искусства, которые настолько индивидуалистичны, что их герои всецело предаются самосозерцанию, забывая подчас о своем первоначальном конфликте с окружающим миром. Если взглянуть на Силлитоу, Саган и Сэлинджера в этом свете, то мы обнаружим много общего. Как я уже говорил, дело не в том, что они похожи как писатели. Дело просто в том, что их тематика (борьба индивида за то, чтобы выжить в этом обществе) имеет много общего, ибо каждый из этих писателей создает окончательно откристаллизовавшиеся человеческие образы и в глубоко индивидуальной манере отражает их попытки избежать полного уничтожения окружающей средой.

Значительная часть нашего искусства приобретает все более и более субъективный характер именно в силу этого конфликта между личностью и обществом.

Искусство ищет в себе самом все более утонченных средств выражения, ибо даже за последние двадцать лет путь художника к изображению одинокой личности все более сужается.

Эта потребность индивидуума в самовыражении стала теперь постоянной. Но наша собственная терпимость, наше потворство этому интересу к «освобожденной» личности фактически ведет к развращению личности. Это должно было бы послужить нам предостережением. Несомненно, когда в будущем мы оглянемся назад, на шестидесятые годы, мы увидим, что эта излишняя терпимость к потребности личности в самовыражении является одним из основных современных пороков, эта терпимость свидетельствует о непригодности моральной системы и того, что ей сопутствует,— уровня политической сознательности. Истории известны подобные периоды в прошлом. Одним из таких периодов является вторая империя во Франции. В конце прошлого века Париж был полон бунтующих одиночек. В результате явились странные, озадачивающие, талантливые чудаки вроде Гогена, Ван-Гога или Тулуз-Лотрека. Но в то время перед личностью стояла определенная цель, и жаловаться эти люди не привыкли. Напротив, действовали они смело и были убеждены в правоте своей бунтарской миссии. Сейчас у личности остались одни лишь жалобы, и нет никаких решений. Или если у нее и есть решение, то это обычно отрицание всех социальных целей и ответственности и единственное желание—спасти только себя.

Этим мировоззрением пронизано сейчас поистине все. Абстрактная живопись, например, которая первоначально представляла собой бунт против идиотских буржуазных ценностей, в конце концов превратилась в свою противоположность, так что буржуазное общество, которое когда-то ненавидело абстракционистов, сейчас охотно их принимает.

Это справедливо даже по отношению к религии. В христианской религии очень много социальных мотивов, но наши правящие классы в ужасе от этого. Они сейчас поощряют нашу молодежь к тому, чтобы забыть христианские добродетели — возлюби брата своего, подставь другую щеку, не возжелай жены ближнего своего. Наша

печать, кино и телевидение (которые всегда в руках правящего класса) полны насилия, аморальности и сексуального авантюризма, ибо их хозяева понимают, что безопаснее предлагать это молодежи, чем те старые христианские ценности, на которые буржуазия когда-то опиралась, чтобы охранять свою безопасность.

Общественная мораль деградирует по мере деградации капитализма и роста его потребности в антигуманном человеке. Капитализм может выжить только с помощью таких людей, у которых не осталось никаких потребностей в моральных ценностях. Это именно то, к чему это общество (сознательно или бессознательно) стремится.

■

Было бы соблазнительно встретить такого героя (или антигероя) в книгах Силлитоу, Саган или Сэлинджера. В какой-то степени он в них присутствует, этот аморальный продукт разлагающегося мира. Но только в какой-то степени. Давайте взглянем еще раз на каждого из наших авторов, имея в виду все сказанное выше.

У Силлитоу этот аморальный антигерой налицо в Артуре Ситоне и в его анархической ярости, направленной против всех тех, кто стоит на его пути. Он налицо в Артуре Ситоне и в заключенном Смите, когда они составляют свои собственные правила борьбы за существование и пытаются жить согласно этим правилам, как если бы они находились в пустоте.

Это безумное мировоззрение делает героев Силлитоу энергичными и одновременно связывает их. Они походят на целое поколение англичан тем, что настойчиво ищут новые ценности, чтобы заменить прежние (хорошие и плохие). Точка зрения Силлитоу на это в основном верна, ибо он знает (и заявляет, что знает), что капитализм уже ничего не может дать обществу, что его класс должен сплотить свои ряды, что коммунизм неизбежен.

Силлитоу, по существу, является единственным из этих трех писателей, который правильно с социальной точки зрения понимает то, что происходит вокруг. Ни один из его героев не потерян для общества и не изолирован от него. Напротив, они живут и работают в самой его гуще и постоянно доказывают, что выжить и остаться людьми они могут, только живя коллективно, как бы много внимания ни уделял временами Артур Ситон своим собственным эгоистическим интересам.

Силлитоу знает все это от рождения. Несмотря на внешний анархизм, чувство единства со своим классом вошло в его кровь и плоть, но только потому, что он сумел осознать это. Своей последней книгой он доказывает, что это убеждение становится частью его политических взглядов и что личность (даже если это такой энергичный сорвиголова, как все Ситоны) может найти решение своих проблем не только в упорядочении своих собственных дел, но прежде всего в коллективе, причем это зависит и от решения проблем политических. Если говорить о книгах Силлитоу в целом, то не имеет особого значения то, что его юные герои так анархичны. Или, по крайней мере, это не так уж важно в данный момент. Достаточно и того, что они являются борцами в такое время, когда общество призывает молодежь не бороться за свои права (Ситон же всегда борется за свои права), а бороться между собой (что Ситон делает иногда) или бороться против всего, включая коммунизм, но исключая общество (чему Ситон не поддается совсем).

Общее уважение автора и его героя к коммунизму вызвано, по существу, их уверенностью в том, что коммунисты и у фабричных ворот, и в малайских джунглях непоколебимо верны своему делу, рабочему классу и коллективной дисциплине, которая необходима для реальной борьбы за реальные права.

Созданное Силлитоу семейство молодых Ситонов свидетельствует о том, что, когда придет время, они, вероятно, захотят последовать за коммунистами. Однако они ни в коем случае не являются подлинными революционерами — они слишком неустойчивы, слишком индивидуалистичны и эгоистичны.

Из этих трех авторов и их героев один только Силлитоу остается здоровым, и не потому, что он вышел из рабочего класса, а просто оттого, что он сознательно выступает против своего общества.

■

Герои и героини Франсуазы Саган появляются перед нами уже внутренне сломленными, в том смысле, что для них с самого начала не существует никакой духовной борьбы. Есть только ощущение какого-то неопределенного и бесцельного влечения к достижению некоего идеала духовной и физической красоты или, скорее, удовлетворения, которое всегда заканчивается страданием. С кем бороться, с чем бороться, даже чему сопротивляться — этих вопросов почти не существует.

Саган, во всяком случае, не делает вида, что ищет социальных ответов. Хочется поэтому поставить такой вопрос: а существует ли в действительности мир Франсуазы Саган? Пьер де Буадеффр пишет о Саган следующее: «Если бы мир Франсуазы Саган был подлинным, то все, к чему мы стремимся,— наша вера в ценность человеческой личности и в ее будущее — было бы сведено на нет».

Тем не менее мир Франсуазы Саган действительно существует, если не в природе, то в логическом претворении ценностей ее общества в такого рода действия, которые на самом деле сводят человеческую личность на нет. Иначе говоря, Франсуаза Саган рассматривает все буржуазные моральные ценности Франции и, извлекая их из различных тайников общества, сводит в единое целое. Хорошо известно, что созданные ею образы молодых девушек слишком

подчеркнуты, что ее преуспевающие мужчины средних лет чересчур совершенны для того, чтобы ее личный взгляд на них можно было считать объективным. Но так как Саган рисует их живущими по тем самым моральным законам, от которых само общество в действительности страдает, она делает их подлинными прототипами их класса и их времени.

Это реальное отражение того, что произошло с социальной моралью во Франции. Старая мораль дискредитирована и отброшена, причем не столько молодежью, сколько самой буржуазией, которая скандальным образом живет совсем по другим правилам, вернее, вовсе без правил, за исключением собственной прихоти и собственного эгоизма. Экзистенциалист вытесняет христианина.

Фрейд также присутствует во всем этом. Никто в нашем западном мире не находится в полной безопасности от Фрейда, особенно юная француженка, созерцающая беспорядочно рассеянные обломки разбитой морали старших. Общество представляет собой очень грубое и вульгарное зрелище, если только вы не согласитесь с таким объяснением, что грубость и низость совершенно естественны, и тут уж ничего не поделаешь, ибо это симптомы того, с чем мы все рождены,— жадности и похоти.

Для фрейдиста любое общество не больше чем совокупность отдельных личностей. Этот взгляд на общество как на совокупность отдельных личностей и есть взгляд Франсуазы Саган. За деревьями она не видит леса.

Имя Франсуазы Саган может остаться в литературе, если она сумеет обрести цельный взгляд на свой мир, свидетельств чему пока что нет, кроме отдельных проявлений ее личных симпатий к добрым делам. Выведенные ею социальные типы созданы, скорее, капризом чувства, чем усилием мысли, и, подобно Сэлинджеру, она еще не видит никакого выхода.

То, что происходит сейчас во Франции, может ускорить день решающего перелома для людей, подобных Франсуазе Саган. Недавнее возвращение абсолютной власти к крупной буржуазии не может не привести к более четкому размежеванию сил, чем это было до сих пор. В жизни французской мелкой буржуазии скоро должен настать такой момент, когда она окажется перед альтернативой: либо абсолютизм сверху, либо единство снизу.

Французский капитализм пытается стать одним из более сильных, но экономически он уже в тисках немецкого.

В этих условиях можно смело предсказать, что Франции придется рано или поздно столкнуться с таким положением, когда ей придется начать борьбу за национальное существование, невзирая на ее культуру, «La République» и «La France». Единственным спасением Франции будет борьба за национальное освобождение почти в колониальном смысле слова. И когда это произойдет, герои Франсуазы Саган, юные девушки и преуспевающие мужчины средних лет, окажутся выбитыми из привычной жизненной колеи, перестанут цепляться за свои аморальные иллюзии и будут вынуждены взглянуть прямо в лицо истории.

Что же явится результатом?

Секс, во всяком случае, пострадает; не его радости (спешу добавить), но его литературное, эмоциональное и философское использование в целях самоудовлетворения, ослепления и развращения. Перестанут давать дивиденты и аморальные взгляды. Дело в том, что аморальный человек уже достиг в нашем мире своей наивысшей точки, его уже стали разоблачать и иногда он даже сам себя разоблачает. Вероятно, будет еще хуже. Ведь этот вид социальной маскировки требует, чтобы никто не понимал, почему люди стали аморальны или почему общество пошло в своем развитии таким путем.

Люди, вроде Франсуазы Саган, этого еще не осознали. Их попытки найти ценности в том, что никакой ценности не имеет, делают их, скорее, жертвами общества, чем его протагонистами или критиками. Поэтому действительность даст им жестокий урок. Мишура сгорит, но тот, кто обладает характером, найдет свой путь, хотя бы и в мелкобуржуазном смысле слова. Это будет настоящим испытанием этого класса, испытанием представлений о «République» и «Revolution» многих поколений интеллигентных французских буржуа, которым вскоре предстоит подвергнуть последней проверке то лучшее, что было создано их духовной культурой. И вместе с ними через это испытание несомненно предстоит пройти и Франсуазе Саган.

■

Проблема Дж. Д. Сэлинджера — иная проблема. Капиталистическая и буржуазная мораль в Америке все еще носит официальный характер, и развращенность этого общества не так уж очевидна. Американское семейство среднего класса гораздо больше верит в свое общество, чем, например, любая семья во Франции или даже в Англии. Сомнения еще не совсем подточили общественную структуру, как в нашем европейском мире. Таким образом, проблема Сэлинджера, скорее, все еще под кожей, чем на ее поверхности, где уже выступила сыпь.

Аморальность и секс в Америке фактически замаскированы лучше, чем во Франции. Сам Сэлинджер наряжает их в одежды сентиментальности, которые француженке Франсуазе Саган показались бы, вероятно, отвратительными и лицемерными.

Но американское общество очень нуждается в таком сентиментальном прикрытии, и не только в вопросах секса и морали, но и во всех других областях мировоззрения. Ни одна другая культура в истории, даже немецкая культура, не рисовала себя

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ
ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МОРАЛЬ

такими сентиментальными красками, как американская. Американская литература, живопись, музыка, кино — все наряжено в эти злополучные одежды, и в Америке нет почти ни одного художника, который был бы полностью свободен от сентиментализма.

Точка зрения Сэлинджера на его общество является в целом также сентиментальной. Поэтому то, что в его книгах часто походит на социальную критику, в большинстве случаев просто дрожь ужаса. Выше я уже говорил о Сэлинджере, что он критикует, скорее, взгляды, чем сами ценности, и это ставит его прямо в ряд тех, кто в современных американских ценностях не может найти никаких пороков, ибо это было бы опасным богохульством.

Бад Шульберг, современный американский писатель голливудского происхождения, говорил о литературном творчестве: «Я думаю, что во времена все возрастающих запретов оно (литературное творчество) может стать последним оплотом истинно свободного предпринимательства». Это почти что суть мировоззрения Сэлинджера. Его подход к литературному творчеству как раз и есть одно из выражений восхитительно свободного предпринимательства, но именно это и помогает ему не вступать в сколько-нибудь серьезный конфликт с системой, которая позволяет действовать подобным образом.

Так как я уже описал в общих чертах общество, породившее Сэлинджера, не буду говорить здесь об исторических причинах его полной неспособности увидеть нечто, что он мог бы противопоставить той грубости, которую он, по-видимому, ненавидит. Достаточно понять, что ни источник грубости, ни источник противостоящих ей сил не входят в число интересующих Сэлинджера проблем. Поэтому нельзя сравнивать его с более крупными американскими писателями. Нельзя сравнивать его даже с такими писателями, как Алан Силлитоу, чье личное отвращение к социальным установлениям схоже с отвращением Сэлинджера, но социальные взгляды которого ставят его на две головы выше американца, даже несмотря на то, что его литературная техника не всегда столь же хороша.

Сказав все это о Сэлинджере и дав ему эту ограничительную оценку, можно поставить и вопрос о том, что случилось бы с писателем его таланта, если бы он когда-нибудь попытался всерьез подвергнуть критике любой из основных американских институтов. Мне показалось даже, что я впал в преувеличение, заявив, что критика Сэлинджеру чужда. Я еще раз просмотрел его книги, но так и не нашел ни одной сколько-нибудь серьезной попытки разоблачения подлинных причин тех явлений, к которым он относится отрицательно. В лучшем случае, он непочтителен (подобно Силлитоу), но никогда не осуждает полностью (в отличие от Силлитоу, который часто это делает).

Наглядным примером этому является религия. Подвергнуть критике официальную религию в Соединенных Штатах мог бы сейчас только мужественный человек. И кажется, что в романе «Над пропастью во ржи» Сэлинджер делает это.

«Я отчасти атеист,— заявляет Холден Колфилд.— Христос мне, в общем, нравится, а вся остальная муть в библии — не особенно». Однако, учитывая содержание книги в целом, это заявление нельзя принимать слишком серьезно, и, пока Христос Холдену «нравится», все остается на прежних местах.

Сэлинджер может не верить в бога, но он верит в универсального Христа во «Фрэнни и Зуи» и не возражает против церкви. Это спасает его. Фактически речь идет вовсе не о боге, а, скорее, о нравственных устоях общества.

Сэлинджер не знает этого и даже не задумывается над этим. Благодаря своей исключительной чувствительности он находит в своем творчестве путь через болото пошлой американской морали, подобно летучей мыши в пещере. Он слеп, но посылает обществу сигналы и получает ответы, определяя таким образом свой путь. Это метод удачи и прагматизма.

Здесь можно с полным правом спросить, какой смысл имеет такая чувствительность? Ответ гласит: иногда очень большой. Сэлинджер тепло и гуманно относится к людям, и в основе его оценки истинных устремлений людей лежит желание видеть их счастливыми (во всяком случае, избранных, особенно детей). Сэлинджер всегда благороден и любит вводить читателя в свой интимный мир, как бы приглашая разделить общие удовольствия и общее отвращение.

Но одно дело — это смысл его собственных реакций, другое дело — его понимание общества. Здесь необходимо еще и еще раз повторить, что это понимание общества у него просто отсутствует. Подлинных альтернатив (даже если это всего только бог против дьявола) у него нет, за исключением мелкой, надуманной проблемы—цзен против Христа. Если Сэлинджер и смотрит на общество, то он видит только его плохие манеры и скверные вкусы, но не более.

В этом есть нечто столь прагматичное, что доходит до самых источников современного зла, и это относится не только к Америке, но и ко всем другим странам. В ряде вопросов конкретные принципы неожиданно уступают место прагматизму, и это причиняет серьезный ущерб значительной части прогрессивного мышления на Западе. Причину победы прагматизма можно искать в нынешнем стремлении к комфорту и материальному изобилию, что низводит все социальные взгляды к таким грубо материальным понятиям, что любое требование о том, чтобы общество вело себя иначе, без всяких объяснений относят к числу «нереальных».

Такой прагматизм, ставящий перед обществом *только* вопрос об улучшении материальных условий, является по сути дела развращающим, а он глубоко проник во все поры западного общества. Некоторые из наших лучших западных мыслителей даже проблемы Азии и Африки видят только

в необходимости помочь повышению жизненного уровня этих народов, используя прежде всего огромные технические и производственные возможности Запада. А как эффективно эта функциональная точка зрения на «помощь» используется для обмана самих американцев, чтобы прикрыть политику, равносильную политике оккупации и военной агрессии. В каждой стране, которой «помогла» Америка, результатом этой «помощи» явилась чудовищная коррупция и ухудшение моральных устоев общества. Американское правительство использует щедрость и добрую волю своего народа, чтобы получить выгоду от подобной политики.

Духовная щедрость Сэлинджера глубоко типична. Она в значительной мере объясняет то, что делают американцы во всем мире и почему они это делают. Его неспособность к анализу, согласие с основными догмами и неумение проникнуть в глубь явлений также типичны для большинства американцев. Возможно, все это подтверждает, что в моральном отношении одной щедрости еще недостаточно. В союзе с невежеством и при отсутствии широких взглядов на мир щедрость становится поистине опасной, ибо под маской американской доброй воли, искренности и готовности помочь весь мир подвергается обману и насилию.

Если американские писатели не обретут объективного взгляда на свою собственную мораль, который станет их внутренним убеждением, что чрезвычайно важно, то этим они будут в значительной мере способствовать своему собственному самоубийству, ибо человечество не будет долго терпеть навязываемые ему фальшивые американские стандарты. Американская литература, которая в свое время оживила английский язык и внесла в него так много нового, которая всего лишь 40 лет тому назад вдохнула новую жизнь во все литературы Запада, сейчас находится в очень тяжелом состоянии.

Сэлинджер же только «чувствует», что в его обществе не все в порядке. Он «чувствует», что между идеалом и действительностью существует серьезное расхождение. Однако до сих пор Сэлинджер создал всего лишь образ ребенка, который в определенном возрасте начинает понимать, что его родители далеко не совершенны и что не все то, что они говорят, обязательно правда. Давайте же будем великодушными и предположим, что это только первый взгляд Сэлинджера на жизнь и что вскоре он перейдет от юношества к зрелости и увидит мир со всеми его замечательными возможностями — не как ребенок, а как взрослый.

■

О социальной морали в творчестве этих трех писателей можно было бы сказать гораздо больше просто потому, что многое еще осталось исследовать в морали породившего их общества; силы зла еще никогда так не обманывали молодежь, и молодежи никогда еще не приходилось так упорно бороться за установление подлинных ценностей в условиях такого окружения, которое заявляет, что в мире ничто не важно, кроме самого себя, и даже ты сам абсолютно ничего не значишь. Очевидный выбор между капитализмом и коммунизмом не является столь уже легким: есть много причин, слишком сложных для того, чтобы разбирать их здесь.

Для нашего западного мира время решений еще не настало. Материальные условия на Западе не столь уж плохи, тогда как духовный уровень очень низок, в том смысле, что наш буржуазный мир дает стиральные машины всем тем, кто может это себе позволить, но не дает надежды и не сулит безопасности абсолютно никому.

В конце концов проблема будет решена рабочим классом, когда он поймет, в чем она заключается. Между тем мелкая буржуазия во всех западных странах начинает становиться классом, требующим внимания и понимания со стороны как прогрессивных, так и реакционных сил.

Человек в нашем мире отчаянно борется за то, чтобы духовно отстоять себя как личность, и любая философия, которая не будет самым серьезным образом учитывать это и основываться на этом факторе, так же как и на материальном, явно не выполнит своего долга.

Нам осталось рассмотреть еще один, последний вопрос.

Не слишком ли мы требовательны и суровы, желая, чтобы наши молодые писатели руководствовались не инстинктами и сугубо личными взглядами, а занимали правильную и четкую социальную позицию?

Мне кажется, было бы опасным думать, что мы требуем от них слишком многого. Ведь гораздо больше половины населения земного шара все еще живет в крайней нищете, и пока это так, роль всех писателей, и социалистических и капиталистических, несомненно должна быть одной и той же.

От наших писателей нужно требовать очень многого, и, хотя было бы нереальным ждать от них быстрого решения всех проблем, тем не менее мы все же должны прежде всего потребовать от наших молодых художников, какими бы «свободными» они себя ни считали, чтобы они смотрели дальше себя и своих личных проблем и были бы на высоте своих истинных задач в этом мире, где все еще господствуют жестокость, насилие и порок. Такая ответственность потребует гораздо большего, чем инстинкт и чувство. Она потребует всей души писателя, а также такого кругозора, который выходит далеко за пределы горизонта одиночки.

Понять свою связь со всеми людьми, с теми, кто борется против своей и чужой нищеты, за счастливое будущее всех людей,— есть ли задача, более достойная художника в наш век угнетенного и эксплуатируемого человечества!

Лондон, март 1963 года.

Перевод с английского
Т. П. ДОМАШЕВОЙ, С. Г. ЛИТВИНОВОЙ
и Г. В. ШВЕДОВА

МАРТТИ ЛАРНИ

ТРИ ФИНСКИХ ПИСАТЕЛЯ МЛАДШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

(Письмо из Хельсинки)

Из финских прозаиков, вступивших в литературу в сороковых годах, привлек особое внимание и вызвал наиболее горячие споры, пожалуй, Вяйне Линна, который издал уже четыре романа. Вяйне Линна происходит из рабочей семьи. Он родился в 1920 году в провинции Хэме, недалеко от Тампере. Отец его работал на бойне. Образование Линна ограничилось народной школой, так как семья жила бедно, и мальчику пришлось очень рано отправиться на заработки. Проработав несколько лет сезонным рабочим в деревне и на лесозаготовках, он поступил на завод в Тампере Он много и упорно занимался самообразованием и постепенно начал писать, все более увлекаясь литературой. В 1947 году вышла его первая книга. Это был автобиографический роман «Цель» — о самовоспитании. В нем автор проявил себя талантливым рассказчиком. Однако этот роман не вызвал заметных откликов, точно так же, как и второй роман Вяйне Линна — «Черная любовь», интересный тем, что в нем автор умело использует финские диалекты для создания метких речевых характеристик. Роман «Черная любовь» показал, что Линна — рассказчик с необычайно острым слухом, но он гораздо хуже видит. Можно сказать, что Линна как бы «видит ушами». У него замечательно живые диалоги, однако описания ему не даются. Разговорный язык для него точно глина творения, в которую он умеет вдохнуть живую душу. Критики приняли «Черную любовь» довольно сдержанно, признавали в авторе способности, но его реализма не оценили по достоинству.

После этого романа писатель шесть лет молчал. Он работал на заводе, а в свободное время — ночами и по воскресеньям — писал большую книгу о войне, которая вышла в 1954 году под названием «Неизвестный солдат». Это роман о годах войны между Финляндией и Советским Союзом. Месяца через три после выхода «Неизвестного солдата» вокруг него поднялся небывалый шум. Одни считали эту книгу, реалистически изображавшую войну, «непатриотическим произведением», в котором «все идеалы втаптываются в грязь», другие ее необычайно хвалили, превознося замечательную способность Линна «вслушиваться» и поразительно живо описывать то, что он сам испытал. «Неизвестный солдат» разошелся в Финляндии тиражом в 350 000 экземпляров.

Мне кажется, что в «Неизвестном солдате» превосходно отражено время, но роман этот не относится к произведениям так называемого бессмертного искусства. Не прошло и десяти лет, а краски его поблекли. Но автору эта книга принесла известность и материальную независимость. Вечная забота о хлебе насущном перестала тяготеть над ним, и Вяйне Линна смог целиком отдаться литературному труду. Верный своему писательскому призванию, Линна взялся за новое полотно — трехтомный роман «Здесь, под Полярной звездой...», первая часть которого вышла в свет осенью

1959 года. Третья часть трилогии появилась в книжных магазинах в прошлом году, завершив эту монументальную эпопею — плод десятилетнего творческого труда писателя.

«Здесь, под Полярной звездой...» представляет собой широкую эпическую панораму истории финского народа. Ее создание потребовало от автора серьезного изучения огромного и крайне противоречивого исторического материала. В первом томе трилогии автор показывает борьбу арендаторов-торппарей с владельцами поместий в деревенской глуши провинции Хэме. Он раскрывает перед читателем социальные пропасти, первобытные инстинкты людей и пробуждающееся сознание беднейшей части финского народа. Униженные и угнетенные торппари поднимаются на борьбу за социальную справедливость, за признание достоинства человека-труженика. Эти глубокие, резко наметившиеся противоречия предвещают грозно надвигающуюся гражданскую войну, которую автор изображает во втором томе трилогии. О событиях 1918 года написано в Финляндии много книг, но на всех них лежала печать так называемой «белой лжи». Вот эти-то годы в истории Финляндии — от белого террора гражданской войны до черных лет фашистского лапуаского движения * — и завладели воображением писателя, стремящегося к социальной и исторической правде. Вяйне Линна подходит к этой больной теме, ставшей в Финляндии прямо-таки национальным табу, как истинный художник и как искатель правды. Он смело расчищает авгиевы конюшни предрассудков, рассуждая подобно Золя: когда правда пошла по свету, ее уже ничто не может остановить.

Вторая часть трилогии вызвала в Финляндии (а также в Швеции) небывалую полемику. Читатели резко разделились на два лагеря: одни с пеной у рта утверждали, что писатель заменил «белую ложь» «красной ложью», другие же, напротив, приветствовали книгу, в которой трагическая гражданская война, кровавые расправы над рабочими и ужас лагерей смерти для пленных красногвардейцев нашли, наконец, правдивое отображение.

В последнем, третьем, томе правдиво показана история тридцатых годов: лапуаское движение, гонение на свободолюбивую мысль, дикий разгул террора. Эти главы, по-моему, лучшее из всего, написанного Вяйне Линна. Здесь ясно слышно биение сердца писателя, здесь он показал себя большим художником, истолкователем истории и современности.

Третий том романа охватывает роковые для Финляндии десятилетия — с начала двадцатых и по конец сороковых годов нашего века (действие заканчивается 1950 годом). Первые главы очень сильны и многообещающи, но далее чувствуется, что рука художника как бы слабеет: перспектива сокращается, драма широкого эпического звучания заканчивается несколько глухим и утомительным анданте.

В целом «Здесь, под Полярной звездой...» Вяйне Линна — произведение, которое, вероятно, будет иметь непреходящее значение для финской литературы. Роман этот несет в себе заряд живой, трепетной жизни, в нем действуют люди из плоти и крови; это голос самой гуманности. Настоящий художник, чуткий истолкователь души человеческой, Вяйне Линна создал подлинное произведение искусства. Он сумел понять сокровенные думы человека из народа, живущего в бедности, униженного и угнетенного, он показал влияние народа на ход истории страны. Он открыл для финской литературы глубокие возможности исторической и психологической прозы.

■

Пааво Ринтала (родился в 1930 году) вступил на литературное поприще, опубликовав в 1954 году роман о так называемой «эпохе Иисуса Христа» — «Евангелие мертвых». Его следующие романы написаны уже о современном финском обществе, которое он рассматривает крупно, в массе, и широко, эпически. Романы Ринтала отличает эта несколько тяжеловатая массивность. Его сочувствие обращено к тихим и скромным рядовым труженикам, образы которых проходят в романах «Богатый и бедный» (1955) и «Забастовка» (1956). Главным, крупнейшим произведением Ринтала пока является трилогия «Моя бабушка и Маннергейм», заключительная часть которой вышла в конце прошлого года. В романе, где рассказ ведется от лица человека из народа, выступают рядом простая финская женщина и блестящий офицер-аристократ. Сюжет строится на резких контрастах, причем автор не особенно стремится к исторической достоверности рассказа. У него своя точка зрения на гражданскую войну в Финляндии и на события, последовавшие за 1918 годом, и своя художественная концепция этих событий, психологически убедительная, но несколько недостоверная с точки зрения истории,— а потому его роман нельзя рассматривать как точное отображение эпохи. Ринтала показывает, что простая женщина из народа, женщина-труженица, по человеческой своей значительности нисколько не уступает боготворимому военачальнику и полководцу, которого превратили в небывалого героя.

Трилогия Пааво Ринтала, при всех ее недостатках, по-настоящему большое, значительное произведение, говорящее о смело выраженном, самобытном взгляде на мир. Ринтала как писатель продолжает расти. Его неудержимая, захлестывающая энергия покоряет читателя. Эпоха Маннергейма еще очень недалека от нас, поэтому критику трудно быть объективным в своей оценке

---

* По названию местечка Лапуа, на севере Финляндии, где это движение возникло (в 1929 году).

романа; но уже сейчас ясно, что рассказанные Ринтала истории о бабушке и о маршале отчетливо выделяются на сегодняшнем горизонте финской литературы.

Вейо Мери родился в 1928 году. Это один из самых талантливых представителей молодого поколения финских прозаиков. По стилю он полная противоположность Пааво Ринтала. Язык Мери отточенный и лаконичный. Этот лаконизм особенно выразителен в его полном терпкого юмора маленьком романе «Манильский канат», который переведен на несколько иностранных языков. Мери — сын кадрового офицера, и, видимо, этим отчасти объясняется его интерес к военной теме. Но писатель отнюдь не восхищается войной — гротескный юмор его книг предельно обнажает нелепость и безумие войны. Мери выпустил уже шесть книг. Две из них — «Манильский канат» и «Квиты» — завоевали себе прочную литературную репутацию. Лично я считаю «Квиты» лучшим романом Вейо Мери. Это история солдата-дезертира, который попадает в запутанное положение: сначала в него стреляет неприятель, а потом — свои. В результате герой книги решает, что он больше никому ничего не должен, и удирает с фронта к себе домой, в лесную глушь, где тихо и мирно занимается честным трудом: пашет и сеет. В романе проходит пестрая вереница своеобразных, жизненно достоверных образов. Манера письма удивительно четкая и лаконичная.

Вейо Мери безусловно многообещающий молодой автор, и он, мне кажется, способен оправдать самые большие надежды своих почитателей. Его объективный, энергичный стиль уже сейчас свидетельствует о незаурядном мастерстве. Я верю, что в последующие годы о нем будут говорить все больше и больше, как на родине, так и за пределами Финляндии.

ГАБОР ТОЛНАИ

О СУДЬБАХ РОМАНА

(Заметки участника сессии Европейского сообщества писателей)

Я дважды принимал участие в работе Европейского сообщества писателей. Первый раз это было весной 1962 года во Флоренции, где проходил конгресс Сообщества, второй раз — в начале августа этого года в Ленинграде, где по приглашению Союза советских писателей состоялся расширенный пленум руководящего Совета. Как во Флоренции, так и в Ленинграде я участвовал в дискуссии — оба раза мне довелось возглавлять венгерскую делегацию — и с большим вниманием следил за ходом обсуждения, встречался с участниками и в зале заседаний и вне его, обмениваясь мнениями и с представителями братских социалистических стран и с писателями других стран Европы,— словом, я общался с людьми, представлявшими разные мировоззрения и литературные направления, но имевшими единое мнение по целому ряду основных вопросов. Именно благодаря единству взглядов на проблемы борьбы с возрождением фашизма, благодаря единодушному отрицанию антикоммунизма и утверждению необходимости для художника стоять на стороне прогресса Европейское сообщество писателей и стало важной организацией прогрессивно мыслящих писателей нашего континента. Все писатели — члены Европейского сообщества считают очень важным сближение между литераторами разных стран, лучшее взаимное знакомство, все они стоят за мир, за мирное сосуществование как единственно возможный путь, за дальнейший прогресс в сфере культуры, за распространение образования на все слои общества. Все писатели, входящие в Европейское сообщество, принадлежат к творческим союзам своих стран, все они антифашисты, противники расовой дискриминации, противники антикоммунизма.

На ленинградском симпозиуме генеральный секретарь Сообщества Джанкарло Вигорелли очень точно сформулировал точку зрения, лежащую в основе всей деятельности этой организации:

— Мы не можем принимать в наши ряды тех, кто в эпоху ядерного оружия не на стороне мира, а на стороне войны!

Политика мирного сосуществования различных социальных систем завоевывает все более прочные позиции, все отчетливее накладывает отпечаток на работу Европейского сообщества писателей, проходит красной нитью через всю деятельность этой организации. Ее приверженцем был и первый председатель Сообщества Джован Баттиста Анджолетти. Я лично не был знаком с ним (он умер 3 августа 1961 года), но мне много говорили о нем люди, хорошо его знавшие, его друзья. Творчество Анджолетти — его романы, рассказы, произведения для юношества, статьи и монографии — расценивают по-разному, но все единогласно говорят о нем как о человеке, заслуживающем самого большого уважения, убежденном гуманисте, который всю жизнь искал путь — и нашел его в создании Европейского сообщества писателей,— по которому долж-

ны идти писатели Европы. Анджолетти был последовательным антифашистом. Он внимательно следил за достижениями Советского Союза, в первую очередь в области культуры и литературы. Многие его статьи свидетельствуют о том, какое большое впечатление произвели на него культурные завоевания первого социалистического государства. Анджолетти читал произведения писателей социалистических стран, переведенные на западноевропейские языки, и прежде всего книги советских писателей.

Творчество Анджолетти показывает, что он был последователем двух больших мыслителей: Бенедетто Кроче и Томаса Манна. Я не собираюсь здесь анализировать характер их влияния. Мне кажется важным лишь подчеркнуть, что Анджолетти привлекал гуманизм Кроче, несмотря на всю его ограниченность, и гуманистический пафос Манна, их убежденный антифашизм.

Обращу внимание еще на одно обстоятельство: это случайность, но случайность характерная. Кроче и Манн первые среди выдающихся мыслителей западного мира признали гений венгерского коммунистического революционного поэта Аттилы Йожефа.

Джован Баттиста Анджолетти мыслил Европейское сообщество писателей именно таким, каким оно и стало, каким несомненно показало себя на сессии в Ленинграде. Но эта идея Анджолетти, его представления, хотя в них еще довольно много буржуазной романтики, могли созреть и обрести свою теперешнюю форму только потому, что лагерь социализма во главе с Советским Союзом достиг замечательных результатов в самых различных областях общественной и экономической жизни, культуры, науки и техники, что борьба за мир охватывает все более широкие слои людей во всех странах и отмечена такими большими достижениями, что борьба за всеобщее полное разоружение выиграла свою первую битву, когда был подписан Договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия. Для ленинградской встречи символичным стал тот факт, что этот Договор был подписан министрами иностранных дел СССР, США и Великобритании 5 августа, в тот самый день, когда началась сессия Сообщества в Ленинграде.

Подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия и начало сессии руководящего Совета Европейского сообщества писателей совпали случайно. Но далеко не случайно, что известие о подписании Договора создало чрезвычайно благоприятную атмосферу на ленинградской встрече европейских писателей самых различных мировоззрений, которые восприняли это как большой успех политики мирного сосуществования. Благоприятная атмосфера для дискуссий — практическое доказательство того, что мирное сосуществование вовсе не означает уступок в идеологии, как раз наоборот: возможность встреч и дискуссий благоприятствует открытому обмену мнениями и принципиальным спорам. Повторяю: только успехи политики мирного сосуществования создали условия, необходимые для развертывания таких оживленных дискуссий. Разве когда-нибудь до этого были возможны между писателями социалистических и капиталистических стран такие острые споры, проходившие в столь дружеской атмосфере, как это было в Ленинграде? Мне лично кажется, что раньше это было невозможно.

Тема, ради обсуждения которой собрались европейские писатели,— «Проблема современного романа» — волновала всех участников встречи, поэтому выбор ее способствовал развертыванию дискуссии. По сравнению с программой флорентийского конгресса, тема сессии была более узкой, и мне представляется, что, в известном смысле, это явилось преимуществом ленинградской встречи. С моей точки зрения, такие чисто творческие вопросы писательского мастерства дают возможность для более углубленного обсуждения, помогают лучше уяснить позиции друг друга, создают благоприятную атмосферу для плодотворного диалога. Я не собираюсь вдаваться в подробности, анализировать дискуссии, хочу лишь указать, что самые острые противоречия выявились по трем вопросам: французский «новый роман», ответственность писателя и судьба романа в современном обществе.

Первый вопрос вызвал острые споры, очевидно, потому, что французская делегация была слишком единодушна, ее члены — за исключением Жан-Поля Сартра — представляли лишь одно течение французской литературы, так называемый «новый роман». Представители этого модернистского течения яростно отстаивали

свою точку зрения и так же яростно нападали на литературу социалистического реализма.

К этому спорному вопросу примкнула проблема об ответственности писателя. Каким должен быть писатель? Должен ли он обращаться лишь к немногим, поворачиваться спиной к массам, как это делают авторы модернистских романов, герои которых так же одиноки и изолированы от жизни, как их творцы? Это характерно для буржуазного общества. Другую позицию занимают писатели, которые живут и развиваются вместе с народом, показывают в своих произведениях новых героев социалистического общества.

Третий спорный вопрос, вокруг которого разгорелись страсти, затрагивает основное противоречие между марксистской и буржуазной эстетикой. Писатели западных стран неоднократно сетовали на упадок романа. Представители социалистических стран совершенно ясно показали, что надо говорить не об упадке романа как литературного жанра, а о загнивании самого буржуазного общества и его культуры. Они привели пример Советского Союза и других социалистических стран, где общественная жизнь находится на подъеме, вместе с ней процветает и развивается литература и ее составная часть — роман. Все эти вопросы всплыли на симпозиуме в различных оттенках, но очень остро.

После окончания сессии на пресс-конференции Алексей Сурков очень правильно отметил, что дискуссия была интересной, искренней, открытой, часто острой, но всегда ее характеризовало стремление к истине. Эта встреча была большим шагом вперед по пути обмена мнениями между писателями социалистических и капиталистических стран. Необходимость в таком обмене уже давно назрела. Дискуссия начата, но, конечно, она еще далеко не закончена. Однако писатели уже находят общий язык, на котором можно и надо вести переговоры.

Для нас, венгерских писателей (я думаю, что и для представителей всех других социалистических стран), самыми интересными и волнующими моментами дискуссии были те, когда советские писатели всех поколений последовательно и решительно отвечали на нападки представителей капиталистических стран на социалистический реализм, подкрепляя свои утверждения острым анализом и ясным разбором причин и следствий. Делегация французских писателей тоже выступила сплоченно, но все они, кроме Сартра,— последователи одной школы, в то время как советские писатели, выступления которых по поводу социалистического реализма были единодушны, принадлежат к самым разным творческим направлениям и разнятся по манере творчества. Достаточно назвать имена Эренбурга, Симонова и Аксенова.

Я приехал в Советский Союз за несколько дней до начала заседаний. Таким образом, еще до официальных встреч у меня была возможность поговорить не только с писателями социалистических стран, но и с коллегами, приехавшими из стран капиталистических. Среди последних многие довольно пессимистически смотрели на предстоявшие дискуссии. Они думали, что между представителями двух различных лагерей не может быть плодотворного диалога. Что ж, буржуазная пропаганда немало потрудилась для того, чтобы утвердить подобную точку зрения. Но четыре дня совещания, с 5 по 8 августа, убедили даже самых больших пессимистов в том, что они были не правы. Одно из свидетельств тому следующий факт: на пресс-конференции в Москве после окончания ленинградского совещания один западный журналист (если я не ошибаюсь, сотрудник газеты «Монд») задал Жан-Полю Сартру вопрос:

— Какой разговор может быть между Востоком и Западом, если, по мнению части участников совещания, в идеологии не может быть мирного сосуществования?

Сартр ответил этому журналисту примерно следующее: отказ от спора не означает победы ни одной, ни другой стороны. Сартр добавил: в эпоху политики мирного сосуществования различных систем, политики правильной и постоянно прогрессирующей, возможно лишь одно верное решение — надо дискутировать. И мы отлично знаем, что наши споры обогатят только ту культуру, которая сильней, ту, которая победит. Я лично, постоянно критикующий буржуазное общество, совершенно уверен, что победит социалистический образ жизни, социалистическая культура...

Думаю, что не стоит пересказывать материал четырехдневного совещания в Ле-

---

нинграде, выступления делегатов, некоторые пункты споров. Мне говорили, что подробный рассказ о совещании появится позже на страницах журнала «Иностранная литература». Теперь же почти сразу после окончания форума я хочу всего лишь изложить некоторые впечатления и, может быть, еще предварительно сравнить встречи во Флоренции и Ленинграде, чтобы показать, какой путь проделало Европейское сообщество писателей между этими двумя вехами своего существования.

В 1962 году во Флоренции состоялся конгресс Сообщества. Естественно, что там были довольно широко представлены страны и писательские организации — участницы Сообщества. Присутствовало четыреста писателей. На повестке дня стоял вопрос о литературе, кино, радио и телевидении в нашу эпоху. После окончания конгресса во Флоренции мы возвращались домой удовлетворенные. Отмечу всего лишь несколько моментов. Генеральный секретарь Сообщества Джанкарло Вигорелли прочитал доклад, содержавший не только отчет о работе, но и декларацию о необходимости сотрудничества писателей в интересах мира во всем мире. Вигорелли в своем докладе гневно заклеймил фашизм. Делегаты ГДР не смогли приехать во Флоренцию, так как не получили транзитной визы через Западный Берлин. Совещание сформулировало и высказало свое возмущение таким поведением западноберлинских властей и постановило считать делегацию ГДР присутствующей на конгрессе и разрешить чехословацкой писательнице Марии Майеровой голосовать от ее имени. Большая часть делегатов конгресса, среди которых было много видных европейских писателей, подписалась под письмом, адресованным США, с протестом против их политики в отношении Кубы. Это письмо, в котором писатели требовали невмешательства в дела другой страны, нашло широкий отклик на страницах не только итальянской, но и мировой печати.

Сама дискуссия во Флоренции удовлетворила нас несколько меньше, но и она содержала довольно важные моменты: в ней приняли участие самые крупные специалисты Европы — писатели, режиссеры, актеры, критики. Было много интересных выступлений, но по-настоящему интересного столкновения мнений не получилось. Многие из выступавших затрагивали очень широкий круг вопросов, значение которых было далеко не одинаково, возникали и проблемы второстепенного значения. Но, к сожалению, делегаты в своих рассуждениях чаще всего шли параллельными путями. Главным результатом флорентийской встречи, помимо здоровой политической атмосферы, было то, что писатели социалистических и капиталистических стран смогли встретиться, познакомиться, завязать связи. Но были сделаны всего лишь первые шаги. Нужны были дальнейшие встречи, дальнейшее улучшение мирового политического климата, чтобы завязавшиеся связи продолжали крепнуть, становились все более прочными.

Встреча в Советском Союзе казалась особенно привлекательной, потому что давала возможность не только воочию увидеть замечательные достижения и успехи этой страны, но еще и потому, что симпозиум должен был проходить именно в Ленинграде, в городе Ленина, колыбели Октябрьской революции, в городе, в котором удивительно много памятников истории и искусства. Все эти обстоятельства оказали свое влияние даже на тех из делегатов, которые стоят очень далеко от социализма, даже на тех, кто считает себя его противниками. Исторические памятники и произведения искусства не оставили никого равнодушными, но дух революционных традиций — и это я утверждаю на основании личных впечатлений и разговоров с другими делегатами — произвел особенно сильное впечатление на зарубежных писателей — участников симпозиума.

Мне хочется сказать несколько слов о нынешнем президенте Европейского сообщества писателей, о семидесятипятилетнем Джузеппе Унгаретти, избранном на этот пост после кончины Анджолетти. Этот превосходный поэт своими ясными, чистыми стихами, так сильно отличающимися от декадентской, слишком разукрашенной в стиле барокко поэзии Д'Аннунцио, открыл у себя на родине новую поэтическую эру.

Я в третий раз встречаюсь с этим поэтом, согбенным годами, но в полной мощи своих творческих возможностей. Первая наша встреча состоялась в Таормине на Сицилии, где проходила конференция ЮНЕСКО. Мы оказались в одной группе: итальянцы, среди которых был и Унгаретти, немец из ФРГ и пятеро венгров. Делегат Западной Германии сделал неко-

торые язвительные замечания об «одной социалистической стране», явно намекая на Венгрию. Тогда Унгаретти с присущей ему точностью ответил немцу:

— Я никогда не был в стране, о которой вы говорите, но люди, достойные всяческого доверия, рассказывали мне, что за полтора десятка лет эта страна ликвидировала у себя ужасающую неграмотность и что в ней никто не голодает. Если правительство этой страны не сделало даже ничего другого, то и в этом случае я должен сказать, что уважаю за это социализм!

В Ленинграде накануне начала совещания мы все вместе, советские и иностранные писатели, побывали на кладбище героев, где похоронены жертвы шестисот дней фашистской блокады, те, кто пал в боях, защищая Ленинград, и умершие голодной смертью. Каждый из нас принес на их могилы цветы. Первым возложил цветы Унгаретти, седой, сгорбленный, старый, со сверкающими на глазах слезами, он стоял, как часовой, у памятника, не мог отвести от него глаз. Что он чувствовал? Что переживал? На другой день, когда он открывал совещание, мысли его облеклись в слова. Я смотрел на листки с текстом речи, они дрожали в его старческих руках. Рукопись была напечатана на машинке, но я заметил несколько написанных от руки листочков и понял, что старый поэт, вернувшись с кладбища, пересмотрел и дополнил заранее приготовленную речь. Именно слова, прочитанные с этих листочков старым представителем буржуазного гуманизма, произвели особое впечатление на писателей — делегатов из капиталистических стран:

— С уважением воздадим должное социалистической революции, героям Ленинграда и советскому народу.

Количество участников на ленинградской встрече было, конечно, гораздо меньше, чем в прошлом году во Флоренции. Ведь в Ленинграде состоялся не конгресс Сообщества, а лишь расширенный пленум его руководящего Совета. Да и тема симпозиума была более узкой. И все же в Ленинград приехало девяносто делегатов из семнадцати стран. Среди них были представители литературы Советского Союза и стран народной демократии, были и выдающиеся прозаики, поэты, литературоведы, критики капиталистических стран. Из всех стран, делегаты которых участвовали в прошлогодней встрече во Флоренции, только писатели Испании и Португалии не смогли прислать в Ленинград своих представителей; посещение страны социализма вызвало бы жесточайшие репрессии, тюремные заключения по возвращении на родину, находящуюся под гнетом фашизма. Зато в ленинградском симпозиуме участвовала значительная группа писателей из ГДР, которые в прошлом году, как уже говорилось, не получили виз на проезд на конгресс во Флоренцию.

Я уже упомянул, что несмотря на оживленные споры между присутствующими создалась дружеская атмосфера непосредственных общений. Сближение между писателями социалистических и капиталистических стран, свидетелями которого мы уже были во Флоренции, в Ленинграде стало еще более очевидным. Большую помощь этому оказала хорошая организация совещания, явившаяся результатом усилий Союза советских писателей. Советские товарищи сделали все возможное, чтобы делегации не оставались разобщенными, а больше встречались и вне совещаний, во время прогулки на пароходе, экскурсии в Ясную Поляну, осмотра памятников Ленинграда, посещения музеев.

Совместные поездки, постоянные встречи и беседы были нам всем очень полезны. Полезны для каждого писателя, для делегаций и, осмелюсь сказать, в конечном счете, полезны для дела социализма. Контакты между писателями стран с различным социальным строем крепли без всяких помех, несмотря на идеологические различия, на коренные различия в мировоззрении, так как на ленинградской сессии не было и не могло быть апологетов фашизма, людей с антикоммунистическими взглядами. А прогрессивным писателям Запада — ибо в Сообщество входят лишь прогрессивно мыслящие литераторы — было очень полезно встретиться с советскими писателями, познакомиться с жизнью Советского Союза, с огромным размахом строительства коммунизма. Многие из представителей капиталистических стран задумались над выступлениями социалистических писателей и стали яснее понимать, что такое социализм. Они видели, слышали, пережили и испытали очень многое, и каждый из них что-то из всего

ГАБОР ТОЛНАИ
О СУДЬБАХ РОМАНА

этого усвоил в зависимости от степени прогрессивности своей собственной позиции, что-то почерпнул для себя, сделал своим.

Хочу привести лишь один пример. В английской делегации на сессии были крупные писатели, по своему мировоззрению стоящие очень далеко от социалистических взглядов. Но пребывание в Советском Союзе заставило и их в чем-то переменить свое отношение к социализму. Я мог бы привести в подтверждение несколько частных разговоров с этими писателями, но, мне кажется, лучше сослаться на выступление заместителя председателя Сообщества Джона Лемана на ленинградском симпозиуме. Говоря о французском «новом романе», Леман сказал:

— Порой мне кажется, что мы, в Англии, понимаем русских лучше, чем французов.

Может быть, это касается только эстетики? Замечание сделано, безусловно, в эстетическом, литературно-критическом плане, но разве за этими словами не чувствуется нечто гораздо большее? Это слова человека, который ищет истину, пути сближения, и вызваны они, конечно, тем, что видел, что слышал и перечувствовал этот представитель западной интеллигенции в Советском Союзе. Еще в прошлом году во Флоренции Джон Леман не произнес бы таких слов. Там он тоже сделал заявление, но звучало оно совсем иначе.

Сессия Европейского сообщества писателей, проходившая в Советском Союзе, была крупным шагом вперед по пути сближения между писателями Европы, принадлежащими к самым разным литературным направлениям и мировоззрениям, большим вкладом в дело мира. Пребывание в Советском Союзе дало возможность большому количеству прогрессивных писателей воочию убедиться в гигантской силе социализма, но это еще не все: ленинградская сессия создала дальнейшие возможности для идеологического наступления в условиях мирного сосуществования, того самого идеологического наступления, которое и дальше будут вести писатели стран социализма. Начавшаяся дискуссия еще не привела к желаемому результату, к обращению собеседников в нашу веру. Но наиболее чуткие из буржуазных писателей, присутствовавших на совещании, уже начали мыслить в верном направлении. У них возникли сомнения в правильности прежней позиции.

И, наконец,— и это уже не мало — встреча в Ленинграде содействовала взаимному пониманию позиций друг друга, проложила путь к дальнейшему расширению творческих связей.

■

Уже закончилось ленинградское совещание, в Москве прошли пресс-конференция, встреча писателей с читателями, на которой участники сессии Сообщества имели возможность беседовать с большой группой московских трудящихся, когда нам сообщили, что Никита Сергеевич Хрущев пригласил членов руководящего Совета Европейского сообщества писателей и глав некоторых делегаций к себе на дачу близ Гагры.

В безоблачный солнечный день прилетели мы на Кавказ. Вошли в калитку, пошли по аллее большого сада и увидели идущего нам навстречу хозяина дачи. Но еще до того, как Алексей Сурков представил всех нас, простое и любезное обращение, приветливая улыбка Никиты Сергеевича покорили нас, исчезла натянутость. Мы почувствовали себя почти как дома, как будто приехали к старому другу. А может быть, пропала наша натянутость именно потому, что мы знали, у кого мы находимся в гостях. Теперь, когда я пробую записать свои впечатления на бумаге, мне думается, что именно так и было.

Знакомство состоялось, и Никита Сергеевич, взяв под руку Шолохова, повел нас к дому, выстроенному в современном стиле, провел по нижнему и второму этажам, как радушный хозяин, ввел в большую комнату, где и состоялся разговор. Из писателей больше говорили представители капиталистических стран: Джузеппе Унгаретти, Джанкарло Вигорелли, Жан-Поль Сартр, Джон Леман, а из представителей социалистических стран — Ежи Путрамент и Константин Федин. Выступления западных писателей подтвердили еще раз, что сессия Европейского сообщества дала очень хорошие результаты. Прогрессивные писатели капиталистических стран, поэты — в лирическом духе, остальные — в манере, более свойственной прозе, говорили о надежде на мир, о том великом бастионе мира, который создал советский народ с Никитой

Сергеевичем во главе и который из года в год становится все крепче, все могущественнее.

После выступления гостей заговорил хозяин. В комнате стояла тишина, писатели слушали затаив дыхание. Товарищ Хрущев приветствовал европейских писателей, среди которых есть люди разных мировоззрений, но объединяет их то, что они сумели найти общую платформу в борьбе за мир, против расовой дискриминации и фашизма. Дружественная атмосфера становилась все сердечнее, несмотря на то что Никита Сергеевич говорил прямо и открыто, временами даже резко. Он сказал много интересного, но больше всего запомнилась его мысль о том, что правящие круги капиталистических стран представляют себе мир совершенно иначе, чем народы социалистического лагеря. Никита Сергеевич говорил и о недавних провокациях империалистов, в том числе и о венгерской контрреволюции 1956 года, в связи с чем дал глубокий анализ утонченных методов, к которым прибегают враги социализма. В Венгрии контрреволюционеры пытались свалить народную власть и делали это, лицемерно используя имя великого революционного венгерского поэта XIX века Шандора Петёфи. Повторяя это имя, они выступали против народной демократии и убивали коммунистов. Говорил Никита Сергеевич и о кризисе в Карибском море, ликвидация которого создала возможность переговоров, а переговоры — как он сказал — привели к подписанию договора об атомном перемирии.

— Есть основания надеяться,— сказал Н. С. Хрущев,— на то, что вслед за подписанием Договора о прекращении испытаний ядерного оружия последуют и другие соглашения.

После окончания беседы мы вышли в парк и продолжали там во время прогулки вести дружескую беседу, потом нас пригласили к обеденному столу. Отдавая должное прекрасным кушаньям и винам, мы не прекращали живого разговора. Первым поднял бокал Шолохов, на тост которого ответил хозяин, призывая писателей продолжать борьбу за сближение народов, за дружбу, за мир.

После обеда Никита Сергеевич попросил Александра Твардовского прочитать недавно законченную им сатирическую поэму. Твардовский стал читать, а присутствующие несколько раз заглушали его голос громким смехом. Чтение поэмы продолжалось более часа, замечательное произведение советского поэта увлекло всех присутствующих.

В шестом часу вечера мы распрощались с Никитой Сергеевичем, который проводил нас до самых ворот. Он продолжал махать нам обеими руками, пока мы не исчезли из виду, завернув за деревья.

Мы сели в автобус, и нами овладело чувство какой-то скованности, как это уже было перед встречей с Никитой Сергеевичем. Но теперешнее наше состояние все же не было похоже на то, что мы чувствовали до встречи. В автобусе я оказался случайно рядом с Симоной де Бовуар. Это был первый мой разговор с ней, говорить мы начали только через четверть часа. Французская писательница рассказала мне о своих друзьях молодости, двух венграх; они оба погибли от руки фашистов. Один из них служил во французской армии и пал на фронте, сражаясь против немецкого фашизма, другой погиб у себя на родине в Венгрии за несколько дней до освобождения страны от фашизма. Те, о ком говорила Симона де Бовуар, были моими друзьями, оба литераторы — писатели, критики, литературоведы. Вспомнив о них, мы снова замолчали.

Я посмотрел на лица моих спутников в автобусе. Я уверен, что все думали примерно то же самое, что и я: какое счастье, что мне выпало на долю побывать в этом чудесном саду, что я могу работать на пользу самого святого для человечества дела — бороться за мир и социализм!

ГЛАВНЫЙ ФРОНТ

В течение нескольких месяцев на страницах многих польских журналов и газет проходила большая дискуссия по идеологическим вопросам. Непосредственным поводом к этой дискуссии послужила книга историка и публициста **Збигнева Залуского «Семь главных польских грехов».** Автор книги рассматривает как первоочередную идейно-политическую задачу воспитание общества и прежде всего молодого поколения в духе ответственности за судьбы страны и народа, в духе преданности высоким общественным идеалам. Одним из важнейших воспитательных факторов Залуский считает историю народа.

> «История является могучим моральным оружием. Чаще, чем философия и этика, дает она обыкновенному человеку ответы на вопросы о смысле человеческого существования, о необходимости и целесообразности общественной деятельности, о достойных подражания примерах человеческого поведения».

Анализируя семь эпизодов польской военной истории Залуский резко полемизирует с теми писателями, публицистами, деятелями кино, в произведениях которых проявилось пренебрежение к историческому прошлому польского народа и его военным подвигам, с теми, кто считает безрассудным и бессмысленным мужество участников социальных и национально-освободительных битв, закончившихся поражением, кто «прозвал самоотверженность — самоотвержением, героизм — геройствованием».

> «Ирония над усилиями и жертвами минувших поколений,— пишет Залуский, —не воспитывает людей социализма, которые должны быть движущей силой и субъектом истории. Она воспитывает пассивный объект исторических процессов, узких эгоистов, пораженных равнодушием, трусливых и безвольных»

По вопросам, затронутым в книге Залуского, в ходе дискуссии были высказаны самые разнообразные мнения. Большинство участников дискуссии пришло к выводу о том, что в деле социалистического воспитания необходимо использовать прогрессивные исторические традиции социальной и национально-освободительной борьбы, традиции, из которых выросло революционное рабочее движение, и под этим углом зрения оценивать героизм, мужество и самопожертвование, проявленные как на поле битвы, так и в других областях деятельности. Однако некоторые участники дискуссии иначе интерпретировали позицию Залуского. Крайне отрицательную оценку книги дал, например, писатель К. Козневский.

Итоги продолжительной дискуссии были подведены в обширной редакционной статье газеты **«Трибуна люду» — «Спор о социалистических идеалах воспитания».**

> «Актуальность проблемы,— указывается в статье,— не подлежит сомнению. Развитие социалистического сознания народа является составной частью строительства новой Польши...
>
> Мышление категориями государства и народа, готовность к действию во имя высших общественных интересов — это ценные качества, которые мы должны заботливо развивать и воспитывать».

Может ли история дать удовлетворительный ответ на вопрос «о смысле жизни, о целях и ценностях человеческой жизни, о сфере обязанностей человека и границах его свободы, о моральных критериях и ценностях»? — как об этом пишет Залуский. Признавая за историей бесспорное воспитательное значение, «Трибуна люду» в то же время решительно подчеркивает:

> «Наиболее сильно, глубоко и непосредственно формирует психику народа и его общественный, моральный, политический облик — современность... Традиции, примеры, образцы прошлого только тогда приобретают творческую силу и существенно влияют на воображение и поступки людей, когда они созвучны сегодняшним идеалам народа, когда их «призывает» современность».

Понятие героизма сегодня, говорится в статье, неразрывно связано с трудом. Важнейшим источником духовной мобилизации народа, его политической, общественной, патриотической активности является строительство социализма.

Одной из главных задач ПОРП, партийной интеллигенции, работников культуры, подчеркивает «Трибуна люду», является распространение, внедрение в жизнь высоких идейно-моральных образцов, повышение уровня социалистического сознания и социалистической этики во всех слоях общества, а особенно среди молодежи. Эту задачу газета призывает решать с учетом происходящего в мире соревнования двух общественных систем.

> «Перспектива развития нашей страны неразрывно связана с той главной битвой за будущее мира, которая в нашу эпоху идет между двумя общественными системами и двумя образами жизни — социалистическим и капиталистическим. Эта борьба, являясь наиболее существенным содержанием нашего времени, глубоко пронизывает международные отношения, жизнь каждой страны, каждого народа, почти все области человеческой деятельности: экономику и технику, науку и культуру, идеологию и воспитание. Никто не может быть здесь посторонним наблюдателем, каждый, хочет он того или не хочет, становится участником этого исторического соревнования
>
> Мирное сосуществование социалистических и капиталистических государств не только не смягчает этой борьбы, а, наоборот, заостряет ее».

Для успешного воспитания народа в духе социализма, говорится в статье, необходима решительная борьба с буржуазной идеологией, с философией трагического одиночества человеческой личности, оторванной от общественной почвы, с литературой, проникнутой пессимизмом, ощущением бессмысленности жизни и человеческих стремлений. Участники дискуссии указывали на разные причины морального нигилизма, пренебрежения к общественной деятельности, безыдейности среди части польского общества: влияние приспособленческой мещанской идеологии, бездушный бюрократизм и даже пацифизм и «гуманитаризм» предвоенной интеллигенции. Но, как справедливо отмечает «Трибуна люду», от внимания многих из них ускользнули попытки буржуазии начать наступление ревизионистской идеологии на позиции социализма в период, когда «социалистический мир отбросил культ личности Сталина». Эти попытки связаны с тенденцией очернить и зачеркнуть все достижения в строительстве социализма в предшествующий период.

> «...призыв к осуществлению общественных идеалов пытались определить как «пустую болтовню»... «Черная», а часто и очерняющая действительные достижения Народной Польши литература и публицистика получили кое-где право голоса... пытались доказать, что идеологию социализма (ее даже называли «мифология») нельзя примирить с подлинной наукой... Ревизионизм, который в политике вел к бесплодному отрицанию, способствовал дезориентации, бегству от социалистических идеалов, освобождал место для крайнего индивидуализма, декадентства и цинизма, создавал благоприятную почву для многих явлений, справедливо осужденных автором «Семи главных польских грехов». Из этих же источников черпали вдохновение авторы «черной» литературы и певцы катастрофических видений атомного века, когда якобы не стоит заботиться о будущем...
>
> Без борьбы с этими взглядами, без ликвидации источников этих настроений нельзя успешно прививать социалистическое сознание, патриотизм, волю к действию и труду для родины».

Останавливаясь на дискуссии вокруг книги «Семь главных польских грехов», «Трибуна люду» отмечает, что З. Залуский начал такую борьбу на одном из участков, взяв за исходный пункт отношение к традициям национально-освободительного движения польского народа.

В статье критикуются взгляды К. Козневского, который считает, что «равнодушие и пренебрежение сегодня можно наблюдать у молодежи всех цивилизованных народов», и выступление К. Т. Теплица, по мнению которого «извлечение на свет божий военных заслуг и героических деяний многолетней давности и совсем недавних не имеет другого смысла, кроме чисто мемуарного». Утверждая, что З. Залуский пропагандирует «образец солдата» как наиболее актуальный ныне педагогический образец, К. Т. Теплиц писал: «Это совершенно бесполезный труд. Современный мир или сделает образец солдата совершенно анахроничным или, настаивая на нем, перестанет существовать».

> «В реально существующей ситуации,— пишет «Трибуна люду», полемизируя с Теплицем,— и наше государство, находящееся в лагере решительных противников войны, не может отказаться от армии, не только технически современной, но и надлежащим образом вооруженной морально и политически, воспитанной на наших лучших военных традициях».

Обращение к традициям национально-освободительной борьбы народа имеет огромное воспитательное значение.

> «Если мы специально подчеркиваем роль современности в формировании сознания, морали и идеалов нашего общества, то не для того, чтобы уменьшить значение традиций национально-освободительных битв, а для того, чтобы определить их настоящее место среди наших воспитательных задач, особенно применительно к молодому поколению».

Подробно анализируя далее исторические примеры, приведенные в книге Залуского, «Трибуна люду» упрекает автора в том, что он сводит к общему знаменателю преданность идеалам, верность, самоотверженность, личное мужество, достоинство и гордость и неоднородные по своему социальному содержанию эпизоды военной истории Польши.

В заключительной части статьи «Трибуна люду» указывает, что дискуссия вокруг книги З. Залуского не раз уходила в сторону от главного направления идеологической борьбы и работы над формированием социалистического сознания народа, и формулирует задачи партии по сосредоточению усилий на главном фронте идеологической борьбы:

> «Главный фронт — там, где стремятся подорвать веру в будущее, в правильность нашего социалистического пути и привить чувство неполноценности по отношению к Западу; там, где предпринимаются попытки умалить или очернить огромное достижение народной власти и ослепить наших людей неоновым блеском богатства экономически высокоразвитых стран Запада, богатства, выжатого из колониальных народов и накопленного за те сто или двести лет, когда наша страна была отсталой, когда ее грабили иноземные захватчики, опустошали войны. Главный фронт проходит на стройках пятилетнего плана, там, где продолжается рассчитанное еще на много лет и в конечном итоге решающее экономическое соперничество с капитализмом, где необходимы упорство и дисциплина в преодолении трудностей и моральная мобилизация народа на дело развития производительных сил, технического прогресса, воспитания квалифицированных кадров, повышения уровня хозяйствования и уровня жизни.
>
> Главный фронт там, где неуклонно продолжается укрепление политической и идейной солидарности международных сил социализма, укрепление единства социалистического содружества народов, где закладываются основы общего экономического могущества и общей оборонной мощи, способной спасти мир от термоядерного пожара.
>
> На этих решающих направлениях наступления мы должны сосредоточить и все интеллектуальные и моральные силы партии и народа».

«ЦЕНЗУРА, ЗАПРЕТЫ, НАВЯЗАННОЕ МОЛЧАНИЕ...»

Словно сквозь тюремную решетку доносятся в мир голоса прогрессивных деятелей Южно-Африканской Республики. Так звучит и открытое письмо иоганнесбургской писательницы **Надин Гордимер,** напечатанное в английском журнале **«Энкаунтер»** и рассказывающее о новых преследованиях, которыми расистское правительство старается задушить всякую свободную мысль в стране.

Цензурные рогатки существуют здесь издавна. Произведения таких талантливых писателей, как Питер Абрахамс, Гарри Блум, Ханс Хофмейер, Дафни Рук, Эзекайл Мпашлеле и сама Надин Гордимер, запрещены на их родине. Но и этого показалось мало силам реакции. Прежняя цензура заменена еще более строгой, непримиримой и всеобъемлющей системой запретов, сформулированных в законе об издании книг и о развлечениях (1963).

Об этом законе и рассказывается в письме.

> «Почему запрещены наши книги?» — спрашивает Надин Гордимер и отвечает:
>
> «В недавних парламентских дебатах защитники нового закона с такой утомительной настойчивостью призывали оградить молодые умы от «засорения грязью», что можно было подумать, что речь идет о порнографических сочинениях. Между тем из упомянутых мною писателей никто не затрагивает сексуальную тему специально, ради «клубнички», а двое вообще не касаются этого вопроса в книгах, которые были запрещены».

И дело здесь вовсе не в заботе о чистоте нравов.

> «Хотя министр внутренних дел и националисты, члены парламента, не говорили о политических причинах введения цензуры, однако эти книги, как и вообще *все* без исключения запрещенные произведения южно-африканских писателей, запрещены по причинам политическим — из-за несогласия авторов с образом жизни в Южной Африке, которая целиком подчинена писаным и неписаным законам апартеида».

Собственно, вне стен парламента власти и не скрывают своих истинных мотивов. Надин Гордимер указывает, что ей «соизволили объяснить, почему запрещена» ее книга: по мнению властей, она «подрывала традиционную расовую политику республики».

> «И это правда,— горячо соглашается писательница,— правда, не имеющая ничего общего с их благоговейной заботой о молодых умах; и угрозу они видят вовсе не в циничной брани; для них опасно, что молодежь может начать думать и под влиянием книг возвысится до сомнения в правильности образа жизни, который ее заставляют вести».

Ведь не случайно запрещены главным образом дешевые, массовые издания, в то время как те же книги в роскошных переплетах допущены к продаже.

> «Видно, предполагается,— продолжает автор письма,— что богатые (богатые-белые) живут слишком хорошо, чтобы

желать изменений в «традиционной расовой политике республики», в то время как бедные (бедные-черные) могут, вероятно, поддаться любому соблазну «подорвать» эту политику».

Надин Гордимер считает, что старая система цензуры не удовлетворяла правящие круги, так как не имела достаточно широких полномочий и, в частности, не распространялась на книги, изданные внутри страны. А отныне:

«все, что издается в стране, будет подвергаться цензуре наравне с изданиями, ввозимыми извне; специальный Контрольный совет при министре внутренних дел будет решать, что можно и чего нельзя читать южно-африканцам».

Что же это за «совет»?

Он состоит из девяти человек, которые хотя и решают все вопросы культуры и искусства, но по инструкции не обязательно должны быть специалистами в этой области; зато они назначаются лично министром, и для наложения запрета достаточно решения всего трех членов «совета».

Писательница не питает иллюзий по поводу будущей линии этого органа:

«Фактически, вопрос о том, читать или не читать южно-африканцам то или иное произведение литературы, будут решать три лица, назначенные министром, причем ни от кого из них не требуется даже сомнительной квалификации, и литературное суждение будут выносить просто «судейские чиновники», наделенные какими-то «специальными знаниями, т. е. обыкновенные полицейские.

Но и этого мало!

«Уплатив определенную сумму, любое лицо в любое время может представить на рассмотрение «совета» книгу, которую *оно*, это лицо, считает необходимым запретить».

Надин Гордимер не может сдержать возмущения при мысли о том, что «любой истерик, дурак или политический осведомитель имеет широчайшие возможности сводить личные счеты, уверенный, что к нему прислушаются».

Какие же книги считают «нежелательными» правители Южной Африки?

Автор письма перечисляет все, что объявляется «непристойным, оскорбительным или вредным для общества», и вновь убедительно доказывает реакционную расистскую сущность нового закона. Она выделяет курсивом пункты, запрещающие «подвергать осмеянию и презрению какую-либо часть населения» или «вредить отношениям между различными слоями населения», а также пункты, осуждающие «отклонения от личных или общественных норм поведения, то есть *дегенерацию*».

«Мой курсив,— поясняет писательница,— служит здесь напоминанием, что расовые законы страны и традиционная расовая политика таковы, что любая связь между белыми и цветными — общественная или интимная—может быть истолкована как «отклонение от личных или общественных норм поведения, то есть дегенерация»; точно так же с точки зрения практических и идейных целей апартеида любое общение между расами считается вредным, а критика или сатира в адрес этой своеобразной идеологии запросто толкуется ее защитниками как «издевательство или презрение».

Новая система цензуры носит поистине всеобъемлющий характер: она оплетает своей паутиной не только книги, но и каждый журнал или газету, каждый кинофильм или пьесу, все выставки и любые зрелищные предприятия. Что же касается периодических изданий, то Надин Гордимер с горьким юмором замечает, что правительство

«и без нового закона успешно расправляется с радикальными, левыми и либеральными органами печати (ко времени опубликования этого письма исчезнут, наверное, последние издания); и делается это крайне просто — редакцию оставляют без сотрудников: прежде всего пускают в ход «антикоммунистический закон», лишающий членов компартии права сотрудничать в издательских организациях, а затем — общий закон, запрещающий неугодным правительству журналистам «заниматься своей профессией».

Но при новом законе эта политика затыкания ртов приобретает еще невиданный размах.

«Затыкание ртов по закону создает совершенно немыслимое положение,— пишет Надин Гордимер,— когда более чем ста двум лицам запрещено какое бы то ни было общение с публикой, будь то в устной или в письменной форме, или хотя бы в виде цитат из их произведений. Среди этих людей двенадцать журналистов и два или три писателя; число в данном случае не имеет значения, ведь, даже если речь идет об одном, все равно этот закон являет пример ограничения свободы писателей, которому нет равного. Те, кому заткнули рот, не имеют права публиковать *ни единой строчки* как бы далеки от политики ни были их произведения. Это означает, что не будут печататься ни поэт Денис Брутус, ни романист Алекс ла Гума, который сейчас находится под круглосуточным домашним арестом».

И после всех этих полицейских репрессий каким издевательством звучат пункты закона, разрешающие авторам «в течение 30 дней после запрещения их книг апеллировать к Совету»!

«Так как книга может быть запрещена по любому доносу, в любое время,— с негодованием пишет Надин Гордимер,—

и об этом никто не ставит автора в известность, а просто сообщают в газете, то 30 дней могут пройти раньше, чем автор узнает о запрещении. Кроме того, апелляция — это баснословно дорогая привилегия, которая дарует вам право всего лишь защищать произведение, уже осужденное без суда и следствия».

Писательница глубоко обеспокоена тем, что эти драконовские меры обескровят африканскую литературу:

«Некоторые из молодых писателей начинают уже задыхаться в литературной атмосфере, которая игнорирует насущнейшие, реальные проблемы жизни страны...»

Скоро это почувствуют не только беллетристы.

«Авторы социологических, исторических, политических исследований, ученые, мемуаристы, биографы — все поймут, что никто больше не свободен изображать подлинную картину жизни и общественной мысли Южной Африки...

Цензура, запреты, навязанное молчание. Писатели моей страны скоро станут преследуемыми изгоями...» — с возмущением восклицает Надин Гордимер.

Что же делать? «Кто будет печатать книги», которые не втискиваются в «благонамеренные» рамки, предписанные расистами?

«Что будет с читателями? С теми миллионами людей — от профессоров до детишек, обучающихся азбуке,— для которых свободный выбор книг означает приобщение к мировому наследию мыслей, знаний и творческих исканий».

Им, конечно, остаются классики, хотя в письме подчеркивается, что цензура «обезглавила великих писателей всех времен и народов». Но ведь людей волнуют насущные идеи современности и судьбы их собственной страны.

Надин Гордимер клеймит южно-африканское правительство,

«которое всячески стремится уверить мир в своем желании развить цивилизацию отсталых африканских народов, а на самом деле подавляет первые доказательства того, что некоторые африканцы уже полностью достигли интеллектуального уровня цивилизованного мира. Запрещены почти все книги, принадлежащие перу чернокожих южно-африканцев, которые описывают современную жизнь своего народа,— это автобиография Питера Абрахамса, очерки Э. Мпашлеле, книги Элфреда Хатчинсона и Тодда Мачакиза, антологии африканской литературы ..»

Писательница с тревогой отмечает, что далеко не вся африканская интеллигенция готова встать на защиту преследуемых прогрессивных деятелей: на пути к объединению сил стоят антикоммунистические настроения, обывательский страх перед силами прогресса, сознательно культивируемые властями.

«Вопрос об отношении к писателям и журналистам, которым заткнули рты, не так-то прост,— пишет она,— ибо все они — левые, некоторые считаются коммунистами, и это отпугивает отдельных людей и многие организации. Здесь снова проявляется древний парадокс: люди готовы драться за свободу, писать то, что хочется им, но не уверены, что этой свободой должны пользоваться и те, кто хочет писать с иных позиций».

Надин Гордимер предостерегает тех африканских писателей, которые думают, что цензура коснется только других:

«Те, кто молчанием встречает это затыкание ртов, опомнятся слишком поздно, и тогда они убедятся, что свобода одна для всех и что ее будут лишены не только безвестные левые писатели, но и они сами».

Писательница не предлагает никаких специальных мер борьбы, но письмо ее звучит глубокой болью и тревогой за судьбы культуры и литературы Южной Африки, за тех талантливых и прогрессивных писателей, которым не дают говорить «от имени чернокожих африканцев, от имени всех тех, кто не имеет голоса в парламенте, не смеет решать, какой образ жизни подходит им».

ДОКУМЕНТЫ

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ПО СЛЕДАМ «РЕПОРТАЖА С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ»

Потрескавшаяся штукатурка или обшарпанная лестница, надпись в подъезде, захватанные перила, дворик и старая урна... Если бы они могли дать свои свидетельские показания! О самых простых вещах, например, о человеческом мужестве или о нищете.

Когда-то мы снимали квартиру в том доме, где более ста лет назад жила Божена Немцова. Еще мальчуганом, сбегая по лестнице, я часто думал, что ведь и она спускалась по ней... И это казалось мне странным, удивительным. Вот эти камни, думал я, помнят ее лицо, походку, наклон головы, они наверняка чувствовали на себе ее дыхание, тяжелое и учащенное. Порой я брал метлу и подметал лестницу. Осторожно и заботливо.

На такие дома вешают потом мемориальные доски. Лестница и старые урны молчат, мемориальную доску украшают цветами и даже, случается, около нее декламируют стихи.

Но лестница по-прежнему таит свои воспоминания. И дворик тоже. А с ними вместе и потрескавшаяся штукатурка, и перекладина, на которой выколачивают ковры.

У каждого дома есть свои тайны. Большие и малые.

■

Неподалеку от площади в Дейвицах стоит высокий вполне современный жилой дом. Широкие окна смотрят на противоположную сторону улицы. Где-то там, за линией домов — парк Стромовка. И Влтава, отливающая серебром. Она течет медленно, не спеша. А в сотне или двух сотнях метров от этого дома высится здание отеля «Интернационал».

Тогда его еще тут не было.

Тогда здесь тянулся заросший бурьяном пустырь, за ним — пара домишек и крутой склон.

Тогда мимо пустыря еще проезжали гестаповские машины.

В этом доме жил Юлиус Фучик. Наверху, почти под самым чердаком, и его окно поэтому глядело вдаль. Его библиотеки здесь уже нет. Она исчезла. Его костюмов здесь уже нет. Они исчезли. И самого его уже нет здесь. И все же...

■

Я знаю писателей, которые сочинили десятки книг, но о которых уже через несколько лет после смерти никто не помнит. Никто. Разве что литературоведы. Но ведь книги пишутся не для историков литературы.

Собственно, что такое бессмертие?

Великое искусство? Произведения, которые читают люди? Имя автора, жирным шрифтом напечатанное в энциклопедии?

Один мой знакомый любит повторять: попасть в энциклопедию не так уж трудно, удержаться в ней куда сложнее.

Из окна Фучика было видно далеко. Здесь он писал свои репортажи, статьи и фельетоны. По улицам расползался поднимавшийся от Влтавы туман; в окнах напротив зажигался свет; солнце опускалось за ганспаульский холм.

Его книги были уничтожены в гестапо. Его жизнь, можно сказать, кончилась там же. Когда началось его бессмертие? В момент ареста? Или когда он написал первое слово своего «Репортажа с петлей на шее»?

Нет. Величие человека не может измеряться одной лишь героической смертью. Потому что до нее была целая жизнь. И в ней, в этой такой переменчивой и

всегда до самых краев заполненной жизни, рождалось нечто, имя чему — мужество.

Письменный стол в дейвицком доме осиротел.

Камера номер 267 в Панкрацкой тюрьме ожила.

Товарищ Фучика по заключению «папаша» Пешек позднее рассказывал (цитирую по «Воспоминаниям» Густы Фучиковой):

«Однажды в нашу камеру швырнули страшно избитого человека, скорее, человеческие останки. Это был Юльча Фучик. Он был в таком состоянии, что казалось, не протянет и дня. От головы до пят сплошные кровоподтеки, все тело синее. Лежать он мог только на животе. Говорить не мог...»

На что только не способен выродок, называющий себя человеком... Бить, пинать, топтать другого, выбить ему зубы, изуродовать лицо, отбить внутренности, плевать на него, унижать. Пытать и мучить.

На что только не способен человек? Быть мужественным. Честным и непоколебимым...

Однажды в тюремной камере Фучик начал писать. Как это могло произойти? Куда он девал исписанные листки? Кто выносил их из тюрьмы? Что с ними стало потом? Кто их прятал?

Вопросы, вопросы, вопросы...

Ответ на некоторые из них мы знаем уже давно. На другие ответа нет до сих пор.

■

12 июня 1945 года Густе Фучиковой прислал письмо инженер Владимир Казда. В сущности это был ответ на опубликованное в газете «Руде право» 9 июня 1945 года обращение к читателям сестры Фучика Л. Нахтигаловой. Она просила сообщить, не знает ли кто-нибудь новых фактов о Юлеке.

Откликнулся — как уже было сказано — инженер Казда, который весной 1944 года встречался в тюрьме с «папашей» Пешеком. Пешек рассказал Казде и о том, что Фучик в тюрьме писал.

«В то время Фучик, по словам школьного директора Пешека, неоднократно говорил о каком-то Клецане и немецком надзирателе Колинском. Клецана — насколько я помню — он лишь критиковал за его поведение на допросах. Что же касается Колинского, то Фучик просил запомнить, что он давал ему прятать свои записи и заметки, написанные в камере. По словам директора Пешека, речь шла о размышлениях Фучика на политические темы, и о фактических сведениях относительно обстановки в тюрьме, и об отдельных людях. Возможно, там было и его завещание коммунистической партии. Фучик, разумеется, понимал, что его ждет смерть. «Папаша» Пешек несколько раз просил меня, чтобы в случае, если сам он умрет, я заявил в соответствующих инстанциях о записках Фучика и постарался их сохранить. Настоящее сообщение я делаю в первую очередь для того, чтобы можно было продолжить розыски Колинского и записок Фучика...»

Поскольку «папаша» Пешек умер в 1945 году, вскоре по возвращении из тюрьмы, информация инженера Казды была первым сигналом, который обратил внимание на литературную деятельность Фучика в тюрьме.

■

Густа Фучикова в своих «Воспоминаниях о Юлиусе Фучике» пишет: «Я вспомнила, как в Четырехсотке незадолго до ее ликвидации, в январе 1943 года, Юлек сказал мне: «Густина, я на Панкраце пишу».

Я спросила: «А кто выносит?» «Один надзиратель — немец», — прошептал Юлек. Я тихо сказала ему: «Будь осторожен». Он ответил: «Человек надежный».

Больше я ничего не знала...»

■

На его багровом продолговатом лице — ожидание. Глаза чуть беспокойные. Им немало пришлось пережить. Они видели смерть и много страданий.

Адольф Колинский — бывший надзиратель в немецкой тюрьме.

Мы садимся за обыкновенный стол, покрытый белой скатертью. В вазочке — несколько роз и гвоздика. В стороне — телевизор, маленькая полка со школьными тетрадками. Дочь ходит в школу.

Он говорит медленно, но без особого затруднения. Как бы вылавливает из памяти слова. Кухня наполняется его голосом, в котором минутами звучат хрипловатые нотки...

■

...В «Репортаже с петлей на шее» есть главка, которая называется «Колин». Юлиус Фучик пишет в ней:

«Дело происходило однажды вечером, во время осадного положения. Надзиратель в форме эсэсовца, впустивший меня в камеру, обыскал мои карманы только для виду.

— Как ваши дела?

— Не знаю. Сказали, что завтра расстреляют.

— Вас это испугало?

— Я к этому готов.

Привычным жестом быстро ощупал полы моего пиджака.

— Возможно, что так и сделают. Может быть, не завтра, позже, может, и вообще ничего не будет... Но в такие времена... лучше быть готовым...

И опять замолчал.

— Может быть... Вы не хотите что-нибудь передать на волю? Или что-нибудь написать? Пригодится — не сейчас, разумеется, а в будущем.

Как вы сюда попали, не предал ли вас кто-нибудь, как кто держался... Чтобы с вами не погибло то, что вы знаете...

Хочу ли я написать? Он угадал мое самое пламенное желание.

Через минуту он принес мне бумагу и карандаш. Я тщательно их припрятал, чтобы не нашли ни при каком обыске.

А после этого не притронулся к ним.

Это было слишком хорошо — я не мог довериться. Слишком хорошо: здесь, в мертвом доме, через несколько недель после ареста встретить в мундире врага, от которого нечего ждать, кроме ругани и побоев, встретить человека, друга, протягивающего тебе руку, чтобы ты не сгинул бесследно, чтобы помочь тебе передать в в будущее то, что ты видел, на миг воскресить тебя для тех, кто останется жить после тебя. И именно теперь! В коридорах выкрикивали фамилии осужденных на смерть; пьяные от крови эсэсовцы свирепо ругались; горло сжималось от ужаса у тех, кто не мог кричать. Именно теперь, в такое время нельзя доверять, это не могло быть правдой, это, наверно, была только ловушка. Какой силой воли должен был обладать человек, чтобы в такой момент по собственному побуждению подать тебе руку! И каким мужеством!

Прошло около месяца. Осадное положение было снято, ругань стихла, страшные минуты превратились в воспоминания. Был опять вечер, опять я возвращался с допроса, и опять тот же надзиратель стоял перед камерой.

— Кажется, выкарабкались. Надо полагать,— и он посмотрел на меня испытующе,— все оказалось в порядке?

Я понял вопрос. Он глубоко оскорбил меня. Но и убедил больше, чем что-либо другое, в честности этого человека. Так мог спрашивать только тот, кто имеет внутреннее право на это. С тех пор я стал доверять ему, это был наш человек».

■

После обеда мы снова сели к столу. Колинский приготовил кофе, удобно расположился и начал рассказывать. Я обратил внимание на его руки, с широкими, могучими ладонями, непринужденно лежавшие на столе. Затем он поднялся. Когда ходишь — легче вспоминать. Он шагал по кухне, от окна к двери, сопровождая свои слова выразительными жестами.

— Я всегда был настороже, чтобы начальник тюрьмы гестаповец Соппа на чем-нибудь не поймал меня. Еще до Фучика я дал нескольким заключенным возможность писать. Начал с доктора Карела Бонди. Вторым был генерал Элиаш, бывший председатель правительства протектората. Нацисты его потом казнили. Каста, к которой он принадлежал, оказалась довольно трусливой. Я вынес из тюрьмы и его последнее письмо. Да, чтобы не забыть... Я спрятал и последние письма коммунистических журналистов Эдуарда Уркса и Вацлава Синкуле Достал им бумагу, карандаш... Они верили мне.

А потом моим подопечным стал Фучик. О нашем первом разговоре он написал в «Репортаже», не стану его повторять. Много прошло времени, прежде чем он поверил мне. Но однажды он остановился перед своей камерой, наклонился и тихонько говорит:

«Начнем, Колин. От вас будет зависеть, чтобы это никому не попало в руки. Мне-то уже хуже не станет, веревка обеспечена, сами знаете...»

«Никто ни о чем не догадается. Я буду осторожен»,— заверил я его. И мы начали.

— Когда это было? — прервал я рассказ Колинского.

— Точно даты не помню. Не записал. В подходящий момент я приносил ему в камеру несколько листков бумаги и карандаш. Потом обходил свой «участок» и, если все было спокойно, снова останавливался у камеры двести шестьдесят семь, где был Фучик, и стучал. Один раз. Он уже знал: все в порядке, можно писать. После этого я далеко не отходил, чтобы всегда быть наготове. Если мне нужно было куда-нибудь отлучиться или меня вызывали, я давал ему знать двойным стуком. Это означало, что нужно все спрятать.

— И сколько он успевал за день написать?

— Как когда. Иной раз пять листков, иной — два или три. Порой мне приходилось чинить ему карандаш, это когда удавалось написать побольше. Кончив, он отдавал мне исписанные листки, и я относил их в уборную. Там был бойлер, или, попросту говоря, бачок. Я становился на унитаз и засовывал листки между бачком и стеной. Несколько дней они оставались там, а потом я прятал их за подкладку портфеля и выносил из тюрьмы. Вот, посмотрите, как я это делал...

Колинский берет портфель и все наглядно мне показывает. Он любит порядок. Есть в нем какая-то привычка делать всякое дело тщательно, на совесть...

■

...Снова открываю «Репортаж» и отыскиваю место, где Фучик пишет о Колинском. Читаю дальше:

«На первый взгляд — странная фигура. Он ходил по коридорам одино-

---

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ПО СЛЕДАМ «РЕПОРТАЖА С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ»

кий, спокойный, замкнутый, осторожный, зоркий. Никто не слышал, как он ругается. Никто не видел, чтобы он кого-нибудь бил.

— Послушайте, дайте мне затрещину при Сметонсе,— просили его товарищи из соседней камеры,— пусть он хоть раз увидит вас за работой.

Он отрицательно покачал головой:

— Не нужно.

Я никогда не слышал, чтобы он говорил по-немецки. По всему было видно, что он не такой, как все. Хотя трудно было сказать почему. Надзиратели сами чувствовали это, но понять, в чем дело, не умели.

Он всюду, где нужно. Вносит успокоение там, где поднимается паника, подбадривает там, где вешают головы, налаживает связь, если оборванная нить грозит опасностью людям на воле. Он не теряется в мелочах. Он работает систематически, с большим размахом.

Такой он не только сейчас. Таким он был с самого начала. Он пошел на службу к нацистам, имея перед собой ясную цель.

Адольф Колинский, надзиратель из Моравии, чех из старой чешской семьи, выдал себя за немца, чтобы попасть в надзиратели чешской тюрьмы в Краловом Градце, а потом в Панкраце. Немало, должно быть, возмущались им друзья и знакомые. Но четыре года спустя, во время рапорта, начальник гюрьмы, немец, размахивая перед его носом кулаками, с некоторым опозданием грозил:

— Я из вас вышибу чешский дух!

Он, впрочем, ошибался. Одновременно с чешским духом ему пришлось бы вышибить из него и человека. Человека, который сознательно и добровольно взялся за трудное дело, чтобы бороться и помогать борьбе, и которого непрерывная опасность только закалила».

■

Колинский продолжает:

— ...Нам с Фучиком приходилось вести себя осторожно. Очень осторожно. Он долго не писал, и бумаги я ему не давал... Один мой коллега — звали его Вайсснер — как раз в ту пору проговорился мне, что Соппа позвал их — то есть остальных надзирателей — и говорит:

«Вот будет веселенькая история, если вы этого Колинского не сумеете поймать с поличным...».

Зачем Вайсснер сказал мне это? Он пришел ко мне с просьбой: мол, к нему приезжает жена, так не могу ли я уступить ему свою комнату. На пару дней. Мы разговорились, и он — чтобы отблагодарить меня и получить мою комнату — все мне и выболтал.

Фучика продолжали возить на допросы, появлялись новые заключенные, других время от времени увозили в Германию, на смерть, все шло заведенным порядком... И вот однажды... Мне показалось, что все спокойно, было воскресенье, нигде ни души — я постучал в камеру Фучика, сунул ему пару листков, карандаш, и он снова принялся писать!

Сколько всего Фучик написал тогда листков, не знаю. Он нумеровал их, а я выносил и прятал в своей комнате. Но долго там оставаться они не могли. Что если вдруг обыск — перевернут все вверх дном, и их найдут...

Я поехал в Кралов Градец.

На то у меня было две причины. Во-первых, я вез в кармане часть исписанных Фучиком листков и оставил их там у знакомых. У них был собственный домик, и они могли спрятать листки. Другая причина? Я зашел к надзирателю — привратнику краевого суда по фамилии Еник — и решил попросить его, чтобы в случае, если его будут обо мне спрашивать, он не подвел меня своими показаниями. Дело в том, что, когда я служил в Градце, ко мне ходило много людей, у которых в тюрьме были близкие, и я им помогал. Надо было, чтобы Еник в случае чего показал, будто никогда никого у меня не видел...

Когда я все это Енику выложил, он ухмыльнулся и говорит:

«Это, брат Колинский, сущие бестии, они уже были здесь...»

«Гестапо?»

«Ну да. И допрашивали меня, не ходил ли кто к тебе».

«И что ты сказал?»

«Нет, мол, не ходили... Да не думай: не ради тебя, а ради себя. Они бы сразу же спросили: а почему ты своевременно не донес? И пришлось бы мне отдуваться вместе с тобой».

Недель через шесть я получил из Градца письмо от тех людей, у которых я спрятал листки Фучика. Просили, чтобы я приехал. Боялись... Они вернули мне все с извинениями, но что проку было в извинениях...

На некоторое время я оставил репортаж Фучика у одних людей в Потштейне, но и там он пробыл недолго. Неожиданно мои знакомые из Потштейна объявились в Праге и привезли с собой листки: спрячьте, мол, их в каком-нибудь другом месте. Впору было отчаяться. Тогда я отвез рукопись в Иглаву, к своей сестре. Зять работал стрелочником. Я и говорю сестре: «Слушай, спрячь для меня одну вещь. Когда-нибудь я к тебе за ней приеду»... Сестра согласилась.

А Фучик писал, листков становилось все больше.

Некоторые из них выносил и чешский полицейский Гора, который служил в Панкраце. Пару листков он передал пани Скоржеповой. Ее муж в ту пору тоже сидел в Панкраце, и я спросил его, не могу ли оставить пока эти листки у них.

Он согласился. Полицейскому Горе о записках Фучика я сказал сам. Это был надежный человек, помогавший мне. Иногда через проходную проносил листки он, а на улице, за углом, передавал мне, чтобы я присоединил их к остальным.

Но куда их все-таки прятать?

Тогда-то я и познакомился с Иржиной Заводской, у которой в Панкраце сидел дядя. От него я тоже носил на волю записки, передавал их Иржине. Однажды я и сказал ей, что таких вещей у меня много, не знаю даже, куда их прятать. Не поможет ли она мне? Она кивнула, и скоро мы начали регулярно встречаться: когда в трамвае, когда в трактире. Я передавал ей листки, и она отвозила их к своим родителям в Гумполец.

Чем это для меня кончилось?

Все-таки арестовали — это было в 1944 году,— заключили в Терезин и в сентябре 1944 года должны были казнить. Только мне удалось бежать, и до конца войны я скрывался в чешских семьях. Нацисты старались меня выследить, но не нашли. Из-за моего побега в Терезине даже расстреляли одного эсэсовца. В подполье я скрывался до мая 1945 года. О надзирателе Горе, который помогал мне, я больше ничего не знаю...

■

Говорит Иржина:

— Мой дядя пробыл в Панкрацкой тюрьме довольно долго. Сначала я поддерживала с ним связь через надзирателя Хоххаузе, который тоже помогал заключенным, но его через некоторое время перевели, и я стала думать, что же делать дальше.

Однажды, зимой 1942 года, я заболела и решила отлежаться у тетушки, на Качерове. Иначе я была бы совсем одна в квартире. Когда мне стало лучше, я вернулась домой, в Бубенеч. Под дверью я нашла письмо, написанное в тюрьме дядиной рукой. Он просил меня в определенный день — число я теперь уже не помню — зайти в ресторан Виноградского вокзала. Там меня должен был ждать человек, который положит перед собой на столик перчатки. Я могу передать ему все новости и еду для дяди.

Я очень нервничала и беспокоилась. Что, если мы не встретимся... В назначенный день — примерно в начале февраля — я поехала искать этот ресторан. В баре никого не было, в соседнем с ним зале тоже почти пусто, я прошла в следующий зал и уже не знала, что предпринять. Тут я заметила, что в самом конце есть еще одно помещение. Там сидел какой-то человек, перед собой он держал газету, так что лица его не было видно. На столе перед ним лежали мужские перчатки.

Это был он.

Домик Заводских в Гумпольце, куда их дочь привозила листки «Репортажа с петлей на шее».

Позже я узнала, что фамилия его Колинский.

Говорю ему:

«Я получила письмо... и вот пришла».

Он оглядел меня, кивнул, чтобы я села, и начал разговор. Мы условились, где будем встречаться и передавать друг другу: он — письма из тюрьмы, которые я должна доставлять близким; я — еду для заключенных.

Сколько раз мы встречались с ним — не счесть. Я служила тогда в одной канцелярии на Перштине, он часто заходил туда ко мне, но всегда в штатском — так я просила. Иногда мы встречались в трамвае, иной раз у бокового входа Панкрацкой тюрьмы.

Поскольку я развозила письма не только по Праге, но и в ее окрестностях, мне приходилось говорить в своей канцелярии, что я иду к врачу или на рентген. Когда погода стояла хорошая, все было в порядке. Но в дождь дело обстояло хуже. Межи превращались в жидкое месиво, ноги скользили, а ведь я ездила по деревням, чтобы достать еду и разыскать адресатов, которым должна была передать известия от их близких из тюрьмы.

Колинский доверил мне также связку исписанных листков и попросил где-нибудь их спрятать.

«После войны это будет иметь боль-

МИРОСЛАВ ИВАНОВ

ПО СЛЕДАМ «РЕПОРТАЖА С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ»

Сначала листки были спрятаны под углем в этом сарае...

...позже Максимилиан Заводский закопал их в землю под перекладиной.

(Фото автора)

шое значение,— сказал он.— Тут записки одного редактора-коммуниста. Нужно, чтобы они были в надежном месте...»

Я обещала выполнить его просьбу.

Дома я осторожно засунула листки за водопроводную трубу, затем перепрятала в вязанку дров, лежавшую в передней. А когда ехала на воскресенье домой, в Гумполец, захватила сверток с листками.

Так повторялось не раз. Колинский приносил мне новые листки, я отвозила их родителям.

■

Вытянувшиеся в длину возвышенности с одинокими клочками леса, равнина и снова холмы. Фырчит дизель. Осенний день. Серо-голубая даль затянута мглой, временами мы проезжаем мимо вспаханных полей, по которым прогуливаются фазаны. Ряды деревьев вдоль дорог похожи на грустные процессии, под березами вороха мокрых ржавожелтых листьев, в пруде отражается небо, испещренное полосами туч.

И снова холмы и откосы, трава еще зеленеет, но в цвете ее уже заметны следы какой-то болезненности. Липы стоят голые, под ними — облупившаяся статуя святого и стадо гусей.

Внизу, в долине, лежит Гумполец.

С площади нужно пройти по главному шоссе, свернуть направо, и окажешься на совсем узенькой улочке. Здесь, вдали от всех треволнений жизни, спрятался низенький домик. На нем номер — 234.

Просторный дворик, справа — дровяной сарай и несколько деревьев, слева — дверь в дом. Тут живет старая чета, родители Иржины.

Белая мебель, ветхая, давно вышедшая из употребления. Голубой в крапинку изразец камина, пышущего приятным теплом. У поддувала аккуратно сложена кучка щепочек для разжига, над плитой висит шесть цветастых глиняных кружек.

Так выглядят изнутри тысячи домов в Чехии. Через окно виден дворик; посреди комнаты стол, накрытый скатертью, собственно, это даже не скатерть, а нечто вроде клеенки — навощенное полотно с розочками и незабудками; на дворе квохчут куры, в доме тикают часы современного типа — старые с маятником вышли уже на пенсию.

— Иржина приносила много этих листков. Она всегда приезжала на воскресенье. А прощаясь, совала их мне в руку и повторяла: «Мама, тут снова кое-что тебе, спрячь куда-нибудь понадежнее...» У нас тогда хранилось завещание генерала Элиаша, письмо какого-то пана Бонди и, по-моему, еще листки Уркса. И наконец Фучика.

— Вы знали, кто он?

— Что вы! Дочка говорила «листки того журналиста». О Фучике мы и понятия не имели. Я прятала эти листки, но мне и в голову не приходило, что из них может получиться книга. Да еще такая знаменитая. Мы с мужем делали все это для несчастного, заточенного в тюрьму человека, а как его звали, об этом я никогда не спрашивала. Его листки я всег-

да читала... Частенько, бывало, и всплакнешь над ними... И только потом прятала вместе с остальными.

— Куда же вы их прятали?

— Ох, и страху же мы натерпелись! Сколько раз говорили себе, не безопаснее ли сжечь их, ведь дело-то могло стоить нам головы... да только... в конце концов оставляли все по-прежнему. Странички были величиной не больше листка туалетной бумаги, раньше мы просто складывали их в ящик стола, но Иржина сказала: «Какой же это тайник!» — и пришлось нам придумывать что-нибудь другое. Тут мы вспомнили про сарай, вы, наверно, заметили его во дворе, когда шли сюда. Я сделала свертоk, муж раскопал в куче угля ямку, и дело с концом! Позже мы перепрятали листки под крышу, потому что слышали, что когда гестапо приходит, то разгребают и уголь. Но под крышу затекало, и там тоже нельзя было их долго оставлять. А Иржина все привозила новые и новые, их накопилось уже много, помню, на них были проставлены номера, чтобы читать в правильном порядке.

Однажды мой старик и говорит:

«Надо их убрать оттуда, заплесневеют ведь...»

«Только вот куда?»

Добрый совет всегда ко времени. И тут меня осенило: надо вложить их в стеклянные консервные банки. Взяла я несколько штук, банок-то, листки мы свернули трубочкой и всунули туда, а под крышки я подложила резиновые кружочки, чтобы не прошла влага. Теперь только найти, куда спрятать банки.

«Ясное дело, в землю»,— говорит муж.

На дворике, у стены, где стоит перекладина для выколачивания всяких вещей и проветривания перин, вырыл он как-то вечером глубокую ямку, и мы закопали туда эти банки с листками. Было темно, никто нас не видел, мы старательно утоптали глину, принесли немного дерну; там и пролежали листки до самого мая 1945 года.

Потом уже не было ничего особенного. Муж выкопал банки — и представьте себе какое совпадение — аккурат в тот день пришел к нам один человек, говорит, что он Колинский и явился за листками. Ему мы их и отдали. И ничего никому не говорили Зачем хвастаться? Только раз, совсем случайно, уже лет через четырнадцать после войны, мы вспоминали об этом на юбилейном собрании Союза борцов-антифашистов...

■

...Когда подсчитали все листки, оказалось, что одного — обозначенного цифрой 91 — не хватает. Он куда-то затерялся.

Поэтому первое издание «Репортажа с петлей на шее» вышло без него. С тем же пропуском вышло и второе издание.

И только в 1946 году...

Густа Фучикова вспоминает: однажды она проводила беседу с молодежью в пражском районе Голешовице. После собрания к ней подошла девочка, вся красная от смущения, и призналась, что страничка с цифрой 91 у нее. Родом она из Гумпольца, и в тот день, когда пан Заводский выкопал герметически закупоренные банки, была у них в гостях. Девочка рассматривала разложенные на столе листки... В этот момент ее позвали домой. Один из листочков, тот, который она в ту минуту читала, она вложила в книгу и побежала скорее, чтобы дома не ругались. Потом забыла про него, книгу дала кому-то читать и, только когда ее вернули, обнаружила в ней этот листок.

Теперь она его возвращает.

Поэтому начиная с третьего издания текст «Репортажа с петлей на шее» печатается полностью.

■

И вот думаешь: что же такое бессмертие? На что только не способен человек? Как удается ему пережить и перерасти самого себя?

Вопросы, вопросы...

Если мой рассказ хотя бы в какой-то мере не дает ответа на эти вопросы, значит, он был написан напрасно.

В одной из глав «Репортажа» Фучик пишет: «Если слезы помогут вам смыть с глаз пелену тоски, поплачьте. Но не жалейте. Я жил ради радостной жизни, умираю за нее, и было бы несправедливо поставить на моей могиле ангела скорби».

Под последними словами книги дата — 9 июня 1943 года.

Потом оставалось только ожидать смерти. Но смерть на этот раз не означала конца. «Репортаж» живет и сегодня по всей земле. Книга эта как птица, как ветер — она несет людям прекрасную правду о несгибаемой воле и бессмертии коммуниста.

Перевод с чешского

В. КАМЕНСКОЙ и О. МАЛЕВИЧ

ПАМЯТИ СЛАВНОГО ДРУГА

(К 80-летию со дня рождения Альберта Рис Вильямса)

Когда писатель сегодняшнего дня, стараясь воссоздать перед собой живые картины бурных дней Октябрьской революции, перебирает бесценные документы и тома воспоминаний, внимание его всегда и надолго задерживается на двух удивительных книгах. Это «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида и это «О Ленине и Октябрьской революции» Альберта Рис Вильямса. Удивительные книги, которые и сейчас не утеряли своей свежести, злободневности, своего полемического задора и молодого боевого духа.

Об авторе одной из этих книг, Джоне Риде, у нас написано много. Автор другой книги, Альберт Рис Вильямс, в годы культа оставался в тени. Книга его не переиздавалась, хотя именно он первым из иностранцев попытался рассказать зарубежным читателям о Владимире Ленине и его великом деле и нарисовать обаятельный литературный портрет вождя российских большевиков, в те дни непонятного для многих и таинственного.

Этот отличный писатель-публицист, восьмидесятилетие со дня рождения которого будет отмечать литературная общественность, до конца жизни своей оставался великим другом первой в мире страны социализма.

— Там у вас, в Петрограде, в октябрьские дни началась моя новая биография,— сказал он мне при последней встрече в Нью-Йорке. И это не было пустой фразой.

Молодым человеком, подающим надежды журналистом с корреспондентским билетом нью-йоркских газет прибыл он в Россию почти сразу после Февральской революции. Первые же дни, проведенные в революционном Питере, первые же интервью, взятые у премьер-министра и рабочих заводов Петроградской стороны, у солдата, встреченного на вокзале, у женщины в очереди, позволили этому дальновидному янки сначала смутно почувствовать, потом угадать, что центр тяжести революции не во дворце, где заседало временное правительство, а на рабочих окраинах. Захваченный всем происходящим, он постепенно втягивается в революцию.

«Мы с Джоном Ридом, разумеется, в те дни, летом 1917 года, еще не могли угадать, куда мчится поезд русской революции. Но мы уже мчались в нем, жадно смотря на все, что открывалось перед нашими глазами...»

Все это прекрасно описано им в книге «О Ленине и Октябрьской революции», которая читается с захватывающим интересом. В ней Вильямс — не летописец. Он, как и Рид,— участник событий. Он — блистательный, умный, всевидящий репортер. Но когда надо, когда армии контрреволюции берут за горло Петроград, он откладывает перо и приходит к Ленину с предложением организовать интернациональный батальон Красной Гвардии, во главе которого и выезжает на самый тяжелый участок фронта. Книга Вильямса — это документ эпохи. Правдивый документ, где все обосновано и датировано. В Соединенных Штатах книги Рис Вильямса имели огромный успех. Они переводились на другие европейские языки. Они несли читателям капиталистических стран правду о первой в мире стране социализма. Напуганная этой правдой, реакция начала травлю Вильямса. Его книги блокируют. Тогда он отправляется в лекционное турне по крупнейшим городам Соединенных Штатов. Подсчитано, что за три года он прочел триста лекций о Советской России, о Ленине. Триста лекций в недоверчивых, предубежденных, иногда враждебно настроенных аудиториях.

Вместе с женой, писательницей Люситой Вильямс, Альберт Рис снова и снова приезжает в нашу страну, где он, по его словам, «оставил свое сердце». Изучая советскую деревню, он поступает механиком в одну из сельскохозяйственных коммун. Потом становится воспитателем трудовой сельскохозяйственной колонии имени Джона Рида. Заинтересовавшись проблемой религии, он становится на время даже... кладбищенским сторожем в одном из сел Подмосковья. И в результате всего этого — статьи, очерки, книги о важнейших процессах преображения России под животворным солнцем социализма. В годы Великой Отечественной войны он создает и редактирует журнал «Сервей грэфик», в котором рассказывает американцам правду о жизни и борьбе их советского союзника. И даже в разгар маккартизма, когда дикая «охота на ведьм» запугала многих прогрессивных американцев, он и Люсита оставались верными и последовательными друзьями Советского Союза.

Я видел их в Нью-Йорке года три назад. Тяжелая болезнь уже подтачивала этого огромного, сильного человека, которого даже в те дни нельзя было назвать стариком. Ему уже трудно было ходить, но он жизнерадостно шутил, говорил о своей мечте побывать в Советском Союзе, снова посетить места, где жил, сравнить их нынешний день с былым, написать новую книгу — «Сорок лет спустя». Он был увлечен этой мыслью. Жена поддакивала ему: да, да, конечно. Попутешествуем. Сравним. Чудесная будет книга. Американцам так не хватает правды о советской стране. Поддакивала, а глаза оставались печальными. Врачебный приговор был ей уже известен.

Так до конца, до последнего своего дня Альберт Рис Вильямс и оставался самим собой — славным американцем, добрым другом Советского Союза.

Борис Полевой

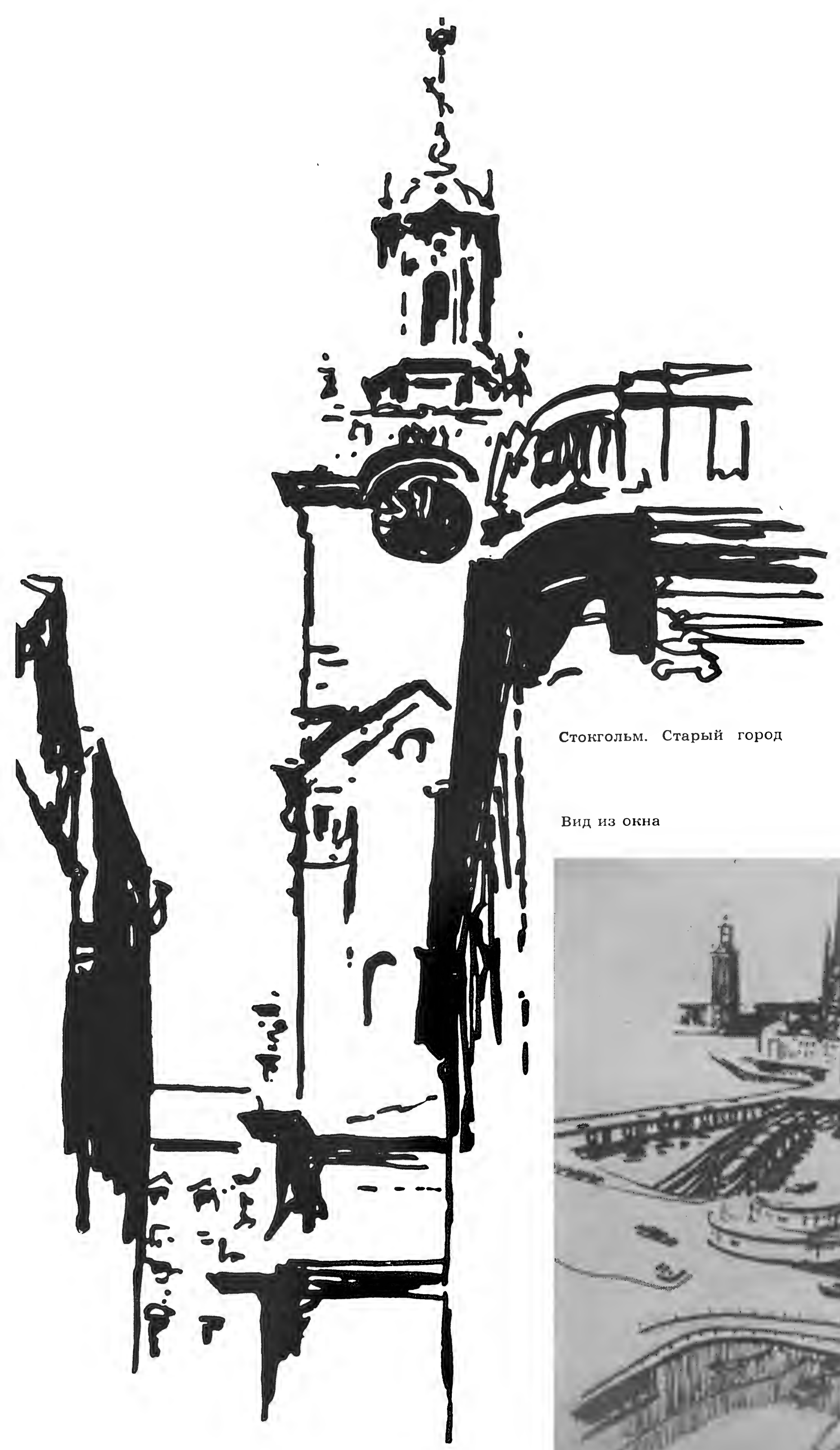
Стокгольм. Море в городе

Из путевого альбома

«ШВЕДСКАЯ ТЕТРАДЬ» АЛЕКСАНДРА ЖИТОМИРСКОГО

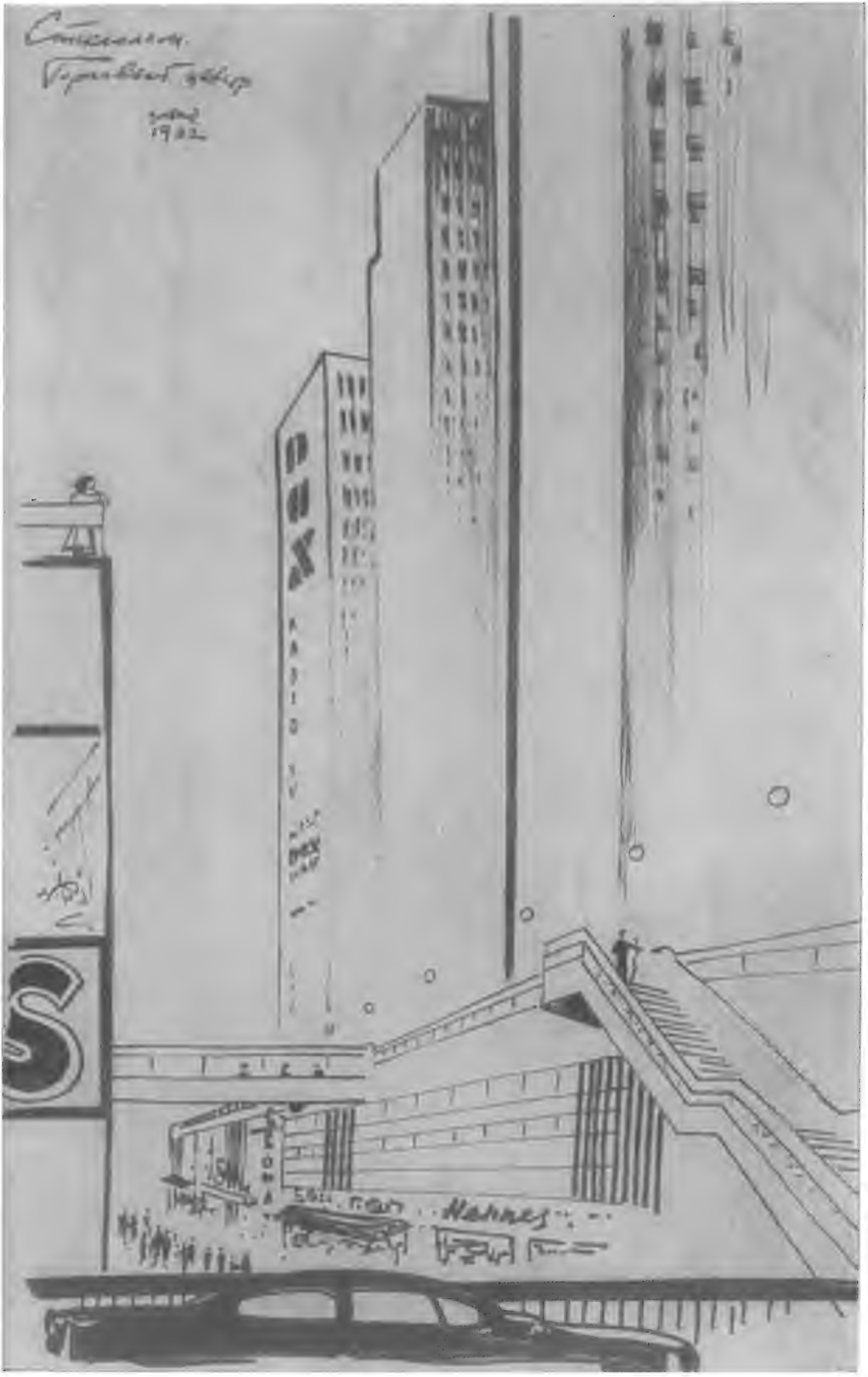
Художник А. Житомирский побывал в Швеции. Он посетил Стокгольм, Гётеборг, Хельсингборг, Мальмё и другие города, встречался с рабочими, художниками, крестьянами, студентами, журналистами, много рисовал. Так родилась «Шведская тетрадь», часть рисунков из которой печатается в этом номере журнала.

Продавщицы игрушек



Стокгольм. Старый город

Вид из окна


Hennes

Городок Лидингё. Музей шведского скульптора Карла Миллеса

Новый район Стокгольма

На вокзале в Стокгольме

Человек— справочное бюро

Мальмё. Сумерки

Свадьба в соборе

Хельсингборг

Новая архитектура Мальме

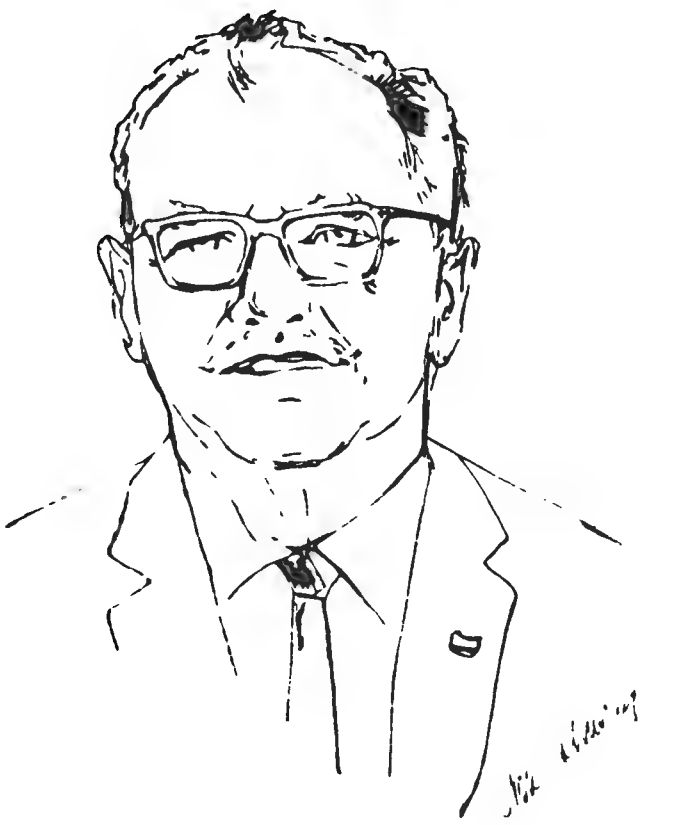
Старый рыбак

Крыши старого Мальме

Рыбак Франс Петерсон

Гётеборг. Порт

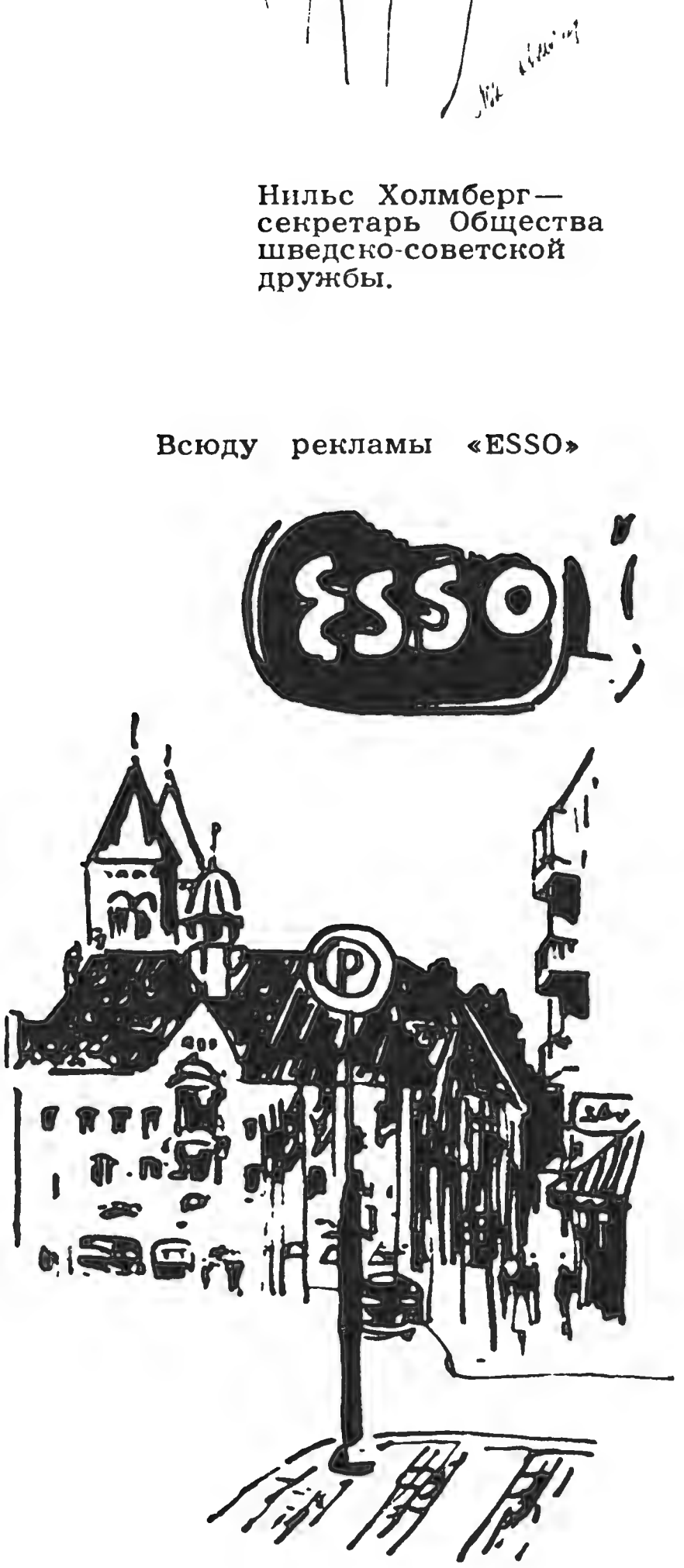
Лунд. Романский собор XIV века.



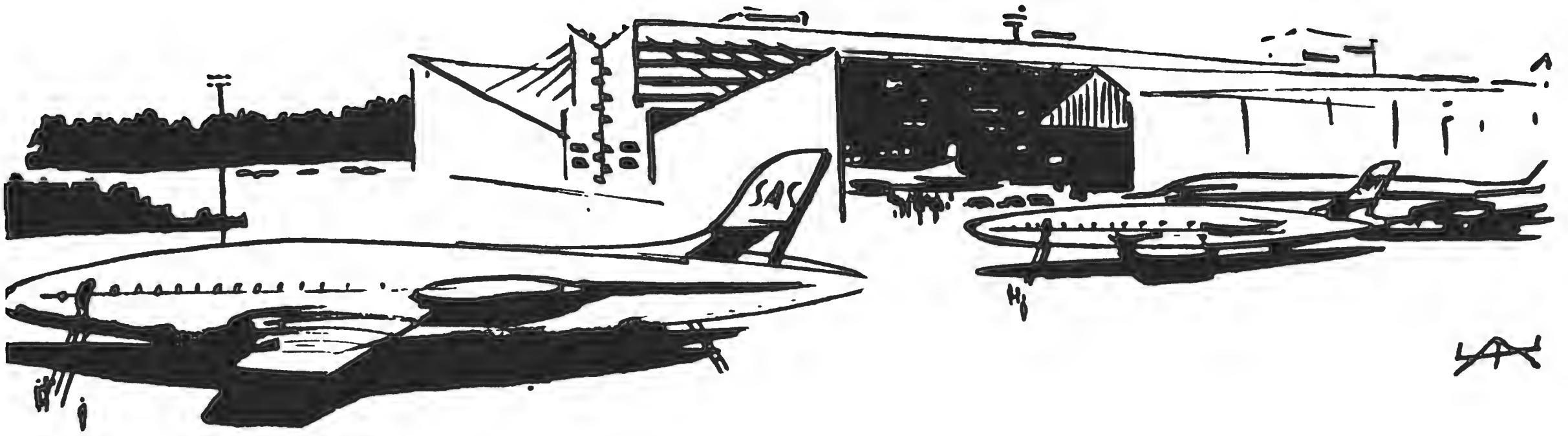
Нильс Холмберг— секретарь Общества шведско-советской дружбы.

Всюду рекламы «ESSO»

ESSO



Стокгольм. Аэродром Арландо.



ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В МОСКВЕ

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ

КОГДА УТИХЛИ СПОРЫ...

Кинематографические фестивали стали своего рода знамением века. Крупные фестивали — их около сорока, не считая тех, что носят узкоспециальный характер,— сейчас происходят в разных странах. В этом году, например, намечается провести фестиваль, посвященный специально фильмам об авиации.

Что это? Только ли результат развития киноиндустрии, появления все возрастающего числа художественных, документальных, научно-популярных картин, только ли ярмарка кинофильмов, вызванная интересами коммерции? Нет, разумеется. За этим открывается важнейшая потребность современного человеческого общества, жадное стремление к обмену мыслями, конструктивными идеями, намерениями, планами, мечтами. Кинематограф общедоступен. В этом простом утверждении кроется его изначальная, важнейшая черта, которую гениально определил Ленин, выделяя кинематограф среди всех искусств как важнейшее.

Люди, создающие фильмы, представляют сейчас целое творческое содружество, где есть свои первооткрыватели, великаны, труженики, вносящие посильный вклад, и мелкие ремесленники; и неизменным критерием истинных или формальных ценностей остается сила облагораживающего воздействия художественного произведения на зрителей, на народ. Путь к народу не прост, хотя высшим мерилом красоты в кинематографе, как и во всяком ином искусстве, остается глубина гуманистической идеи, простота и ясность ее художественного воплощения. Как известно, художественная простота сложна, так как она требует от художника искреннего и цельного восприятия мира. И крупнейшие фестивали, которые проводятся ежегодно в различных странах под разными девизами, в конечном счете поднимают на поверхность те произведения, которые так или иначе отличаются стремлением художника к правде, способностью его задеть современника за живое, разбудить в нем ответные мысли и чувства.

Среди множества кинофестивалей Третий московский международный кинофестиваль занял особое место. То обстоятельство, что он проходил в центре огромной страны, в столице первого социалистического государства, прежде всего определяет его значение. Как известно, все иные фестивали проводятся в курортных местах или в международных центрах туризма: во Франции — в Канне, в Италии — в Венеции, в Швейцарии — в Локарно, в Мексике — в Акапулько, в Аргентине — в Мар-дель-Плата. Именно поэтому на Московский фестиваль всегда съезжаются с огромным интересом представители самых различных стран. Московский кинофестиваль привлекает не только парадом и соревнованием кинофильмов, но и самым широким общением со зрителем. По традиции в Москве проводятся встречи и зрительские конференции на заводах, в клубах, многочисленных кинотеатрах, где демонстрируются фильмы, и наконец традиционные встречи на так называемой вольной трибуне, перешедшей в Москву в порядке эстафеты от чехословацких фестивалей в Карловых Варах.

Третий кинофестиваль, который прошел в Москве с 7 по 21 июля, был более представительным и широким, чем первые два.

Для проведения конкурса было создано два самостоятельных жюри: полнометражных художественных картин, которых было представлено 32, и короткометражных, где соревновались документальные и научно-популярные картины.

Судьями выступали крупнейшие мастера мирового кинематографа, председательство-

Кадр из фильма «8½». Режиссер Федерико Феллини *(Италия)*.

вал в жюри художественных картин советский режиссер Григорий Чухрай.

Работа жюри, как известно, проходит за закрытыми дверями. По опыту такой работы я знаю, какие трудности возникают после каждого просмотра, как симпатии склоняются то к одной, то к другой картине, как в спорах, доходящих порой до ожесточенной полемики, складываются те или иные решения, иногда компромиссные. Обычно после отсева явно слабых работ остается гораздо больше картин, чем предусмотрено призов. Тогда споры достигают наибольшей остроты, и лишь к последнему дню фестиваля назревает окончательное решение, которое, разумеется, позже будет еще обсуждаться общественностью, вызывать полемические реплики, а у иных и недоуменное пожимание плечами.

Что делать! Искусство — дело сложное, и принять решение и вынести категорическую оценку тому или иному произведению бывает еще сложнее.

Наибольшие споры, судя по откликам печати, вызвало решение международного жюри присудить главный приз Третьего московского международного кинофестиваля итальянскому режиссеру Федерико Феллини за его режиссерскую работу. В данном случае жюри отступило от традиции по присуждению главного приза, который, как правило, присуждается за лучший фильм фестиваля, и удостоило главным призом не фильм, а режиссера. Большой приз присужден «за выдающуюся творческую режиссерскую работу, в которой отражена внутренняя борьба художника в поисках правды».

Фильм «8½» — явление в высшей степени сложное. Это, по определению самого Феллини, его исповедь, в которой он ощутил насущную потребность на важном рубеже своей творческой жизни. До этого он сделал фильм «Сладкая жизнь». Успех этой картины был чрезвычайно велик. Она получила множество премий, обошла многие страны и закрепила за своим создателем славу одного из крупнейших режиссеров современности, завоеванную уже ранее картинами «Дорога» и «Ночи Кабирии». Все это давало основание ждать новых интересных работ, дальнейшего углубления и обогащения творчества художника, особенно потому, что замысел каждой новой вещи всегда принадлежит самому Феллини, хотя он и приглашает для литературной работы друзей-писателей.

И вот после семи с половиной картин (за половину картины он считает одну свою совместную работу с Альберто Латтуада) режиссер приступает к фильму, название которому дает, пользуясь обозначениями, принятыми в музыке: сочинение восемь с половиной — opus 8½ — порядковый номер работы, и только.

Феллини как бы подчеркивает этим названием, что намерен в своем фильме использовать выразительные средства, обычно присущие музыке, способной абстрагировать жизненные явления, отражать их отвлеченно в большей мере, чем другие виды искусства, и не предполагает воссоздавать реальность в ее конкретности, как это более свойственно кинематографу.

Фильм мог быть назван исповедью, но Феллини так не назвал его, и мы узнали картину под этим интригующим заголовком «8½». В этом фильме автор-режиссер как бы подвергает сомнению всю прожитую жизнь, причем стремление к полной откровенности становится главным этическим и эстетическим принципом произведения. Сквозь очень частные и специфические черты профессиональной жизни режиссера Гвидо Ансельми открывается история художника современного буржуазного мира. Ему предстоит спорить не только с окружающей средой, исполненной лжи, лицемерия, предрассудков, постепенно наслаивающихся разочарований, привычных обманов, бесплодного расточительства, но и с самим

собой, как средоточием мучительных противоречий.

У Феллини всегда были сложные отношения с миром. Жадно стремясь к человечности, чистоте, красоте, он всегда проводил своих героев через искушения и испытания жизни. Низменное, жестокое, горестное постоянно сопутствовало судьбам его героев, будь то Дзампано, звероподобный циркач, тупо плетущийся со своим балаганом через жизнь по дорогам скорби и насилия, будь то гениально сыгранная замечательной актрисой Джульеттой Мазина маленькая дурочка, беспомощная, замордованная жизнью Джельзомина, будь то уличная девчонка Кабирия и ее жених, проституированный всем укладом жизни римских окраин, бездельник поневоле. И вот наконец Гвидо Ансельми, современный интеллектуал, человек, казалось бы, исследовавший, прочувствовавший жизнь до ее тайников и темных глубин, задает самому себе мучительный вопрос: так ли? Туда ли иду? Зачем? Во имя чего?

Веря в бога, Феллини, как ни в одной из своих предыдущих картин, резко и беспощадно высмеивает церковь с ее выспренней и лицемерной риторикой. Он хочет увидеть бога в человеке, хочет он увидеть бога и в своем последнем герое. В этом, быть может, и есть главное противоречие, которое заложено в его картине. В поисках бога он как бы проходит мимо людей. Круг интересов сужается, все более и более приближаясь к своему центру — к натуре самого художника, в которой все поставленные вопросы должны найти свой ответ. А натура эта слишком эгоцентрична, при всей своей одаренности — бесплодна, именно из-за того, что считает себя центром и ищет ответа на все вопросы только в глубинах собственного «я», заранее отказываясь от решений, которые подсказывает реальная жизнь. В этом смысле образ Ансельми верно отражает трагедию высоколобого абстрактного гуманизма в Италии — противоречие между стремлением к добру и справедливости и выбором пути для достижения этой цели.

Сияние искусства, как светоча разума и

Кадр из фильма «Козара». Режиссер Велько Булайич *(Югославия)*.

Кадр из фильма «Черные крылья». Режиссеры Ева и Чеслав Петельские *(Польша)*.

чистоты, меркнет для героя картины — и для ее создателя,— растрачивается в поисках средств воплощения. Идея будущего фильма, образ его, люди, которые призваны воплотить этот образ,— все как будто уплывает из рук, не дается, не выражает душевных устремлений художника к далеко брезжущей истине. В чем же эта истина? В мечтах о светлом детстве, когда еще в деревне мальчишкой по крестьянской традиции его купали в вине, чтобы он был крепким, сильным, смелым? В материнской ласке, в бабушкиных сказках или в изначальных уроках жизни, когда он впервые слышит слова «грех», «бес»? Как хочется подсказать Феллини — и Гвидо Ансельми,— что искания их идут мимо главных проблем общественной и духовной жизни, что искать надо не там, не на модном курорте, где тлеют и распадаются духовные ткани окружающего его общества тунеядцев и святош, а где-то рядом, по соседству, в обычных поселках и городах, где множество людей бьются за право на достойную жизнь и жадно ждут от художника ободряющего слова. Не об этом ли напоминает жена Ансельми, все претерпевшая, все испытавшая, все простившая во имя его душевного покоя, во имя удобства его художественного труда, не это ли она имеет в виду, когда говорит: ты изолгался, друг, тебе надо решить, куда идти — направо или налево.

Этот вопрос может повторить и зритель фильма «$8^1/_2$». Куда же пойдет Гвидо Ансельми: в болото полужизни-полусмерти или — к народу, для того чтобы поделиться с ним всем огромным опытом, всем жаром своей души, всей любовью к человеку? Ответ назревает сам собой. Да конечно же к людям, ибо там жизнь, разум, свет, а человек призван жить, художник же призван жить вдвойне. И, очевидно, в предвидении такого ответа международное жюри и решило присудить главный приз на Московском фестивале честной работе Феллини, которая при всех своих несомненных художественных достижениях все же лишена основного — попытки найти ответ на главные вопросы современности, волнующие народ, и которая уводит душевный конфликт художника в узколокальную среду. Именно поэтому многие и многие персонажи фильма кажутся зашифрованными, трудными, мучительными даже. А зритель вправе ждать от художника масштаба Феллини той мужественной ясности мысли и языка, какая впору его таланту.

Я сознательно остановился на этой картине фестиваля, так как она, в общем, отразила широту диапазона этого международного киносмотра.

Важнейшим же достижением фестиваля явился успех фильмов, выпущенных киностудиями социалистических стран. Золотые призы получили чехословацкий фильм «Смерть называется Энгельхен» и югославский фильм «Козара». Так же справедливо, замечу в скобках, было отмечено первоклассное исполнение главной роли в японском фильме «Испорченная девчонка» молодой актрисой Мисако Идзуми. С большим успехом выступила и кинематография ГДР, показавшая на фестивале фильм «Голый среди волков», за что получила по

справедливости приз за лучшую режиссуру, врученный постановщику фильма Франку Бейеру.

Удостоена премии и наша советская картина «Порожний рейс». Этот приз вместе с заслуженным успехом фильма «Оптимистическая трагедия» на последнем фестивале в Канне дает все основания с уверенностью смотреть вперед и ждать в ближайшем будущем новых творческих достижений нашего киноискусства.

Я не буду еще раз перечислять весь список призов фестиваля, опубликованный в печати.

Много первоклассных картин было показано вне конкурса. Они были отмечены призами и дипломами общественных организаций.

Из числа этих картин мне хотелось бы особо выделить японский фильм «Камни Хиросимы» режиссера Касабуро Йосимура, который с такой силой художественной убедительности напоминает о важности и неотложности устранения угрозы атомной войны и перекликается с теми чувствами, какие вызвало у советских людей подписание Договора о запрещении испытаний ядерного оружия.

Среди внеконкурсных картин выделяются фильмы итальянского режиссера Нанни Лоя «Четыре дня Неаполя» и американского режиссера Стенли Крамера — «Нюрнбергский процесс» и «Скованные цепью». В работе Лоя советская общественность горячо приветствовала активную позицию автора, его отношение к борьбе против фашизма, насилия, надругательства над человеком. Гуманизм этой картины, чуждый риторики, нашел свое выражение в образах чрезвычайной художественной силы и свежести; и если искания Феллини лежат вне атмосферы общественной борьбы, то Лой утверждает ее пафос богатством жизненного материала своей картины, силой своего таланта.

Картины Крамера и Нанни Лоя, хотя и по-разному, но отчетливо показывают, что в западном искусстве сейчас формируются могучие конструктивные силы, ставящие целью не только статический анализ и искренние поиски в замкнутом кругу действительности, непосредственно окружающей художников, но и способные прорвать этот круг, увидеть всю широту жизни и вмешаться в нее в интересах народа.

Идея гуманизма киноискусства, близости художника к жизни нашла выражение не только в представленных на фестивале картинах, но и в состоявшейся дискуссии. Именно с такой позиции выступали самые различные участники состоявшихся бесед. Американский кинодраматург Эбби Манн, автор сценария «Нюрнбергский процесс», говорил о предназначении кинематографии как наиболее мощного глашатая современных прогрессивных идей. Он высказался за реалистическую ясность языка, за конструктивную целеустремленность замыслов. С теми или иными оттенками с этой же позиции выступили и французский критик Марсель Мартен, и польский теоретик киноискусства Ежи Теплиц, и Нанни Лой, и Йорис Ивенс. Значит ли это, что художники разных стран и разных мировоззрений договорились по всем вопросам? Нет, разумеется, по меньшей мере наивно было бы так думать, ибо совер-

Кадр из фильма «Рассказы в поезде». Режиссер Рени Тамаш *(Венгрия)*.

шенно очевидно, что ясность языка и целеустремленность замысла — только средство для выражения определенной концепции, а эта концепция, естественно, определяется идейной позицией художников в целом. Но радует уже то, что большинство выступавших утверждало реализм в искусстве кино. По-видимому, всем опостылел кинематограф эгоистической позы и многозначительных намеков по поводу выеденного яйца.

Вся прогрессивная печать отметила Третий московский фестиваль как крупнейшее событие в кинематографическом мире, значение которого выходит далеко за пределы узкоспециальных интересов. И это справедливо. Во всяком случае, такая оценка совпадает с мнением большинства делегатов и гостей фестиваля, которые, разъезжаясь, говорили: «Это было интересное и важное дело».

ЯН ПРОХАЗКА

ЧЕХОСЛОВАЦКОЕ КИНО ОБРЕТАЕТ ЗРЕЛОСТЬ

На Третьем московском международном кинофестивале чехословацкая кинематография была представлена двумя произведениями. На мой взгляд, они довольно ясно отвечают на вопрос, как обстоит сейчас дело с фильмами в нашей стране. На конкурс был представлен — и получил Золотой приз — фильм «Смерть называется Энгельхен» по роману словацкого писателя Ладислава Мнячко, поставленный режиссерами Яном Кадаром и Эльмаром Клосом, которые долгие годы работают вместе. Эти режиссеры особенно чувствуют ритм фильма, их произведения ценны яркой кинематографической выразительностью. Ян Кадар, кроме того, выдающийся мастер работы с актером.

«Смерть называется Энгельхен» очень длинный фильм. Его продолжительность — два с половиной часа. Но зритель не ощущает никаких длиннот, в фильме нет скучных эпизодов, нет кадров, без которых можно было бы обойтись. Это картина, в которой нашли свое выражение лучшие достижения современной кинематографии. Именно современной в самом глубоком смысле этого слова. Фильм начисто лишен элементов так называемой «модной модернистики», которые свойственны часто малогалантливым картинам. Современность формы этого произведения направлена на то, чтобы наилучшим образом выразить его содержание, здесь нет ничего лишнего, ни одного неожиданного «сногсшибательного» кадра, ни одного эпизода, не оправданного идейным замыслом. Авторы не стремятся обязательно открыть «новые Америки».

Герой партизанского Сопротивления тяжело ранен в самые последние минуты войны, он лежит в госпитале и снова переживает все происшедшее за последние недели. Перед его внутренним взором проходит цепь событий, лица людей, которых он любил, и тех, кого он ненавидел. Некоторые воспоминания несколько раз возвращаются в течение фильма, и этот режиссерский прием помогает глубокому раскрытию идеи картины. Необычайно впечатляет, например, эпизод, где показана деревня после ухода фашистского карательного отряда. Камера кинооператора, установленная очень низко, выхватывает часть деревенской площади, перед нами кусок какой-то крыши, несколько человек, окаменевших от ужаса, еще видящих ужасную трагедию, которая всего полчаса назад разыгрывалась перед их глазами. А откуда-то сверху, возможно с ветвей деревьев, которые не попадают в поле нашего зрения, возможно с какой-то перекладины, как окоченевшие безжизненные сосульки, свисают ноги, тела повешенных. Это не просто «операторская находка», не просто «съемочная точка». Все изобразительные средства здесь подчинены единой цели — они доносят до нас главную мысль картины. Вот женщина, не отводящая взгляда от мертвых,— несколько долгих секунд мы следим за ее лицом. Она страдает. Она упрекает. Она выносит обвинение войне. Обвинение не только преступлению, которое только что совершено, но всей войне, всему ужасу, который в течение долгих лет был уделом людей. Эта женщина как будто хочет понять, объяснить, что именно здесь произошло. Ее глаза сухи, она больше не может плакать, в ее глазах вопрос. Ее взгляд раненый герой, прикованный к госпитальной койке, не может забыть. Этот кадр возвращается, точно рефрен, в самых напряженных моментах фильма. Можно сказать, что ужасающая действительность войны в картине обобщена и звучит, как поэма. Это жестокая и грустная поэма, но в ней торжествуют горячие надежды человека на то, что сколько бы он ни пережил, ни выстрадал, он не может быть сожжен, уничтожен свалившейся на него бедой — это противоречило бы основному закону жизни, который заставляет возрождаться вновь и вновь живую человеческую душу. Герой

Кадр из фильма «Смерть называется Энгельхен». Режиссеры Ян Кадар и Эльмар Клос *(Чехословакия).*

хочет определить свое отношение к жизни, которую он начнет сначала. В фильме есть такая сцена: через открытые окна госпитальной палаты мы слышим, как освобождают город,— снаружи поют, проходят солдаты, кто-то смеется, слышится шум. Лежащий человек думает о ранении, приведшем к параличу, все эти звуки проходят как будто мимо него — он словно и не слышит их, но их слышим мы. Режиссеры все время предлагают нам этот двойной взгляд на события. Фильм ставит перед зрителем вопросы, заставляет его мыслить — и это примечательная черта всей новой чехословацкой кинематографии. Признание, которое получил фильм на Третьем московском международном кинофестивале, и Золотой приз, которым он был отмечен, доказывают, что путь, избранный его создателями, верен. Я рад добавить, что несколько лет назад этими же режиссерами был поставлен фильм «Похищение», который уже тогда возбудил внимание своими новаторскими особенностями. Фильм Кадара и Клоса «Третье желание», о котором много лет спорили, в настоящее время успешно идет на чехословацком и зарубежном экранах. Теперь, как и несколько лет назад, когда фильм был создан, очень важной является тема внутренней борьбы человека с самим собой, выбор, который он должен сделать,— между беззаботным, но порой не слишком честным существованием и прямой и честной позицией, пусть не сулящей сразу особых житейских благ. Не думаю, что подобные темы являются бесплодным морализаторством. Фильм «Третье желание» представляет экранизацию одноименной пьесы Вратислава Блажека, поставленной и на советской сцене. Спор о фильме был вызван тем, что на театральной сцене с первого момента, когда открывается занавес, действие воспринимается как гиперболизированное, полусказочное, на экране же все это выглядит иначе и вполне реально.

Упорно работают чешские и словацкие художники кино. Уменьшилось количество незначительных фильмов, посвященных чисто формальным поискам. Они незамеченными прошли по экранам. Режиссеры Ян Кадар и Эльмар Клос вместе с другими мастерами того же поколения — Иржи Вейсом, Иржи Крейчиком — представляют направление, которое старается найти собственную творческую манеру для выражения средствами кино морального кодекса человека социалистического общества.

Для внеконкурсного показа на Третьем московском международном кинофестивале был представлен фильм крупнейшего художника среднего творческого поколения чехословацких режиссеров Войтеха Ясного «Вот придет кот...». Это снова фильм на моральную тему, искренние, хотя порой

наивные, поиски правды, напоминающие все самое прекрасное, что только есть в сказках.

В небольшой городок приезжает цирк, он привозит кота, который, если ему надеть очки, видит всех людей вокруг такими, какие они есть на самом деле. Искренние, честные и влюбленные — красного цвета, лживые — желтого, негодяи — серого и т. д. Кот вызывает страх у обывателей маленького городка. Наконец несколько человек, из тех, у кого рыльце в пушку, устраивают настоящую охоту на кота. Эта охота — наиболее примечательная сцена фильма. Действенность ее усиливается блестящей музыкой, написанной на основе народных песен. В момент, когда преследователи уже готовы схватить кота и застрелить, музыка приобретает ироническую окраску. Отношение к людям и людишкам в этой сцене поистине гашековское, глубоко гуманное. Автор фильма Войтех Ясный ближе всего стоит к таким персонажам, как старик, очень похожий на хемингуэевского (его играет замечательный мастер Ян Верих), и к детям, которые защитили кота. Любовную линию фильма представляет артист среднего поколения Владимир Бродский и молодая словацкая актриса Вашаринова. Их пантомимическая любовная сцена на берегу реки производит очень сильное впечатление. Фильм «Вот придет кот...» снискал чехословацкой кинематографии в нынешнем году особую премию жюри на Международном кинофестивале в Канне. Это не случайное произведение, а вершина творческого пути Войтеха Ясного. В нем мы находим те достижения, которыми отмечены картины Ясного «Жажда», «Процессия к богоматери». Дальнейшие творческие планы режиссера — глубокий анализ, поиски действительных человеческих ценностей, присущих новому обществу, и всегда это поиски человека, беззаветно влюбленного в людей.

Войтех Ясный — не единственный, но самый яркий представитель среднего поколения. Рядом с ним работают многие выдающиеся режиссеры. С Карлом Кахыней, который тоже учился в Праге в Академии киноискусства, музыки и живописи, Войтех Ясный дебютировал в одном фильме. Карел Кахыня — автор поэтической картины «Мучение», отмеченной одной из главных премий фестиваля в Мар-дель-Плата в Аргентине. К этому же поколению принадлежит Франтишек Влачил, автор «Голубки» и «Дьявольской мышеловки», а также Збынек Бриних, режиссер фильмов «Жижковский романс», «Авария», «Пять из миллиона» и «Транспорт из рая». Последний представляет чехословацкую кинематографию на фестивале в Локарно.

Плодотворно трудится младшее поколение кинематографистов. В прошлом году на пражских и братиславских студиях молодыми режиссерами поставлено восемь фильмов. Со вниманием была встречена работа Веры Хитиловой, проявившей незаурядное знание жизни. Первый полнометражный фильм завершил Яромил Ирещ; начинают снимать картину Ян Немец, Милош Форман; Мликовский закончил работу над фильмом «Огуречный герой». Трудно все перечислить. Работы юных режиссеров отмечены серьезными творческими поисками, и это страстное наступление молодых сил, как мы надеемся, сулит чехословацкой кинематографии новые успехи. Некоторые из молодых режиссеров работают в творческом объединении, которым я руковожу, и я имею возможность наблюдать за их работой — они все очень серьезно относятся к ней. Кроме того, кино постоянно притягивает многих талантливейших людей из литературы и театра. И все это несмотря на огромное развитие телевидения. Многие художники приходят в кино с телевидения, многие кинорежиссеры начинают регулярно сотрудничать с телевидением. Таким образом телевидение и кинематография в нашей стране, в отличие от того, что мы слышим и читаем о положении во многих странах Запада, поддерживают и обогащают друг друга.

Естественна наша радость, что чехословацкие фильмы — конкурсный и внеконкурсный — были приняты в Москве с интересом и снискали новых друзей чехословацкой кинематографии. Мы понимаем, что этот успех обязывает нас не останавливаться на полдороге.

ЙОРИС ИВЕНС

—

НАША СТУДИЯ—ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

Документальное кино в наше время отчетливее, чем любой другой жанр киноискусства, связано с идеей прогресса, и не только потому, что оно немыслимо без использования самой совершенной кинотехники и аппаратуры; этот вид искусства особенно близок к жизни, создается на ее материале, в гуще событий. Образно говоря, профессия кинодокументалиста — связь с жизнью.

Сейчас документальное кино переживает сложное время, ибо жизнь так быстро меняется, так драматичны конфликты, в столкновении которых рождается новое, создаются новые общественные и человеческие отношения, что старые, привычные

Кадр из документального фильма «История одного сражения».
Режиссер Мануэль Октавио Гомес *(Куба)*.

формы документального кино не всегда в состоянии их выразить. Говорят, что наука в этом смысле обгоняет искусство, но ведь материал, с которым имеет дело ученый и художник, столь несхож!

Документальный кинематограф — понятие очень емкое, и удельный вес и роль его в разных странах различны.

В только что обретших независимость государствáх Африки — Алжире, Мали, Сенегале, Гане — документальные картины вообще кладут начало национальной кииематографии. Здесь еще нет своих художников кино, актеров и режиссеров, нет специалистов-техников — ведь кинематография это не только искусство, но и промышленность,— нет достаточных средств для создания художественных картин. Между тем освобожденный народ стремится выразить то новое, что произошло в стране, и ищет для этого новые изобразительные средства. Тут на помощь приходит документальное кино. Однако, к сожалению, в некоторых странах Африки с первых же своих шагов молодые кинематографисты вступают на проторенный путь традиций (и штампов) западных стран, уже имеющих развитую кинематографию, но совершенно иных по своей социальной и экономической структуре и по культурному наследию. В результате — ошибки и неудачи. Успеха добиваются лишь те художники молодых государств, которые стремятся найти свой стиль, уходящий корнями в национальные традиции народа, опирающийся на историю его древней культуры.

Кубинский фильм Хорхе Масипа «История балета», демонстрировавшийся на Московском международном кинофестивале вне конкурса, интересен именно потому, что показывает, как артисты-танцоры обращаются, создавая танцевальный образ, к народному искусству. Другой кубинский документальиый фильм молодого режиссера Альберто Рольдана «Социалистический карнавал» — это поиск, попытка применить новую технику для более глубокого проникновения в реальность жизни: камера снята со штатива и вместе с оператором все время находится в гуще действия.

Кинематография революционной Кубы, конечно, не ограничивается документальными картинами, достаточно упомянуть художественный фильм «Двенадцать стульев», с успехом показанный на Московском фестивале, но документальное кино играет там пока ведущую роль.

На Кубе и в других странах, только иачииающих свое независимое существование, интересной формой развития кинематографии является практика совместного производства фильмов с кинематографистами государств, где уже давно сложилось искусство и техника кино. Наиболее удачные примеры — работы кубинских актеров и режиссеров совместно с советскими, я имею в виду Калатозова и Урусевского, фраицузскими — Арманом Гатти — и мастерами кино социалистической Чехословакии. Результатом подобного сотрудничества будут не только фильмы, ио и творческое обучение кубинских кинематографистов.

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ В МОСКВЕ

Во многих странах Запада документальное кино рассматривается как своего рода пересадочная станция на пути к созданию художественных фильмов. Кое в чем это хорошо, но такой подход имеет отрицательные стороны. Хорошо то, что будущие мастера художественной кинематографии проходят обучение в школе жизни, учатся наиболее полно и всесторонне отражать реальность. Плохо то, что документальная кинематография лишается опытных, владеющих «секретами мастерства» режиссеров и операторов. И вообще говорить о документальном кино как о каком-то «подсобном», «дополнительном» жанре было бы нелепо и неправильно. Документальная кинематография — один из рукавов многоводной реки киноискусства. Она имеет свои особенности, свои большие преимущества: и в замысле и в его воплощении документальный фильм более гибок, чем художественный, точнее, быстрее и непосредственнее схватывает и отражает новые процессы, новые явления в жизни общества и отдельных людей.

Меня, как документалиста, больше всего привлекает в избранной мной области искусства то, что все время находишься в контакте со страной, с событиями, с людьми. Мы, художники документального кино,— не созерцатели, а преобразователи, мы творим, чтобы делиться нашим восприятием жизни с другими. Студию, в которой трудятся документалисты, видела с борта своего корабля Валентина Терешкова. Это — планета Земля.

Фильм рождается трижды: в замысле, в съемке и в монтаже. Он как бы формируется самой жизнью, которая подсказывает художнику окончательную форму его произведения.

Привлекает и широкий диапазон документальной кинематографии: тут и лирика, и эпос, и репортаж, и боевая публицистика, и полемика. Текст, музыка, монтаж дают возможность документалисту создать лирико-поэтический образ. В каком-то смысле документальный фильм ближе к поэтическому восприятию, чем художественный. И связь документалиста со зрителем также напоминает контакт поэта: личность художника здесь проступает, на мой взгляд, рельефнее, чем в художественном кино. И поэтому непосредственное воздействие фильма, если это хороший фильм, в документальном кино нередко сильнее, чем в художественном. Диалог художника и зрителя во время демонстрации хорошо влияет на формирование взглядов и пробуждение активности людей и представляет собой одну из форм той тесной связи с народом, к которой стремится каждый мыслящий деятель искусства.

Кадр из документального фильма «Песнь о железе». Режиссер Коллани Агоштон *(Венгрия)*.

Документальный фильм дает возможность художнику по-разному подойти к своей задаче. Некоторые любят снимать только по твердому, заранее составленному плану. Я предпочитаю лишь набрасывать контуры будущей картины, чтобы остальное мне подсказывала жизнь. Вот случай из моей творческой практики: я не знал, чем закончить свой фильм «Вальпараисо». Когда-то Вальпараисо был портом мирового значения. После постройки Панамского канала порт умер, город пришел в упадок. Но, несмотря на все трудности, Вальпараисо продолжает жить. Эту мысль, подсказанную мне жизнью города, я и сделал концовкой своего фильма: ни стихийные бедствия, ни пираты, ни, наконец, экономический упадок не сломили жителей Вальпараисо, и знак этого — уходящий в небо воздушный змей. Так заканчивается фильм.

Документальную картину трудно планировать заранее. Съемки похожи на матч бокса. Ведь нельзя заранее

расписать на бумаге его ход: «Когда он ударит справа, я... и т. д.» Жизнь обогащает замысел. Однако в процессе съемки ее надо в свою очередь подчинять этому замыслу.

В последние годы стал популярен новый метод документальной съемки, получивший название «кино-правда». Я бы, скорее, назвал его «непосредственное» или «прямое» кино. Это не так пышно, кроме того, правдой честные документалисты занимаются уже шестьдесят лет.

«Кино-правда» благодаря применению новой техники — маленькие, портативные бесшумные камеры, звукозапись без проводов — дает возможность документалисту тесно соприкасаться с действительностью, воспроизводить ее «в натуре», причем создавать не только зрительный образ, но и звуковой. Таким образом можно передать радость, боль, восторг, горе, сокращая комментарии, которые порой бывают довольно нудными. Новая съемочная аппаратура позволяет оператору непосредственно схватывать и передавать спонтанные изменения, происходящие в окружающей действительности, события, которых нельзя было предусмотреть заранее. Таким образом реальная жизнь со всеми ее сложностями более полно входит в ткань фильма.

Как и любым новым методом, «кино-правдой» можно злоупотребить. За последнее время появились фильмы, в которых камера все время движется, и только... Мне кажется, это свидетельствует о том, что художник еще не овладел дисциплиной, внутренне присущей каждому виду искусства.

В настоящее время наиболее удачным примером «дисциплинированного» использования «кино-правды» является работа французского режиссера Криса Маркера, в особенности его последний фильм «Чудесный май».

Я надеюсь, что советские кинематографисты вскоре получат возможность работать с подобным оборудованием, и я уверен, что с этой прекрасной техникой в руках они смогут найти новые формы, чтобы выразить всю стремительность и многообразие жизни Советского Союза. Ведь документальное кино — это не только техника, да и вообще любой новый метод, любая новая форма имеют смысл, лишь если они помогают поискам правды и обогащают жизненное содержание картины.

Появление пишущей машинки не привело автоматически к созданию более совершенных романов и пьес. В кино дело обстоит иначе. Новая кинокамера отличается от пишущей машинки, ведь наша техника — это инструмент, с помощью которого мы непосредственно связаны с жизнью, это наши выразительные средства.

Я уже говорил о многообразии жанров и форм в документальном кино. Я стою за фильм-репортаж, за лирический фильм, за киноэпос, за публицистику, за полемику, наконец. Нам нужно много картин «хороших и разных».

«Русское чудо» Аннели и Андре Торндайков очень хороший и глубокий фильм, сделанный совсем в другой манере, чем, скажем, «Чудесный май» Криса Маркера. В картине Торндайков иной темперамент, иной метод, иной подход к важнейшей теме. Художники широко использовали и готовый, ранее отснятый другими операторами материал, но вжились в него, организовали его по-своему, подчинили своему замыслу. Получился очень сильный и впечатляющий фильм.

Я вообще считаю, что использование готового материала — один из вполне правомерных принципов отражения действительности в документальном кино.

Фильм «История одного сражения» Мануэля Октавио Гомеса (Куба), отмеченный Серебряным призом на фестивале, сделан по готовому материалу. Но благодаря умелому сопоставлению кадров и прекрасному использованию комментариев, которые ведут зрителя, но не навязывают ему готовых решений, фильм смотрится с не меньшим интересом, чем оригинальные операторские съемки, и оказывает большое эмоциональное воздействие.

Итак, использование готового материала, сопоставление, противопоставление, спор! В своей картине «Италия — не бедная страна» в целях полемики я использую все: хронику, новые съемки, карикатуры, сопоставление кадров. Снятые кем-то документальные кадры — это не просто сырье, это картины жизни, которые я должен воспроизвести в определенном свете, в духе моего замысла, окрасить своим эмоциональным отношением.

Полемикой в кино, к сожалению, порой пренебрегают, так же как и сатирой. Между тем и та и другая необходимы и требуют от художника четкой и бескомпромиссной позиции при съемках и отборе материала.

Находят ли мысли, изложенные в этой статье, отражение и подтверждение в фильмах, которые были показаны на Московском фестивале? Да, находят, если говорить и о конкурсных и о внеконкурсных фильмах, вместе взятых.

Из внеконкурсных я хотел бы прежде всего отметить картины Ресифа, Маркера и Торндайков. Ресиф в своей картине «Умереть в Мадриде», опираясь на кинодокументы, воссоздает эмоционально окрашенную историю гражданской войны в Испании. Торндайки продемонстрировали глубокое проникновение в историческую общественную правду жизни в СССР. Эти художники вторгаются в действительность, чтобы глубже раскрыть ее смысл. А ведь кое-где документалисты сознательно бегут от жизни, что противоречит духу и основе основ документального кино.

Я считаю, что Московский фестиваль с его девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами» будет содействовать созданию еще лучшей творческой атмосферы для дальнейшего развития мирового документального кино.

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Веселин Ханчев. Лирика. Перевод с болгарского. Составитель М. Тарасова. Предисловие Б. Слуцкого. Редактор А. Собкович. Москва, Издательство иностранной литературы, 1963. 64 стр.

Признаваться в любви всегда трудно. Особенно на журнальных страницах. Очень хочешь быть услышанным и в то же время стесняешься громких слов. А главное — не знаешь, с чего начать.

С той ли минуты, когда, оказавшись перед одним из полотен замечательного болгарского художника Цанко Лавренова, я вдруг подумал, что наша короткая поездка по его родине была чем-то похожа на этот праздничный хоровод, в котором участвуют не только люди, но и дома, как бы повторяющие ритм их движений, и летящее над головами небо.

Или с того ненастного дня, когда, едва пробивая туман зажженными фарами, машина ползла на Шипку и вокруг все темнело, темнело, словно мы не в гору подымались, а уходили куда-то в глубь суровых и трагических лет, когда в тяжких испытаниях родилась дружба наших народов?

Или с шелеста ночного дождя по старинным горбатым привораживающим к себе улочкам древнего Тырнова, где рядом с нами, казалось, бродила сама бессмертномолодая болгарская поэзия?

Все эти воспоминания теснятся в голове, когда я думаю о том, как объяснить, почему я люблю стихи Веселина Ханчева, как передать секрет их удивительного обаяния.

И вот передо мной встает еще одна картинка: мы только что вышли из старинной церкви, стоящей на горе над Софией, и вдруг Веселин Ханчев оживился и с неожиданной для него торопливостью стал показывать нам на крохотный комочек, пугливо запрыгавший среди ветвей: «Смотрите, бельчонок!»

Если бы не его зоркость, мы бы так и не увидели зверька.

Если бы не его пристальность, болгарские, а теперь и русские читатели не заметили бы тысячи прекрасных вещей, которые окружают нас. Поэт Веселин Ханчев увидел их и показал своим друзьям — людям. Показал зеленый хоровод деревьев, звезду, похожую на капельку дождя, которая никак не может скатиться на землю; показал морскую даль, блистающую в солнечном свете так, будто она полна рыбьей чешуи. Он описал два облачка, розовеющие в небе, потому что они первыми поймали лучи рассвета. И его стихи похожи на такое облако, чутко улавливающее то, что мы еще не видим.

Веселин Ханчев отнюдь не из идиллических поэтов. Его муза не молчит о трагических событиях в жизни своего народа и всего человечества. В 30-е годы поэт был душою с теми своими соотечественниками, которые в интернациональных бригадах дрались с фашизмом под Мадридом. «Испания на кресте» называлась первая книга Ханчева. В 1944 году поэт вступил в армию, сражавшуюся с гитлеровскими войсками. Я очень люблю его стихотворение «Хороший ученик», где рассказано о том, как за юным подпольщиком фашисты пришли прямо в школу:

Сидел на свободных партах
страх
и подсказывал тихо.
«К кому
приходил на явку?
Где
встречался ты с ними?
Что
от них получил?
Куда
это все передал?»

Урок бесстрашия был.
. . . . . .
Лицо его было спокойно
Он был ученик хороший:
ни на один вопрос
не ответил он офицеру.

(Перевод М. Кудинова)

Мне кажется, что и в самом поэте есть нечто от этого героя: добрый, отзывчивый, щедрый к людям, он становится неуступчивым и жестким, когда сталкивается со злом, лицемерием, человеконенавистническими замыслами. Гнев и ярость водят пером Ханчева, когда в стихотворении «Пока шел поезд» он рисует видение ядерной войны:

Последние на свете поезда
гремели, нагруженные молчаньем,
и проносились мимо вдруг увядших
настурций и детей,
и мимо коз
со смертоносным выменем,
и мимо
обугливших рук,
пылающих флажков,
сигналящих о том, что путь открыт,
что путь свободен в направленье Смерти.
(Перевод М. Алигер)

Да, именно с такой болью и ненавистью должен относиться к угрозе атомной войны поэт, исполненный жизнелюбия и гуманизма!

Но муза Ханчева оказывается рядом с людьми, не только «когда ревет гроза», она делит с ними и будни. Прежде чем стать одним из популярнейших поэтов Болгарии, Ханчев перепробовал не одну профессию, и красота труда ему так же близка и понятна, как неувядаемая прелесть природы:

Тянут, тянут сети. Мокрый песок.
Тянут, тянут сети. Мокрый канат.
Десять пар рук, десять пар ног.
Вытащат все море, если захотят.
(«Тянут сети». Перевод М. Алигер)

Прекрасно передан здесь сам ритм работы, и это отлично сохранено переводчиком.

Вытащат цветастое платье для меня,
то, что обещал еще в прошлом году.
Вытащат хлебушка, соли и огня.
Вытащат ласки — я их долго жду.
. . . . . .
Вытащат парус, кисет с табаком,
чтобы отогреться — чарку ракии,
тишины немного, звезду за окном,
чтоб уснуть с устатку крепким сном.
Тянут, тянут сети... Вот они какие!

Суровый труд и простой быт, как кремень от ловких ударов, вспыхивают здесь искрами поэзии, любви, верности. Рыбацкий труд — не безмятежное занятие. Это борьба, в ней есть свои победы и горькие потери, когда люди молча стоят над прибившейся к берегу лодкой и «морская пена брошена на гальку, как венок». И недаром в трудный час своей жизни, когда болезнь надолго прервала его работу, Веселин Ханчев вспомнил, как в жестокую бурю рыбакам пришлось пойти на тяжкую жертву:

.. наша добыча назад нас тянула,
и страшно нам стало,
что мы не сумеем
до гавани нашей доплыть.
Кто-то крикнул: рубите канаты!
Был прав он.
И все же его ненавидели мы.
Топоры застучали.
(«Охота на дельфинов». Перевод М. Кудинова)

В поэзии немного найдется стихов, проникнутых такой страстной печалью об оставленном деле, о том, что болезнь не дает управиться с драгоценной добычей — событиями, лицами, сияющими красками мира. Но Веселин Ханчев по-прежнему верен своей вдумчивой манере:

...не упрекайте
меня за то,
что я нетороплив:
я делом занят,
только вы не ждите,
чтоб за шесть дней
мир сотворить я смог.
(«Микрокосм». Перевод М. Кудинова)

Он делом занят: он всматривается в мир, как в лицо любимой, он хочет помочь своим словом стереть с него горькие морщины и тени тревог.

За это и любят читатели скромного и немногословного человека с усталым лицом, которого зовут Веселин Ханчев.

А. ТУРКОВ

ИСПАНИЯ БОРЕТСЯ

Люди моего возраста знают войну не по книгам и слишком хорошо помнят, как она страшна. Но почему же именно война стольких своих солдат сделала поэтами?

Оговоримся: войны бывают разными, и поэты после них появляются разные. Тех, кого принято называть «потерянным поколением», заставил взяться за перо не подвиг во имя народа, во имя свободы и братства людей, а крушение надежд, сознание бессмысленности кровавой бойни.

Иное дело война Отечественная. Там все человеческие силы и помыслы были сосредоточены на одном: надо победить! Отдача всего себя на немыслимо тяжкое, но справедливое дело становилась вдохновеньем. Стих и песня поднимались в атаку вместе с бойцами передовой линии. Отечественная война была революционной по самой своей сути — вот причина появления целого поколения поэтов-фронтовиков и огромного качественного и эмоционального рывка вперед у тех, кто пришел на войну уже сложившимся поэтом.

Но у второй мировой войны было нечто вроде генеральной репетиции. Первая схватка прогрессивного человечества с фашизмом произошла на испанской земле. И вот перед нами книга, где во весь голос говорят известные и безымянные поэты Испании, вдохновленные высоким подвигом своих земляков и бойцов интернациональных бригад,— поэты, отдавшие свою лиру народу-воину.

Удивительное ощущение возникает у меня при чтении этой книги! Я воевал в другие годы и на других землях, и уже тогда испанская война была для нас чем-то

Романсеро испанской войны. Перевод с испанского под редакцией Алексея Эйснера. Составители: В. Арана и А. Мансо. Предисловие О. Савича. Примечания В. Ясного. Москва, Гослитиздат, 1962. 175 стр.

вроде легенды — хотя, скажем, армией, где я служил, командовал П. И. Батов, «полковник» Батов из интербригады, которую возглавлял Лукач. Но когда я читаю «Романсеро испанской войны», мне кажется, что все это и про меня, что эти стихи и песни сложены о моих товарищах и написали их мои друзья-поэты.

Конечно же, там была другая земля, другие частные приметы. Но вот, утомленные ратным трудом, на коротком ночлеге спят солдаты борющейся Испании:

А вокруг темнота, как изрытый копытами выгон
или поле, где вырыто множество братских могил.
И колеса в их сон однотонным впиваются скрипом,
и вращаются сонно зрачки их, лишенные сил.
Да, вот так они спят. И во сне кулаки их разжаты,
на минуту забыли они, что на этой земле
есть враги и война, есть бои и солдаты...
И винтовки забыли на миг о своем ремесле.

Я представляю себе, с каким чувством сопричастности переводил это стихотворение Рафаэля Альберти русский поэт-фронтовик Д. Самойлов!

Под одной обложкой представлены здесь самые разные поэты: от Антонио Мачадо до его тезки Антонио Апарисио, встретившего войну совсем молодым человеком, от политкомиссара Мигеля Эрнандеса до фронтового наборщика Мануэля Альтолагирре. Есть гимны и песни, авторы которых неизвестны. Но вся эта книга как бы написана одним человеком, имя которому — Солдат, Поэт, Революционер.

Я не хочу этим сказать, что у каждого из них нет столь необходимого для поэта необщего выражения лица. Наоборот! Альберти не спутаешь с Морено Вилья, «Обманутый мавр» Прадоса — трагически гневное и одновременно человеколюбивое стихотворение разительно непохоже на лирический сонет «Весна» Антонио Мачадо. Но сам пафос, сама направленность этих поэтов едины — поэты испанской войны прежде всего солдаты!

Эти строки — не рецензия, не критический разбор, а просто отклик на голос побратима, звучащий уже из исторического далека. Но расстояние и время не заглушили призыва к действию, к победе над черными силами фашизма, к революционной борьбе. С полным правом книгу «Романсеро испанской войны», где собраны стихи и песни 1936—1939 годов, можно было бы озаглавить: «Испания борется». Сегодня Испанией правят франкисты — те самые, против которых направлен весь гнев испанских поэтов. Сегодня в Мадриде и Гранаде томятся в тюрьмах и бедствуют те, кому отдана вся нежность поэтов Испании. Поэтому книга современна, она — оружие и призыв. На ее обложке изображены бойцы на фоне пламени — это пламя и сегодня обжигает сердце.

МАРК СОБОЛЬ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ АНТОЛОГИИ

«Для искусств совсем не плохо, что каждая страна по отношению к ним имеет свою собственную физиономию,— писал Стендаль.— Наслаждение всего мира в целом только увеличивается от этого». Благое дело совершил Гослитиздат, предприняв издание большого тома «Поэзии Финляндии», в котором, как в зеркале, отразился своеобразный, увеличивающий «наслаждение человечества» облик поэзии сопредельного с нами народа.

Эта поэзия с грустным восторгом воспевает скалистые берега бесчисленных озер, отражающих вершины сосен, бескрайние леса, топкие болота — всю эту скупую на ласку, суровую, но бесконечно любимую природу «убогого края родного».

Эта поэзия восславляет труд, преобразующий природу, это она на самой заре рабочего движения, лет сто назад, создала такую «Рабочую песню», которую пел весь народ:

Рабочие-други, наш радостен труд
Финляндии, матери нашей.
Мы мерим глубины озер и запруд,
Мы правим ремесла и пашем.
Упорным трудом
Мы ставим ей дом,

Чтоб мать не осталась на месте пустом,
В нужде не увяла,
Не стала рабой,
От нас получала свой хлеб и покой.
Рабочие-други, наш радостен труд
Финляндии, матери нашей.

(З. Топелиус. «Рабочая песня». Перевод А. Блока)

Свыше ста лет назад поэт Иоганн Рунеберг свой сборник «Рассказы прапорщика Столя» открыл стихотворением «Наш край», которое стало затем финским национальным гимном. Александр Блок перевел это стихотворение на русский язык. Одна из строф гимна начинается строками:

О край, многоозерный край,
Где песням нет числа...

И в самом деле, песни, и те, которые звучали в устах прошлых поколений, и те, которые «домчат свой зов до будущих веков», стали неотъемлемой частью финской национальной культуры, стали как бы щитом, ограждающим ее самобытность.

Это поэзия, которая патриотической лирикой помогала народу в его вековой борьбе за самостоятельность, поэзия, в которой с такой силой звучал призыв к классовой борьбе. И сегодня лучшие поэты Финляндии энергично выступают против развязывания новой войны, за мир между народами.

Я не стану, как говорится, «пересказывать содержание» многих и многих замечательных стихотворений, вошедших в антологию. На общий очерк развития финской поэзии за полтора столетия краткая рецензия также никак не может претендовать, и я ограничусь лишь «замечаниями на полях» этой антологии.

До недавнего времени с финской поэзией (если не считать карело-финского эпоса «Калевалы») в избранных ее творениях русский читатель мог познакомиться только по «Сборнику финляндской литературы», выпущенному издательством «Парус» под редакцией Валерия Брюсова и Максима Горького. Однако книга эта вышла очень малым тиражом в июле богатого событиями семнадцатого года и давно уже стала библиографической редкостью.

Но литературные связи оживляются, и новые издания финских классиков и писателей современности все чаще появляются на книжных прилавках и на полках наших библиотек.

Вряд ли нужно перечислять книги финских писателей, изданных у нас за последнее время. Их много. Скажу только о том, что в самые последние годы издательство «Искусство» выпустило сборник финской драматургии за сто лет, куда вошло восемь пьес — от «Сапожников Нумми» Алексиса Киви до пьесы Эльви Синерво «Мир еще молод». В начале этого года в Издательстве иностранной литературы вышел сборник «Мечта о доме», включающий рассказы двадцати современных финских прозаиков.

И вот теперь перед нами объемистый том «Поэзии Финляндии». Это большой труд, проделанный издательством вместе с составителями и большим коллективом переводчиков. Из трехсот двадцати стихотворений,

Поэзия Финляндии. Переводы с финского и шведского под редакцией Марка Шехтера. Вступительная статья Евг. Долматовского. Москва, Гослитиздат, 1962. 559 стр.

вошедших в антологию, двести девяносто предстают перед русским читателем впервые. Из пятидесяти трех поэтов тридцать пять впервые переведены на русский язык. По сути дела, пред нами проходит вся история финской поэзии, насчитывающая немногим более века: самый старший из включенных в антологию поэтов — Элиас Ленрот — родился в 1802 году, стихи поэта самого молодого — Пентти Саарикоски — были впервые напечатаны совсем недавно, поскольку поэт родился в 1937 году.

В такой полноте этот труд мог появиться потому, что составители его опирались на большую предварительную работу. Выбраны были лучшие переводы из уже вышедших отдельных сборников: избранных стихов Эйно Лейно, Юлиуса Векселля и Армаса Эйкия, использованы переводы Александра Блока, Валерия Брюсова, Владислава Ходасевича из «Сборника финляндской литературы». И, наконец,— об этом примере международного сотрудничества следует сказать особо — существенную помощь в подготовке издания оказало «Общество Финляндия — СССР», его Генеральный секретарь Тойво Карвонен.

«Поэзия Финляндии» включает как творчество поэтов, связанных со стихией финского языка, так и тех, кто пишет по-шведски. Это два далеких друг от друга языка, две различных традиции. В этом двуязычии отражены исторические судьбы страны. И в то время как авторы многих зарубежных антологий включают в свои сборники произведения только тех поэтов, которые пишут по-фински, составители

«Поэзии Финляндии», следуя традициям Горького, совместили в одной книге двуединую поэзию Финляндии. И это правильно. Потому что даже песня «Наш край», которая стала национальным гимном, написана была сначала на шведском и затем переведена на финский язык.

Решение-то было, повторяю, правильное. Но как же можно было при этом, оставив читателя с поэтом наедине, не указать, хотя бы в оглавлении, с какого языка сделан перевод? Ведь если многие знают, что Рунеберг и Топелиус писали по-шведски, а Эйно Лейно по-фински, то уже мало кому известно, с какого языка переведены стихи Айли Нурдгрен, Евы Вихман, Карин Альм или такого замечательного современного поэта, как Арво Туртиайнен.

Такой антологии, как «Поэзия Финляндии», следовало бы предпослать и большую статью о финской поэзии, ее истории, общественной роли, сегодняшнем звучании, подобно тому как это было сделано в горьковском «Сборнике», чтобы читатель мог узнать о месте и значении каждого поэта в литературном процессе. Теплое напутственное слово поэта Евгения Долматовского не может заменить очерк, вводящий в финскую поэзию и помогающий читателю разобраться в ней.

Во вводном очерке следовало сказать о том, что в финской поэзии, славной своими реалистическими традициями, одно время сильны были — и, как иным казалось, даже неотделимы от нее — религиозно-мистические настроения и что в другое время демократическая струя поэзии с трудом пробивала себе дорогу, и такие поэты, как Арво Туртиайнен или Эльви Синерво, томились в тюрьмах. Умолчать об этом — значит дать неполное представление о путях развития финской поэзии.

Мне не хотелось бы заключать эту заметку словами, какими часто кончаются рецензии: «Отмеченные недостатки не снижают достоинства этой в общем хорошей книги...»

Внимательный читатель увидит, что связи финской культуры с русской органичны и что стихи Эльви Синерво «Славлю советского человека» — достойное продолжение «Гимна свободы» Эйно Лейно. Что словам этого классика:

Верил сердцем, ждал всегда я,
Даже в тягостные годы,
Что в России, побеждая,
Вознесется стяг свободы;

(Перевод П. Жура)

вторят строфы умершего в 1936 году поэта Каарло Валли:

И Москва — как маяк небывалый,
И надеждой сияют лучи,
И сиянье рабочему люду
Озаряет дорогу в ночи!

(Перевод Ю. Даниэля)

А «Рабочей песне» классика З. Топелиуса, его стихам «Колыбель коммунизма», написанным в 1848 году, через столетие вторят строфы поэмы «Коммуна народов» Армаса Эйкия:

Те же созвездья сияют над нами,
Той же мечтою расцвечены дни,
Финское наше народное знамя
Жаркому флагу Советов сродни.

(Перевод Ю. Хазанова)

Словно предупреждая возможные упреки финских критиков в том, что в антологию не включены стихи таких известных современных поэтов, как Айла Мерилуота, или Анья Ваммельвуо, или Сайма Хармая, Евгений Долматовский в своем вступлении к книге говорит: «Я уверен в том, что наше знакомство с поэзией Финляндии не закончится, а начнется с этого сборника, включающего, конечно, далеко не все интересные и волнующие песни наших соседей».

Я разделяю эту уверенность.

ГЕННАДИЙ ФИШ

НЕПОТУХШИЙ ВУЛКАН

А. Старцев. Марк Твен и Америка. Москва, «Советский писатель», 1963. 308 стр.

Недавно вышедшая в свет книга А. Старцева «Марк Твен и Америка» интересна прежде всего тем, что она разрушает лживую легенду о Твене — певце «американского оптимизма».

Марк Твен — прирожденный весельчак Таким его создала природа. «Что до веселости,— говорит А. Старцев,— то этот писатель умудрился извлечь из каждого грана жизни больше смеха, чем все его современники, собратья по перу, взятые вместе, и его фантастическая веселость казалась неистощимой... Незадолго перед кончиной престарелый писатель заявил своему секретарю: «Я явился на свет в 1835 году вместе с кометой Галлея. Она снова появится в будущем году, и я думаю исчезнуть вместе с нею. Если я не исчезну вместе с кометой Галлея, это будет величайшим разочарованием в моей жизни. Бог, наверно, решил: вот два необъяснимых, причудливых явления — они вместе возникли, пусть они вместе и исчезнут». Так дразнил смерть баловень судьбы Марк Твен».

Можно только согласиться с этой пластически точной характеристикой твеновского юмора, убедительно подкрепленной великолепным образчиком всепобеждающего смеха великого американца.

И все же пафос книги А. Старцева — трагический пафос. Марк Твен меньше всего стремился к надрывному самоистязанию, это противоречило бы его «солнечной».

жизнеутверждающей натуре. Трагедия пришла к нему извне, и она была трагедией исторической, *социальной:* трагедией «американского образа жизни».

«Горечь жизни» копилась с детских лет, когда Твен (тогда еще только юный Сэм Клеменс) видел отчаянными отроческими глазами, как его отец «награждал подзатыльником нашего безобидного мальчика-невольника Льюиса за любое пустячное упущение или оплошность, а время от времени задавал ему такую порку, что бедняга почти лишался рассудка». А судья Джон Клеменс был не худшим мелким рабовладельцем в штате Миссури. В черновике, извлеченном А. Старцевым из новейших посмертных публикаций Марка Твена, так говорится об убийстве надсмотрщиком негра-раба и об отношении рабовладельческого городка Ганнибала к этому убийству: «Все, по-видимому, остались равнодушны к участи раба, но, безусловно, сочувствовали владельцу раба, лишившемуся ценной собственности по вине бездельника, который даже не мог возместить ее стоимость».

Аболиционисты в 1865 году одержали победу, и рабство в Америке было отменено. Отрадный, конечно, факт; но расизм оставался в силе, как процветает он в Америке и теперь. «Борьбе с расизмом Твен отдал много душевных сил»,— заключает автор.

А разве только расизм омрачал «добропорядочное» житие американской демократии? Разве Марк Твен не стал свидетелем жестокой эксплуатации рабочих и беспощадного разорения фермеров? Разве капиталисты не пускались в бедственные для народа экономические авантюры и биржевые спекуляции? И, наконец, разве сам президент Соединенных Штатов не называл «славными победами американского оружия» истребление туземных племен прямой наводкой на месте их последнего убежища?

Все эти впечатления сгустились комом горечи в душе и в пытливом разуме «веселого» Твена и привели его к трагическому сознанию невозможности говорить всю правду о том, что творится на его родине. Но он ее говорил; не всегда во весь голос, но говорил — иногда все тем же веселым слогом юмориста, но по мере того, как шло время, все чаще с яростью отчаяния. Об этом и повествует книга А. Старцева с большой объективностью, хорошим знанием материала и напряженным драматизмом изложения.

Был ли Марк Твен всегда бескомпромиссен? Автор исследования, при всей любви к своему герою, не мог обойти молчанием и этот вопрос. Иначе тема «Марк Твен и Америка» не получила бы должного освещения. Его ответ: нет, не всегда. Твен шел на компромиссы и не только как «счастливый семьянин» или как глава издательства, не выдержавшего конкуренции с более солидными фирмами, но и как *писатель.* «Жизненный и творческий путь Марка Твена,— пишет А. Старцев,— путь человека и писателя из народа, который поднялся к успеху в условиях торжествующей буржуазной цивилизации и не сразу осознал свою чуждость капиталистическому миру». Эти иллюзии на первых порах окрылялись исходом Гражданской войны между северными и южными штатами, приведшей к упразднению рабства, в чем он ошибочно видел благородную цель американской усобицы (в действительности она вдохновлялась достаточно меркантильными расчетами). Памфлет «Соединенные Линчующие Штаты» обозначил конец этого заблуждения. Другая иллюзия заключалась в том, что он долго верил в возможность мирного сосуществования классов. И она рассыпалась в прах.

С компромиссами Твена-писателя дело обстояло сложнее. Я здесь имею в виду даже не эти иллюзии, ущерблявшие творчество Твена и его социальную критику, хотя, по верному замечанию А. Старцева, и тогда, в первый его период, твеновская критика наиболее вопиющих недостатков американской действительности перерастала в «антибуржуазную сатиру». Достаточно сослаться в этой связи на «Открытое письмо коммодору Вандербильту», в котором «Твен характеризует этого знаменитого американского миллионера... как врага общества». Говоря о компромиссах Твена-писателя, я имею в виду другое — часто владевшую им боязнь утратить благоволение читающей Америки, если он истощит долготерпение буржуазной публики. В этом аспекте и следует расценивать добровольное подчинение Твеном своих писаний цензорскому надзору своей жены, на чем подробно останавливается автор рецензируемой книги.

Допускаю, рискуя вступить на шаткий путь предположений, что первоначально Твен относился к советам г-жи Клеменс с наивностью юного Мартина Идена: верил в ее более изощренный вкус девушки из богатого дома. С годами это изменилось. Твен видел теперь в своем «домашнем цензоре» представительницу буржуазной публики, от которой зависел его успех и его доходы, и уступал наставлениям жены уже против своей писательской совести и гражданских убеждений, проникаясь все более мучительной мыслью, что ему не дадут говорить полную правду в эпоху «торжествующей буржуазной цивилизации». И отсюда — трагедия его компромисса, и отсюда же его убеждение, что «свобода слова — для мертвых», что только после смерти из его архива воспрянет слово, до конца правдивое, ударив «с неведомою силой» по сердцам потомства — в Америке и за ее пределами.

Твен и здесь проявил излишний оптимизм: его литературное наследство опубликовано далеко не полностью, и многие его заветнейшие мысли, направленные против капиталистической цивилизации вообще и американской в особенности, и по сей день «скрыты от американского народа и от читателей его книг во всем мире». Достаточно сказать, что только в 1962 году увидели

свет его «Письма с Земли», уже раз подготовленные к печати в 1939 году, но задержанные из-за резкости нападок на религию и церковь. «Мощные удары колеблют вылощенную поверхность американской буржуазной культуры,— так заключает А. Старцев,— разверзается кратер, дышит пламя. Марк Твен — непотухший вулкан!»

Мысль Твена о «недоборе правды» в последние годы жизни писателя приняла болезненно навязчивую, почти маниакальную окраску. И это несмотря на то, что он многие годы был, говоря словами А. Старцева, «самым известным из американцев, известнее американского президента — с той дополнительною оговоркой; что президенты сменялись, а Марк Твен царил бессменно». Что ж, «больная совесть» — «профессиональная болезнь» большого художника в обществе, построенном на эксплуатации человека человеком, и не нам, соотечественникам Толстого и Достоевского, тому удивляться.

Имеются ли в книге А. Старцева недостатки? Наверно, имеются. Главнейший из них — излишняя краткость. Трагедия Марка Твена воссоздана автором с исчерпывающей четкостью, многое в творчестве Твена раскрыто впервые. И все же хотелось бы, чтобы автор коснулся иных сторон подробнее. Никто не потребует от А. Старцева пересказа произведений Твена — они слишком известны советскому читателю. Но более глубокий анализ художественной своеобычности его творений, характерных оборотов его «фантастически-веселой» мысли желателен.

Я давно слежу за литературной деятельностью А. И. Старцева. Помню, в частности, как из материалов, положенных в основу журнальной статьи «Америка и русское общество», выросли две ценные монографии: «Университетские годы Радищева» и «Радищев в годы «Путешествия», а также замечательное маленькое исследование об одном «мечтателе», вышедшем из народа, и о горькой его судьбе: «Иван Тревогин — издатель «Парнасских ведомостей». Хотя все, написанное И. Тревогиным, за вычетом показаний во время следствия над ним, безвозвратно утрачено, А. Старцеву удалось выявить интенсивную работу мысли, шедшую в «низах» общества екатерининской России.

Признаюсь, меня всегда больше всего интересовали и интересуют литературоведы, в работах которых обозначаются вот такие «случайные» (на самом же деле обусловленные доведением до полной ясности ранее походя затронутых вопросов), «характерно писательские»,— внезапные обороты творчества. Как и прежние книги А. Старцева, исследование «Марк Твен и Америка» — в первую очередь книга писателя.

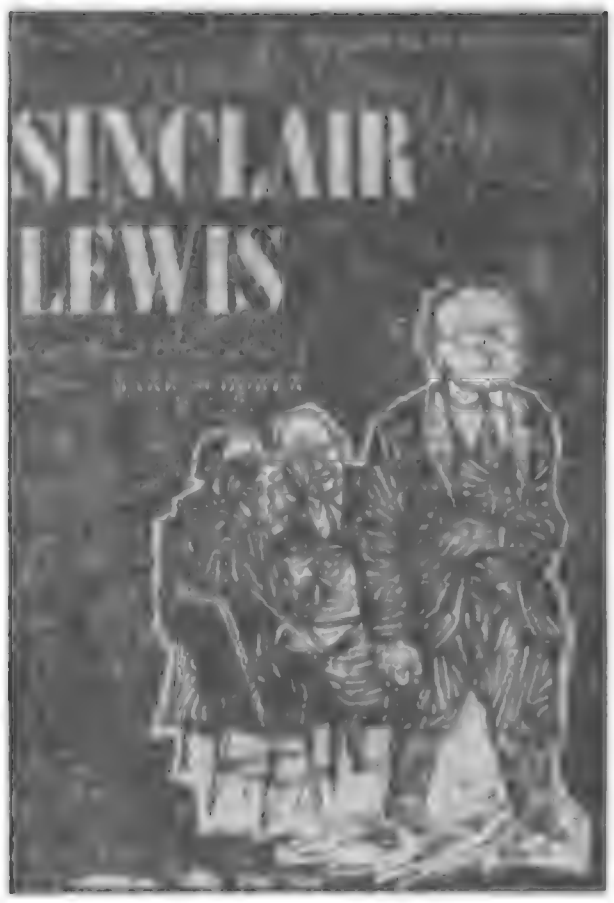
М. ВИЛЬМОНТ

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

САТИРИК И ЕГО КРИТИКИ

Синклер Льюис не раз говорил, что сатириком быть нелегко. Он имел в виду и свою собственную судьбу Шумный читательский успех его лучших произведений резко контрастировал с пренебрежительно-холодной отчужденностью со стороны большей части «респектабельной» буржуазной критики. Впрочем, сам Синклер Льюис в известной речи по поводу присуждения ему Нобелевской премии в 1930 году, этом энергичном выступлении в защиту реалистического искусства, назвал причины подобного отношения к нему и к некоторым его собратьям по перу. Он говорил тогда, что Америка бэббитов боится «произведений, в которых не восхваляется все американское — как достоинства, так и недостатки».

Лучшие книги самого Льюиса, с точки зрения такой охранительной критики, попадали в разряд «нежелательной» литерату-



Sinclair Lewis. A collection of critical essays. Ed. by Mark Schorer. New Jersey, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1962.

ры. В 1927 году упрямый сатирик писал о том, что «ненавидит политиканов, которые лгут, облачась в мантии витиеватой и цветистой риторики, беспощадно грабят и терроризируют народ; докторов, убеждающих клиентов в том, что они больны; купцов, лживо рекламирующих свои товары; фабрикантов, которые выдают себя за филантропов и в то же время не доплачивают своим рабочим... писателей, боящихся говорить о том, что они считают правдой». В этих словах выражен и пафос его лучших, социально значимых романов.

В последние годы жизни С. Льюиса и после его смерти о творчестве его вспоминали в США нечасто. Время «маккартизма» явно не благоприятствовало сатире. В 1960 году известный критик Максуэлл Гейсмар опубликовал в журнале «Сэтердей ревью» небольшую статью «Синклер Льюис — наш забытый герой». В ней он сетовал на то, что крупнейший сатирик незаслуженно предан забвению.

В антологии критических работ о Льюисе, о которой пойдет речь, биограф писателя Марк Шорер попытался восполнить это упущение. Он составил антологию по всем правилам буржуазной «объективности», включив до двух десятков работ самых разных авторов, написанных примерно за четыре десятилетия творческой деятельности Льюиса, и соответственно дозировав все оттенки суждений и возможные pro и contra. Действительно, в 20-е годы, когда не замечать шумного успеха романов Льюиса было невозможно, среди части буржуазных критиков раздавались трезвые голоса. Некоторые из них слышны и в антологии. Генри Менкен, например, справедливо усмотрел в образе Бэббита социальное обобщение огромной силы и значимости; критик Роберт Морс Ловетт отметил новаторский характер разработанной Льюисом научной темы в «Эрроусмите». Выражая мнения миллионов заокеанских почитателей романиста, английский писатель Э. М. Форстер напомнил, что Льюис открыл европейцам многие, до того не известные стороны американской жизни. Не мог не включить М. Шорер в антологию и написанную в 1927 году работу о Льюисе известного прогрессивного литературоведа профессора В. Л. Паррингтона. И все же, как и следовало ожидать, академически объективный составитель стыдливо не заметил ни одной из многочисленных работ о Льюисе, появившихся в левой и коммунистической прессе США. Как и другие антологии такого рода, выходившие в США, сборник статей о Льюисе представляет собой лишь панораму взглядов буржуазной критики.

Если же читатель попробует привести весьма пестрые высказывания, суждения и оценки, собранные в антологии, к общему знаменателю, то он заметит в них определенную закономерность. Чем резче обозначалась сатира писателя, чем язвительней и острее писал он об уродствах «американского образа жизни» и не только в морально-бытовом, но и социально-политическом плане (романы «У нас это невозможно», «Гидеон Плениш», «Кингсблад, потомок королей»), тем неприязненней становились критические отзывы. Зато когда сатира Льюиса смягчалась и писатель шел на мировую с осмеянным им же обществом бэббитов, как это было в «Додсворте», или обращался к неглубокому, окрашенному сентиментальностью бытописательству, как это было в «Кэссе Тимберлейне», он начинал пожинать похвалы и комплименты (статьи Форда Мэдокса Форда и Эдмунда Уилсона). В антологии Шорера, в этом смысле, выявляется общая тенденция буржуазного литературоведения, объявившего войну реализму и искусству социально-критического характера. Т. К. Уиппл, например, видит слабость Льюиса в его стремлении создавать социальные типы и характеры, а Роберту Кэнтвеллу не нравится тяга писателя к широким эпическим картинам жизни.

В большинстве статей настойчиво звучат упреки, ирония, суровые обвинения, которые в целом можно свести к следующему: Синклер Льюис исказил картину американской жизни, представил своих соотечественников в карикатурном свете. Об этом пишут и Уолтер Липпман, которому герои Льюиса кажутся безжизненными моделями, неправдоподобно шаржированными, а потому далекими якобы от действительности; и Ребекка Уэст, которой явно не по себе от острой антиклерикальной сатиры в «Элмере Гентри»; и Джозеф Вуд Кратч, для которого реализм писателя обладает внешним, неживым «правдоподобием музея восковых фигур».

Если одних критиков явно пугают «крайности» льюисовской сатиры, то другие пытаются дискредитировать писателя, объявив его «посредственным художником». При этом зачастую под обстрел берется как раз то, что составляет силу Льюиса: его острое чувство действительности, отличное знание бытовой стороны жизни, интерес к человеку в его социальных связях, умение распознать типические и характерные явления. Но для буржуазных критиков все это — не более чем «фотографический реализм», «журналистика», «газетная полемика», «документалистика», «искусство, лишенное воображения».

Наконец, авторы критических писаний о Льюисе трогательно единодушны еще в одном: два последних десятилетия его творческой жизни авторы антологии оценивают как «постепенную деградацию», «медленный упадок», «утомительное перепевание» уже освоенных ранее тем и мотивов. Так считают и Максуэлл Гейсмар, и Марк Шорер, и Мальколм Каули. А критик Джеффри Мур, окидывая взглядом пройденный писателем путь и явно повторяя догмы буржуазных пропагандистов, твердящих о «гуманизации» и «трансформации» капитализма, приходит к следующему итогу: Америка «переросла» Льюиса, его романы, дававшие и ранее узкое, якобы искаженное ее изображение, теперь безнадежно вышли из моды.

Конечно, у Синклера Льюиса были слабости и противоречия, были неудачные книги. Взлеты чередовались у него с падениями. Но это не те слабости, которые хотят увидеть в нем буржуазные критики.

Осмеивая мир собственников, Льюис не находил в себе силы порвать с ним. Ему не хватало идейной ясности. До конца дней писатель упрямо верил в потенциальные возможности демократии, идеалы которой были завещаны Линкольном и Джефферсоном,— демократии, «очищенной» от расизма, политической коррупции, фашистских тенденций, очищенной, но не измененной в самих своих коренных основах. Защищая «свободный, критический, ищущий дух», он питал недоверие к политике, в которой видел политиканство, относилось ли это к буржуазным партиям или к левым организациям. Декларируя писательскую «независимость», он порой придерживался принципа «чума на оба ваши дома».

На эти обстоятельства указывала левая пресса США. Эту же мысль высказал в статье «Синклер Льюис — наш отечественный Диоген» прогрессивный литературовед В. Л. Паррингтон еще в конце 20-х годов. Паррингтон, недооценив в известной мере эстетическую сторону творчества Льюиса, верно в целом характеризовал писателя как остроумно-язвительного критика пороков долларовой цивилизации. Паррингтон показал, что социальный критицизм Льюиса питался умением писателя видеть глубочайший контраст между идеалами демократического общества и грязью и пошлостью американского общества. Но, добавим мы, Льюис был реалистом XX века; писатель ощущал иллюзорность своего идеала, и на протяжении всей своей творческой жизни он, в юности участник социалистического движения, стремился пробиться к иной, социалистической перспективе. Именно об этом свидетельствовали его многолетние попытки написать роман о рабочем классе, хотя он так и не сумел осуществить своего замысла.

Сила Синклера Льюиса коренилась в том, что он не был плоским бытописателем, каким его хотелось бы представить авторам статей. Он увидел и выразил существенные стороны американской жизни, сами тенденции ее общественного развития. И поэтому он был прав в ряде своих решающих прогнозов и выводов.

Ричарду Блэкмуру, да и не только ему, роман Льюиса «У нас это невозможно», в котором говорится о реальной фашистской угрозе в США, показался фантастической «утопией». О книге писали как о легковесной «пропаганде». Но разве «минутные молодцы» Бэза Уиндрипа, и погромные проповеди Питера Пренга, и многое другое не оказалось пророческим предвосхищением деятельности «бэрчистов», громил из партии Линкольна Рокуэлла и им подобных американских «ультра»? Даже проницательный критик Максуэлл Гейсмар считает конфликт в романе «Кингсблад, потомок королей» «фантастическим». Но разве расисты из Грэнд-Рипаблик, обстреливавшие дом Нийла Кингсблада, не напоминают тех, кто преградил Джеймсу Мередиту дорогу в университет, кто дал «урок демократии» в Литтл-Роке и Бирмингеме?

Нет, Синклер Льюис, как и Драйзер, и Линкольн Стеффенс и другие «бунтари», по терминологии американской критики (а Льюис становился большим писателем именно тогда, когда выступал как «бунтарь»),— не вчерашний день американской литературы, потому что буржуазное общество поражено неизлечимыми пороками и болезнями, которые они бичевали.

И сейчас, как никогда ранее, литературе США нужны широта социального зрения, сила обобщения, дух критики. И еще — смелая сатира, большим мастером которой был Синклер Льюис.

Б. ГИЛЕНСОН

ГОЛОСА ИЗ САХАРЫ

На огромных пространствах Западной Сахары между горами Атласа на севере и Сенегалом на юге раскинулась Исламская Республика Мавритания. На обширной территории этой страны, превышающей в два раза площадь Франции, живет около 800 тысяч человек.

Обитатели Мавритании — храбрые, мужественные кочевники. Они гордятся своими арабскими предками, пришедшими сюда с далекого Востока, хранят их древние традиции, их легенды, их песни. Свои стихи мавританцы слагают преимущественно на классическом арабском языке, унаследованном от предков, хотя и говорят в быту на особом диалекте хасанийе, включающем множество берберских слов

Борьба за сохранение арабского языка и культуры помогла мавританцам отстоять свою национальную самобытность в долгом и упорном сопротивлении колонизаторской политике французских завоевателей, покоривших Мавританию в конце XIX века.

В 1960 году Мавритания была объявлена «независимой республикой», однако эта «независимость» во многом остается призрачной. Бывшая метрополия сохраняет господствующее положение в стране, в ее экономической и политической жизни.

С жизнью и поэзией мавританских арабов нас знакомит книга Мухаммеда Юсуфа Муклида «Поэты Мавритании». Автор ее — ливанский литератор и поэт, долгие годы проживший в этой далекой стране. Его книга, как он сам пишет, не является исследованием поэзии в строгом смысле этого слова. Автор дает в ней широкую картину жизни мавританского народа вообще, и из восьми глав его огромного труда собственно мавританской литературе посвящены только две.

Мухаммед Юсуф Муклид. Поэты Мавритании. Касабланка, Мактабат ал-вахда ал-арабийа, 1962. (На арабском языке).

Из двух «поэтических» глав книги — шестой и седьмой — одна посвящена мавританской поэзии XIX века, а другая — поэзии современной.

Глава о старой поэзии построена, в основном, на материалах вышедшей в 1911 году в Каире книги «Посредник в жизнеописаниях литераторов Шинкыта» (Шинкытом, или Шенгетом, арабы в старину называли Мавританию, по названию ее главного в то время города). Автором этого труда был знаменитый мавританский ученый Ахмад Ибн аль-Амин аш-Шинкыти, который много путешествовал на своем веку и побывал даже в России. (В 1900—1902 годах в Казани были изданы некоторые его книги.) «Посредник», как указывает Муклид, был до выхода его работы «Поэты Мавритании» единственной арабской книгой о Мавритании. В 1947 году она была переиздана в Каире — в самой Мавритании до сих пор нет типографий.

Стихи мавританских поэтов XIX века, да и многих современных очень напоминают древнеарабскую бедуинскую поэзию. Поэт-мавританец, как и древний бедуин, слагает стихи о доблестях своего племени, о его воинах и красавицах. Прошедший вдалеке караван, мелькнувшее над горизонтом облачко, вкусный зеленый чай в палатке после трудового дня — все это может стать у него темой длиннейших касыд, где пышные сравнения следуют одно за другим. А в касыдах поэтов XX века появляются новые образы: образ «огнедышащего коня» — поезда и «железного орла» — самолета.

Крупнейшим мавританским поэтом прошлого был Сиди Мухаммед, живший в XIX веке. Его стихи прославляли родную землю и мужество ее сынов. Они вдохновляли племена Шинкыта на борьбу с французскими захватчиками.

В главе о новой мавританской поэзии Муклид использовал материалы, собранные им во время пребывания в «стране Шинкыт». В своей книге Муклид приводит биографические данные и отрывки из стихотворений более 60 мавританских поэтов, половина из которых — наши современники.

Из поэтов нового времени наиболее прославленным, как говорит Муклид, был Абу Бекр Ибн Мухаммед Ибн Бекр аль-Фадыли ад-Димани (1848—1921), стихи которого полны интересных бытовых подробностей из жизни кочевников. Этот крупный поэт всецело принадлежит традиционной литературе. В последнее десятилетие в Мавритании появились поэты, чье творчество уже не ограничивается традиционными рамками. Под влиянием мощного шквала национально-освободительного движения в странах Африки пришел час национального пробуждения и Мавритании. Поэты стали выступать уже не от имени отдельных племен, а как выразители чаяний всего мавританского народа, как его полномочные представители на международной арене.

Переходом к новому этапу в развитии мавританской поэзии, по мнению Муклида, является творчество известного историка и поэта Аль-Мухтара аль-Хамида, многие стихи которого носят открыто политический характер — он обличает колониализм и его прислужников из местной знати. Однако в творчестве аль-Хамида немало осталось и от старых традиций. Так, большое место в нем занимает жанр «мадхов» — стихотворений, посвященных прославлению того или иного влиятельного лица.

Кроме аль-Хамида, сообщает Муклид, в Мавритании имеются и другие представители нового направления. Среди них автор особо выделяет поэта Хатри Ибн Хатри, стихотворения которого посвящены актуальнейшим проблемам современной жизни, разоблачению глашатаев новой войны, которые, как говорит Ибн Хатри, «ведут, забыв о мудрости, политику глупцов, что не приносит пользы».

Подводя итоги своему труду, Муклид пишет о мавританских арабах: «Можно сказать, что сегодня они стоят на пороге всеобщего возрождения, охватывающего все сферы культурной и хозяйственной жизни; пройдет, с соизволенья аллаха, совсем немного времени, и мы увидим первые плоды научного и литературного возрождения в этой далекой арабской стране».

Л. СТЕПАНОВ

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Сборник «Избранное» Максима Горького, как сообщает журнал «Свенск букхандель», выходит в стокгольмском издательстве «Свенска букфорлагет».

Роман Михаила Пришвина «Кащеева цепь» выпустило издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР). «Проза Пришвина — это своеобразная, прекрасная поэзия, даже когда она носит, как в этом романе, автобиографические черты»,— пишет рецензент журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухханделъ».

В течение нескольких лет на сценах венгерских театров с успехом идет пьеса Максима Горького «На дне». Эта пьеса поставлена и Национальным театром в городе Сегед. Недавно коллектив театра узнал о том, что за исполнение роли Бубнова артисту Эндре Катаи присуждена высокая награда — ежегодная театральная премия имени Мари Ясан. Здесь мы помещаем снимок из журнала «Филм-синхаз-мюжика»: артист Эндре Катаи в роли Бубнова.

Роман Александра Фадеева «Разгром» вышел в словацком издательстве «Младе лета» в Братиславе.

Под названием «В катакомбах Одессы» издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР) выпустило роман Валентина Катаева «За власть Советов».

Повесть Виктора Кина «По ту сторону» выпущена в свет варшавским издательством «Чительник». «Повесть насыщена героической атмосферой двадцатых годов,— отмечает рецензент газеты «Трибуна люду».— Она глубоко реалистична, даже можно сказать безжалостна в своем реализме... Книга Кина читается с захватывающим интересом».

Торунский театр (Польша) поставил пьесу Константина Тренева «Любовь Яровая». Режиссер спектакля — Гугон Морычинский. Спектакль, как сообщает печать, пользуется большим успехом у зрителей.

Издательство «Словенски писователь» (Чехословакия) выпустило рассказ Эммануила Казакевича «При свете дня».

«Дневные звезды» Ольги Берггольц в переводе и с предисловием известного литератора Жана Катала вышли во французском издательстве Плон.

Издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР) выпустило роман С. Бабаевского «Сыновний бунт». Газета «Нейес Дейчланд» дает роману положительиую оценку.

В издательстве Жюлиар (Франция) вышла книга Григория Бакланова «Пядь земли». Критик газеты «Нувель литерер» отмечает, что эта повесть написана с реалистической простотой, которая придает сюжету документальную подлинность и объективность.

Издательством «Ческословенски списовател» выпущен сборник стихов Анны Ахматовой под названием «Любовный дневник». Переводчик и составитель сборника — Мария Марчанова.

В венгерском издательстве «Эуропа» вышел роман Владимира Тендрякова «За бегущим днем». «Читатель получил книжку, в которой дается ответ на волнующие проблемы современной жизни»,— пишет в связи с выходом книги рецензент бюллетеня «Тайекоztato».

Откликаясь на выход в издательстве «Дейчер милитерферлаг» (ГДР) повести Александра Бека «Волоколамское шоссе», критик газеты «Нейес Дейчланд» подчеркивает: «Написанная по-военному лаконично, повесть Бека полна напряженного драматизма. Она ставит вопросы морально-политического и патриотического воспитания молодежи. Ее с интересом прочтут молодые рабочие, солдаты и студенты».

Издательство «Тиден» (Швеция) подготовило к печати первую часть книги Константина Паустовского «Повесть о жизни» под названием «Юношеские годы». По словам рецензента журнала «Свенск букхандель», «Константин Паустовский продолжил замечательные традиции русской повести».

В одном из последних сборников библиотечки «Советские поэты» болгарское издательство «Народна култура» выпустило избранные стихи и поэмы белорусского поэта Аркадия Кулешова в переводе Найдена Вылчева и Христо Берберова.

Перевод «Дневника Нины Костериной», выпущенный издательством «Эдитори риунити» вызвал широкие отклики в итальянской печати. Литературовед Витторио Страда в газете «Унита», Ада Маркезини-Гобетти в литературном приложении к газете «Паэзе сера» и другие рецензенты дают «Дневнику» высокую оценку как человеческому и историческому документу, свидетельствующему о моральной силе и стойкости советской молодежи.

Белградская газета «Политика» напечатала роман Юрия Бондарева «Тишина».

В Венгрии вышел роман В. Фоменко «Память земли». Обозреватель журнала «Надьвилаг» считает его большой удачей автора. «Память земли» свидетельствует о глубоком знании автором жизни,— пишет обозреватель.— После книг Шолохова и Стельмаха роман Фоменко — один из лучших «крестьянских» романов в советской литературе».

Роман Олеся Гончара «Человек и оружие» выпущен Государственным издательским институтом Польши — ПИВ — в переводе Марии Трачевской. Рецензент еженедельника «Культура» Янина Дзярновская, характеризуя книгу Гончара, пишет: «Описание обороны днепровской электростанции — дорогого сердцу всех советских людей Днепрогэса, детища первой пятилетки — представляет собой литературный шедевр».

В Софии в переводе на болгарский язык вышла книга Александра Грина «Алые паруса».

Берлинский театр «Фольксбюне» поставил пьесу Николая Погодина «Мой друг». Героическая тема, образ нового человека, оптимизм, которым проникнута пьеса, очень актуальны для сегодняшней Германии, отмечает газета «Берлинер цейтунг». Успех постановки — большая заслуга режиссера Ганнеса Фишера.

"Книга, от которой веет запахом озер и лесов, книга, проникнутая любовью к простой природе, и, в силу этого, полная поэзия»,— так характеризует французский еженедельник «Нувель литерер» повесть Юрия Казакова «Полустанок», вышедшую в издательстве Галлимар.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРАЛИЯ

ПРЕМИИ ИМЕНИ МЭРИ ГИЛМОР

В 1964—1965 гг. в Австралии будут присуждены премии имени Мэри Гилмор за лучшие художественные произведения.

В 1964 году, как сообщает еженедельник «Трибюн», премиями будут награждены авторы лучшей трехактной пьесы и короткого рассказа о труде рабочих. В связи со столетием со дня рождения выдающейся австралийской поэтессы в 1965 году будут присуждены памятные медали и премии за лучший австралийский роман и за лучшую поэму.

Откликаясь на учреждение премий имени Мэри Гилмор, журнал «Реалист райтер» посвящает статью творчеству покойной поэтессы, характерными чертами которого были ненависть к войне, понимание нужд людей труда. любовь к своей родине, протест против дискриминации туземного населения.

Алжирский Национальный театр недавно поставил пьесу драматурга Руишед «Хассан Ле Терро», которая рассказывает о драматических событиях 1957 года, когда алжирские патриоты вели тяжелые бои с французскими парашютистами из колониальных войск. В настоящее время по пьесе Руишед снимается фильм для алжирского телевидения. На снимке: рабочий момент съемок с участием актера Аллула.
(Газета «Альже репюбликэн»)

АЛЖИР

НОВОЕ КНИГОХРАНИЛИЩЕ

Богатейшая библиотека университета в городе Алжире была сожжена оасовцами летом прошлого года — погибли десятки тысяч томов. Министерство национального образования молодой республики обратилось к различным странам с просьбой оказать помощь в пополнении книжного фонда библиотеки. Одной из первых на этот призыв. как сообщает алжирская печать, откликнулась общественность социалистических стран. В адрес администрации университета поступает большое количество книг и учебников. Кроме того, тысячи простых людей из арабских стран стремятся внести свой скромный вклад в дело возрождения книгохранилища Алжирского университета.

АНГЛИЯ

РАЗОБЛАЧИТЕЛЬНЫЙ РОМАН

Английская печать одобрительно встрегила выход в свет первого романа писателя Сэма Харрисона «Мышиная возня». Книга обличает уродливую сущность совре-

менного буржуазного общества, воспитываемого им стремления к стяжательству, личному благополучию, для достижения которого все средства хороши.

Сэм Харрисон, по существу, призывает к пересмотру сложившихся буржуазных взглядов на жизнь, к пониманию того, что подлинную ценность представляет не чековая книжка и не текущий счет в банке, не жизнь в «высшем свете» и не аристократические связи, а труд, дружба, нравственное совершенство.

Главный герой романа Джейк Маккрум — типичный современный молодой человек, находящийся в плену у буржуазных «идеалов». Подобно Джо Лэмптону из романа Джона Брейна «Путь наверх» он стремится любыми средствами пробиться в «высшее общество».

Джейку удается поступить на дипломатическую службу и попасть в Женеву, где он рассчитывает сделать карьеру. Работая в одной из международных организаций, он действительно добивается того, о чем мечтал: у него много денег, он хорошо одет, окружен красивыми женщинами, ему открыт доступ в богатые дома...

Однако это не приносит Джейку удовлетворения: жизнь в «верхах» постепенно предстает перед ним во всей своей пустоте и бессмысленности. Джейк, пишет еженедельник «Таймс литерари сапплмент»,— типичная для литературы шестидесятых годов фигура антиромантического героя, образ отрицательный, собирательный. По мнению печати, книга «Мышиная возня» написана Харрисоном остроумно, зло, с большим художественным мастерством.

ЗА ТЕАТРАЛЬНЫМИ КУЛИСАМИ

На ежегодном собрании Британской ассоциации актеров «Икуити» ее председатель Феликс Эйлмер так резко выступил по поводу антисанитарных условий в лондонских театрах, что выдержки из его речи опубликовала даже газета «Таймс». Во многих театрах Уэстэнда, заявил Эйлмер, грязно, отсутствуют минимальные гигиенические условия. Большинство театральных зданий непригодно даже для размещения контор, а для актеров они считаются подходящими. Существует даже один «фешенебельный» театр, продолжал Эйлмер, где артистические уборные находятся в подвале, а воздух поступает в них через уличный туалет. Болезни горла стали постоянным заболеванием среди актеров, и врач-отоларинголог превратился почти в штатного члена труппы.

Для умывания и снятия грима после спектакля лондонским актерам почти всегда приходится довольствоваться тазом, о ванных и душах в лондонских театрах даже не мечтают, с горечью констатировал Эйлмер. Казалось бы, в современных зданиях наличие водопровода и канализации само собой разумеется. Но это далеко не так. Эйлмер процитировал заявление директора одного из театров, который сказал буквально следующее: «Мои балерины приходят в театр танцевать, а не принимать ванну». Эйлмер потребовал, чтобы правительство утвердило закон, в соответствии с которым владельцы театров обязаны будут обеспечивать актерам минимальные санитарные условия.

«Возлюбленный военного времени» — так называется фильм, поставленный режиссером Филиппом Ликоком. В фильме показаны нравы летчиков американской бомбардировочной авиации, находившейся в Англии во время второй мировой войны. Здесь мы публикуем кадр из этого фильма.

(Газета «Дейли уоркер»)

«НОЧНЫЕ ЗАГОВОРЩИКИ»

...На одном из секретных заседаний западногерманских промышленников неожиданно появляется... Гитлер. Воскресшего фюрера встречают ликованием. Магнаты капитала радуются, что опять обрели в его лице человека, способного начать новый кровавый «поход за мировое господство»... Так начинается пьеса «Ночные заговорщики» английского драматурга Роберта Мюллера.

Рецензент газеты «Дейли уоркер» Майк Мэйсон отмечает острую политическую направленность пьесы. Он цитирует в высшей степени циничное заявление одного из главных действующих лиц пьесы, генерала Отто фон Шлитца: «Теперь мы,

разумеется, аннулируем наше обязательство не производить ядерного оружия. Когда-то мы согласились на это лишь потому, что в тот момент нам это было выгодно, вот и все!»

«Ночные заговорщики» с успехом идут в театре Сэвилл, в лондонском Уэстэнде.

БИРМА

ЦЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Издательство «Рангун юниверсити пресс» выпустило книгу Бохму Ба Шина «Локахтейкпан». В ней обобщены результаты исследований многочисленных надписей на стенах древнего храма Локахтейкпан, что в переводе означает «Украшение вершины мира».

Выходящий в Рангуне журнал «Гардиэн» приветствует издание книги Шина, проливающей свет на многие вопросы ранней бирманской культуры и представляющей несомненный интерес для лингвистов и историков.

БОЛГАРИЯ

ПРЕМИИ ЗА ЛУЧШИЕ КНИГИ

Еженедельник «Литературен фронт» сообщает о присуждении премий 1962 года за лучшие художественные произведения. Первых премий Союза болгарских писателей удостоены Емилиян Станев за роман «Иван Кондарев» и Стоян Загорчинов за роман «Ивайло».

Премий ЦК комсомола Болгарии удостоены Атанас Наковский за роман «Мария против Пиралкова» (опубликован в «Иностранной литературе» №№ 1, 2 за 1963 г.), Прван Стефанов и Андрей Германов за сборники стихов, Рангел Игнатов за повесть «Клочок неба для троих».

«ИСТОРИЯ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В издательстве Болгарской Академии наук вышел первый том «Истории болгарской литературы». Он целиком посвящен староболгарской литературе. Во втором томе будет прослежено развитие литературы в эпоху болгарского Возрождения (конец XVIII века и первая половина XIX), в третьем — в период с Освобождения от турецкого господства (1878) до конца первой мировой войны, в четвертом — от конца первой мировой войны до наших дней.

Материалы в первом томе разделены на три части в соответствии с принятой периодизацией истории староболгарской литературы. Каждая часть включает очерки о разных периодах развития литературы, о возникновении литературных жанров и направлений. Сюда входят и исследования о виднейших представителях староболгарской литературы — Кирилле и Мефодии, Клименте Орхидском, Константине Преславском, Йоане Экзархе, Черноризце Храбре и других.

Сатирические рисунки болгарского художника Т. Пиндарева, высмеивающие художников-модернистов, «не замечающих» успехов социалистического строительства в стране, очень популярны в Болгарии. На верхнем рисунке — «Пессимист». На нижнем — «Новатор».

(Журнал «Пламк»)

ГАНА

«ПРОПАВШИЕ РЫБАКИ»

Недавно в Аккре состоялась постановка музыкальной драмы под таким названием, подготовленная Институтом искусства и культуры Ганы. В драме, рисующей злоключения нескольких рыбаков в море, причудливо переплелись сказочные, заимствованные из фольклора, и реалистические мотивы.

По утверждению газеты «Ганиэн таймс», эту музыкальную драму можно считать первой народной оперой Ганы.

ДЕНЬ ТЕАТРА

С большим успехом прошел в этом году в Гане вторично отмечаемый День театра. Ему были посвящены собрания работников искусств, спектакли театральных коллективов.

Открывая День театра, директор ганского Института искусства и культуры Нана Нкетсиа подчеркнул огромную роль театра в культурной жизни страны и выразил надежду, что в последующие годы День театра станет праздником теат-

рального искусства всей Африки.

С приветственным письмом по случаю Дня театра к деятелям культуры Ганы обратился известный американский драматург Артур Миллер.

ВЫСТАВКА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ

Большой интерес вызвала очередная ежегодная выставка молодых художников — учащихся школ и колледжей страны.

На открытии выставки министр просвещения Ганы А. Довуона-Хэммон выразил надежду, что в стране появится отряд национальных художников, которые сумеют сохранить богатые традиции народных мастеров. Министр призвал к установлению более тесных связей между художниками и народом.

Криста Вольф

(Еженедельник «Зоннтаг»)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПИСАТЕЛИ О РОМАНЕ КРИСТЫ ВОЛЬФ

Криста Вольф, молодая, но уже завоевавшая известность писательница, недавно закончила работу над романом «Разделенное небо». Он был напечатан в молодежном литературном журнале «Форум», а затем выпущен отдельной книгой издательством «Миттельдейчен-ферлаг».

Тема романа — борьба за единство Германии — близка и понятна всем честным немцам. Книга вызвала оживленные отклики читателей. Союз писателей ГДР недавно организовал обсуждение романа, на котором выступили известные литераторы.

Макс-Вальтер Шульц, автор романа «Мы не пыль на ветру» (см. «Иностранную литературу» № 1, 1963 г.), выступивший с основным докладом, назвал конфликт романа реалистическим и злободневным.

Тепло отозвалась о книге молодой писательницы Лили Бехер, вдова Иоганнеса Бехера. По ее словам, роман отвечает на вопрос, где у немцев истинная родина. Курт Штерн назвал книгу высокохудожественным произведением социалистического реализма. Он считает, что писательнице удалось сочетать в своем произведении трезвость разума с теплотой сердца.

За роман «Разделенное небо» Кристе Вольф присуждена премия имени Генриха Манна. Как сообщает газета «Нейес Дейчланд», премия Кристе Вольф была вручена в торжественной обстановке президентом Немецкой академии искусств Вилли Бределем. В церемонии приняли участие Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Александр Абуш, дочь Генриха Манна Леони Ашкенази-Манн и другие.

В своем выступлении на торжественном вечере Альфред Курелла назвал «Разделенное небо» Кристы Вольф произведением, знаменательным для «литературы периода развернутого строительства социализма», произведением, в котором нашли отражение решения VI съезда СЕПГ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЧЕЛОВЕК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

В Берлине был проведен III съезд работников театра. Министр культуры республики Ганс Бенциен приветствовал участников этого форума социалистической драматургии — писателей, режиссеров, актеров и других театральных деятелей. С докладом «Образ человека социалистического общества в нашей драматургии» выступил заместитель министра культуры Курт Борк.

Как сообщает пресса ГДР, докладчик остановил внимание собравшихся на лучших последних произведениях немецких писателей для театра, таких как «Камни на пути» Гельмута Саковского, «Кузнец миллионов» Хорста Клейнейдама (в 1963 году эта пьеса удостоена премии имени Лессинга) и многих других, которые отвечают задачам социалистического строительства. Курт Борк отметил удачную постановку театром «Фольксбюне» пьесы Николая Погодина «Мой друг». По словам доклад-

чика, приход в театр таких крупных писателей, как Анна Зегерс, Эрвин Штритматтер, Бернгард Зеегер, Иоахим Вольгемут, Бригитта Рейман, Эрих Нейч, Карл-Гейнц Якобс, и целой плеяды молодых авторов несомненно будет способствовать дальнейшему развитию социалистической драматургии в республике. За докладом Курта Борка последовали оживленные выступления участников съезда.

Перед открытием съезда газета «Дер морген» опубликовала интервью с некоторыми известными в республике драматургами об их последних работах и ближайших планах.

Гюнтер Гёрлих закончил пьесу «Золотые руки» — о рабочих ГДР, строителях новой жизни. Иоахим Кнаут пишет произведение для театра о современной трудовой немецкой интеллигенции.

Хорст Клейнейдам совместно с творческим коллективом лейпцигского Драматического театра создает новую постановку о жизни бригады социалистического труда.

Общественность республики с большим интересом ожидает премьеры пьес «Терра инкогнита» известного немецкого поэта Куби и «Его дети» Рейнера Керндля.

«АФЕРА ГЕЙДЕ-ЗАВАДЕ»

Так называется новый телевизионный фильм, который недавно увидели немецкие телезрители. Как сообщает печать ГДР, в основу фильма положен действительный факт из жизни Западной Германии.

...В Шлезвиг-Гольштейне под именем доктора Заваде свободно жил бывший эсэсовец Вейнер Гейде, повинный в смерти 95 тысяч человек. Правосудие разыскивало его после Нюрнбергского процесса, однако правительственные и юридические органы ФРГ покрывали нацистского преступника.

В фильме «Афера Гейде-Заваде», поставленном режиссером телевидения ГДР Вольфгангом Лудерером по сценарию лауреатов Национальной премии Э. К. Кауль и В. Юпе, как сообщает газета «Берлинер цейтунг», раскрыты приемы и методы западногерманских властей, стремящихся выгородить своих духовных наставников — бывших гитлеровцев.

Кадр из телевизионного фильма «Афера Гейде-Заваде». Артист Вальтер Юпе в роли Заваде.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ПАМЯТИ БОДО УЗЕ

Еженедельник «Зонntаг» посвятил один из своих номеров памяти недавно скончавшегося известного писателя ГДР Бодо Узе. С воспоминаниями о своем товарище и друге выступили Анна Зегерс, Вилли Бредель, Дитер Нолль, Рольф Шнайдер.

«Сегодня,— пишет Анна Зегерс,— мы вдруг почувствовали, что наша литература сразу стала беднее». «Он любил жизнь и потому боролся со злом, дорожил всем хорошим,— вспоминает Вилли Бредель.— Он был в первых рядах борцов за демократическую, социалистическую Германию». Дитер Нолль называет Бодо Узе своим учителем.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КАРАНДАШ ЦЕНЗУРЫ

Недавно читатели кёльнской газеты «Дейче цейтунг» после тридцать шестого продолжения романа западногерманского писателя Филиппа Вибе «Перед нашей дверью», который печатался в газете, нашли небольшое, но необычное редакционное примечание: «В романе 300 страниц, из них будет опубликовано только 260. По нашему мнению, от сокращения роман лишь выиграет, однако автор придерживается другого взгляда».

Как пишет демократический еженедельник «Вохенпост», это примечание может показаться следствием разногласий между автором и редакцией, но на самом деле редакция сделала купюры по политическим соображениям.

Филипп Вибе, пишет еженедельник, не является крупным писателем, однако он сделал то, что в современных условиях Западной Германии можно рассматривать как акт гражданского мужества: автор попытался без прикрас нарисовать звериное лицо фашистского рейха. Вибе взял на себя смелость предъявить обви-

нение не только фашистским главарям, но и их подручным, участвовавшим в массовом уничтожении людей.

Разумеется, такой роман не устраивает тех, кто ныне стоит у власти в Западной Германии. Не подходит он и для «лояльно настроенных» читателей. В этих обстоятельствах только красный карандаш политической цензуры мог спасти престиж «Дейче цейтунг». Денежные тузы, финансирующие газету, удовлетворены. И только... «автор придерживается другого взгляда».

ГАЗЕТА «ВЕЛЬТ» И ГРЭХЕМ ГРИН

Известный английский писатель Грэхем Грин посетил столицу ГДР и Западный Берлин.

В связи с его поездкой в гамбургской газете «Вельт» появились две статьи: первая — хвалебная, о творчестве Грэхема Грина, а спустя полтора месяца — вторая, но уже ругательная, где о писателе шла речь как о человеке, «который явно ничего не понял».

В перерыве между двумя этими статьями в «Вельт» был напечатан репортаж редактора отдела культуры газеты, сопровождавшего Грэхема Грина в поездке по Западному Берлину, и ответ писателя на этот репортаж.

Редактор «Вельт» стремился показать якобы благожелательное впечатление Грэхема Грина от посещения «фронтового города» с его ночными ресторанами, яркими рекламами и прочими декорациями, изображающими «процветание» Запада.

Но внимание Грэхема Грина, как выяснилось, привлек не внешний блеск Западного Берлина. Острым взглядом крупного писателя он увидел в столице ГДР те грандиозные социальные, культурные и экономические изменения, которых добились трудящиеся республики, увидел и новых немцев, людей с социалистическим мировоззрением. Свои объективные впечатления о столице ГДР и выразил Грэхем Грин в ответе на репортаж писаки из «Вельт».

Особую тревогу «Вельт» вызвали высказывания английского писателя в пользу мероприятий правительства ГДР по укреплению безопасности государственной границы в Берлине.

Чтобы хоть как-то оправдать свой репортаж, редактор отдела культуры «Вельт» вынужден был опубликовать «пояснение» к ответу Грэхема Грина, в котором уверял читателей, что, дескать, английский писатель воспринял ошибочно, односторонне некоторые явления в ГДР, многого не заметил и многого ие понял. Вслед за этим на страницах «Вельт» была опубликована пространная статья об «ошибочности» взглядов Грэхема Грина. Ее автор в заключение потребовал объявить бойкот прогрессивному английскому писателю и — совсем как в свое время делали нацисты — призвал уничтожать книги Грэхема Грина.

Там, где правда берет верх, современные последователи Геббельса прибегают к его печальной памяти богатому опыту.

Театр драмы на языке маратхи существует свыше века. В настоящее время на сцене этого популярного театра ставятся современные пьесы. Успехом у зрителей пользуются социальные пьесы драматургов П. Л. Дешпанде, П. К. Атре и М. Г. Рангнекара. На снимке: сцена из пьесы молодого автора Васанти Кавали о писателе-классике Нандалике Лакшминараяппа.

(Газета «Бхарат джоти»)

ИНДИЯ

«МОСКВА — В МОЕМ СЕРДЦЕ»

В Индии вышел сборник «Маяковский» и другие стихотворения». Автор его — Виджай Чаухан, пишущая на хинди поэтесса, литературный критик и переводчица многих классических произведений мировой литературы.

В этом небольшом томике с силуэтом Маяковского на обложке содержится яркий и искрениий разговор поэтессы с читателем, разговор на самые различные темы — о детях, о мире, о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны, о рождении новых государств в Африке и Азии, об Испании, стонущей под сапогом палача Франко, о кубинской революции, о гении Льва Толстого и бессмертии Маяковского, об обязанности поэта быть трибуном...

Сборник открывается большим стихотворением «Маяковский», написанным несколько лет назад. Виджай Чаухан пишет о величии родины Маяковского и вечной молодости его революционной поэзии.

Поэтесса призывает людей к миру, к бдительности — чтобы не повторились Майданек, Освенцим и Бухенвальд, чтобы никогда больше не было гитлеров и эйхманов, чтобы все маленькие Ахмеды, Алеши и Энн могли безмятежно и счастливо жить. И еще со страниц книжки встает образ Москвы — символа мира, свободы, справедливости и вдохновенного труда, любимого города Маяковского. «Москва — в моем сердце!» — восклицает Виджай Чаухан, которая побывала в этом городе и горячо его полюбила.

СТИХИ ПОЭТА УРДУ

Книге стихов видного поэта урду Актарула Имана. выпущенной бомбейским издательством «Ракхшанда

китаб гхар», автор дал название «Воспоминания». Этому сборнику присуждена премия Литературной академии Индии. В книгу вошли не только новые произведения поэта, но и его ранние стихи.

По мнению литературной критики, в стихах Актарула Имана ощущается влияние творчества Фаиза Ахмада Фаиза, хотя по настроению их произведения совершенно различны.

В предисловии к сборнику Актарул Иман пишет: «Никакие превратности жизни не могли заставить меня принести в жертву свои поэтические принципы... Герой моих поэм — человек, вынужденный идти на компромисс с жизнью, но одновременно поднимающий голос протеста против существующих условий, так как в нем живет то, что называется сознанием». Такого рода конфликтам, объясняющимся условиями существования в капиталистическом обществе, посвящено несколько поэм сборника.

ИРАК

КНИГИ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал «Аль-Адиб» поместил рецензии иракского литературоведа Мир Басри на две новые работы по истории литературы, вышедшие в Ираке.

Одна из них — двухтомная «История арабской литературы в Ираке» — принадлежит перу видного иракского ученого, академика Аббаса аль-Азави. В своем труде аль-Азави рассматривает поэзию, прозу и литературную критику в Ираке на протяжении почти семисот лет — от падения Багдадского халифата под ударами монгольских завоевателей в 1258 году и по 1917 год — время установления в Ираке британского господства.

Вторая книга — «Иракский рассказ в старое и новое время»—написана Джафаром аль-Халили, одним из зачинателей иракской новеллистики. Из печати вышла пока что первая часть его книги, посвященная зарождению жанра новеллы в арабских странах и первым иракским новеллистам.

ИСПАНИЯ

ПИСАТЕЛЬ ОБВИНЯЕТ ПАЛАЧА ФРАНКО

На интеллигенцию Мадрида большое впечатление произвело смелое письмо испанского писателя Карлоса Альвареса, которое он прислал в редакцию мадридской газеты «Йа». В письме Альварес заявляет о своей полной солидарности с мировым общественным мнением, гневно осудившим убийство Хулиана Гримау, и напоминает о том, что Франко был союзником гитлеровской Германии, совершившей страшные преступления против человечества.

Газета не опубликовала этого письма, но текст его ходит по рукам в испанской столице. Альварес, отец которого был расстрелян в 1936 году франкистами, не впервые выступает против франкистской диктатуры: в 1958 и 1961 годах полиция арестовывала его за распространение пропагандистских материалов. В Испании запрещены все его произведения.

БОЯТСЯ НАМЕКОВ И ПАРАЛЛЕЛЕЙ

За последнее время общественность страны познакомилась с новыми образцами франкистской «свободы». Так, недавно испанская цензура запретила запись на пластинки фрагментов из книги писателя Рамона дель Валье Инклана «Двор чудес». Как известно, в этой книге, которая вышла еще в тридцатых годах, автор остроумно высмеял коррупцию и разложение, царившие в период правления бездарной Изабеллы II. Видимо, франкисты опасаются, как бы простые испанцы не стали проводить параллелей с нынешним режимом.

За первым запретом последовал еще один, на этот раз в области кинематографии. Известному режиссеру Луису Бюнуэлю, получившему в свое время первую премию на каннском кинофестивале за «Виридиану», которая, кстати, так и не была показана в Испании, запретили ставить фильм по произведению Бенито Переса Гальдоса «Кристиана».

От «милостей» франкистов не свободны даже представители официальной пропаганды. Недавно, например, все их прелести вкусил редактор мадридского еженедельника «Доминго» Хуан Родригес, неосторожно перепечатавший из одного венесуэльского журнала карикатуру, в которой власти усмотрели прямой намек на Франко. Этот рисунок обошелся редактору в 50 тысяч песет штрафа, кроме того его понизили в должности.

ИТАЛИЯ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ФОРМЕНТОР»

Итальянская критика уделяет большое внимание присуждению международной литературной премии «Форментор» за 1963 год роману писателя Карло Эмилио Гадда «Познание страдания», написанному более 20 лет назад и уже давно опубликованному в Италии.

В этом году присуждение премии состоялось на греческом острове Корфу, а не на Балеарских островах, как в прошлом году, в знак протеста против действий франкистских властей, которые запретили въезд в пределы Испании итальянскому книгоиздателю Джулио Эйнауди, опубликовавшему в Италии сборник стихов и песен испанского Сопротивления. Для обсуждения кандидатур на получение премии собрались делегации видных критиков и писателей Франции, Италии, Англии, США, ФРГ, Испании и скандинавских стран. В состав итальянской делегации входили, в частности, Моравиа, Пьове-

не, Кальвино, Витторини, Леви, Рипеллино. После долгой дискуссии кандидатура Гадды получила большинство голосов.

Гадда — один из старейших итальянских писателей, автор известного антифашистского романа «Скандальное происшествие на Виа Мерулана», вышедшего в 1957 году. Однако за границей имя его мало знакомо, так как до сих пор произведения Гадды почти нигде не переводились из-за чрезвычайного своеобразия и усложненности стиля и лексики писателя, в частности широко использующего с трудом поддающиеся переводу диалектные и жаргонные выражения. Сложна и форма произведений Гадды в целом. В этом отношении весьма характерен премированный ныне роман «Познание страдания».

Роман в сатирической, порой гротескной форме рисует итальянское буржуазное общество в годы после первой мировой войны. Хотя действие произведения происходит в вымышленном городе несуществующей латиноамериканской республики, итальянский читатель легко узнает Милан и его пригород — Брианцу, где находятся виллы миланских богачей. Также нетрудно узнать в герое этой книги Гонзало самого автора. Гонзало наделен не только биографическими чертами, характером и взглядами, но даже внешностью автора. Тема романа — одиночество человека в буржуазном обществе. Гонзало, сам мучаясь от одиночества и не находя понимания даже у своей матери, обличает это общество, которое убивает в человеке все чувства и идеалы.

Премия «Форментор» 1963 году за еще не опубликованное произведение, сообщает итальянская печать, присуждена — вопреки грубому нажиму со стороны франкистского правительства — живущему во Франции испанскому политическому эмигранту-антифашисту Хорхе Семпруну за его книгу «Долгое путешествие». Автор рассказывает о своем участии в борьбе

Художник поясняет посетительнице: «Это самая удачная из моих реалистических картин. Я назвал ее «Белая брынза на снегу».

(Газета «Паэзе сера»)

фраицузских партизан в годы войны, о том, как он был арестован гитлеровцами и отправлен в лагерь смерти Бухенвальд.

Произведения, удостоенные премии «Форментор», согласно договоренности между издателями, подлежат переводу на тринадцать языков.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ГОЛОС»

Два издательства — Фельтринелли и «Аванти!» — почти одновременно выпустили новые сборники стихов сицилийского народного поэта Иньяцио Буттитты, творчество которого знакомо также и советским читателям. Сборник, вышедший в первом издательстве, назван по двум содержащимся в нем поэмам: «Поезд солнца» и «Подлинная история жизни Сальваторе Джулиано»; второй — «Новая кожа».

В сборник «Новая кожа» вошли почти все произведения, которые начиная с 1930 года по настоящее время создал Иньяцио Буттитта, чей «железный голос» (как назвал его поэзию Карло Леви) был услышан не только на Сицилии, но во всей Италии и за границей. В стихах Буттитты — и веселая деревенская шутка, и трагедия Портеллы-делле-Джинестре (где по приказу мафии был открыт огонь по крестьянам, собравшимся на первомайский митинг), и острая сатира на местного фашиста, и тоска маленьких «карузо» — подростков, работающих на серных рудниках Сицилии. Название сборника аллегорично — поэт мечтает о том времени, когда его родной остров и вся Италия скинут старую и наденут «новую кожу».

В литературном приложении к газете «Паэзе сера» критик Марио Лунетта, высоко оценивая стихи Буттитты, отмечает, что сицилийский поэт поднял диалект, на котором он пишет, до уровня литературного языка и что все его творчество и по своему прогрессивному содержанию и по форме является неотъемлемой частью общенациональной итальянской литературы.

КАМЕРУН

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

В столице Камеруна Яунде вышел первый номер нового журнала «Аббиа», который посвящен вопросам культурной жизни страны. Его издают недавно возникшие организацин: Камерунская культурная ассоциация и Камерунское общество культуры.

Журнал «Аббиа» получил свое название от игры в кости, которая распространена у народов южного Камеруна. Энтузиасты национальной культуры оригинально

Обложка первого номера журнала «Аббиа», полученного редакцией.

оформили свой журнал. Обе стороны обложки покрывают знаки самобытной письменности бамум — она была создана в Камеруне в конце XIX века султаном Нджойа. На первой странице обложки в форме буквы «А» расположены игральные кости с выгравированными на них изящными рисунками.

КАНАДА

ГОГОЛЬ ПОДЛИННЫЙ И ИЗВРАЩЕННЫЙ

Творчество Н. В. Гоголя знают и любят в Канаде. Недавно, как сообщает газета «Кенэдиен трибюн», театральный коллектив «Торонто драма клаб» с успехом поставил комедию «Ревизор», переведенную на английский язык Джоном Андерсоном. Совсем по-другому — с негодованием и протестом — прогрессивная общественность Канады встретила весть о выпуске на экраны страны голливудского фильма «Тарас Бульба», в котором от подлинного произведения великого русского писателя осталось одно лишь название, а также широкую распродажу изданного отдельной книжкой сценария этого кинофильма, выдаваемого в рекламных целях за оригинальное творение Н. В. Гоголя.

КУБА

О ТВОРЧЕСТВЕ НИКОЛАСА ГИЛЬЕНА

«Несмотря на исключительную важность и значение поэзии Николаса Гильена, до сих пор мы не располагали каким-либо обобщающим исследованием творчества автора «Сонгоро Косонго» и «Летит голубка над народами»,— пишет кубинский критик Сальвадор Буэно в журнале «Боэмия».— Росла и обогащалась поэзия Николаса Гильена, но не было такого труда, в котором был бы сделан критический разбор, анализ всего, созданного поэтом».

И вот недавно Центральный университет в Лас-Вильяс выпустил из печати первый том исследования «Николас Гильен». Автор этого труда — известный кубинский писатель и литературовед Анхель Аухьер. Книга, второй том которой предполагается выпустить в ближайшее время, издается под редакцией поэта Самуэля Фейхоо.

Сальвадор Буэно считает исследование Анхеля Аухьера «действительно важным, фундаментальным вкладом в дело изучения творчества Гильена и всей современной кубинской литературы».

БЕСЕДА С АВТОРОМ «ГИМНА 26 ИЮЛЯ»

Кто не знает знаменитого «Гимна 26 июля» кубинских революционеров? Об истории его создания в нашем журнале уже сообщалось («Иностранная литература» № 1, 1963, стр. 259). Корреспондент чилийского прогрессивного еженедельника «Вистасо» Паула Руис недавно встречалась и беседовала с автором «Гимна 26 июля» Агустином Диасом Картайей, капитаном кубинской Повстанческой армии.

«С Агустином Диасом Картайей,— пишет Паула Руис,— я познакомилась на плантации сахарного тростника, где он работал добровольцем в бригаде по уборке нового урожая. Кстати, бригада рубщиков тростника Диаса Картайи, как правило, идет впереди других бригад, соревнующихся меж собой...»

Высокому бородатому худощавому негру Агустину Диасу Картайе сейчас тридцать лет. Ему шел двадцатый год, когда он создал «Гимн 26 июля». Участник героического штурма казарм Монкада 26 июля 1953 года, он предпочитает не говорить о себе, о своем участии в вооруженном выступлении, положившем начало победоносной кубинской революции. Четыре года Картайя провел в застенках Батисты, несколько раз его жестоко пытали, много лет он отдал подпольной борьбе, сражался в горах Сьерра-Маэстры под командованием Фиделя Кастро. Сейчас он работает в министерстве труда революционного правительства, пишет стихи и сотрудничает в молодом кубинском кино.

Вспоминая о днях создания «Гимна 26 июля», Агустин Диас Картайя рассказал Пауле Руис:

— Мы были брошены в тюрьму после штурма Монкады. Как-то узнали, что в тюрьму прибыл сам Батиста. И решили показать ему, что мы здесь. Фидель предложил, чтобы мы спели «Гимн 26 июля». Изо всех наших сил мы пели гимн, от начала до конца. Палачи взбесились. Началась расправа. Тюремщики избрали одного из нас, чтобы взвалить на него всю вину и затем «примерно» наказать. Их выбор пал на меня. К этому были все данные: автор гимна, негр и бедняк. Меня вытащили из камеры, зверски пытали. Я уже думал, что пришло время прощаться с жизнью. Но им не удалось вырвать у меня ни одного слова...

Агустин Диас Картайя заявил:

— Если бы не было другой причины, так уже только потому, что я негр,— я за социалистическую революцию...

ЛИВАН

«НАЗЫМ ХИКМЕТ — ПЕВЕЦ ЧЕЛОВЕКА»

Под таким названием в газете «Аль-Ахбар» была опубликована статья известного ливанского писателя Мухаммеда Дакруба. С героической эпопеей сравнивает Дакруб жизнь великого турецкого поэта-интернационалиста, посвятившего свой талант служению всему человечеству. «Словно добрый рыбак,— пишет Дакруб,— вытаскивал он своим неводом серебристых рыбок поэзии из мирового океана жизни, чтобы с детской радостью раздавать их беднякам, труженикам, ученым, рассказчикам, революционерам и голодным». Дакруб называет Хикмета «певцом Человека» и подчеркивает глубокую партийность его поэзии.

Ливанская критика тепло встретила повесть молодой писательницы Эмили Насрулла «Сентябрьские птицы», которая была удостоена премии за 1962 год. По мнению писательницы Амины Ас-Саид, «секрет» успеха Эмили Насрулла заключается в том, что «она не пошла по стопам Франсуазы Саган или какой-либо другой западной писательницы. Ее вдохновила арабская действительность с ее печалями и радостями». На снимке: Эмили Насрулла.

(Журнал «Аль-Адиб»)

КНИГА О ДЖЕБРАНЕ

Как сообщает журнал «Аль-Адиб», в Бейруте вышло новое исследование о жизни и творчестве классика ливанской литературы Джебрана. Книга называется «Халиль Джебран». Автор ее — известный ливанский поэт Халиль Хави.

МАРОККО

ЖУРНАЛ «АФАК»

Союз писателей Марокко приступил к изданию журнала «Афак» («Горизонты»), посвященного вопросам литературы и культурной жизни. Журнал будет выходить четыре раза в год. Его главный редактор доктор Мухаммед Азиз Лахбаби — председатель Союза писателей Марокко и декан факультета литературы и общественных наук в Рабатском университете.

ПОЛЬША

ДИСКУССИЯ О ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ

На состоявшемся недавно XIII Пленуме ЦК Польской объединенной рабочей партии с большим докладом «Об актуальных проблемах идеологической работы партии» выступил первый секретарь ЦК товарищ Владислав Гомулка. Товарищ Гомулка, как сообщает печать, говорил о всепобеждающей силе идей социализма, о борьбе за мир и о мирном сосуществовании, о необходимости бороться за социалистическое направление развития польской культуры и за полную победу социалистического сознания в сердцах и умах людей. Товарищ Гомулка бросил упрек тем из молодых писателей, творчество которых во многих случаях не имеет ничего общего с подлинной жизнью польской молодежи в городе и в деревне, с ее трудом и интересами, с ее заботами и мечтами.

В связи с Пленумом ЦК ПОРП редакция еженедельника «Культура» организовала встречу коллектива редакции с молодыми писателями, на которой были обсуждены многие важные проблемы их творчества. Главный редактор еженедельника «Культура» известный польский публицист Януш Вильгельми заявил: «Нынешняя дискуссия представляется нам чрезвычайно важной потому, что проблема «молодой литературы», определенного писательского поколения, проблема, о которой критически говорилось на Пленуме, на практике далека от решения. Ведь таким решением не могут быть механические запреты. Очевидно, что такого рода начинания беспредметны и что не это имелось в виду в докладе на Пленуме».

По мнению Януша Вильгельми, многие недостатки, о которых шла речь на Пленуме ЦК ПОРП, проистекают из-за чрезвычайной «легкости дебюта». Некоторые издатели и критики зачастую создают безответственную шумиху вокруг неоперившихся дебютантов и оказывают этим плохую услугу не только молодым авторам, еще не привыкшим к упорному и кропотливому творческому труду, но и всей польской литературе.

Активное участие в дискуссии принял Богдан Чешко, который, в частности, поддержал высказывание писателя старшего поколения Ежи Путрамента о том, что невозможно быть писателем и стоять в стороне от жизни. Писатель безыдейный не является писателем, он попросту не пишет, сказал Чешко.

Во встрече принимали участие также Роман Братный, Станислав Гроховяк, Владислав Терлецкий, Марек Новаковский и другие писатели.

ПОСЛЕ СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ ЗАПАДНЫХ ЗЕМЕЛЬ

Внимание польской печати привлек прошедший в городе Зелена Гура VI съезд писателей Западных Земель. Газета «Трибуна люду» отмечает, что это был «чрезвычайно удачный, новаторский съезд». Большая заслуга в этом принадлежит литературной общественности Зелена Гуры, которая выросла и сформировалась здесь за послевоенные годы.

Широк был круг проблем, обсуждавшихся этим писательским съездом: новые произведения зрелых писателей и дебютантов, отражение в литературе Западных Земель исторической борьбы польского народа с иноземными захватчиками и возрождение на этих землях польской государственности. Выступавшие на съезде писатели говорили не только о местных проблемах, но обсуждали также состояние всей польской литературы в целом. Представители кино, радио и телевидения, присутствовавшие на заседаниях, высказали писателям свои пожелания относительно произведений, которые могут использоваться этими массовыми средствами распро-

Кадры из новых польских кинофильмов. Вверху: Анна Пруцналь в фильме «Соплячка». На нижнем снимке: Ева Кшижевская и Збигнев Цибульский в фильме «Преступник и девушка».

(Журнал «Фильм» и газета «Трибуна люду»)

странения культуры. Решено, что следующий съезд писателей Западных Земель состоится в Познани.

Газета «Трибуна люду» отметила как в высшей степени положительный факт то обстоятельство, что прошедший в Зелена Гуре писательский съезд не замкнулся в узкие региональные рамки, а стал значительным событием в литературной жизни всей страны.

НОВОСТИ КИНО

Творческих работников польской кинематографии все больше занимает жизнь современников.

Любимые герои кинорежиссера Леонарда Бучковского — варшавяне. Советскому зрителю хорошо известны его фильмы «Мое сокровище» и «Случай на Марienштате», в которых весело и непринужденно рассказывалось о том, как жили и восстанавливали свой любимый город варшавяне в первые послевоенные годы.

Недавно Бучковский создал новый фильм о Варшаве и ее жителях. И хотя название у него несколько необычное — «Соплячка», в нем повествуется о Варшаве наших дней — всегда праздничной, веселой, трудовой. Его героиня — молоденькая девушка Крыстына, которая приезжает в Варшаву из провинции и находит в ней много друзей. Фильм поставлен по мотивам пьесы Романа Невяровича «Найденыш». По словам рецензента журнала «Фильм» Ежи Пельца, фильм Бучковского «полон оптимизма, веры в человека». Рецензент особо отмечает талантливую игру молодых польских актеров — Анны Пруцналь в роли Крыстыны и Мечислава Каленика в роли ее жениха Юрека. Фильм «Соплячка» удостоен премии министра культуры и искусства за 1963 год.

Кинорежиссер Януш Насфетер в последние годы поставил несколько фильмов для молодежи, из которых пресса больше всего отмечала картину «Цветные чулки». Ныне круг творческих интересов Насфетера несколько изменился. Как сообщила «Трибуна люду», недавно состоялась премьера его нового фильма «Преступник и девушка». Это «приключенческий фильм с уклоном в сторону психологизма», как охарактеризовал его сам Насфетер. В главных ролях выступили молодые популярные актеры Ева Кшижевская и Збигнев Цибульский.

ПОРТУГАЛИЯ

СМЕРТЬ АКИЛИНУ РИБЕЙРУ

В канун пятидесятилетия своей творческой деятельности умер выдающийся португальский писатель академик Акилину Рибейру, бывший президент Общества писателей Португалии.

Откликаясь на смерть Акилину Рибейру, лиссабонский журнал «Ливруш ди Португал» пишет: «Вся жизнь Акилину Рибейру была образцом литературного труда». Журнал приводит слова писателя, сказанные им незадолго до кончины: «Я посадил много деревьев...» Несколько десятков книг написано этим талантливым романистом. Многие его произведения переведены на другие языки мира, роман «Когда воют волки» издается в СССР.

Акилину Рибейру, как отмечает иностранная печать, мужественно выступал против фашистской диктатуры Салазара. Не так давно он был привлечен салазаровскими властями к судебной ответственности по обвинению «в подрыве престижа страны за границей и в оскорблении правительства».

РУМЫНИЯ

«БЕГСТВО»

...Окопы застыли под толстым снежным покровом. Румынские солдаты — изголодавшиеся, с опустошенной душой, едва держащиеся на ногах от усталости, укрылись в глубоких землянках. Но тишина никого не обманывает. В безмолвной степи над румынскими окопами повис призрак грядущей катастрофы. Близится возмездие. Русское наступление ошеломляет своей неудержимой силой. Бегущие немцы оголяют фланги вчерашних союзников. Нет больше и румынских офицеров. Все сильнее сжимаются клещи окружения, мучителен голод...

Так начинается новый роман Аурела Михале «Бегство».

Советскому читателю уже знакома его новелла «Тревожные ночи» (см. «Иностранную литературу» № 2 за 1958 г.). В романе «Бегство» Михале с исключительной достоверностью описывает битву на Волге, панику среди фашистских войск в дни их разгрома.

Еженедельник «Контемпоранул» пишет, что главное достоинство книги не только в «динамичном повествовании о событиях тех лет, но и в описании глубоких нравственных перемен, происходивших в сознании солдат. Шаг за шагом перед ними раскрывается истинное положение вещей, лживость антисоветской пропаганды; они настойчиво ищут ответа на вопрос: кому нужна война?»

В романе «Бегство» Аурел Михале прослеживает судьбы многих солдат и офицеров, бредущих по дороге отступления, в конце которой многие из них включаются в борьбу против своего истинного врага — фашизма.

«ГИМН ВОСХОДУ»

Анатолий Баконский — представитель среднего поколения румынских литераторов. Более десяти лет назад он дебютировал в поэзии. Его перу принадлежат также исследования зарубежной и особенно русской и советской литературы, очерки, путевые заметки. Недавно вышел сборник стихов Баконского «Гимн восходу». Критик О. Крохмыльничану пишет в «Газета литерарэ», что новые стихи Баконского объединяет один главный лирический мотив— воспевание социалистических преобразований в стране. В жизнь некогда отсталой Румынии властно врывается прогресс. Даже в окружающем пейзаже ощутимы грандиозные масштабы светлого завтра. В этой неудержимой устремленности в будущее и заключен источник возвышенной и вместе с тем простой поэзии Баконского, почти лишенной метафорического облачения. Сам поэт, «рожденный на красном перекрестке», чувствует себя «человеком двух исторических возрастов».

Новые стихи Баконского показали, продолжает критик, что поэт отказался от чрезмерной витиеватости, характерной для его раннего творчества. В целом Крохмыльничану оценивает «Гимн восходу» как большую удачу поэта.

СЕНЕГАЛ

СОВЕЩАНИЕ ЛИТЕРАТОРОВ

Вопросам развития африканской литературы, ее значению в жизни молодых государств Африки было посвящено состоявшееся в Дакаре первое совещание африканских прозаиков и поэтов. В нем приняли участие Бираго Диоп, Шейх Хамиду Канэ, Ламин Диакат и Сембен Усман из Сенегала, Камара Лей из Гвинеи, Чикайа Ютамси из Конго и другие литераторы.

Большое внимание собравшиеся уделили мерам, связанным с преподаванием африканской литературы в высших учебных заведениях. Некоторые ораторы посвятили свои выступления значению литературы в деле воспитания молодежи. Совещание приняло специальное решение об изучении африканской литературы в университетах и институтах стран Африки.

Один из пунктов принятой совещанием резолюции содержит перечень африканских авторов, произведения которых считается необходимым переиздать. Предусматривается также выпуск серии дешевых книжных изданий.

Совещание приняло, кроме того, постановление о создании научного центра, в котором будут представлены все литераторы и университеты африканских стран. В его задачу будут входить обеспечение связи между литераторами африканских стран, составление рекомендаций и переводы лучших произведений иностранной литературы на языки народов Африки. Трижды в год будет выходить специальный информационный бюллетень по африканской литературе.

По мнению еженедельника «Африк нувэль», совещание в Дакаре — важное событие в истории развития африканской литературы.

США

ИСКУССТВО КОРОТКОГО РАССКАЗА

В Нью-Йорке вышла книга писателя Фрэнка О'Коннора под названием «Одинокий голос. Исследование короткого рассказа». Основоположниками этого жанра автор считает Гоголя, Тургенева и Чехова; за ними, по его мнению, идут Мопассан, Киплинг и Хемингуэй. Любимые авторы О'Коннора — Чехов и Тургенев. Посвященные им главы, как отмечает еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью», написаны с настоящим блеском.

КНИГА О ТВОРЧЕСТВЕ ФРОСТА

«Основная тематика Роберта Фроста. История великого поэта» — так называется книга поэта Редклифа Скуайрса о выдающемся сыне американского народа, занявшем особое место в истории литературы США. В его творчестве, проникнутом духом гуманизма и веры в человека, нашли отражение наиболее бурные события двадцатого века, пишет Скуайрс.

Редклиф Скуайрс, по словам рецензента еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», дает тонкий и глубокий анализ творчества великого американского поэта. «Зачастую,— отмечает рецензент,— Скуайрс, цитируя и анализируя то или иное стихотворение, дает оценки, раскрывающие такое богатство мысли, которое нелегко обнаружить».

Со страниц книги встает живой образ поэта-гуманиста, творчество которого пользуется популярностью и уважением во всем мире.

КАТАСТРОФИЧЕСКИЙ СЕЗОН НА БРОДВЕЕ

Истекший театральный сезон на Бродвее явился, по свидетельству газеты «Нью-Йорк таймс», «самым катастрофическим в истории». Из сорока девяти новых постановок текущего сезона только семь еще идут на

Знаменитый американский композитор Джордж Гершвин, автор известной оперы «Порги и Бесс» и «Рапсодии в стиле блюз», был также художником. В последние восемь лет жизни он создал более ста картин, некоторые из них были впервые выставлены за несколько месяцев до его смерти в 1937 году. В связи с 65-летием со дня рождения композитора в Манхэттене была устроена выставка его работ. На снимке картина Дж. Гершвина «Отец».

(Журнал «Сэтердей ревью»)

сценах театров, остальные сняты, так как не приносят никакого дохода.

Основную причину провала нью-йоркского театрального сезона газета усматривает в чрезвычайно низком художественном уровне большинства постановок и в неудачах многих драматургов, даже тех, которые пользуются известностью.

Парадоксально, что в четырех театрах, где залы переполнены, идут спектакли лондонских театров, гастролирующих в США: «Школа злословия», «Оливер», «Остановите Землю, я хочу слезть» и «За пределами». Из американских постановок лишь одна имеет успех — сатирическая музыкальная комедия «Как преуспеть в бизнесе, не прилагая к этому особых усилий».

Результаты истекшего театрального сезона заставляют серьезно призадуматься многих деятелей литературы и театра в Америке. Дело, разумеется, не в недостатке хороших драматургов, талантливых актеров и одаренных режиссеров и постановщиков. Причина провала кроется глубже — в пессимизме, в отсутствии у зрителей интереса к тому, как на сцене изображается «американский образ жизни». Характерно, что успехом у зрителей пользуются сатирические спектакли, которые высмеивают и разоблачают буржуазную действительность.

РАННИЙ РОМАН РИЧАРДА РАЙТА

Американский негритянский писатель Ричард Райт, умерший три года назад, знаком советскому читателю по переведенному на русский язык роману «Сын Америки». В США впервые опубликовано одно из ранних произведений писателя — роман «Сегодня, господи». В нем описывается один день из жизни негра Джейка Джексона, обитателя негритянского гетто в Чикаго.

Джейк Джексон — почтовый служащий — показан писателем, как порождение уродливого социального строя. При всех своих отрицательных качествах он — жертва капиталистической системы. В день рождения президента Линкольна, отменившего рабство в США, Джейк по-прежнему раб, раб предрассудков и невежества.

«Сегодня, господи» — произведение раннее и во многом несовершенное. Тем не менее в наши дни оно звучит обвинительным актом против нынешних правителей Америки.

ФИЛИППИНЫ

ВОСЕМЬ ЛУЧШИХ ПЬЕС

В Маниле издан сборник под названием «Лучшие филиппинские одноактные пьесы». В него вошло восемь пьес, а также очерки, посвященные истории и современному состоянию театра на Филиппинах. Тематика пьес разнообразна: в них рассказывается о прошлом и настоящем филиппинцев.

В числе произведений, включенных в сборник,— заслужившая высокую оценку печати пьеса Вильфридо М. Герреро «Три крысы», просто и безыскусно повествующая о трагической судьбе филиппинской девушки, покончившей с собой после того, как она узнала, что обманута американцем.

ФРАНЦИЯ

ФИЛЬМ О РОБЕРЕ ДЕСНОСЕ

Как сообщает печать, в настоящее время снимается документальный фильм об одном из французских поэтов-антифашистов — Робере Десносе, погибшем в гитлеровском концлагере в 1945 году. Фильм расскажет о том, как Деснос был арестован в феврале 1944 года в Париже, где он участвовал в подпольной борьбе, и проследит его судьбу вплоть до последнего дня (см. в этом номере стихи поэта и вступительную статью).

О жизни Робера Десноса поведают в фильме его товарищи по борьбе — художники, скульпторы, писатели, журналисты, актеры, режиссеры. Среди них — Арагон, Элюар, Пикассо, Тристан Тзара, Жак Превер, Жан-Луи Барро и жена поэта Юки Деснос.

Фильм будет назван по одной из поэм Десноса — «От мраморной розы к розе железной».

ВО ИМЯ БРАТСТВА ЛЮДЕЙ

Во время ежегодного летнего фестиваля на сцене парижского театра Рекамье был поставлен спектакль «Песни поэзии и братства в 1963 году».

В дни, когда в южных штатах США, и в частности в Алабаме, людей травят собаками только потому, что у них кожа черного цвета, со сцен театра прозвучали песни и стихи Гюго и Гильена, Арагона и Уитмена, Элюара и Лорки, Ламартина и Брехта. Одна идея объединила в программе столь различные имена — идея человеческого братства, интернационализма, борьбы против расизма во всех его проявлениях.

«ЧУДЕСНЫЙ МАЙ»

Герои фильма Криса Маркера «Чудесный май», реальные люди, парижане: рабочий, мать семейства, молодой алжирец, художник, студент — все те, кого можно встретить на улице, в метро, в одном из многочисленных парижских кафе. Люди говорят перед кинокамерой о забастовке, о заработной плате, о расизме. Алжирец рассказывает о страданиях своего народа, молодой африканский негр возмущается тем, что белые фальсифицируют историю его родины, бывший священник объясняет, почему он стал коммунистом...

Некоторые не разбираются в политике, не понимают происходящих событий и поэтому говорят наивные вещи, но это лишь подчеркивает объективность и документальность фильма Маркера, показавшего Париж таким, каков он есть, отмечает газета «Юманите». Этот фильм — хроника одного месяца в Париже, недавно вышедший на экраны, получил высокую оценку французской прессы.

Кадр из фильма Криса Маркера «Чудесный май».
(Еженедельник «Франс нувель»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

НОВЫЙ РОМАН КЛИМЫ

Недавно вышел из печати новый роман Ивана Климы «Тихий час». Действие романа начинается в последние дни войны в восточной Словакии. Герои его довольно традиционны: это священник-предатель, партизан-мститель, учитель — наивный борец против мракобесия, разочаровавшийся интеллигент — инженер, ищущий облегчения в тяжелом труде.

После окончания войны в Словакию приходит новая жизнь, многое изменяется к лучшему. Однако воспоминания о прошлом не покидают героев романа «Тихий час». Главный герой инженер Мартин едет в восточную Словакию, чтобы своим трудом помочь людям, а самому забыть о потере близких.

Мартина не устраивает тихое счастье. Он постоянно чувствует неудовлетворенность. «А может, это и значит быть коммунистом,— говорит он,— чувствовать неудовлетворенность, продолжать борьбу за справедливость?» Так рассуждает и большинство героев романа Климы. Все они не удовлетворены тихим су-

ществованием и ищут путей к тому, чтобы наполнить жизнь добром, радостью и счастьем.

Клима не создал в полном смысле слова положительного героя. И все же роман убеждает читателя в победе созидательных сил, пишет еженедельник «Литерарни новины». Чехословацкая критика высоко оценивает новый роман Климы.

«ЗНАКОМСТВО С ЭЛИШКОЙ»

В издательстве «Млада фронта» вышла повесть «Знакомство с Элишкой» молодого чешского писателя Владимира Пршибского. Это уже вторая после сборника рассказов книга Пршибского, и повествует она о жизни современной чешской трудовой молодежи.

Элишка — восемнадцатилетняя девушка, работающая учетчицей на тракторной станции. Нелегко складывались ее отношения с товарищем по работе, трактористом Тондой Чермаком. Тонда — парень простоватый, а Элишка — натура сложная, тянущаяся к знаниям и высокой культуре. С другой стороны, девушка видит в Тонде хорошего человека, и это притягивает ее к парню. Элишка долго колеблется, но в конце концов предлагающему ей руку и сердце доктору прав Халику предпочитает своего милого, «неуклюжего» Тонду. Ей еще придется побороться за него — ну что ж, на то она и любовь, в ней ничего просто не бывает...

В авторском предисловии Пршибский отметил, что он стремился изобразить сложные человеческие отношения. Критик Милан Юнгман, однако, высказал в еженедельнике «Литерарни новины» мнение, что Пршибский излишне усложнил характеры своих героев. Юнгман пожелал молодому автору совершенствовать свое мастерство и выразил надежду, что третья, готовящаяся к изданию книга Пршибского будет соответствовать высокому уровню современной чехословацкой прозы.

ЭФИОПИЯ

ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ПИСЬМЕННОСТИ

Эфиопия — страна древнейшей в мире письменности. Древние эфиопы усовершенствовали первоначально бытовавший у них южноарабский алфавит, в котором обозначались одни согласные, применив самобытную систему письма, построенную на слоговой основе. Каждая буква в этой системе имеет семь вариантов, или «порядков», в зависимости от того, какой гласный звук за ней следует. Кроме того, особые варианты применяются для сочетания согласных с дифтонгами.

После того как древний эфиопский язык был вытеснен амхарским, появились дополнительные буквы, так что современный амхарский алфавит насчитывает не менее 290 знаков. Разумеется, такая громоздкая система письма затрудняет обучение и книгопечатание в стране. Вот почему в Эфиопии в последние годы все чаще появляются проекты реформы письменности, направленные к ее упрощению.

Один из последних проектов был предложен недавно редактором издаваемого на французском языке в Аддис-Абебе журнала «Этиопи д' ожурдюи» Хербегианом. Проект Хербегиана позволит, в случае его принятия, сократить количество знаков амхарского алфавита более чем вдвое.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РАСИСТЫ ПРЕСЛЕДУЮТ ПОЭТА

В Южно-Африканской Республике вступил в силу закон, отменяющий всякие судебные разбирательства. Полиция получила право держать под стражей «подозрительных» без суда.

Одной из жертв этого произвола стал прогрессивный южно-африканский поэт и общественный деятель Дени Брютюс, которому недавно была присуждена вторая премия на конкурсе африканской поэзии, организованном Клубом писателей и поэтов Нигерии. Дени Брютюс был арестован за выступления против расовой дискриминации и тем самым лишился возможности получить премию. Кроме того, расисты запретили издание его стихов в ЮАР.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ЮРИЙ БРЕЗАН — JURIJ BREZAN (род. в 1916 г.) — немецкий писатель (ГДР). Автор романов «52 недели составляют год» («52 Wochen sind ein Jahr», 1953), «Гимназист» («Der Gymnasiast», 1958), «Семестры потерянного времени» («Semester der verloren Zeit», 1960) и других произведений.

Повесть «История одной любви» («Eine Liebesgeschichte») вышла в 1962 году.

САЛАХ ДЖАХИН — поэт, художник и киноактер ОАР.

Публикуемые стихи взяты из различных сборников.

НГУЕН НГОК — NGUYEN NGOC (род. в 1932 г.) — вьетнамский писатель. Автор романа «Страна поднимается», удостоенного первой премии на Национальном литературном конкурсе в 1954—1955 гг., а также ряда повестей и новелл.

Рассказ «Героиня» взят из сборника «Высоко в горах», вышедшего в 1961 г.

НГУЕН МАНЬ ХАО — NGUYEN MAHN HAO — молодой вьетнамский писатель. Рассказ «Последний диагноз» взят из сборника рассказов разных авторов «Путь, лежащий впереди», вышедшего в 1960.

МУНДЕЛЕ ДИА КВАНЗА — MUNDELE DIA KUANZA — молодой ангольский писатель.

Публикуемая повесть прислана в редакцию в рукописи.

РОБЕР ДЕСНОС — ROBERT DESNOS (1900—1945) — французский поэт. О нем см. статью в этом номере.

АЛЬБЕРТО МОРАВИА — ALBERTO MORAVIA (род. в 1907 г.) — итальянский писатель, автор романов «Равнодушные» («Gli indifferenti», 1929), «Римлянка» «(La Romana», 1947), «Приспособленец» («Il conformista», 1951), «Чочара» («Ciociara», 1957,— см. «Иностранную литературу» №№ 1—3 за 1958 г.). Его перу принадлежит также несколько сборников рассказов.

Роман «Презрение» («Il disprezzo») написан в 1954 году.

МИХАЙ НОВИКОВ — MIHAI NOVIKOV (род. в 1913 г.) — румынский писатель и критик. Автор книги «Рассказы о Дофтане» («Povestiri despre Doftana», 1957), «Васка» («Vasca», 1962), критической работы «Реализм — реализм критический — реализм социалистический» («Realism — Realism critic — Realism socialist», 1961).

Публикуемая статья прислана в редакцию в рукописи.

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — JAMES ALDRIDGE (род. в 1918 г.) — английский писатель и публицист. Автор романов «Дело чести» («Signed With their Honour», 1942), «Дипломат» («The Diplomat», 1950), «Охотник» («The Hunter», 1950), «Герои пустынных горизонтов» («Heroes of the Empty View», 1954), «Не хочу, чтобы он умирал» («I Wish He Would Not Die», 1957,— см. «Иностранную литературу» № 11 за 1957 год), «Последняя ссылка» («The Last Exile», 1961), «Пленник в стране» («Captive in the Land», 1962), а также многих рассказов и критических статей.

Статья «Писатель и общественная мораль» получена редакцией в рукописи.

МАРТТИ ЛАРНИ — MARTTI LARNI (род. в 1909 г.) — финский писатель. Автор многих романов, из них переведены на русский язык «Четвертый позвонок» («Neljäs nikama», 1958) и опубликованный в нашем журнале № 8 за 1960 г. роман «Прекрасная свинарка» («Kaunis sikopaimen», 1959, журнальное название — «Госпожа советница»).

Публикуемая статья прислана в рукописи.

ГАБОР ТОЛНАИ — TOLNAI GÁBOR — (род. в 1911 г.) — венгерский литературовед и журналист, редактор журнала «Кортарш» с 1957 по 1961 г.

Публикуемый материал получен в рукописи.

МИРОСЛАВ ИВАНОВ — MIROSLAV IVANOV — чехословацкий публицист, автор книги «Ленин в Праге» («Lenin v Praze»).

Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

ЯН ПРОХАЗКА — JAN PROCHÁZKA (род. в 1929 г.) — чехословацкий писатель. Автор повестей «Когда солнце взойдет завтра» («Kde slunce vyjde zítra», 1953), «Год жизни» («Rok života», 1956), «Зеленые дали» («Zelene obzory», 1960,— см. наш журнал № 10 за 1960 год), «Сугроб» («Závěj», 1961).

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ЙОРИС ИВЕНС — JORIS IVENS (род. в 1899 г.) — голландский кинооператор и режиссер документального кино. Лауреат Международной премии мира. Им сняты документальные фильмы «Песнь о героях» (1932) о героях Магнитогорска, «Испанская земля» (1937), «Сена встретила Париж» (1958) и др.

Публикуемая статья написана для нашего журнала.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Б. С. РЮРИКОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА (отв. секретарь), Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.

Художеств. редактор М. М. Милославский. Технический редактор В. Л. Шачнев.

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 07756. Сдано в производство 6/VII-63 г. Подписано к печати 5/IX-63 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л.; печ. л. 24,66. Зак. 1284.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС
70391

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» ПЕЧАТАЕТ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИСАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ СТРАН — РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СЦЕНАРИИ; ШИРОКО ЗНАКОМИТ ЧИТАТЕЛЕЙ С НОВИНКАМИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

В 1964 году РЕДАКЦИЯ НАМЕРЕНА НАПЕЧАТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ:

Генрих Бёль — «На взгляд клоуна» (Роман)
Монго Бети — «Исцеленный король» (Роман)
Криста Вольф — «Разделенное небо» (Повесть)
Д. Ганшик и И. Пражик — «Бомба для Гейдриха» (Документальная повесть)
Ярослав Ивашкевич — «Честь и слава» (Главы из романа)
Юлиан Ковалец — «К земле приписанный» (Повесть)
Ринг Ларднер-младший — «Исступление Оуэна Мюира» (Роман)
Р. К. Нарайан — «Людоед ь Мальгуди» (Роман)
Пабло Неруда — «Жизнь поэта» (Воспоминания)
Васко Пратолини — «Торжество разума» (Роман)
Эрнест Хемингуэй — Рассказы
Макс Шульц — «Мы не пыль на ветру» (Роман)

Редакция предполагает опубликовать также новые произведения **Жоржи Амаду, Луи Арагона, Михая Бенюка, Николаса Гильена, Габора Годы, Хуана Гойтисоло, Грэхема Грина, Мухаммеда Диба, Яна Дрды, Фридриха Дюрренматта, Анны Зегерс, Сухайли Идриса, Дюлы Ийеша, Алехо Карпентьера, Сальваторе Квазимодо, Шона О'Кейси, Халлдора Лакснесса, Михаила Лалича, Мартти Ларни, Карло Леви, Джека Линдсея, Мануэля Наварро Луны, Хуана Маринельо, Лайоша Мештерхази, Владимира Минача, Яна Мюрдаля, Нгуен Динь Тхи, Дитера Нолля, Джеймса Олдриджа, Джона Осборна, Яна Отченашека, Виктора Рида, Уильяма Сарояна, Жан-Поля Сартра, Жоржа Сименона, Джона Стейнбека, Андре Стиля, Людмила Стоянова, Джузеппе Унгаретти, Фаиза Ахмада Фаиза, Пьера Шаброля, Арнольда Цвейга и других зарубежных писателей и поэтов.**

В журнале регулярно публикуются статьи, посвященные важнейшим проблемам развития зарубежных литератур, материалы о творчестве писателей разных стран. На страницах журнала систематически рецензируются новые книги иностранных авторов, вышедшие как за рубежом, так и в нашей стране.

Зарубежные и советские писатели, общественные деятели, деятели культуры, науки и искусства выступают в журнале по важнейшим вопросам международной жизни со статьями о значительных явлениях театра, кино и изобразительного искусства.

В разделе «Из месяца в месяц» журнал широко информирует читателей о событиях культурной жизни за рубежом.

Журнал иллюстрируется.

Подписка принимается отделами «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати.

Подписная цена на 1964 год:

на год — 9 руб. 60 коп.
на 6 мес.— 4 руб. 80 коп.
на 3 мес.— 2 руб. 40 коп.